

ИЖ (О) ВЪ ИЖЪ
МЪ ИЖЪ Р

ИЖ (О) ВЪ ИЖЪ

ИЖ (О) ВЪ ИЖЪ

ИЖ (О) ВЪ ИЖЪ

3



1963

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 3

Март, 1963 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВЫСОКАЯ ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО — ВЕЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. Речь товарища Н. С. ХРУЩЕВА на встрече руководителей партии и пра- вительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года	3
В. ЛИПАТОВ — Черный Яр, повесть	34
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Огонек, стихи	114
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Книга пятая. Окончание	146
Д. САМОЙЛОВ — Два стихотворения	140
И. ИСАКОВ — Конец одной «девятки» (Из невыдуманных рассказов)	142
ЛЕОНИД КИСЕЛЕВ, ученик 10 класса школы № 37, г. Киев — Первые стихи	159
ДИМИТРИС ХАДЗИС — Детектив, рассказ. Перевела с новогреческого Н. Подземская	161
ХИРОСИ НУЯМА — Стихи из тюрьмы. С японского. Перевел Анатолий Мамонов	171
ПУБЛИЦИСТИКА	
ЛЕОНИД ИВАНОВ — В родных местах	174
В МИРЕ НАУКИ	
Проф. А. ЧИЖЕВСКИЙ — «Эффект Циолковского»	201
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. СУРВИЛЛО — Ответственность таланта	208
НАТАЛИЯ ИЛЬИНА — К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дам- ской повести» (Опыт литературоведческого анализа)	224

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
Неопубликованные письма Льва Толстого. (Сообщение Л. Любимова, примечания Э. Зайденшнур).— Забытое интервью с Львом Толстым. (Сообщение В. Л.).	231
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Н. Коржавин. Лирика Маршака.— М. Рощин. В испытанном жанре.— З. Паперный. Устная книга.— В. Лакшин. Две биографии.— Александр Дейч. Об эстетике А. В. Луначарского.— Т. Мотылева. Перечитывая Бехера.	239
<i>Политика и наука</i>	
В. Смолянский, кандидат экономических наук. Соревнование и сосуществование.— П. Горностаев. Большая жизнь.— Д. Горин. Малополезный сборник.— В. Твардовская. Петрашевский и петрашевцы.— К. Майданик, кандидат исторических наук. Мемуары дипломата.— Эр. Ханпира. Книга, нужная всем.— И. Ермашев. Джентльмены с «Золотого Олимпа».	262
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ВЫСОКАЯ ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО—ВЕЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

*РЕЧЬ ТОВАРИЩА Н. С. ХРУЩЕВА
на встрече руководителей партии
и правительства с деятелями
литературы и искусства
8 марта 1963 года*

Дорогие товарищи! Мы с вами в течение последних месяцев встречаемся второй раз. А если учесть беседу в Центральном Комитете партии с молодыми работниками литературы и искусства, которую проводила Идеологическая комиссия, то наша сегодняшняя встреча будет уже третьей.

Материалы об этих встречах были опубликованы в печати и вызвали большой интерес. Мы с удовлетворением отмечаем, что позиция Центрального Комитета партии по вопросам искусства получила горячую поддержку творческих работников, партии и народа, наших зарубежных друзей.

В своей речи тов. Ильичев уже рассказал о том, какой живой отклик вызвало среди советской и зарубежной общественности выступление Центрального Комитета КПСС по вопросам литературы и искусства. Он справедливо отметил, как возросла у нас в стране активность творческих работников в борьбе против нездоровых тенденций в литературе и искусстве.

Интересные соображения и ряд ценных предложений высказали многие товарищи, выступавшие на этом совещании. Все это убедительно говорит о том, что вопросы, которые мы с вами обсуждаем, имеют принципиальное значение для развития социалистической культуры, советской литературы и искусства в том направлении, которое определено в Программе Коммунистической партии.

Строительство коммунизма и задачи художественного творчества

Деятельность писателей, художников, композиторов, скульпторов, работников кино и театра — всей творческой интеллигенции постоянно находится в поле зрения партии и народа. И это вполне понятно. Мы живем в такое время, когда литература и искусство, как и предсказывал Владимир Ильич Ленин, стали неразрывной частью общенародного дела.

Советский народ под руководством своей ленинской партии строит коммунистическое общество. Главная наша цель в строительстве коммунизма, я подчеркиваю это, — создание всех условий для лучшей жизни людей труда. А коммунистическое общество именно и будет обществом людей труда.

Людям органически свойственна потребность в труде. И только капитализм, поставив людей труда в нечеловеческие условия, уродует их, развращающим образом действует на отношение многих людей к труду. Те люди, которые не мирятся с угнетением человека человеком, в процессе трудовой деятельности развивают свое классовое самосознание и становятся активными борцами за интересы трудящихся, против эксплуататоров. Другие, которые руководствуются лишь личными, собственническими интересами, пассивны в общественной жизни, не участвуют в классовых боях за свержение буржуазии и построение нового общества. Третьи живут за счет чужого труда. Это — эксплуататоры, угнетатели трудящихся.

Коммунизм строится трудом и только трудом миллионов. Вот почему партия прилагает все усилия, чтобы в строительстве коммунизма активно участвовал в едином трудовом монолитном коллективе весь советский народ — рабочие, колхозники, инженеры, конструкторы, техники, учителя, врачи, агрономы, ученые, деятели всех отраслей культуры, литературы и искусства.

Теперь все видят, что усилия партии дают замечательные результаты, наш народ достиг больших успехов на пути к коммунизму. Но мы не можем закрывать глаза на те трудности, которые приходится преодолевать в строительстве нового общества. К числу таких трудностей относятся пережитки прошлого в сознании определенной части людей во всех слоях общества. Эти пережитки проявляются прежде всего в нерадивом отношении к труду, к выполнению своего общественного долга, обязанностей перед народом.

В битве за коммунизм, которую мы ведем, важнейшее значение имеет воспитание всех людей в духе коммунистических идеалов. И это составляет главную задачу идеологической работы нашей партии в настоящее время. Нам надо привести в боевой порядок все виды идейного оружия партии, к числу которых принадлежит и такое мощное средство коммунистического воспитания, как литература и искусство. **(Аплодисменты).**

Наши встречи с вами, которые стали хорошим правилом жизни, являются по сути дела своеобразными смотрами сил литературы и искусства, их творческой активности и революционной боевитости.

Партия, ее Центральный Комитет считают, что советская литература и искусство развиваются успешно и в основном хорошо выполняют свои задачи.

Но было бы очень вредным преувеличивать успехи литературы и искусства и не видеть серьезных недостатков в работе писателей, художников, композиторов, деятелей кино и театра. Каких-либо идейно-творческих провалов чрезвычайного характера не произошло, но речь тем не

менее идет о существенных недостатках, а в ряде случаев и ошибках, мириться с которыми нельзя.

Жизнь показала, это подтвердилось и в выступлениях некоторых товарищей на прошлой беседе и сегодня, что не все еще творческие работники правильно понимают задачи в области литературы и искусства, изложенные в Программе партии. Следовательно, существует необходимость еще раз разъяснить нашу партийную точку зрения по коренным вопросам художественного творчества в период развернутого строительства коммунизма.

Каких художественных произведений ждет советский народ, какие произведения он ценит и поддерживает и что он отвергает?

Литература и искусство социалистического реализма достигли больших высот художественного творчества, имеют богатые революционные традиции и пользуются мировой известностью. Во всех советских республиках созданы замечательные произведения, высокие духовные ценности, которыми справедливо гордятся народы нашей страны.

Творчество выдающихся представителей советской литературы и искусства — большая заслуга их перед народом, вдохновляющий пример служения художника своей Родине.

Что еще может доставить большее удовлетворение художнику, чем сознание того, что его талант целиком посвящен борьбе народа за построение коммунизма, что его произведения приняты народом и высоко оценены им.

Вспомните, как в свое время наш народ взял на вооружение поэзию Демьяна Бедного. В годы гражданской войны, когда советский народ в жестокой схватке с мировым империализмом отстаивал первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян, с песнями Демьяна Бедного шли в бой и красногвардейцы, и красноармейцы, и партизаны. Эти песни были доходчивы для всех, понятны каждому, даже неграмотным крестьянам, находившимся в рядах Красной Армии.

В популярнейшей в то время песне «Как родная мать меня проводжала» запечатлены думы народные. Поэт был в боевом строю борцов за революцию и отдал весь свой огромный талант служению великому делу освобождения трудящихся от ига эксплуататоров.

Демьян Бедный обладал удивительным даром проникновения в душу трудового крестьянина. С каким пониманием и силой художественного мастерства раскрыл он двойственность души крестьянина. В своих произведениях периода гражданской войны поэт убедительно раскрывает психологию крестьянина со всеми свойственными ему тогда чертами. С одной стороны, крестьянин очень доволен тем, что новая, большевистская власть наделила его землей, о которой он мечтал и за которую шла в то время вооруженная борьба. С другой стороны, некоторые крестьяне, получив землю от Советской власти, не проявляли понимания того, что народную власть, завоевания революции надо защищать с оружием в руках.

Огромное воспитательное значение произведений Демьяна Бедного состоит в том, что поэт с революционных позиций гневно осуждает колебания, неустойчивость крестьянина и вместе с тем разъясняет ему пагубность этих шатаний и колебаний для интересов самого крестьянства. Поэт помогает крестьянину понять, что в его интересах быть в неразрывном союзе с рабочим классом под руководством большевистской партии.

И сейчас люди моего поколения, когда встречаются вместе в праздничной обстановке, с удовольствием вспоминают свое прошлое в годы гражданской войны и поют песни Демьяна Бедного потому, что эти песни и-теперь звучат свежо и современно. **(Аплодисменты)**. Прелесть

их в том, что они напоминают о временах хотя и тяжелых, но хороших и красивых, наполняют сердца гордостью за тех, кто в труднейших условиях героически сражался за Советскую власть, за освобождение людей труда, за народ, за социализм и победы в этой борьбе.

Возьмем другой пример, убедительно показывающий, какие сильные и благородные чувства вызывает у людей подлинное произведение искусства. Видимо, большинство из вас знают памятник советским воинам в Берлине, автором которого является известный скульптор Е. В. Вучетич. Недавно делегации братских партий, присутствовавшие на шестом съезде Социалистической единой партии Германии, участвовали в возложении венков на могилы Розы Люксембург, Карла Либкнехта и других борцов, павших за дело рабочего класса.

Затем состоялось возложение венков у памятника советским воинам в Берлине. Это были трогательные минуты. Пришли сотни людей, торжественно звучала музыка, к памятнику все подходили молча, никто не мог разговаривать громко, сама обстановка влияла на людей. Величественная скульптура возбуждает чувство глубокого уважения, признательности к героическим советским воинам, преклонения перед теми, кто пал в борьбе против черных сил фашизма.

Члены Президиума ЦК и секретари Центрального Комитета партии некоторое время тому назад ознакомились с эскизами памятника Победы над фашизмом, который будет сооружен в Москве по проекту тов. Вучетича. Проект дает основание думать, что будет создано произведение реалистического искусства большой силы, воздающее славу народу-победителю и зовущее к борьбе за укрепление могущества и неприступности нашей великой социалистической Отчизны.

Замечательным произведением искусства является памятник Карлу Марксу в Москве, созданный тов. Кербелем. Скульптору удалось художественно отобразить величие гениального основоположника научного коммунизма. Невозможно пройти и не остановиться у этого прекрасного монумента.

Только выдающиеся произведения большого революционного, созидательного пафоса доходят до глубины души и сознания человека, рождают в нем высокие гражданские чувства и решимость посвятить себя борьбе за счастье людей. Авторы таких произведений достойно, заслуженно пользуются признательностью народа. К созданию произведений такой высокой идейности и художественной силы воздействия на умы и чувства людей призывает Коммунистическая партия писателей, художников, композиторов, работников кино и театра. (**Продолжительные аплодисменты**).

Нашему народу нужно боевое революционное искусство. Советская литература и искусство призваны воссоздать в ярких художественных образах великое и героическое время строительства коммунизма, правдиво отобразить утверждение и победу новых, коммунистических отношений в нашей жизни. Художник должен уметь увидеть положительное, радоваться этому положительному, составляющему существо нашей действительности, поддержать его и в то же время, разумеется, не проходить мимо отрицательных явлений, мимо всего того, что мешает рождению нового в жизни.

Каждое, даже самое хорошее дело имеет свои теневые стороны. И самый красивый человек может иметь изъяны. Все дело в том, как подходить к жизненным явлениям и с каких позиций их оценивать. Как говорят, что ищешь, то и находишь. Непредубежденный человек, активно участвующий в созидательной деятельности народа, объективно видит и хорошее и отрицательное, в жизни, правильно понимает и верно

оценивает эти явления, активно выступает за утверждение передового, главного, того, что имеет решающее значение в общественном развитии.

Но тот, кто смотрит на нашу действительность с позиций постороннего наблюдателя, не может увидеть и воссоздать правдивой картины жизни. К сожалению, бывает так, что некоторые представители искусства судят о действительности только по запахам отхожих мест, изображают людей в нарочито уродливом виде, малюют свои картины мрачными красками, которые только и способны повергнуть людей в состояние уныния, тоски и безысходности, рисуют действительность сообразно своим предвзятым, извращенным, субъективистским представлениям о ней, по надуманным ими художочным схемам.

Прошлый раз мы видели тошнотворную стряпню Эрнста Неизвестного и возмущались тем, что этот человек, не лишенный, очевидно, задатков, окончивший советское высшее учебное заведение, платит народу такой черной неблагодарностью. Хорошо, что таких художников у нас немного, но, к сожалению, он все-таки не одинок среди работников искусства. Вы видели и некоторые другие изделия художников-абстракционистов. Мы осуждаем и будем осуждать подобные уродства открыто, со всей непримиримостью.

Товарищи! Наша партия считает советское киноискусство одним из самых важных художественных средств коммунистического воспитания народа. По силе воздействия на чувства и умы людей и по охвату широчайших масс народа ничто не может сравниться с киноискусством. Кино доступно людям всех слоев общества и, можно сказать, всех возрастов, от школьников до стариков. Оно проникает в самые отдаленные районы и селения.

Вот почему Центральный Комитет партии с таким вниманием и требовательностью подходит к вопросам развития советского киноискусства.

Мы видим и высоко оцениваем достижения в области художественной кинематографии. И, вместе с тем, считаем, что достигнутое не отвечает нашим задачам и тем возможностям, которыми располагают деятели киноискусства. Мы не можем быть равнодушными к идейной направленности киноискусства и художественному мастерству выпускаемых на экраны кинофильмов. В этом отношении дела в области кино обстоят далеко не так благополучно, как представляют себе многие киноработники.

Большое беспокойство вызывает то обстоятельство, что в кинотеатрах демонстрируется множество весьма посредственных кинокартин, убогих по содержанию и немощных по форме, которые раздражают или повергают зрителей в состояние сонливости, скуки и тоски.

Нам в предварительном порядке показали материалы к кинофильму с весьма обязывающим названием: «Застава Ильича». Картина ставится режиссером тов. М. Хуциевым на киностудии им. Горького, под художественным руководством известного кинорежиссера тов. С. Герасимова. Надо прямо сказать, что в этих материалах есть волнующие места. Но они по сути дела служат прикрытием истинного смысла картины, который состоит в утверждении неприемлемых, чуждых для советских людей идей и норм общественной и личной жизни. Поэтому мы выступаем решительно против такой трактовки большой и важной темы.

Об этом можно было бы и не говорить, так как работа над фильмом еще не закончена. Но поскольку в нашей печати и в некоторых публичных выступлениях литераторов и деятелей кино всячески расхваливаются «выдающиеся качества» этого фильма, необходимо высказать и наше мнение.

Название фильма «Застава Ильича» аллегорично. Ведь само слово застава означало раньше сторожевой отряд. Да и теперь этим словом

называются наши пограничные форпосты на рубежах страны. Видимо, надо полагать, что основные персонажи фильма и представляют собой передовые слои советской молодежи, которые непоколебимо стоят на страже завоеваний социалистической революции, заветов Ильича.

Но каждый, кто посмотрит такой фильм, скажет, что это неправда. Даже наиболее положительные из персонажей фильма — трое рабочих парней не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. И это в наше время развернутого строительства коммунизма, освещенное идеями Программы Коммунистической партии!

Разве такая молодежь сейчас вместе со своими отцами строит коммунизм под руководством партии! Разве с такими молодыми людьми может наш народ связать свои надежды на будущее, поверить в то, что они станут преемниками великих завоеваний старших поколений, которые совершили социалистическую революцию, построили социализм, с оружием в руках отстояли его в жестоких схватках с фашистскими ордами, создали материальные и духовные предпосылки для развернутого строительства коммунистического общества!

Нет, на таких людей общество не может положиться — они не борцы и не преобразователи мира. Это — морально хилые, состарившиеся в юности люди, лишённые высоких целей и призваний в жизни.

В картине обозначено намерение показать в отрицательном плане и раскритиковать встречающихся еще среди нашей молодежи бездельников и полуразложившихся типов, которые никого не любят и не уважают; старшим они не только не доверяют, но и ненавидят их. Они всем недовольны, на все брюзжат, все высмеивают и оплевывают, проводят свои дни в праздности, а вечера и ночи — на гулянках сомнительного свойства. Такие типы с высокомерным презрением говорят о труде. Жрет этакий шалопай хлеб насущный, да еще и глумится над теми, кто создает этот хлеб своим нелегким трудом.

Свое намерение осудить праздных людей, тунеядцев постановщики фильма не сумели осуществить. У них не хватило гражданского мужества и гнева заклеить, пригвоздить к позорному столбу подобных выродков и отщепенцев, они отделались лишь слабой пощечиной негодяю. Но таких подонков пощечиной не исправишь.

Постановщики картины ориентируют зрителя не на те слои молодежи. Наша советская молодежь в своей жизни, в труде и борьбе продолжает и умножает героические традиции предшествующих поколений, доказавших свою великую преданность идеям марксизма-ленинизма и в годы мирного строительства и на фронтах Отечественной войны. Хорошо показана наша молодежь в романе А. Фадеева «Молодая гвардия». И очень жаль, что С. Герасимов, ставивший фильм по этому роману, не посоветовал своему ученику М. Хуциеву показать в своей картине, как в нашей молодежи живут и развиваются замечательные традиции молодогвардейцев.

Я уже говорил вчера, что серьезные, принципиальные возражения вызывает эпизод встречи героя фильма с тенью своего отца, погибшего на войне. На вопрос сына о том, как жить, тень отца в свою очередь спрашивает сына — а сколько тебе лет? И когда сын отвечает, что ему двадцать три года, отец сообщает — а мне двадцать один... и исчезает. И вы хотите, чтобы мы поверили в правдивость такого эпизода? Никто не поверит! Все знают, что даже животные не бросают своих детенышей. Если щенка возьмут от собаки и бросят в воду, она сейчас же кинется его спасать, рискуя жизнью.

Можно ли представить, чтобы отец не ответил на вопрос сына и не помог ему советом, как найти правильный путь в жизни?

А сделано так неспроста. Тут заложен определенный смысл. Детям хотят внушить, что их отцы не могут быть учителями в их жизни и за советами к ним обращаться незачем. Молодежь сама без советов и помощи старших должна, по мнению постановщиков, решать, как ей жить.

Что же, здесь довольно ясно выражена позиция постановщиков кинофильма. Но не слишком ли вы хватили через край? Вы что, хотите восстановить молодежь против старших поколений, поссорить их друг с другом, внести разлад в дружную советскую семью, объединяющую и молодых и старых в совместной борьбе за коммунизм? Можем со всей ответственностью заявить таким людям — ничего у вас из этого не выйдет! (**Бурные аплодисменты**).

В наше время проблема отцов и детей не существует в таком виде, как во времена Тургенева, так как мы живем в совершенно другую историческую эпоху, которой присущи и другие отношения между людьми. В советском социалистическом обществе нет противоречий между поколениями, не существует проблемы «отцов и детей» в старом смысле. Она выдумана постановщиками фильма и искусственно раздувается не в лучших намерениях.

Так мы понимаем отношения людей в нашем обществе и хотим, чтобы эти отношения находили правдивое отображение в произведениях литературы, в пьесах, кинофильмах, музыке, живописи — во всех видах искусства. Кто этого еще не понимает, пусть задумается, а мы поможем им занять правильную позицию.

Позволительно спросить режиссера фильма товарища Хуциева и его шефа товарища Герасимова, как могла возникнуть у них идея такой картины?

Серьезные ошибки фильма очевидны. Казалось бы, что деятели кино, которые видели его, должны были откровенно и прямо сказать об этом режиссеру. А произошло вокруг картины нечто невероятное. Еще никто не видел фильма, а уже развернулась широкая рекламная кампания в международном масштабе, как о самом выдающемся «из ряда вон выходящем явлении в нашем искусстве». Зачем это нужно? Нельзя так поступать, товарищи, нельзя!

Партийность и народность — важнейший принцип нашего искусства

В последние годы в своем творчестве деятели литературы и искусства уделяют большое внимание тому периоду в жизни советского общества, который связан с культом личности Сталина. Все это вполне объяснимо и закономерно. Появились произведения, в которых правдиво с партийных позиций освещается советская действительность тех лет. Можно было бы привести, как пример, поэму А. Твардовского «За далью — даль», повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», некоторые стихи Е. Евтушенко, кинофильм Г. Чухрая «Чистое небо» и другие произведения.

Партия поддерживает подлинно правдивые художественные произведения, каких бы отрицательных сторон жизни они ни касались, если они помогают народу в его борьбе за новое общество, сплачивают и укрепляют его силы.

Все знают, какую важную роль играет сатира, в частности басни. Товарищ Михалков, например, часто выступает в этом жанре. Сатира — это как острая бритва; показать наросты человека и сразу, как хороший хирург, срезать их. Но оружием сатиры надо уметь хорошо пользоваться, как хирург пользуется своим ножом, с тем, чтобы срезать вредный

на рост и не повредить организм, не причинить ему вреда. Здесь нужно мастерство. Если не овладел этим мастерством, то не берись, потому что причинишь вред другим, да и себе руки обрежешь. Правильно поступают матери, когда не дают острых вещей детям, пока они не научатся пользоваться острыми вещами. **(Оживление в зале, аплодисменты).**

При всем этом мы считаем необходимым обратить внимание всех творческих работников на некоторые ошибочные мотивы и тенденции, сказывающиеся в произведениях отдельных авторов. Неверные тенденции состоят главным образом в том, что все внимание односторонне сосредоточивается на фактах беззакония, произвола, злоупотребления властью.

Действительно, годы культа личности оставили тяжелые последствия. Наша партия сказала об этом народу всю правду. Вместе с тем надо иметь в виду и помнить, что те годы не были периодом застоя в развитии советского общества, как представляют себе наши недруги. Под руководством Коммунистической партии, под знаменем идей и заветов великого Ленина наш народ успешно строил и построил социализм. Советский Союз усилиями партии и народа был превращен в могучее социалистическое государство, которое выдержало тяжелейшие военные испытания и победоносно закончило невиданные в истории сражения, полностью разгромив фашистские полчища. **(Бурные аплодисменты).**

Поэтому мы и говорим, что неправильно поступают те писатели, которые крайне односторонне подходят к оценке того этапа в жизни нашей страны, пытаются представить чуть ли не все события в мрачном свете, изобразить черными красками. Еще не перевелись литераторы, которые предпочитают черпать для себя материалы из мусорной ямы и хотят выдать такие произведения за правдивое освещение жизни народа. Сторонники этой точки зрения считают, что все произведения, в которых говорится о достижениях нашего народа, о положительном в жизни, являются «лакировочными» произведениями. С подобными утверждениями согласиться нельзя. Известно, что приукрашивание в некоторых произведениях было и партия высказала свое отрицательное отношение к этому явлению. Но ведь не все в тот период было плохо, народ и в тот период строительства социализма проявлял героизм, и поэтому нельзя все мазать дегтем.

Надо дать отпор любителям наклеивать ярлык «лакировщика» тем писателям и деятелям искусства, которые пишут о положительном в нашей жизни. А как же называть тогда тех, кто выискивает в жизни только плохое, изображает все в черных красках? Видимо, их следует называть дегтемазами. Хорошее в жизни должно быть достойно отражено в литературе и искусстве.

Надо, чтобы деятели литературы и искусства глубже изучали явления жизни и правильнее освещали их в своих произведениях. Каждый должен служить народу, нашему общему делу своим оружием. Я имею в виду каждого писателя, скульптора, композитора, деятеля кино и театра. И оружие каждого вида искусства должно быть направлено на пользу нашему народу с тем, чтобы разить врагов и прокладывать дорогу к светлому будущему — коммунистическому обществу.

Мы постоянно должны помнить об этом. Не надо звонких фраз. О каждом творческом работнике народ судит по тому, что он создал. Вот некоторые осуждают всех тех, кто писал произведения в то время, видя и положительные стороны нашей жизни. Не надо огульно охавать все, что было написано в то время. Скажут — это отход от XX и XXII съездов. Нет, это утверждение курса XX и XXII съездов! **(Бурные аплодисменты).**

Когда читаешь мемуары И. Г. Эренбурга, то обращаешь внимание на то, что он все изображает в мрачных тонах. Сам тов. Эренбург в период культа личности не подвергался гонениям или ограничениям. Новсем иначе сложилась судьба такого, например, писателя, как Галина Серебрякова, которая многие годы находилась в заключении. Но она, несмотря на это, сохранила бодрость духа, верность делу партии и сразу после реабилитации включилась в творческую жизнь, взялась за свое оружие и создает произведения, нужные народу и партии. (**Бурные аплодисменты**).

В стране были созданы могучие производительные силы, осуществлена культурная революция. Замечательные плоды этих выдающихся побед советского народа весь мир видит сегодня в могучей поступи нашей страны по пути к коммунизму, в великих открытиях науки и техники, в завоевании космоса. Наши победы сегодня нельзя рассматривать вне связи с достижениями экономики и культуры тех лет.

Теперь нередко ставят вопрос о том, почему при жизни Сталина не были вскрыты и пресечены нарушения законности и злоупотребления властью и можно ли было сделать это тогда? В партийных документах наша точка зрения по этому вопросу была не раз освещена во всей полноте и с достаточной ясностью. К сожалению, не перевелись еще такие люди, в том числе и среди работников искусства, которые пытаются осветить события в искаженном виде. Поэтому и сегодня нам приходится снова касаться вопроса о культе личности Сталина.

Спрашивается, знали ли руководящие кадры партии, скажем, об арестах людей тогда? Да, знали. Но знали ли они, что арестовывали ни в чем не повинных людей? Нет. Этого они не знали. Они верили Сталину и не допускали мысли, что могут быть применены репрессии против честных, преданных нашему делу людей.

Советское общество с первых дней Октябрьской революции и до окончательной ликвидации эксплуататорских классов внутри страны находилось в обстановке самой острой классовой борьбы. Классовые враги были разбиты в открытом бою гражданской войны, но физически они не были ликвидированы и не отказались от своих коварных замыслов вредить советскому строю. Они изменили формы борьбы и стали применять такие методы, как саботаж, вредительство, тайные убийства, террористические акты, мятежи.

Должна ли была революция защищать свои завоевания? Да, она должна была это делать и делала с первых дней со всей решительностью. Известно, что в первые месяцы Советской власти по декрету Владимира Ильича Ленина был создан такой грозный для врагов революции орган пролетарской диктатуры, как ВЧК по борьбе с контрреволюцией. Когда были раскрыты заговоры против революции, Сталин, как секретарь Центрального Комитета, проводил борьбу по очищению страны от заговорщиков и проводил под лозунгом борьбы с врагами народа. Ему верили в этом и поддерживали его. Иначе и не могло быть. Ведь в прошлом в истории нашей партии не раз были случаи предательства и измены делу революции, например, провокаторство Малиновского — члена большевистской фракции в Государственной думе.

Борьбу партии с врагами революции и социалистического строительства возглавлял тогда Сталин. Это укрепляло его авторитет. Всем был известен также вклад Сталина в революционную борьбу до Октябрьской революции, в ходе ее и в последующие годы социалистического строительства. Авторитет Сталина особенно возрос в период борьбы против антиленинских течений и оппозиционных группировок внутри партии, за укрепление рядов партии и Советской власти, против таких враждебных

ленинизму течений и оппозиционных групп внутри партии, как троцкисты, зиновьевцы, правые оппортунисты и буржуазные националисты.

После смерти В. И. Ленина партия провела дискуссию с троцкистами и зиновьевцами по коренным вопросам социалистического строительства и внутрипартийного положения. В этой дискуссии были вскрыты и разоблачены антиленинские враждебные социализму взгляды и действия Троцкого, Зиновьева и их приспешников, направленные на срыв ленинского курса строительства социализма в нашей стране в условиях капиталистического окружения.

Вслед за троцкистами против ленинского курса партии на индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства выступили правые оппортунисты во главе с Бухариным, Рыковым и Томским, взгляды которых, если бы они утвердились в жизни, неизбежно поставили бы экономику Советского Союза в зависимость от капиталистических стран, что могло бы привести к реставрации капитализма в нашей стране. Линия правых оппортунистов вела к тому, что наша страна оказалась бы безоружной в военном отношении перед лицом враждебного нам агрессивного капиталистического окружения.

Курс нашей партии на индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства был ленинским курсом, его поддерживала вся партия, все трудящиеся страны. Нам нужно было пройти за десять лет в экономическом развитии такой исторический путь, какой Западная Европа прошла за сто лет. В борьбе против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и буржуазных националистов Сталин в первые годы после смерти В. И. Ленина отстаивал ленинские позиции и сыграл в этом значительную роль. Поэтому партия и массы ему верили, его поддерживали.

Но Сталину были присущи крупные недостатки и ошибки, на которые в свое время Владимир Ильич Ленин обращал внимание партии.

Великий Ленин указывал на опасность того, что Сталин, сосредоточив в своих руках большую власть, не сумеет правильно пользоваться ею в силу своих крупных личных недостатков. Советуя заменить Сталина на посту генерального секретаря Центрального Комитета партии, Владимир Ильич вместе с тем считал, что на этот пост должен быть поставлен такой деятель, «который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.».

Владимир Ильич Ленин считал Сталина марксистом, видным деятелем нашей партии, преданным революции. Свои соображения В. И. Ленин изложил в письме очередному съезду партии, которое и было рассмотрено делегациями на XIII партийном съезде. Решая этот вопрос, партия исходила тогда из реального соотношения сил внутри ЦК и, учитывая положительные стороны Сталина, как деятеля, поверила его заверениям, что он сумеет преодолеть указанные Владимиром Ильичем недостатки. Сталин нарушил потом свое слово и злоупотребил доверием партии, что и привело к тем тяжелым последствиям, которые получили распространение в период культа личности.

Партия со всей непримиримостью осудила и осуждает допущенные Сталиным грубые нарушения ленинских норм партийной жизни, произвол и злоупотребление им властью, причинившие серьезный ущерб делу коммунизма. И при всем этом партия отдает должное заслугам Сталина перед партией и коммунистическим движением. Мы и сейчас считаем, что Сталин был предан коммунизму, он был марксистом, этого нельзя и не надо отрицать. Его вина в том, что он совершил грубые ошибки теоретического и политического характера, нарушал ленинские принципы госу-

дарственного и партийного руководства, злоупотреблял доверенной ему партией и народом властью.

Когда хоронили Сталина, то у многих, в том числе и у меня, были слезы на глазах. Это были искренние слезы. Хотя мы и знали о некоторых личных недостатках Сталина, но верили ему.

Чтобы яснее себе представить, как велики были вера в Сталина и его авторитет, я приведу такой пример. Многие помнят товарища Якира. Это был крупный военачальник и кристальной чистоты большевик, трагически, безвинно погибший в те годы. Приговоренный к смерти, он верил в то, что Сталин не причастен к этому, и перед расстрелом крикнул: «Да здравствует Сталин!». На допросах товарищ Якир заявлял следователям, что арест и обвинение против него провокация, что партия и Сталин введены в заблуждение, они разберутся во всем этом, разберутся в том, что такие люди, как он, гибнут в результате провокаций. И так думал не только товарищ Якир, но и многие другие, безвинно пострадавшие выдающиеся деятели партии и государства.

Сталин был в последние годы жизни глубоко больным человеком, страдающим подозрительностью, манией преследования. Партия широко рассказала народу о том, как были созданы Сталиным такие «дела», как «ленинградское дело», «дело врачей» и другие. Но ведь товарищи, таких «дел» было бы значительно больше, если бы все, кто работал рядом со Сталиным в тот период, соглашались с ним во всем. Как-то в одном из своих выступлений я рассказывал о том, как Сталин намеревался раздуть так называемое дело «о московском контрреволюционном центре». Но, как известно, ему не стали поддакивать, и кадры московской партийной организации не подверглись новым массовым репрессиям.

Известно также, что Сталин намеревался истребить значительную часть творческой интеллигенции Советской Украины. Видимо, по наущению Берия и Кагановича он заподозрил, что среди творческой интеллигенции в послевоенной Советской Украине зреют какие-то националистические тенденции, настроения, и он стал подталкивать события в том направлении, чтобы расправиться с виднейшими писателями и деятелями искусства Украины. Если бы украинские большевики поддались тогда настроениям Сталина, то, видимо, украинская интеллигенция понесла бы большие потери, и, вероятно, было бы создано «дело» об украинских националистах.

Зная болезненную мнительность и подозрительность Сталина, разведки империалистических стран «подбрасывали» такие дела и такие «документы», которые выглядели весьма правдоподобно и создавали полную уверенность в том, что в нашей стране против Советской власти, против Советского государства действовали группы военных спецов, плелись заговоры различных преступных группировок.

Любители мемуарной литературы частенько как бы из зарубежного далека описывают события того времени, причем описывают такие события, которые были действительно далеки от них и по существу и по тем последствиям, которые вызывались этими событиями.

Но есть у нас такие товарищи и очень известные писатели, деятели искусства, которые, можно сказать, на своей шее испытали действия сталинского произвола и которые даже в те исключительно тяжелые времена не мирились с такими явлениями, протестовали и обращались непосредственно к Сталину с откровенными заявлениями.

Наш уважаемый Михаил Александрович Шолохов весной 1933 года поднял свой голос протеста против того произвола, который творился в то время на Дону. Недавно в архивах были обнаружены два письма Михаила Александровича к Сталину и ответы Сталина на эти письма. Нельзя без волнения читать правдивые, написанные кровью сердца шолохов-

ские слова о возмутительных действиях людей, которые творили преступные дела в Вешенском и других районах Дона.

Михаил Александрович писал Сталину в своем письме от 16 апреля 1933 года: «Примеры эти можно бесконечно умножить. **Это — не отдельные случаи загибов, это — узаконенный в районном масштабе «метод»** проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти «методы» на себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про это в газету».

Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко «В успокоенной деревне»? Так вот этакое «исчезновение» было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей изощренностью».

Шолохов далее просил Сталина присмотреться к тому, что происходит в районах. «Расследовать надо не только дела тех, кто издевался над колхозниками и над Советской властью, но и дела тех, чья рука их направляла».

«Если все, описанное мною, заслуживает внимания ЦК — пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачать всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это».

Можно было бы привести и другие выдержки из письма тов. Шолохова, прямого, открытого и смелого письма, которое, между прочим, не опубликовано ни в его сочинениях, ни в его воспоминаниях.

Но я хочу остановиться на другом — что же ответил Сталин на письма писателя Шолохова? Он написал Михаилу Александровичу о том, что «Ваши письма производят несколько однобокое впечатление». В письме Сталина говорится:

«Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-совет. работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я **во всем** согласен с Вами. Вы видите **одну** сторону, видите неплохо. Но это только **одна** сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма — не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и **другую** сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов...»

Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками, — писал далее Сталин. — И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали».

Вот, видите, оказывается, писатель Михаил Александрович Шолохов, который сигнализировал Сталину о вопиющих беззакониях, видел события так, «как это могло бы показаться издали». И это говорилось писателю, который был в гуще народа и создал лучшую, правдивую

партийную книгу о коллективизации — «Поднятая целина». (**Продолжительные аплодисменты**).

Как настоящий писатель-большевик, М. Шолохов не мирился с вопиющей несправедливостью, он восставал против творившихся в то время беззаконий, но Сталин оставался глухим к этим шолоховским сигналам, как и к многочисленным подобным сигналам других мужественных коммунистов.

О злоупотреблениях Сталиным властью и фактах произвола, которые совершал он, мы узнали только после его смерти и разоблачения Берия — этого матерого врага партии и народа, шпиона и гнусного провокатора.

Надо иметь в виду, что Берия, этот мерзкий человек, не считавший даже нужным скрывать своей радости у гроба Сталина, бешено рвался к власти, к лидерству в партии. И такая опасность реально существовала в то время. Это таило в себе большую угрозу завоеваниям Октябрьской революции, делу коммунистического строительства в нашей стране и для успехов международного коммунистического движения.

Берия с первых же дней после смерти Сталина начал предпринимать шаги, дезорганизуя работу партии и направленные на подрыв дружественных отношений Советского Союза с братскими странами социалистического лагеря. Вместе с Маленковым, например, они выступали с провокационным предложением ликвидировать Германскую Демократическую Республику как социалистическое государство, рекомендовать Социалистической единой партии Германии отказаться от лозунга борьбы за построение социализма. Тогда же Центральный Комитет партии с негодованием отверг эти изменнические предложения и дал сокрушительный отпор провокаторам.

Принятые Центральным Комитетом меры оградили партию и страну от подлых замыслов Берия, этого матерого агента империалистов.

Товарищи, обо всем этом надо хорошо помнить, уметь глубоко разбираться в исторических событиях каждому, кто создает произведения о жизни советского общества, о его настоящем и прошлом. Советский народ прошел большой и славный путь от разрушения старого, буржуазного мира до построения нового, социалистического общества, окончательно победившего в нашей стране. (**Продолжительные аплодисменты**).

Этот путь был нелегким; в борьбе за победу социализма наш народ героически преодолевал все трудности и лишения, которые перед ним возникали. В преодолении трудностей формировался характер советского человека, человека нового общества, борца за революционное преобразование мира. Высокая ленинская идейность, непреклонная воля, решимость на самопожертвование во имя торжества коммунистических идеалов — замечательные черты облика поколений советских людей, воспитанных Коммунистической партией. Советским людям чужды скептицизм, безволие и расслабленность, пессимизм и нигилистическое отношение к действительности.

Удивление вызывает, когда в иных произведениях литературы, кинофильмах и спектаклях всячески расписываются унылые и тоскливые переживания людей по поводу трудностей в их жизни. Так изображать картины жизни могут только люди, которые сами не участвуют в созидательной деятельности народа, не увлечены поэзией его труда и смотрят на все со стороны. По личному опыту могу сказать, как участник событий в те годы, которые изображаются иногда в мрачных красках и серых тонах, что это были счастливые, радостные годы, годы борьбы и побед, торжества коммунистических идей. (**Продолжительные аплодисменты**).

Недавно тов. Вальтер Ульбрихт показал нам документальный кинофильм «Русское чудо», созданный немецкими киноработниками Аннэли и Андре Торндайк. Это — замечательный фильм. Когда мы смотрели его, то перед нами проходили правдивые картины из жизни нашей страны. Когда мы смотрели на это, то в массе участников гражданской войны я как бы видел себя, такими были бойцы Красной Армии тех дней. Фильм сделан на наших документальных материалах. Как говорится, дай бог, чтобы наши киноработники создавали побольше таких хороших, правдивых фильмов. Фильм «Русское чудо» показывает наш вчерашний день в сопоставлении с сегодняшним днем. Смотришь этот фильм и думаешь — вот как шагнула вперед наша страна! (**Аплодисменты**).

И мы хотели бы посоветовать нашим молодым людям: учитесь на истории революции, на истории борьбы, участниками которой были ваши отцы и матери, и свято храните память о тех, которых уже нет, и с уважением относитесь к тем, которые живут, и берите от них на вооружение в свои руки все, чтобы вы были достойными людьми, достойными продолжателями дела своих отцов. (**Бурные аплодисменты**). Если вы достоинство не сохраните, на вас позор ляжет.

Мы глубоко верим в наш народ, в его силу, в его творческий революционный дух. Мы верим, что наша творческая молодежь будет продолжать дело своих отцов, идти всегда в ногу с народом.

Боец, одухотворенный высоким стремлением к победе, не замечает трудностей походов и сражений, как бы они тяжелы ни были. Он отдает свою жизнь за идею, потому что в момент самой острой борьбы идея становится для него выше любых трудностей, превышает все.

Оценка жизненных явлений и исторических событий человеком зависит от того, на каких идейных позициях он сам стоял и стоит в своем отношении к этим явлениям и событиям. Есть книги о нашей революции и о социалистическом строительстве, написанные людьми, наблюдавшими революцию и преобразовательную деятельность народа, «как бы из чердачных окон».

О революции, о жизни и делах советского народа писали книги и такие люди, которых революция выбила из насиженных теплых гнезд, которые не поняли и не приняли революцию. Волны событий бросали их из края в край — из Москвы в Крым, из Крыма в Тбилиси, а оттуда по всему свету. В повестях, романах и мемуарах они копаются в своих переживаниях по поводу трудностей, свалившихся на них и им подобных, о том, как им приходилось питаться тухлой рыбой и тому подобным. Наши советские люди тогда побеждали врагов, будучи плохо одетыми и полуголодными, не имея подчас и тухлой рыбы, но они не ныли и не стонали, а стойко сражались, самоотверженно отстаивали завоевания революции. (**Бурные аплодисменты**).

Наша партия всегда стояла за партийность в литературе и в искусстве. Она приветствует всех — и старых, и молодых деятелей литературы и искусства, партийных и непартийных, но твердо стоящих на позициях коммунистической идейности в вопросах художественного творчества. Они — опора партии, ее верные солдаты. (**Аплодисменты**).

Мы их поддерживаем и будем поддерживать, заботимся и будем заботиться о том, чтобы росли и крепили наши творческие силы, сплывались в единую, боевую семью революционных художников, последовательно отстаивающих в своем творчестве победоносные идеи марксизма-ленинизма, непримиримых ко всему гнилому, чуждому, враждебному откуда бы оно ни проникало. (**Аплодисменты**).

Здесь выступал поэт Р. Рождественский. Он полемизировал со стихотворением Н. Грибачева «Нет, мальчики!..» В выступлении тов. Рож-

дественского сквозила мысль о том, что будто бы только группа молодых литераторов выражает настроения всей нашей молодежи, что они являются наставниками молодежи. Это совсем не так. Наша советская молодежь воспитана партией, она идет за партией, видит в ней своего воспитателя и вождя. **(Бурные аплодисменты).**

Молодому поэту Р. Рождественскому я хотел бы поставить в пример поэта-солдата, у которого меткий глаз и который точно, без промаха бьет по идейным врагам, поэта-коммуниста Н. Грибачева. **(Аплодисменты).** Мы живем в период острой идейной борьбы, в период борьбы за умы, за перевоспитание людей. Это сложный процесс, значительно более трудный, чем переделка станков и заводов. Вы — деятели литературы и искусства, — образно говоря, — кузнецы по перековке психологии людей. Вы владеете сильным оружием, и это ваше оружие всегда должно действовать в интересах народа. **(Аплодисменты).**

Если говорить строго, беспартийности, собственно, и нет в обществе. И тот, кто афиширует свою беспартийность, делает это для того, чтобы прикрыть свое несогласие со взглядами и идеями партии, чтобы вербовать себе сторонников. В истории не раз бывало, когда самые отъявленные реакционеры и контрреволюционеры выступали под лозунгом беспартийности и только потом вскрывалась их буржуазная партийность.

Таких примеров немало можно привести из истории борьбы рабочего класса и трудового крестьянства нашей страны за укрепление Советской власти. На разных этапах, в разные периоды враги рабочих и крестьян по-разному применяли средства борьбы против коммунистов, против строительства социализма, прикрываясь беспартийностью.

В первые годы Советской власти эсеры, анархисты, меньшевики, кадеты и прочая нечисть, выражая волю эксплуататоров и интервентов, агентурой и слугами которых они были, открыто и прямо выступали против революции, против Ленина, против власти рабочих и крестьян.

В годы гражданской войны в лагере врагов рабочего класса и крестьянства находились капиталисты и помещики в союзе с иностранными интервентами. Все меньшевистское, эсеровское, анархистское отребье пошло в услужение контрреволюции, стало ее челядью.

В огне ожесточенных боев с контрреволюцией и интервенцией трудящиеся нашей страны проходили школу политического воспитания, на своих спинах познавали политграмоту и решали, за кем им идти, чью сторону держать, становились большевиками.

Это очень хорошо и убедительно показано в повести Д. Фурманова и кинофильме «Чапаев», в романе А. Серафимовича «Железный поток», в романе А. Фадеева «Разгром», в романе Н. Островского «Как закалялась сталь» и в других художественных произведениях наших советских революционных писателей. Их произведения, проникнутые идеями партийности, и сейчас играют большую роль, являются оружием нашей партии в ее идеологической работе. Не случайно на Кубе и в ряде других стран, борющихся за свою свободу и независимость, книга «Как закалялась сталь» пользуется большой популярностью.

По мере того, как идеи Ленина все более и более овладевали умами рабочих и крестьян, укреплялось влияние коммунистов в народе, возрастал авторитет Советской власти, враги революции предприняли попытку оттеснить большевиков и захватить Советы в свои руки, они выбросили лозунг: «Советы без коммунистов».

Что такое Советы без коммунистов? Это лишенная революционного содержания пустая форма. Контрреволюционеры хорошо это понимали и, выдвигая лозунг «Советы без коммунистов», рассчитывали превратить их из органов революционной власти в проводников своего влияния на

массы, использовать авторитет Советов для осуществления своих антинародных замыслов.

Дело не в том, как называется та или иная организация, а в том, какую политику она проводит, интересы какого класса защищает.

Во Франции, например, давно существуют коммуны. Как видите, эти органы управления названы по-революционному, а сущность их капиталистическая и защищают они интересы монополистов. Революционное слово «коммуна» совсем не пугает французскую буржуазию, потому что этим словом называются ее органы управления.

Сколько сейчас имеется буржуазных деятелей различных стран, которые прикрывают свою буржуазную политику социалистической фразеологией. Они вещают о строительстве социализма и в то же время сажают коммунистов в тюрьмы, казнят их, загоняют в подполье коммунистические партии и говорят, что борются за социализм. Это они делают потому, что идеи социализма становятся все более популярными в народных массах всех стран, проникают в их сознание.

Пример народов Советского Союза служит для народов революционным маяком. Именно поэтому буржуазные деятели, особенно представители левой буржуазии, широко используют лозунг строительства социализма для обмана трудящихся.

Мы против мирного сосуществования в области идеологии

Исторический опыт учит, что в политической, идеологической борьбе нельзя доверяться словам и декларациям, надо уметь распознавать, кем и во имя чего они выдвигаются. А для этого необходимо прежде всего быть марксистом-ленинцем, убежденным коммунистом, посвятившим свою жизнь, свой талант борьбе за счастье людей труда на земле.

Нельзя, считая себя борцом за интересы трудового народа, стоять на перепутье между борющимися сторонами, «добру и злу внимая равнодушно».

В классовую борьбу вовлекаются все слои общества, она вносит раскол даже в семьи. Бывает и так, что члены одной и той же семьи стоят друг против друга на разных сторонах баррикад.

Есть категория людей, которые объясняют свое неучастие в революции, так сказать, «гуманными» соображениями; они, видите ли, не могут поднять руку на себе подобных. А кто же убивает людей, как не себе подобные?

Революции свершаются общественными классами. Революция рабочих и крестьян за свержение капиталистического класса есть самое гуманное, самое человеческое дело. Участие в такой революции на стороне рабочих и крестьян есть самое высшее проявление гуманизма. Без свержения строя эксплуататоров невозможно освобождение трудящихся и создание для них счастливой жизни. Разве трудно понять, что те, кто не участвует в борьбе на стороне трудящихся, по сути дела помогают буржуазии. Кто не идет вместе с рабочими и крестьянами, тот неизбежно идет против них. Это надо хорошо понимать, товарищи! **(Аплодисменты)**.

Встречались и сейчас встречаются и такие люди, которые заявляют, что они приемлют идею коммунизма и даже иногда ратуют за нее, но активного участия в борьбе не принимают, болтаются под ногами борющихся, путаются сами и запутывают других.

Революция не добренькие пожелания, это суровая и острая борьба. За революцию надо бороться не только в ходе ее свершения, но и в пе-

риод укрепления ее завоеваний вплоть до построения коммунизма. Здесь мало одних рефератов, лекций, докладов, необходимо участие и в перестрелке, когда этого требуют обстоятельства.

Коллеблющиеся люди в сложных условиях борьбы классов, иногда не желая того сами, попадают в незавидное положение. Напомню такой случай, который произошел с А. В. Луначарским. Испугавшись, что стрельба вооруженных рабочих по врагу может задеть исторические памятники и причинить им вред, он пришел к В. И. Ленину с возражениями и даже угрожал выходом из состава Советского правительства. Владимир Ильич высмеял это обывательское представление о революции. Потом Луначарский это и сам понял.

В этой связи мне хотелось бы сказать несколько слов о товарище Эренбурге. Было время, когда товарищ Эренбург приезжал к В. И. Ленину в Париж и был сочувственно им принят, как он сам об этом пишет. Даже в партию вступал товарищ Эренбург, а затем отошел от нее. Непосредственного участия в социалистической революции он не принимал, занимая, видимо, позицию постороннего наблюдателя. Думается, не будет искажена правда, если сказать, что с таких же позиций товарищ Эренбург оценивает нашу революцию и весь последующий период социалистического строительства в своих мемуарах: «Люди, годы, жизнь».

Высший долг советского писателя, художника, композитора, каждого творческого работника быть в рядах строителей коммунизма, служить своим талантом великому делу нашей партии, бороться за торжество идей марксизма-ленинизма. Надо помнить о том, что в мире идет острая борьба двух непримиримых идеологий — социалистической и буржуазной.

Задача художника — активно содействовать своими произведениями утверждению коммунистических идей, наносить сокрушительные удары по врагам социализма и коммунизма, бороться против империалистов, колонизаторов.

Замечательным примером патриотического, партийного понимания задач художника является творчество нашего выдающегося писателя Михаила Александровича Шолохова. Возьмем его романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина», рассказ «Судьба человека», главы из романа «Они сражались за Родину». Это — высокохудожественные произведения огромной силы, революционного пафоса, проникнутые коммунистической партийностью и духом классовой борьбы рабочих и крестьян нашей страны за победу революции и социализма. Товарищ Шолохов сам активно участвовал в борьбе во время гражданской войны, в период ликвидации кулачества, как последнего эксплуататорского класса, и в годы Отечественной войны против фашистских захватчиков. Он участвовал в этих боях не как наблюдатель, а как воин, и в мирное время он остается таким же бойцом за счастье трудящихся. **(Бурные аплодисменты).**

Михаил Александрович Шолохов обладает огромным даром глубокого понимания существа общественных явлений и событий, хорошо видеть друзей, распознавать врагов и талантливо, с партийных позиций изображать впечатляющие картины реальной жизни. С большой любовью он воссоздает в своих произведениях образы коммунистов, людей труда!

С непримиримой классовой ненавистью он разоблачает и разит врагов нашего общественного строя. С какой яркостью и убедительностью рисует он картины боевых схваток! Уж если сходятся в рубке, то так скрещивают сабли, что искры летят, рубятся за правду народную, и она побеждает.

На примере творчества Михаила Александровича Шолохова все видят, что коммунистическая партийность писателя не только не связывает проявлений его художественной индивидуальности, а, напротив, активно способствует расцвету таланта и подымает его произведения до уровня самого высокого общественного значения.

Мы стоим на классовых позициях в искусстве и решительно выступаем против мирного сосуществования социалистической и буржуазной идеологий. Искусство относится к сфере идеологии. И те, кто думает, что в советском искусстве могут мирно ужиться и социалистический реализм, и формалистические, абстракционистские течения, те неизбежно сползают на чуждые нам позиции мирного сосуществования в области идеологии. С такими настроениями мы столкнулись в последнее время. На эту удочку, к сожалению, попались некоторые коммунисты — писатели и художники и даже некоторые руководящие деятели творческих организаций. Вместе с тем следует отметить, что такие беспартийные, как, например, тов. Л. Соболев, стойко защищают партийную линию в литературе и искусстве.

Прошлый раз тов. И. Эренбург говорил, что идея сосуществования высказана в письме в виде шутки. Допустим, что так. Но тогда это — злая шутка. В области идеологии так шутить нельзя. Давайте разберемся, что бы на самом деле произошло в советском искусстве, если бы верх захватили сторонники мирного сосуществования различных идейных направлений в литературе и искусстве. Как первый шаг, был бы нанесен удар по нашим революционным завоеваниям в области социалистического искусства. По логике борьбы дело на этом вряд ли бы кончилось. Не исключено, что эти люди, накопив силы, предприняли бы попытки выступления против революционных завоеваний.

Мне уже приходилось говорить, что мирное сосуществование в области идеологии есть измена марксизму-ленинизму, предательство дела рабочих и крестьян. Советское общество находится сейчас на таком этапе, когда достигнуто полное, монолитное единство всех социалистических наций страны, всех слоев народа — рабочих, колхозников, интеллигенции, успешно строящих коммунизм под руководством ленинской партии.

Наш народ и партия не потерпят никаких посягательств на это монолитное единство. Одним из проявлений такого посягательства является попытка навязать нам мирное сосуществование идеологий. Вот почему мы направляем огонь и против этих тлетворных идей, и против их носителей. И в этом, надеюсь, все мы едины. **(Продолжительные аплодисменты).**

А тех, кто еще заблуждается, мы призываем задуматься, разобраться в своих ошибках, понять их природу и истоки, преодолеть свои заблуждения и вместе с партией, в общем строю, под красным знаменем марксизма-ленинизма активно участвовать в строительстве коммунизма, умножать успехи социалистической культуры, литературы и искусства.

Абстракционизм, формализм, за право существования которого в социалистическом искусстве ратуют отдельные его поборники, есть одна из форм буржуазной идеологии. Приходится сожалеть, что этого не понимают некоторые, в том числе и умудренные житейским опытом, творческие работники.

В мемуарах товарища Эренбурга есть такое место. Привожу его: «Было множество литературных школ: комфуты, имажинисты, пролеткультовцы, экспрессионисты, фуисты, беспредметники, презентисты, акцидентисты и даже ничевоки. Конечно, немало глупостей несли иные теоретики... Но мне хочется защитить то далекое время».

Как видно, автор мемуаров с большой симпатией относится к пред-

ставителям так называемого «левого» искусства и ставит перед собой задачу защитить это искусство. Спрашивается — от кого защищать? Видимо, от нашей марксистско-ленинской критики. Ради чего это делается? Очевидно, для того, чтобы отстоять возможность существования таких или им подобных явлений в нашем современном искусстве. Это означало бы признать сосуществование социалистического реализма и формализма. Товарищ Эренбург совершает грубую идеологическую ошибку, и наша обязанность помочь ему это понять.

На нашей встрече в прошлый раз в защиту абстракционизма выступил товарищ Евтушенко. Он пытался обосновать эту свою позицию тем, что хорошие люди бывают и среди реалистов и среди формалистов, сославшись при этом на пример из жизни двух кубинских художников, которые резко расходились во взглядах на искусство, а погибли затем в одном окопе, сражаясь за революцию. Такой факт в жизни мог быть, как частный случай.

Можно привести пример совершенно противоположного характера. После гражданской войны в городе Артемовске, на Украине, был построен уродливый формалистический памятник, автором которого был скульптор кубист Кавалеридзе. Это было ужасное зрелище, а кубисты им восторгались (в годы войны памятник разрушен). Автор формалистического памятника, оставаясь на территории, оккупированной фашистами, вел себя недостойным образом. Так что приведенный тов. Евтушенко пример не может служить серьезным аргументом в пользу его взглядов.

Позиция тов. Евтушенко в отношении к абстракционизму по сути дела совпадает со взглядами, которые защищает тов. Эренбург. Поэт, человек еще молодой, многого не понимает, видимо, в политике нашей партии, допускает шатания, неустойчивость взглядов по вопросам искусства. Но его выступление на заседании Идеологической комиссии внушает уверенность, что он сумеет преодолеть свои колебания. Мне хотелось бы посоветовать тов. Евтушенко и другим молодым литераторам дорожить доверием масс, не искать дешевой сенсации, не подлаживаться к настроениям и вкусам обывателей. **(Продолжительные аплодисменты)**. Не стыдитесь, тов. Евтушенко, признавать свои ошибки. Не бойтесь того, что будут говорить о вас недруги. Вам надо ясно осознать, что если мы вас критикуем за отход от принципиальных позиций, то противники начинают вас хвалить. Если противники нашего дела начинают вас восхвалять за угодные им произведения, то народ справедливо вас будет критиковать. Так выбирайте, что для вас лучше подходит. **(Аплодисменты)**.

Коммунистическая партия борется и будет бороться против абстракционизма и любых других формалистических извращений в искусстве. Мы не можем быть нейтральными в отношении к формализму. Когда я был в Америке, мне подарили какие-то художники — я не знаю, известные они или неизвестные, — картины. Вчера я показывал вам эту мазню. Видимо, эти люди не являются моими врагами, иначе они не преподнесли бы мне плоды своего труда. Но я и при этом условии не могу признать, что преподнесенный мне подарок есть высший шедевр или вообще шедевр изобразительного искусства.

Скажите, что здесь изображено? Говорят, что нарисован вид с моста на город. Как ни смотри, ничего не увидишь, кроме полосок разного цвета. И эта мазня называется картиной!

Еще один такой «шедевр». Видны четыре глаза, а может быть, их и больше. Говорят, что здесь изображен ужас, страх. До какого уродства доводят искусство абстракционисты! Это образцы американской живописи.

А вот несколько случаев из области нашего архитектурного искусства. В Москве, в Сокольниках, существует клуб имени Русакова, построенный по проекту архитектора товарища Мельникова. Это уродливое неудобное сооружение, похожее на всех чертей. **(Оживление в зале)**. Но в свое время оно преподносилось как прогрессивное новшество.

Образцом неразумного увлечения формой в архитектуре служит и театр Советской Армии в Москве, сооруженный по проекту архитекторов Алабяна и Симбирцева. Архитекторам была навязана Кагановичем глупая идея построить театр в виде пятиконечной звезды. Одно дело пятиконечная звезда как символ, как эмблема, а другое — сооружение в виде звезды здания практического назначения. Сколько там ненужных углов, бесполезной площади!

Театр Советской Армии, видимо, самое неразумно построенное здание. Дело обстояло так: Каганович доложил свою идею Сталину, она ему понравилась, и было решено сооружать здание в виде пятиконечной звезды. Никто этой звезды не видит и не увидит: на нее надо с неба глядеть. **(Смех в зале)**. Глупая идея, дань незрелости представлений о красивом и разумном в искусстве и в жизни.

Уму непостижимо, зачем, во имя чего разумные образованные люди иродствуют, кривляются, выдают за произведение искусства самые несуразные поделки. А окружающая их жизнь полна естественной, волнующей красоты.

В канун Нового года я возвращался в Москву из-за города. Весь день 31 декабря с самого утра я провел в лесу. Это был поэтический день, красивейший день русской зимы, именно русской зимы, потому что не везде такие зимы, как у нас в России. Это, конечно, не национальное, а климатическое, природное явление, так что прошу правильно меня понять. **(Смех в зале. Аплодисменты)**.

Очень красив был лес в тот день. Красота его заключалась в том, что лес был покрыт пушистым инеем. Помню, в юности я читал какой-то рассказ в журнале «Огонек». Не припомню автора этого рассказа, в нем были такие слова: «милые серебряные тени». Автор описывал сад в зимнем убранстве. Рассказ был, видимо, хорошо написан, а может быть, тогда у меня была более низкая требовательность к литературе. Но мне понравился рассказ, и сейчас хорошо сохранилось в памяти впечатление от него. Особенно мне понравилось описание деревьев в зимнем убранстве.

Сильное впечатление произвел на меня зимний лес накануне Нового года, так он был прекрасен. Может быть, тени и не были серебряными, у меня не хватает слов, чтобы выразить то глубокое впечатление, которое произвел на меня лес. Я наблюдал восход солнца, лес, покрытый инеем. Красоту эту могут понять только те, которые бывали в лесу и сами видели такие живые картины. Преимущество художника в том и состоит, что он может сам воссоздавать волнующие картины, но таким даром не каждый обладает.

Я сказал моим спутникам: вы посмотрите на эти ели, на их убранство, на эти снежинки, которые играли и блестели в солнечных лучах, как это удивительно красиво! А вот модернисты, абстракционисты хотят эти ели вверх корнями рисовать и говорят, что это новое, прогрессивно в искусстве.

Невозможно, чтобы такое искусство когда-нибудь могло получить признание нормальных людей, чтобы люди были лишены возможности любоваться живописными картинами природы, воспроизведенными в творениях художников, украшающих залы наших клубов, домов культуры, жилищ.

Может быть, некоторые скажут, что Хрущев призывает к фотографизму, натурализму в искусстве. Нет, товарищи! Мы зовем к яркому художественному творчеству, правдиво отображающему реальный мир во всем многообразии его красок. Только такое искусство будет приносить людям радость и наслаждение. Человек никогда не утратит способности художественного дара и не допустит, чтобы ему под видом произведений искусства преподносили грязную мазню, которую может намалевать любой осел своим хвостом. **(Аплодисменты).**

Нет сомнения, что народ найдет в себе силы дать отпор такого рода «новаторам». И те из них, кто не потерял рассудка, одумаются и станут на путь служения народу, создадут художественные полотна, полные радости, зовущие к труду.

Непонятно, почему сторонники формализма, абстракционизма называют тех работников искусства, которые стоят на позициях социалистического реализма, консерваторами, а абстракционистов считают представителями передового в искусстве. Есть ли основания для этого? Думаю, что никаких оснований для этого нет, да и не может быть, так как формализм и абстракционистские выверты чужды и непонятны народу. А все, что чуждо народу, не поддерживается им, конечно, не может быть передовым!

Недавно художник А. И. Лактионов выступил со статьей в «Правде», в которой выразил свое непримиримое отношение к абстракционистскому искусству. Абстракционисты и их покровители обругали эту статью за то, что будто бы она посвящена консервативному направлению в искусстве. И живопись тов. Лактионова третируется этими людьми, как натуралистическая.

Давайте сравним два произведения живописи — автопортрет А. Лактионова и автопортрет Б. Жутовского. Как бы иные ни думали и что бы они ни говорили по этому поводу, но для всякого здравомыслящего человека, обладающего неиспорченными вкусами, ясно, что картина художника Лактионова привлекает своей человечностью и вызывает уважение к человеку. Смотришь на него, любишься им и радуешься за человека.

А кого изобразил Б. Жутовский? Урода! Посмотрев на его автопортрет, напугаться можно. Как только не стыдно человеку тратить свои силы на такое безобразие! Как же так, человек закончил советскую среднюю школу, институт, на него затрачены народные деньги, он ест народный хлеб. А чем же он отплачивает народу, рабочим и крестьянам за те средства, которые они затратили на его образование, за те блага, которые они дают ему сейчас, — вот таким автопортретом, этой мерзостью и жутью? Противно смотреть на такую грязную мазню и противно слушать тех, кто ее защищает.

Каким бы бранным словом ни называли творчество художников, стоящих на позициях социалистического реализма, и как бы ни славили абстракционистам и всяким другим формалистам, все здравомыслящие люди отчетливо понимают, что в первом случае мы имеем дело с действительными художниками, с подлинным искусством, а во втором — с людьми извращенными, у которых, как говорится, мозги набекрень, с неприличной халтурой, оскорбляющей чувства людей. **(Аплодисменты).**

Советское общество отбрасывает все мертворожденное в искусстве, как всякий живой организм отбрасывает отжившие, омертвевшие клетки.

Большое и важное место в духовной жизни нашего народа, в идеологической работе принадлежит музыке. В связи с этим представляется необходимым высказать некоторые соображения о направленности му-

зыкального творчества. Мы не хотим быть какими-то судьями или стоять у пюльта и дирижировать композиторами.

В музыке, как и в других видах искусства, много разных жанров, стилей, форм. Никто никакого запрета не накладывает ни на один из этих стилей и жанров. Но мы хотим все-таки изложить свое отношение к музыке, к ее задачам и направленности в музыкальном творчестве.

Если сказать кратко, то мы стоим за музыку мелодичную, содержательную, волнующую души людей, рождающую сильные чувства, и выступаем против всякой какофонии.

Кто не знает песен об армии Буденного! Много хороших песен написали композиторы — братья Покрасс. Мне очень нравится их песня о Москве, написанная, признаюсь, по нашему заказу, когда я был секретарем Московского комитета партии. Помню, мы собрались в Московском комитете и один из них сыграл нам эту песню в первый раз. Певец он неважный, но музыку братья Покрасс написали хорошую.

А как волнуют старые революционные песни, такие, как «Замучен тяжелой неволей», «Варшавянка»! Кто не знает «Интернационал»? Сколько лет мы поем эту песню, она стала международным гимном рабочего класса. Какие революционные мысли и чувства она пробуждает, поднимает человека, мобилизует его против врагов трудящихся!

Когда я слушаю музыку Глинки, у меня всегда на глазах появляются слезы радости.

Может быть, это не модно, старорежимно, а я человек по возрасту уже не молодой, но мне нравится, когда Давид Ойстрах играет на скрипке; очень нравится мне также, когда выступает коллектив скрипачей Большого театра, я не знаю, как этот коллектив называется на профессиональном языке. Много раз слушал я его выступления и всегда испытывал большое удовольствие.

Конечно, я не претендую на то, чтобы мое восприятие музыки стало какой-то нормой для всех. Но ведь не можем мы потакать тому, кто какофонию звуков выдает за подлинную музыку, а любимая народом музыка третируется некоторыми людьми, как устаревшая.

Каждый народ имеет свои традиции в музыке и любит свои национальные, народные мелодии и песни. Я родился в русской деревне, воспитан на русской и украинской народной музыке, на ее мелодиях и народных песнях. Мне доставляет большое удовольствие слушать песни Соловьева-Седого, песню композитора Колмановского на слова поэта Евтушенко «Хотят ли русские войны». Очень нравятся мне и украинские песни; люблю песню «Рушничок», написанную композитором П. Майборода на слова Андрея Малышко. Слушаешь ее и еще хочется слушать эту песню. Много у нас хороших композиторов, и много написано ими хороших песен, но мне, как вы понимаете, невозможно всех их перечислить в своем выступлении.

В музыкальном творчестве есть и серьезные недостатки. Нельзя считать нормальным наметившееся увлечение джазовой музыкой и джазами. Не следует думать, что мы противники любой музыки для джазов, разные бывают джазы и разная бывает музыка для них. Дунаевский умел писать и для джазов хорошую музыку. Нравятся мне некоторые песни в исполнении джаза под управлением Леонида Утесова. Но бывает и такая музыка, от которой тошнит, возникают колики в желудке.

После пленума Союза композиторов РСФСР товарищ Шостакович пригласил нас на концерт в Кремлевский театр. Хотя мы были и очень заняты, но пошли послушать музыку, нам говорили, что концерт будет интересный. И там действительно, как мы убедились, были интересные номера. Но затем почему-то выпустили один джаз, другой, третий, потом все три вместе. Даже от хорошего, если много его, становится трудно, а

выдержать такой залп джазовой музыки было не под силу. И спрятался бы, да некуда.

Музыка, в которой нет мелодии, кроме раздражения ничего не вызывает. Говорят, что это происходит от непонимания. Действительно, бывает такая джазовая музыка, что ее и понять нельзя и слушать противно.

Чувство возражения вызывают некоторые так называемые современные танцы, занесенные в нашу страну с Запада. Мне пришлось много поехать по стране. Я видел русские, украинские, казахские, узбекские, армянские, грузинские и другие танцы. Это красивые танцы, смотреть их приятно. А то, что называют современными модными танцами, это просто какие-то непристойности, исступления, черт знает что! Говорят, что такое неприличное можно увидеть только в сектах трясунов. Не могу подтвердить, так как сам никогда не был на сборищах трясунов. **(Смех в зале).**

Оказывается, что среди творческих работников встречаются такие молодые люди, которые тшатаются доказывать, что будто бы мелодия в музыке утратила право на существование и на смену ей приходит «новая» музыка — «додекафония», музыка шумов. Нормальному человеку трудно понять, что скрывается за словом «додекафония», но по всей вероятности то же самое, что и за словом какофония. Так вот эту самую какофонию в музыке мы отмечаем начисто. Наш народ не может взять на свое идейное вооружение этот мусор.

Возгласы: Правильно! (Аплодисменты).

Мы за музыку вдохновляющую, зовущую на подвиг ратный и на труд. Солдат, когда идет в бой, берет то, что ему нужно, и оркестр никогда не оставляет. В походе оркестр воодушевляет. Музыку для таких оркестров могут создавать и создают композиторы, которые стоят на позициях социалистического реализма, не отрываются от жизни, от борьбы народа и поддерживаются народом.

Наша политика в искусстве, политика непримиримости к абстракционизму, формализму и любым другим буржуазным извращениям есть ленинская политика, которую мы неуклонно проводили, проводим и будем проводить. **(Аплодисменты).**

Владимир Ильич Ленин утверждал, что литература и искусство должны служить интересам рабочих и крестьян, интересам народа.

Так называемое левое искусство, которому некоторые поют дифирамбы, Владимир Ильич называл нелепейшим кривлянием, сверхъестественным и несуразным. Сейчас распространяется миф о том, что будто бы Ленин терпимо и чуть ли не сочувственно относился к формалистическим упражнениям в искусстве. К распространению неправды о взглядах Ленина на искусство причастен, к сожалению, и тов. Эренбург. В своих мемуарах он пишет: «А. В. Луначарский мне рассказывал, что, когда он спросил Ленина, можно ли предоставить «левым» художникам украсить к Первому мая Красную площадь, Владимир Ильич ответил: «Я в этом не специалист, не хочу навязывать другим свои вкусы».

Здесь тов. Эренбург дает понять читателю, что как будто Ленин допускал возможность сосуществования различных идейных направлений в советском искусстве.

Неправильно это, товарищ Эренбург! Вы хорошо знаете, что именно Ленин выдвинул принцип идейности и партийности литературы и искусства. Это затем было горячо поддержано Горьким и другими писателями, которые твердо стали на позиции Советской власти, на позиции борьбы за дело рабочего класса, на позиции борьбы за победу коммунизма.

За партийность, идейность и художественное мастерство Владимир Ильич Ленин высоко ценил повесть Максима Горького «Мать».

В художественном мастерстве, в ясности и четкости идейных позиций — сила художественных произведений. Но, оказывается, это не всем нравится. Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова «По обе стороны океана», напечатанных в журнале «Новый мир». Оценивая еще не вышедший на экран фильм «Застава Ильича», он пишет: «Я бесконечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран все понимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами — и картина погибла бы».

Возгласы: Позор!

И это пишет советский писатель в советском журнале! Нельзя без возмущения читать такие вещи, написанные о старом рабочем в барском пренебрежительном тоне. Думаю, что тон подобного разговора совершенно недопустим для советского писателя.

К тому же в названных мною заметках выражено отношение не только к частному случаю в искусстве, а провозглашен совершенно не приемлемый для нашего искусства принцип. И это не может не вызывать нашего самого решительного возражения.

Руководство ленинской партии — залог всех наших успехов

Среди отдельных людей можно услышать разговоры о какой-то абсолютной свободе личности. Я не знаю, что здесь имеют в виду, но считаю, что абсолютной свободы личности не будет никогда, даже при полном коммунизме. «Мы в «абсолюты» не верим», — отвечал в свое время Владимир Ильич Ленин поборникам «абсолютной свободы» (Соч., том 32, стр. 479). И при коммунизме воля одного человека должна подчиняться воле всего коллектива. Если этого не будет, то анархическое своеволие внесет разлад и дезорганизует жизнь общества. Без организационного, направляющего начала не может существовать не только социалистическое общество, но и никакое общество, никакая общественная система, даже самый маленький коллектив людей.

Нет нужды доказывать, что на всех ступенях общественного развития, начиная с первобытного состояния, люди для добывания средств к жизни объединялись в коллективы. А в наше время, время атома, электроники и кибернетики, автоматике, поточных линий, тем более требуется четкость, идеальная слаженность и организованность всех звеньев общественной системы как в сфере материального производства, так и в области духовной жизни. Только при таких условиях можно пользоваться всеми благами науки, которые создал человек, и ставить их себе на службу.

Могут ли быть при коммунизме нарушения общественного порядка, отклонения от воли коллектива? Могут. Но, видимо, как единичные факты. Нельзя думать, что будут исключены случаи психического заболевания и что душевнобольные люди не могут стать нарушителями правил общежития. Не знаю, какие, но, наверное, какие-то средства будут существовать против выходов сумасшедших. Ведь и теперь существует смиренная рубаха, которую надевают на умалишенных и тем самым лишают их возможности буйствовать и причинять вред себе и окружающим.

В современных условиях нам приходится вести упорную борьбу против пережитков прошлого внутри страны и отражать атаки организован-

ного классового врага на международной арене. Вот о чем мы не имеем права забывать ни на одну минуту. А кое-кто пытается толкнуть нас на путь мирного идеологического сосуществования, подбросить тухлую идею «абсолютной свободы». Если каждый будет навязывать обществу в качестве правила для всех свои субъективистские взгляды и добиваться их осуществления вразрез с общепринятыми нормами социалистического общества, это неминуемо может привести к дезорганизации нормальной жизни людей, деятельности общества. Общество не может допустить анархии и своеволия со стороны кого бы то ни было.

Руководящей силой социалистического общества является Коммунистическая партия Советского Союза. Она выражает волю всего советского народа, и борьба за коренные интересы народа составляет цель ее деятельности. Партия пользуется доверием народа, которое она завоевала и завоевывает своей борьбой, своей кровью. И все, что мешает интересам народа, партия будет устранять с пути строительства коммунизма. (**Продолжительные аплодисменты**).

Нам необходимо разобраться в вопросе о гуманизме, в том, что и для кого хорошо и что для кого плохо. Здесь, как и во всем, мы подходим с классовой точки зрения, с позиций защиты интересов трудящихся. В жизни нет абсолютно хорошего, пока на земле существуют классы. Что хорошо для буржуазии, империалистов, то бедственно для рабочего класса и, наоборот, что хорошо для трудящихся, того не признают империалисты, буржуазия.

Мы хотели бы, чтобы наши принципы хорошо понимались всеми, особенно теми, кто пытается навязать нам мирное сосуществование в области идеологии. В политике шуток быть не может. Кто проповедует идею мирного сосуществования в идеологии, тот объективно сползает на позиции антикоммунизма. Враги коммунизма хотели бы нашего идейного разоружения. И достичь этой своей коварной цели они пытаются через пропаганду мирного сосуществования идеологий, при помощи этого «троянского коня», которого они были бы рады ввести к нам.

Мы уверены, что любые попытки врагов социализма и коммунизма, направленные против нашей марксистско-ленинской идеологии, разобьются о монолитное идейное и политическое единство рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции нашей страны. (**Бурные аплодисменты**).

Печать и радио, литература, живопись, музыка, кино, театр — острое идейное оружие нашей партии. И она заботится о том, чтобы это ее оружие было всегда в боевой готовности, метко разило врагов. Партия никому не позволит притуплять его, ослаблять силу его воздействия.

Советская литература и искусство развиваются под непосредственным руководством Коммунистической партии и ее Центрального Комитета. Партия воспитала замечательные, талантливые кадры писателей, художников, композиторов, работников кино и театра, неразрывно связавших свою жизнь, свое творчество с ленинской партией и народом.

Партия, народ, Ленин — неотделимы. Дело Ленина — дело партии и народа. Об этом хорошо сказал замечательный поэт Владимир Маяковский:

«Партия и Ленин —
 близнецы-братья,—
кто более
 матери-истории ценен?
Мы говорим — Ленин,
 подразумеваем —
 партия,

мы говорим —
 партия,
 подразумеваем —
 Ленин».

Ленинская партия — передовая часть, босвой испытанный авангард народа.

Каждый гражданин нашей страны, кто бы он ни был: рабочий или колхозник, ученый или писатель, художник или композитор — сыны и дочери своего народа и не мыслят себя вне жизни народа, вне его созидательной деятельности. Партийность и народность в искусстве не противоречат друг другу, они составляют единое целое!

Тем творческим работникам, у которых нет еще такого понимания своего места в обществе, нужно помочь, чтобы хорошо осознать это.

Как дирижер в оркестре следит за тем, чтобы все инструменты звучали слаженно и стройно, так и партия в общественно-политической жизни направляет усилия всех советских людей к достижению единой цели.

Социалистическое общество через партию, как руководящую силу, устраняет помехи, нарушающие нормальную жизнь людей, и создает необходимые материальные, культурные, идейные предпосылки для построения коммунизма.

Партийная критика формалистических извращений осуществляется в интересах развития литературы и искусства, играющих важную роль в духовной жизни нашего общества.

В литературе и искусстве партия поддерживает только те произведения, которые вдохновляют народ и сплачивают его силы. Общество вправе осудить такие произведения, которые идут вразрез с его интересами.

Мы все живем на средства, созданные народом, и за это обязаны платить народу своим трудом. Каждый, как пчела улей, должен пополнять своим вкладом материальные и духовные богатства общества. Могут найтись люди, которые скажут, что не согласны с этим, что это насилие над личностью, возврат к прошлым временам. На это я отвечу: мы живем в организованном социалистическом обществе, где интересы личности согласуются с интересами общества, не находятся в противоречии с ними.

Политика партии выражает интересы всего общества в целом, следовательно, и каждой личности в отдельности, а политику партии проводит в жизнь Центральный Комитет, облеченный доверием партии, избранный по ее полномочию партийным съездом. **(Бурные аплодисменты).**

В вопросах художественного творчества Центральный Комитет партии будет добиваться от всех — и от самого заслуженного, и самого известного деятеля литературы и искусства, и молодого, начинающего творческого работника — неуклонного проведения партийной линии.

За последнее время в литературно-художественных журналах напечатано, а также выпущено в свет издательствами немало произведений о жизни советского общества в период культа личности и в наши дни. Стремление писателей разобраться в трудных и сложных явлениях прошлого вполне закономерно. Известно, что Центральный Комитет партии поддержал ряд произведений самого острого критического характера.

Но надо сказать, что появляются и такие книги, в которых, по нашему мнению, дается по меньшей мере неточное, а вернее сказать, неправильное, одностороннее освещение явлений и событий, связанных с куль-

том личности, и существа тех принципиальных, коренных изменений, которые произошли и происходят в общественной, политической и духовной жизни народа после XX съезда партии. К числу таких книг я бы отнес повесть тов. Эренбурга «Оттепель».

С понятием оттепели связано представление о времени неустойчивости, непостоянства, незавершенности, температурных колебаний в природе, когда трудно предвидеть, как и в каком направлении будет складываться погода. Посредством такого литературного образа нельзя составить правильного мнения о существе тех принципиальных изменений, которые произошли после смерти Сталина в общественной, политической, производственной и духовной жизни советского общества.

Перед нашим народом открылась ясная, светлая перспектива коммунистического завтра. Сознание того, что уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме, наполняет сердца советских людей чувством гордости за свою страну, вдохновляет их на трудовые подвиги во имя коммунизма. Теперь все в нашей стране свободно дышат, с доверием, без подозрительности относятся друг к другу, спокойны за свое настоящее и будущее, которое гарантируется им всем строем жизни.

Ликвидировав последствия культа личности Сталина, Коммунистическая партия устранила все препятствия, связывавшие инициативу и активность трудящихся, и создала самые благоприятные условия для развития творческих сил народа.

Наступил новый период в жизни партии и народа. Преодолевая вредные последствия культа личности, партия вела и ведет решительный курс на восстановление ленинских норм партийной и государственной жизни, на дальнейшее развитие социалистической демократии и мобилизацию всех сил на развернутое строительство коммунизма. (**Продолжительные аплодисменты**).

Но это вовсе не означает, что теперь после осуждения культа личности наступила пора самотека, что будто бы ослаблены бразды правления, общественный корабль плывет по воле волн и каждый может своевольничать, вести себя как ему заблагорассудится. Нет. Партия проводила и будет последовательно и твердо проводить выработанный ею ленинский курс, непримиримо выступая против любых идейных шатаний и попыток нарушить нормы жизни нашего общества.

Хотелось затронуть еще один вопрос, связанный с освещением в литературе периода культа личности. Рассказывают, что в журналы и издательства происходит наплыв рукописей о жизни людей в ссылке, в тюрьмах, в лагерях.

Повторяю еще раз, что это очень опасная тема и трудный материал. Чем меньше у человека ответственности за наш сегодняшний день и будущее нашей страны и партии, тем с большей легкостью бросаются на этот материал любители сенсаций, любители «жареного».

Возгласы: Правильно! (Аплодисменты).

Вы сочините сенсацию, дадите это «жареное», а кто набросится на него? На такое «жареное», как на падаль, мухи набросятся, огромные жирные мухи, поползет всякая буржуазная нечисть из-за рубежа.

Тот, кто хочет услаждать наших врагов, может им легко услужить. Тот, кто хочет служить делу нашего народа, делу нашей партии,— он возьмет такую тему, посмотрит, взвесит ее и если чувствует силу, что с этим материалом справится, напишет нужное народу произведение, так подаст материал, что он будет укреплять силы народа, помогать нашей партии спланировать народ и ускорять его шаг к великой цели. Но не каждому дано справиться с такой задачей, хотя, видимо, и многие рвутся к этому материалу.

Здесь нужна мера. Если бы все писатели стали писать только на эти темы, что это была бы за литература!

В Центральный Комитет партии поступают письма, в которых высказывается беспокойство по поводу того, что в иных произведениях в извращенном виде изображается положение евреев в нашей стране. В буржуазной печати, как вы знаете из обмена письмами между английским философом Расселом и мною, ведется даже клеветническая кампания против нас.

В декабре на нашей встрече мы уже касались этого вопроса в связи со стихотворением поэта Евтушенко «Бабий Яр». Обстоятельства требуют, чтобы мы вернулись к этому вопросу.

За что критикуется это стихотворение? За то, что его автор не сумел правдиво показать и осудить фашистских, именно фашистских преступников за совершенные ими массовые убийства в «Бабьем Яру». В стихотворении дело изображено так, что жертвами фашистских злодеяний было только еврейское население, в то время как от рук гитлеровских палачей там погибло немало русских, украинцев и советских людей других национальностей. Из этого стихотворения видно, что автор его не проявил политическую зрелость и обнаружил незнание исторических фактов.

Кому и зачем потребовалось представлять дело таким образом, что будто бы население еврейской национальности в нашей стране кем-то ущемляется. Это неправда. Со дня Октябрьской революции в нашей стране евреи во всех отношениях находятся в равном положении со всеми другими народами СССР. У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумывает его, поют с чужого голоса.

Что касается русского рабочего класса, то он и до революции был непримиримым врагом всякого национального угнетения, в том числе и антисемитизма.

В дореволюционное время я жил среди шахтеров. Рабочие клеймили тех, кто участвовал в еврейских погромах. Вдохновителями погромов были самодержавное правительство, капиталисты, помещики и буржуазия. Им нужны были погромы как средство отвлечения трудящихся от революционной борьбы. Организаторами погромов были полиция, жандармерия, черносотенцы, вербовавшие громил среди подонков общества, деклассированных элементов. В городах их агентурой были многие дворники.

Вот, например, известного революционера-большевика тов. Баумана, который не был евреем, убил в Москве дворник по заданию жандармерии.

В замечательной повести Горького «Мать» превосходно показан интернационализм рабочего класса России. В рядах рабочих-революционеров находятся представители различных национальностей. Вспомните хотя бы русского рабочего Павла Власова и украинца Андрея Находку.

Мое детство и юность прошли в Юзовке, в которой проживало тогда много евреев. На заводе некоторое время я работал помощником слесаря Якова Исааковича Кутикова. Он был квалифицированным рабочим. Среди рабочих завода были и другие евреи. Помню, что литейщиком медного литья работал еврей, а это считалось тогда очень высокой квалификацией. Я часто видел этого литейщика, он, видимо, был человеком религиозным и по субботам не работал, но так как все украинцы, русские и другие работали, то и он приходил в литейную и проводил там весь день, хотя в работе не принимал участия.

На заводе работали русские, украинцы, еврей, поляки, латыши, эстонцы и другие. Никто даже не знал иной раз, какой национальности

тот или другой рабочий. Среди рабочих всех национальностей отношения были товарищеские.

Вот это и есть классовое единство, пролетарский интернационализм.

Когда я был в Соединенных Штатах Америки и ехал в машине в Лос-Анжелос, к нам сел, как он представился, заместитель мэра города. Он говорил по-русски, не так чисто, но довольно свободно. Я посмотрел на него и спросил:

— Откуда Вы знаете русский язык?

— А как же, я в Ростове жил, мой отец был купцом второй гильдии. Такие и в Петербурге жили, и везде, где хотели.

Вот видите, оказывается, еврей Кутиков, с которым я работал на заводе, не мог в царское время проживать там, где он хотел бы, а вот такой еврей, как отец заместителя мэра города Лос-Анжелоса, мог жить, где он хотел.

Так царское правительство рассматривало национальный вопрос; оно тоже подходило к нему с классовой точки зрения. И поэтому евреи — крупные торговцы, капиталисты имели право жить везде, а вот еврейская беднота — она разделяла одинаковую участь с русскими, украинскими и другими рабочими; они должны были трудиться, жить в лачугах и нести бремя подневольного труда, как и все народы царской России.

Разные люди вели себя по-разному и в период Отечественной войны против фашистских захватчиков. В те дни было немало проявлено героизма, в том числе и евреями. Заслуженным из них присвоено звание Героя Советского Союза, многие были награждены орденами и медалями. Назову для примера Героя Советского Союза генерала Крейзера. Он был заместителем командующего второй гвардейской армией во время великой битвы на Волге, участвовал в боях за освобождение Донбасса и Крыма. Теперь генерал Крейзер является командующим войсками на Дальнем Востоке.

Были и случаи предательства со стороны людей разных национальностей. Могу привести вам такой факт. Когда была окружена группировка Паулюса и потом разгромлена, — в пленении штаба Паулюса принимала участие 64-я армия, которой командовал генерал Шумилов, а членом Военного Совета был генерал З. Т. Сердюк. Он позвонил мне и говорит, что среди пленных, захваченных со штабом Паулюса, оказался бывший инструктор Киевского городского комитета комсомола Коган. Спрашиваю:

— Как он мог попасть туда, вы не ошиблись?

— Нет не ошибся, — говорит тов. Сердюк. — Этот Коган был переводчиком при штабе Паулюса.

В пленении Паулюса участвовала механизированная бригада, командиром которой был полковник Бурмаков, а комиссаром этой бригады — тов. Винокур, еврей по национальности. Винокура я знал еще с 1931 года, когда работал секретарем Бауманского райкома партии Москвы, а он был секретарем партийной ячейки на масло-молочном заводе.

Пслучается так: один еврей — служит переводчиком при штабе Паулюса, а другой еврей в составе наших войск участвует в пленении Паулюса и его переводчика.

Поступки людей оцениваются не с национальной, а с классовой точки зрения.

Не в интересах нашего дела выискивать в мусорных ямах прошлого примеры разногласий между трудящимися различных национальностей. Не на них лежит ответственность за разжигание национальной вражды

и за национальное угнетение. Это — дело рук эксплуататорских классов. А что касается предателей интересов революции, то наемные слуги царизма, помещиков и буржуазии вербовали их всюду и находили продажные души среди людей разных национальностей.

Нелепо приписывать русскому народу вину за грязные провокации черносотенцев, но также нелепо было бы возлагать ответственность на весь еврейский народ за национализм и сионизм «Бунда», за провокаторство Азефа и Житомирского («Отцова»), за различные еврейские организации, связанные в свое время с «зубатовцами» и царской охранкой.

Наша ленинская партия последовательно проводит политику дружбы между всеми народами, воспитывает советских людей в духе интернационализма, непримиримости ко всем и всяческим проявлениям расовой дискриминации, национальной розни. Высокие и благородные идеалы интернационализма, братства народов утверждает наше искусство.

Важный вопрос — поездка наших творческих работников в зарубежные страны. Центральный Комитет партии придает таким поездкам большое значение. Надо, чтобы советские писатели могли своими глазами видеть жизнь народов разных стран, чтобы они создавали произведения о жизни и борьбе трудящихся, против империализма и колониализма, за мир, свободу и счастье народов. Произведения советской литературы и искусства, проникнутые духом интернационализма, правдиво освещают жизнь и борьбу народов социалистических стран.

Однако бывают такие случаи, когда поездки литераторов в зарубежные страны не только не приносят пользы, но и оборачиваются против интересов нашей страны.

Знакомись с материалами о выступлениях некоторых советских писателей за границей и не можешь понять, чем они озабочены, то ли тем, чтобы рассказать правду об успехах советского народа, то ли тем, чтобы понравиться зарубежной буржуазной публике во что бы то ни стало. Такие «туристы» раздают направо и налево свои интервью различным буржуазным, в том числе и самым реакционным, газетам, журналам и информационным агентствам, в которых с поразительной безответственностью распространяют небывлицы о жизни в родной стране.

Неприятное впечатление оставила поездка писателей В. Некрасова, К. Паустовского и А. Вознесенского во Францию. Неосмотрителен был в своих заявлениях В. Катаев во время поездки по Америке.

Польстят за границей нестойкому человеку, назовут его «символом новой эпохи» или еще как-нибудь в этом духе, он и забудет, откуда, куда и зачем приехал, и начнет плести несуразности.

Совсем недавно поэт Евгений Евтушенко совершил поездку в Западную Германию и во Францию. Он только что вернулся из Парижа, где выступал перед многотысячными аудиториями рабочих, студентов, друзей Советского Союза. Тов. Евтушенко, надо отдать ему должное, во время этой поездки вел себя достойно. Но и он, если верить журналу «Леттр Франсэз», тоже не удержался от соблазна заслужить похвалу буржуазной публики.

Поэт странным образом информировал своих слушателей об отношении у нас в стране к его стихотворению «Бабий Яр», сообщив им, что его стихотворение принято народом, а критиковали его догматики. Но ведь широко знают, что стихотворение тов. Евтушенко критиковали коммунисты. Как же можно забывать об этом и не делать для себя выводов?

Буржуазная печать нередко хвалит иных наших работников искусства за то, что они не пытаются, как утверждает эта печать, «прикрываясь огнем диалектических трюков, переходить в отступлении», когда их наблюдения не соответствуют «партийной доктрине».

Обидна такая похвала для советского человека. Владимир Ильич Ленин любил приводить прекрасные слова поэта Некрасова:

Он ловит звуки одобренья
 Не в сладком ропоте хвалы,
 А в диких криках озлобленья.

Это написал товарищ Некрасов, но не этот Некрасов, а тот Некрасов, которого все знают. **(Смех в зале. Аплодисменты).**

Всем необходимо понимать время, в которое мы живем. Социализм победил полностью и окончательно в нашей стране. Теперь границы социализма раздвинуты широко. Армия строителей социализма и коммунизма насчитывает в своих рядах больше миллиарда людей. А на земном шаре проживает более трех миллиардов.

Если наши силы растут, то и враг не дремлет. Он в страхе перед растущей силой социализма злобно точит свое оружие против стран социализма, для войны, которую он готовит. Враги коммунизма возлагают надежды на идеологические диверсии в социалистических странах. Всегда помните об этом, товарищи, и свое оружие держите в полной исправности, готовым к боям. **(Продолжительные аплодисменты).**

* * *

Товарищи! Мы с вами обсудили большой круг важных для нашего государства, для идеологической работы партии вопросов. В том, что мы с вами встречаемся в товарищеской среде, сообщая и обсуждая волнующие нас всех проблемы — есть выражение новой обстановки, которая сложилась у нас в стране в последние годы.

Народ и партия глубоко заинтересованы в том, чтобы художественное творчество развивалось у нас в правильном направлении. Линия развития литературы и искусства определена Программой партии, которая обсуждалась всенародно и получила всеобщую поддержку и одобрение рабочих, колхозников, интеллигенции.

А как лучше и правильнее претворить эту линию в художественном творчестве, решает каждый из вас в соответствии с пониманием своего долга перед народом и особенностями своего таланта, своей художественной индивидуальности.

Встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, критика недостатков, взаимное определение новых задач, которые выдвигаются жизнью, откровенные беседы, которые происходят во время этих встреч, — все это показывает, что мы с вами едины в оценке успехов и недостатков литературы и искусства. Думаю, что и сегодняшний обмен мнениями будет иметь важное значение для дальнейшего развития литературы и искусства. **(Продолжительные аплодисменты).**

Мы призываем деятелей советской литературы и искусства, верных помощников партии, еще теснее сплотить свои ряды и под руководством ленинского Центрального Комитета направить свои усилия на завоевание новых успехов в строительстве коммунизма. **(Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают).**



В. ЛИПАТОВ

★

ЧЕРНЫЙ ЯР

Повесть

Глава первая

1

Максим Ковалев удивленно смотрит на новые, только что натянутые брюки, смотрит и хохочет.

— Что здесь происходит, Максим?

В дверях комнаты стоит его мать, Татьяна Егоровна. Она в домашнем халатике, высокая, тонкая, с густыми волосами, собранными в большой пук на затылке.

— Что здесь происходит, Максим? — повторяет Татьяна Егоровна, проходя в комнату. — Ты можешь объяснить, что происходит?

— Самоубийство! — отвечает Максим. — Моя молодая жизнь висит на волоске! — И опять хохочет.

— Тебе дать воды, — не то спрашивает, не то решает Татьяна Егоровна. — Похолоднее.

— Не надо! — заливается Максим. — Воды не надо!

Он поднимает голову, и Татьяна Егоровна видит его сумасшедшие от смеха глаза.

— Вода мне не нужна! — хохочет Максим. — Мне надо другое... Ох, умру!.. Мне надо зашить штаны!

— Штаны?! — удивляется Татьяна Егоровна. — Какие штаны?

— Которые на мне...

Татьяна Егоровна подходит к сыну и внимательно разглядывает его брюки.

Это хорошие черные брюки без манжет. Отличные брюки, но на мускулистых ногах Максима они лопнули по шву.

— Лопнули! — опять хохочет Максим. — Не выдержали!

— По шву, — подтверждает Татьяна Егоровна.

После этого она возвращается на свое место, садится, кладет руки на колени и говорит:

— Придется надеть другие. Максим! Довольно, пожалуй...

— Довольно, — соглашается он.

Он — высокий, плечистый, сильный. И очень похож на Татьяну Егоровну — такие же серые глаза, как у нее, такой же прямой нос и такие же тяжелые губы. Только у Максима все молодо — кожа не бледная, а румяная, волосы черные, а не седые. Но одно у них совершенно одинаково — выражение лица. И у матери и у сына лица насмешливые, с морщинками возле глаз. Кажется, что Татьяна Егоровна и Максим знают о чем-то очень забавном, но не хотят сейчас об этом говорить.

— Защить нельзя? — спрашивает Максим.

— Не так просто. Ты торопишься? — спрашивает Татьяна Егоровна.

— Да, — отвечает он. — Я сегодня приглашен на торжественный вечер, который имеет быть у технорука Егорова!

— Вот как!.. Придется надеть другие брюки, — решает Татьяна Егоровна и поднимается. — Чтобы быть красивым, надо страдать, — смеясь, продолжает она. — В каком часу это самое... имеет быть?

— Через пять минут!

Они стоят рядом — мать и сын; молчат, улыбаются друг другу.

— Придется надеть другие брюки, — повторяет Татьяна Егоровна. — Торопись, Максим! Опаздывать не следует, коли принял приглашение... Коричневые брюки в комод. А я доглажу рубашку!

Татьяна Егоровна уходит в кухню. Максим надевает коричневые брюки, критически оглядывает их и подмигивает сам себе.

— Рубашка готова, — говорит Татьяна Егоровна, вернувшись.

В костюме Максим кажется выше ростом и шире, в плечах, стройнее.

— А ну, повернись-ка, сынку! — весело просит Татьяна Егоровна.

Максим поворачивается на каблук.

— Пройдись независимой походкой! — требует мать.

Вздернув голову, прищурившись, помахивая рукой так, словно в ней зажата перчатка, Максим проходит по комнате.

— Мой дхуг Бохис Егохов, судакхыня, — грассируя, произносит он, — будет хассежжен, если я опоздаю!

— Можете идти, сударь, — серьезно отвечает Татьяна Егоровна. — Вы меня вполне устраиваете.

Улыбаясь, Максим подходит к матери. Обнимает ее за плечи, наклонившись — он на голову выше ее, — целует в щеку.

— Иди, Максимка, — легко вздохнув, говорит Татьяна Егоровна. — Я оставлю тебе холодное молоко, хлеб и сахар. Вернешься — поешь!

Он отпускает ее, но отходит не сразу — еще несколько мгновений стоит рядом, задумчиво улыбаясь; она тоже стоит неподвижно, тоже смотрит на него, немного закинув голову, — похожие, с одинаковым выражением лица.

— Будь великодушен, Максим, — с усмешкой говорит Татьяна Егоровна. — Великодушие — признак... — Она не говорит, какой это признак, а машет рукой. — Держи себя на уровне!

— Мама! — торжественно поднимает руку Максим. — Даю тебе честное пионерское, что не буду выколачивать из Егорова чуждый дух.

Затем Максим решительно проходит в маленькую прихожую, надевает пальто с каракулевым воротником, мохнатую шапку, кашне. Мать провожает его до дверей.

— До свидания, мама!

— Счастливо, Максим!

Он уходит.

Татьяна Егоровна еще немного стоит у дверей, потом возвращается в комнату, садится на привычное место. Она складывает руки на коленях, задумывается. По комнате идет серый кот, вытянув хвост трубой, останавливается, смотрит на Татьяну Егоровну. Собрав тело в комок, кот прыгает к ней на колени. Татьяна Егоровна прижимает его к себе, гладит. Кот вытягивается и блаженно закрывает глаза.

— Эх, Фомка, Фомка, — укоризненно говорит она. — Не понимаешь ты, Фомка, нет, ничего не понимаешь!

Над Черным Яром стынет синий, пробитый остриями звезд холодный апрельский вечер.

Черный Яр — маленькая деревня, вытянувшаяся по берегу Оби. Десятка три маленьких старых домов, почерневший от непогоды клуб, новое здание конторы сплавного участка, высокий корпус механических мастерских — вот и весь Черный Яр. Зимой деревня тонет в снегу, весной ее затапливает непролазная грязь, летом Черный Яр зарастает яркой молодой травой.

В апреле в девятом часу вечера Черный Яр безлюден. Черноярцы топят печи. Из коротких труб валит густой дым, в безветрии прямыми столбами поднимается вверх, и потому кажется, что деревня похожа на многотрубный пароход. Словно развел он пары, прошуровал топки, зажег сигнальные огни домов, но сдвинуться с места не может. То ли сил нет, то ли некуда плыть многотрубному пароходу — Черному Яру. Никто не пробежит по его улицам-палубам к сирене, чтобы огласить окрестность гулом отходного гудка. Пустынна и мертва Обь. Пароход Черный Яр стоит, причалив к берегу, ждет весны, когда загремят погрузочные лебедки, пришвартуются к берегу пузатые баржи. Вот тогда Черный Яр двинется в путь.

Прошагав всю длинную пустынную улицу, Максим подходит к дому технорука сплавного участка Бориса Егорова. Прежде чем подняться на крыльцо, он опускает воротник пальто, вынимает руки из карманов, приосанивается, затем, постучав ногой об ногу, чтобы с туфель отскочил снег, поднимается по скрипучим ступеням. Он негромко, но твердо стучит в дверь, из-за которой доносится музыка.

— Максим! Наконец-то! — говорит Борис Егоров.

Максим входит в маленькую прихожую, в дверях которой, встречая Максима, стоят две нарядные и красивые девушки.

— Добрый вечер, — здоровается Максим.

Сняв пальто, он аккуратно вешает его, приглаживает мальцами волосы, поправляет галстук и манжеты рубашки.

— Я готов! — весело восклицает Максим и неторопливо проходит в комнату, ступает на мягкий ковер.

— Сюда, Максим, — приглашает Борис Егоров, показывая на низенькое кресло с пологой спинкой.

— Спасибо.

Максим внимательно оглядывает комнату. Она обставлена современно — есть полированный сервант, цветной торшер, стеллаж с книгами, полочка, на которой стоят две статуэтки: одна изображает Прометея, прикованного к скале, вторая — обнаженную женщину. На окнах висят прозрачные занавеси. «Уютно!» — решает Максим и переводит взгляд на хозяйина и гостей — двух красивых девушек.

В Черном Яре все жители знают друг друга. И Максим Ковалев, конечно, знает этих девушек, а одну из них — Валентину Батаногову — знает особенно хорошо. Она работает мастером погрузочных лебедок, а он, Максим Ковалев, начальником рейда Черноярского сплавного участка. Таким образом, Максим — прямое начальство Валентины Батаноговой. А вот Борис Егоров — прямое начальство и Максима и Валентины Батаноговой: он технорук участка.

— Будем пить вино, — говорит Борис Егоров.

Поднявшись с низенького стула, он медленно подходит к полированному столу, на котором — бутылки с кагором и коньяком, конфеты и нарезанный на тонкие ломтики лимон.

— Кому коньяка, кому кагора? — спрашивает Борис. — Уважаемая публика молчит. Отлично! Мужланам наливаю коньяку, слабому полу — кагор. Так, Максим?

Он наливает вино в рюмки так, как делает все — равнодушно, будто неохотно даже. Медленно поднимает со стола бутылку, осторожно открывает заранее вытасненную пробку, тихо наклоняет горлышко к первой рюмке.

В комнате тишина.

— Прощу, — налив рюмки, тихо говорит Егоров.

Девушки осторожно берут рюмки, шуршат бумажками конфет; Максим тоже медленно несет рюмку ко рту.

— Недурной коньячишка, — замечает Борис Егоров, снова поднимаясь с места — на этот раз для того, чтобы поставить на стол пустую рюмку.

Он ставит ее, а Максим Ковалев на мгновение закрывает глаза. «Редуктор», — мысленно усмехается он.

Борису Егорову, как и Максиму, двадцать четыре года, но он выглядит значительно старше. Это объясняется не внешностью технорука, а манерой двигаться и говорить так, что думается: внутри Егорова есть специальный редуктор, поставленный для замедления движений и речи.

Выпив вино, девушки ставят рюмки на стол. Они делают это так же медленно, как и Егоров, хотя сами не понимают, что невольно подражают хозяину.

— Может быть, сразу выпьем еще по рюмке, а потом потанцуем? — предлагает Борис.

— Пожалуй! — в тон ему отвечает одна из девушек — тонкая, бледнолицая.

Ее зовут Людмилой Голубь, она работает заведующей черноморским клубом и считается одной из самых красивых девушек деревни. Одета Людмила со вкусом, но чуточку вольно. У платья великовато декольте, да оно и тесно, коротковато: высоко открывает ноги в чулках телесного цвета, а на груди — глубокую ложбинку. Но Людмила не одергивает подол и не закрывает грудь, когда нога открывается много выше тонкого колена, а материя на груди опускается.

— Итак, наливаю, — говорит Борис негромко, с полуулыбкой обращается к Людмиле Голубь. — Знаете, Людмила, — говорит он, — сейчас в столицах модно носить именно такие глаза, какие носите вы.

— Носить глаза! — с восхищенным удивлением произносит она, медленно всплескивая руками и вся подаваясь к Борису. — Ах, вы скажете! Вы скажете! — Она опять всплескивает руками.

На лице Бориса не появляется и тени улыбки. Оставив налитые рюмки на столе, он возвращается на свое место, садится, медленно поднимает рюмку к глазам, чтобы рассмотреть вино на свет.

— Именно такие глаза теперь в моде, — говорит Борис, продолжая разглядывать вино. — Монгольские... Что же, будем пить!

— Будем пить! — отвечает Максим.

Вторая девушка — Валентина Батаногова — рассеянно перелистывает книгу.

— Валентина! — подняв брови на лоб, обращается к ней Борис. — Вы разве не хотите больше вина?

Это еще одна привычка Бориса Егорова — поднимать брови. Он медленным движением задирает их на лоб, а сам смотрит на собеседника долгим, изучающим взглядом, словно задает человеку вопрос: «Кто ты такой? Что в тебе есть?»

— Выпейте еще вина! — предлагает Борис Валентине.

Валентина Батаногова красива той особой красотой, которую называют русской. Она до того красива, что Максиму просто-напросто не верится, что живая девушка может быть с такими голубыми глазами, такой лебединой шеей, такими русыми косами, с таким овалом лица. Она кажется нарисованной, сошедшей с картинки, невсамделишной.

Валентина берет рюмку, садится, ждет, когда другие начнут пить. Борис Егоров еще раз поднимает рюмку к глазам.

— За девушек! — тихо произносит он и повертывается к Максиму. — Поехали!

— Поехали! — отвечает Максим. Ему вдруг делается очень весело. «Все так, как должно быть», — думает он и с удовольствием пьет коньяк.

В комнате опять тишина. За окнами тоненько свистит ветер, порывами бьет в раму, скрипит на крыше флюгер. Временами слышен тоскливый собачий лай.

Лай то приближается, то удаляется, так как ветер меняет направление. Иногда лай делается таким громким, отчетливым, что кажется — собаки лают под окнами. «Волки!» — думает Максим, представляя окрестности Черного Яра, к которой подходят волки. На днях он нашел три пары их следов и подумал: «Ослабли от голода».

Максим закрывает глаза и видит пустынную степь, метель, луну, слышит скрип полозьев, звон бубенцов под расписной дугой. И стихи слышит: «Буря мглою небо кроет...» И песню: «Когда я на почте служил ямщиком...»

Открывая глаза, он видит Бориса Егорова, который тоже прислушивается к порывам ветра и собачьему лаю.

— Собаки боятся волков! — неожиданно громко говорит Максим и быстро поднимается. Встряхнув головой, еще громче продолжает: — Давайте же танцевать! — Он смеется. — Уходит дорогое время, отпущенное на танцы! Давайте же веселиться...

Он бросает взгляд на Людмилу Голубь, думает: «Мне, видимо, надлежит танцевать с ней!» Он думает так потому, что Борис Егоров ухаживает за Валентиной Батаноговой — об этом говорит весь Черный Яр, сам Борис не скрывает своего интереса к редкостной красавице. Ну, а коли Егоров ухаживает за Батаноговой, а пригласил в гости Максима, значит, он думал, что Максим заинтересуется Людмилой.

— Людмила, прошу! — весело басит Максим, заранее поднимая руку, чтобы обнять девушку. — Мы будем петь и смеяться, как дети.

Пошелкав кнопками и выключателями, Борис пускает радиолу. Сначала раздается шипенье, треск, а потом громко и дробно — мотив фокстрота, который наяривает джаз.

— О! — произносит Максим. Он уже держит в объятиях Людмилу, прижимает ее к себе. — О, это здорово!

Улыбаясь, он разглядывает Людмилу. Он видит ее грудь, тонкую шею и не торопится отвести глаза. На вечерах у Бориса Егорова, должно быть, полагается иметь глубокое декольте, короткое платье, а молодым людям — любоваться тем, что Людмила Голубь сочла нужным выставить напоказ. «Двадцатый век! Фокс! — с усмешкой думает Максим и весело подгоняет себя: — Давай, Максим, давай!»

Он старательно танцует с Людмилой, а сам продолжает думать о том, что коли согласился прийти на вечер к техноруку Борису Егорову, то должен вести себя так, как полагается вести в доме технорука, где стоит торшер, блестит полированная мебель, изготовленная по чертежам Егорова черноморским мастером-краснодеревцем Яном.

— Вы вся такая воздушная! — смешливо говорит он Людмиле, вспомнив гадалку из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.

— Ах! — склоняя голову на плечо, восклицает Людмила.

Джаз гремит, стонет, завывает. Максим улавливает тонкую нить мелодии, старается включиться в нее и чувствует, что ему удается это. Пластинка кончается неожиданно — мелодия вдруг оборвалась.

— Танго! Теперь танго! — Людмила всплескивает руками.

Борис Егоров идет к радиоле, чтобы сменить пластинку, и вдруг слышит стук в дверь — стучат громко, настойчиво, видимо, давно.

— Непонятно, — пожимает плечами Егоров. Затем он идет в прихожую.

Грохочет дверь, слышен вой ветра, громкий хриплый бас. «Емельян Кузьменко, — узнает Максим и присвистывает от удивления. — Что это могло привести Емельяна к Егорову?» Он не успевает ничего больше подумать: в дверях комнаты появляется высокий, широкоплечий Емельян в старенькой телогрейке и поношенной шапке, надвинутой на лоб.

— Добрый вечер, — угрюмо произносит Емельян.

Он обводит взглядом сервант, стеллаж, торшер и низкие кресла и зло усмехается.

— Что случилось, Емельян? — тревожно спрашивает Максим.

Емельян не отвечает. Еще раз обводит взглядом комнату, затем переносит взгляд на Людмилу Голубь, потом на Валентину Батаногову, потом на Бориса Егорова и уж потом смотрит на Максима.

— Так! — тихо говорит Емельян и переводит глаза на столик с бутылками, конфетами и ломтиками лимона. — Так! — повторяет он, поворачиваясь к двери.

Он идет к ней, открывает, собирается уж было поставить ногу на порог, но останавливается.

— Я зашел попутно, — сквозь зубы произносит Емельян. — Меня Аллочкин попросил зайти... Передать вам, что сегодня в двенадцать ночи управляющий трестом делает переключку по радио. Аллочкин просил зайти Ковалева, Егорова и Батаногову.

«Ах, вот ты какой! — говорит взгляд Емельяна, устремленный на Максима Ковалева. — Вот ты какой! Оказывается, ходишь к Егорову, пьешь с ним коньяк, развлекаешься с красивыми девушками... С Людмилой Голубь развлекаешься!»

Еще раз криво улыбнувшись, Емельян передергивает плечами и так сильно хлопает дверью, что оконные стекла жалобно поют.

3

Холодный апрельский рассвет медленно выползает из-за Оби на длинную улицу Черного Яра. Запутавшись в тальниках и соснах, растущих на левом берегу реки, солнце расплывается большим желтым пятном. В тусклом свете смутно холодеет Обь, похожая на застывшее море.

Желтое солнце освещает безлюдность, бесконечность Васюганских болот. Тайга и остатки снега, белая лента реки, низкое небо и болота, болота, пустынность которых угадывается сразу же за околицей деревни. Болота окружают Черный Яр, вплотную подступают к нему. Даже со скоростного самолета над Васюганскими болотами ощущаешь огромность земли.

Максим Ковалев в девятом часу утра шагает по берегу Оби к конторе сплавного участка. Он в кирзовых сапогах, в замасленной телогрейке, на голове шапка из собачины. Максим подходит к конторе слева, а справа, от одинокого дома на окраине, идет в контору технорук Борис Петрович Егоров. Таким образом, они шагают друг другу навстречу и должны встретиться как раз у крыльца конторы сплавного участка.

И они встречаются. За пять метров до крыльца Борис Егоров начинает улыбаться уголками губ, высоко поднимает светлые брови. Надо думать, что он очень доволен встречей с Максимом Ковалевым, просто счастлив увидеть начальника рейда. Борис заранее вынимает из кармана правую руку, чтобы протянуть ее Максиму.

У Максима выражение лица обычное — чуточку насмешливое, взгляд серых глаз внимателен. Когда до Бориса Егорова остается не больше двух метров, Максим тоже вынимает правую руку из кармана.

— Доброе утро! — здоровается Борис Егоров.

— Доброе утро! — отвечает Максим, крепко сжимая пальцы Бориса.

— Хорошо выспался? — после небольшой паузы спрашивает Борис.

— Отлично! — громко отвечает Максим.

С крыльца конторы они входят в большую квадратную комнату, которую сплавщики шутливо называют приемной, так как из нее можно попасть в две обитые клеенкой двери: одна ведет в кабинет начальника Черноярского сплавного участка Владимира Алексеевича Аленочкина, вторая — в бухгалтерию. В приемной толпится народ — несколько оживленно разговаривающих рабочих, три женщины, куча ребятишек — учащихся, которые проходят производственное обучение в ремонтных мастерских участка. Когда входят технорук сплавного участка Егоров и начальник рейда Ковалев, в приемной становится тихо. Рабочие спрыгивают с подоконников, двое поднимаются с пола, женщины сбиваются в кучку.

— Доброе утро, товарищи! — весело здоровается Максим.

— Доброе утро! — говорит Борис Егоров, склонив голову.

Им отвечают тем же.

— Ох, и накурили, — говорит Максим, проталкиваясь к дверям начальника. — Хоть топор вешай!

У дверей кабинета Аленочкина Максиму преграждает путь высокий человек. Это Емельян Кузьменко. Растолкав рабочих, он становится спиной к двери кабинета, задирает подбородок. Емельян такой высокий, широкоплечий, что закрывает собой всю дверь. Он сантиметра на три выше Максима Ковалева, а рост Максима — метр восемьдесят.

— Постой, Ковалев! — низким басом требует Емельян.

— Я слушаю.

Никогда еще Емельян Кузьменко не смотрел так зло, так презрительно на Максима, как смотрит сейчас, никогда еще во взгляде Емельяна не было столько ненависти. Он молчит — ненависть душит его. Максим тоже затаивает дыхание.

— Слушаю, — тихо повторяет Максим, — я слушаю! Ну...

— Не нукай — не запряг! — зло передергивает плечами Емельян. — И не морщся! Я не виноват, что у тебя с похмелья голова болит!

Притихшие люди сдержанно вздыхают; женщины еще ниже склоняются друг к другу, торопливо перешептываются, любопытно поглядывая на Ковалева и Егорова. «Плохо! Все плохо!» — тоскливо думает Максим, не зная, что сказать, что сделать.

— Пусти-ка! — наконец холодно произносит Максим и крепко берет Емельяна за руку. — Отойди от двери! — опять просит он, опуская глаза, и только теперь чувствует, что от Емельяна несет самогонкой.

— Ты пьян, Емельян! — испуганно восклицает Максим. — Что с тобой, Емелья? Ты пьян!

— А ты меня поил? — вдруг во все горло ревет Емельян. — Ты меня поил?.. Может, технорук меня коньяком поил?

В приемной тишина. Люди опасливо отодвигаются от Емельяна.

— Ты меня поил? — опять кричит Емельян.

Максим Ковалев бледнеет. Он чувствует, как за спиной медленно переступает с ноги на ногу Борис Егоров. «Только не сорваться! Только не закричать!» — думает Максим, прикусывая тяжелую нижнюю губу. Он передыхает, набрав полную грудь воздуха, и тихо, раздельно говорит:

— Сегодня вы отстранены от работы, Кузьменко! Можете быть свободны!

Затем Максим делает стремительное движение — сперва отрывает от двери руку Емельяна, потом рывком на себя отбрасывает его, и, ощущая спиной испуганное молчание людей, он деланно-спокойно произносит:

— Вот так!

— Ой! — шепчет одна из женщин, а мужчины разом подаются вперед, так как им кажется, что Емельян сейчас бросится на Максима Ковалева — лицо у него наливается кровью.

— Ой! — снова вскрикивает женщина.

Ковалев и Кузьменко смотрят друг на друга. Трудно понять, что между ними происходит, но, видимо, происходит что-то важное. Они смотрят друг на друга, наверное, целую минуту — Емельян зло, ненавистно, Максим спокойнее, но дышит он тяжело, с прихрипом, словно поднимается на крутую гору. Затем дыхание Максима делается ровнее, он еще раз набирает полную грудь воздуха. А с лица Емельяна постепенно уходит бордовая краска, он начинает странно, болезненно косить правым глазом.

— Идите домой, Кузьменко! — начальственно говорит Максим. Затем он спокойно открывает дверь, показывает на нее рукой Егорову — проходите! — пропускает его и, медленно пройдя мимо замершего Емельяна, скрывается сам.

— Так! — шепчет Емельян. — Так!

Пальцы у него дрожат, когда он застегивает пуговицы телогрейки.

— Так! — хрипло повторяет Емельян. — Так! — говорит он еще раз и бросается к двери.

4

Начальника Черноярского сплавного участка зовут Владимиром Алексеевичем Аленочкиным. В его кабинете есть все то, что полагается иметь начальнику такого участка, как Черноярский: два стола, составленные буквой «т», продавленный пружинный диван, ковровая дорожка на полу, крепдешиновые шторы на окне, громоздкий письменный прибор из светлого мрамора и глубокое кресло, в котором плотно и удобно сидит сам Владимир Аленочкин, проводящий производственную десятиминутку.

Лицо Владимира Алексеевича такое, что, поглядев на него, сразу можно понять, что он руководитель предприятия. Его нельзя спутать с учителем, директором банка, с врачом-хирургом или главой научного учреждения, так как только у руководителей промышленных предприятий бывает такая обветренная, крепкая кожа, такой властный взгляд, такая прямая фигура, такие свободные жесты, как у Владимира Алексеевича Аленочкина, который много бывает на воздухе, постоянно двигается, общается с сильными людьми и с сильными машинами.

Кроме Аленочкина, в кабинете находятся Борис Егоров (он располагается за отдельным столом, над которым прибита табличка «Технорук»), начальник рейда Максим Ковалев и мастер лебедок Валентина Батаногова.

Владимир Алексеевич Аленочкин разговаривает негромким приятным баском.

— Расстановка — вчерашняя! — говорит он. — На сегодня работы остаются прежними!

Левой рукой Владимир Алексеевич звонко бросает костяшки счетов. Это тоже привычка хозяйственных руководителей, очень многие из которых так привыкли к счетам, что без них не могут разговаривать с людьми.

— Ремонт — это все! — шелкая счетами, говорит он. — Подготовка запани — второе! И третье — подготовка к приемке крана!

Затем Владимир Алексеевич точно, обстоятельно и вместе с тем коротко сообщает о положении на сплавном участке. Попутно он вносит предложения, обсуждает их, зацепившись за нужную мысль, развивает ее до тех пор, пока не поймет, согласны товарищи с ним или нет. Он как бы не сам решает дела сплавного участка, а заставляет думать о них присутствующих.

— Решено! — время от времени говорит Владимир Алексеевич, продолжая бросать костяшки на счетах. — Решено!

В кабинете тихо, деловито-спокойно. Слушая Аленочкина, технорук, начальник рейда и мастер изредка нагибаются к блокнотам, делают короткие записи. Никто из них не перебивает начальника, не задает вопросов, так как в конечном счете Владимир Алексеевич решает все сам. И слушая его, Максим Ковалев постепенно успокаивается, приходит в себя после стычки с Емельяном Кузьменко. Он тоже делает записи в блокноте, внимательно следит за ходом мысли Аленочкина и думает о том, что Владимир Алексеевич прекрасно ведет заседание и что это объясняется тем, что начальник, как всегда, успел уже сегодня обойти весь сплавной участок, все увидел, понял, во всем разобрался. Поэтому на совещании нет суеты, ненужных разговоров, препирательств, как это бывает на других сплавучастках.

— Решено!.. И это решено! — снова время от времени говорит Владимир Алексеевич, и проходит ровно десять минут с начала заседания, как он, закрыв блокнот, смахивает костяшки со счетов. — У меня все! Может быть, забыл что-нибудь...

Но он ничего не забыл.

— У меня все, — говорит Максим Ковалев.

— У меня тоже, — подтверждает Валентина Батаногова.

Видимо, нет никаких вопросов и у технорука Егорова — он молчит.

— А теперь десерт! — торжественно произносит Владимир Алексеевич. — А теперь сладкое, — улыбается он, нагибаясь к тумбе стола и вынимая из нее голубой альбом большого формата, на обложке которого выдавлены золотые буквы: «Машины и механизмы для погрузочно-разгрузочных работ». Владимир Алексеевич поднимает альбом, несколько мгновений держит на весу. — Вчера только получил! — радостно говорит он. — С оказией. Прошу, товарищи, ко мне.

На чертеже изображен мощный погрузочный кран, носящий длинное название: «Плавучий крюковый кран ПК-10 с вылетом стрелы тридцать метров, смонтированный на понтоне». У крана легкая, воздушная стрела, вздыбленный к небу корпус, ажурное переплетение металла. Кажется, что кран не стоит на понтоне, а только прикасается к нему кромкой корпуса.

— Красавец! — покачав головой, говорит Максим. — Воздушный!

— И десятитонный! — увлеченно подхватывает Владимир Алексеевич, быстро поворачиваясь к Максиму. — Десять тонн и ни граммом

меньше! По проектной мощности он должен загрузить баржу за семь-восемь часов! Что на это скажут молодые инженеры? Разве сие не технический прогресс?

После этих слов Аленочкин негромко хохочет и шутливо грозит пальцем Максиму Ковалеву и Борису Егорову.

— Помните? — лукаво спрашивает он их.

— Помним! — тоже смеясь, отвечает Максим.

Максим Ковалев сейчас откровенно любит Аленочкиным — его улыбкой, непринужденным умением вести себя за председательским столом, уверенностью в себе, внешностью Владимира Алексеича: большим лбом, веселыми глазами, крепкой шеей, коренастой фигурой.

Владимир Алексеич Аленочкин — хороший инженер и начальник. Он до тонкостей знает дело, очень много работает. Его можно заставить в конторе в час ночи, а в шесть утра Владимир Алексеич опять вымеривает территорию участка неторопливыми хозяйскими шагами. Он всегда бодр, подтянут, весел, расположен к шутке и улыбке. Аленочкин умеет ладить с людьми — никогда не повышает голос, ровен в обращении.

— Значит, помните? — смеется Владимир Алексеич.

— Помним-помним! — отвечает Максим.

Владимир Алексеич напоминает свое первое знакомство с ними, которое состоялось в несколько необычных обстоятельствах. То есть обстоятельства были обыкновенные, а вот поведение Аленочкина — необыкновенным...

При первом знакомстве Владимир Алексеич повел себя не так, как должен был вести начальник участка, когда к нему пришли сразу два молодых инженера и выложили на стол направления треста и дипломы, — он не стал говорить о предстоящих трудностях почетного дела сплава и переработки древесины, не развертывал перед ними сияющих перспектив, а вместо этого повел на берег реки, усадил на бревно, сел сам.

— Дожил! — улыбочиво сказал Аленочкин. — Дожил до времени, когда даже начальник рейда — дипломированный инженер!

Он потер лоб загорелыми пальцами, задумался.

— Трест назначает Егорова техноруком, Ковалева — начальником рейда, — сказал он. — Я бы сделал не так. — Он прямо и твердо посмотрел в глаза Егорову. — Вы не обижайтесь на меня, Егоров. Вы ленинградец, городской человек, незнакомый с местными условиями. Но... — Владимир Алексеич шутливо развел руками. — Но боги в тресте все знают! Они назначают ленинградца Егорова техноруком, а сибиряка Ковалева, выросшего в Черном Яре, начальником рейда!

Аленочкин достал из потайного кармана крошечный перочинный ножик, нашел щепочку и стал строгать ее, посмеиваясь. Потом обратился к Максиму:

— Вы закончили Красноярский институт?.. Я кончал его же. Виктор Викторович жив-здоров? — спросил он о преподавателе сопротивления материалов, а когда Максим ответил, что преподаватель этот жив-здоров, обрадовался: — Подумать только, прошло двадцать лет, а он жив и здоров! Задиристый был мужик!

Потом Аленочкин бросил остроганную палочку, сложил нож; он, казалось, стал серьезнее, но в глазах по-прежнему прыгали веселые искорки.

— Вот что, коллеги инженеры! — сказал он. — Вы народ начитанный! Читали романы, повести на современную тему... Читали?

— Читали, — усмехнулся Максим.

— Вот и прекрасно! — сказал Аленочкин. — По современным рома-

нам и повестям мне, начальнику,— он ткнул пальцем себя в грудь,— положено быть консерватором. А вам, молодым инженерам, велено быть передовыми людьми. Я должен зажимать новое, передовое, а вы — бороться со мной, отстаивая новое, передовое!

Тут Максим Ковалев облегченно засмеялся.

— Люблю веселый смех,— обрадовался Владимир Алексеевич.— Но все-таки продолжу мысль... Итак, вы должны бороться за новое и передовое, а я — отстаивать старое, отжившее. Дело кончается тем, что приезжает представитель партийной общественности и сводит меня на нет! Так?

— Так,— сказал Максим.

— А коли так, то сразу объявляю, что я не консерватор.— Аленочкин торжественно поднял палец.— Я обеими руками,— тут он для верности поднял вторую руку,— я обеими руками голосую за новое и передовое! Ясно? — спросил он.

— Ясно,— сказал Максим.

— Но не совсем,— заявил Владимир Алексеевич.— Вам, конечно, нужны доказательства моей верности идеям нового и передового! Пожалуйста!

Владимир Алексеевич повернулся к Максиму Ковалеву, заглянул ему в глаза.

— Я знаю, Максим Максимович, что вы энтузиаст новых десятичных кранов,— мягко сказал он.— Вы говорили об этом в тресте, когда получали назначение... Так вот, я тоже мечтаю о кранах и рад тому, что мы единомышленники. Прогресс на погрузке — краны! Помогите мне внедрить их!

Эти слова: «Помогите мне внедрить их!» — были произнесены без улыбки, серьезно, энергично. И Максим Ковалев вспомнил, как хорошо, уважительно говорили об Аленочкине в тресте. «Мы сработаемся», — подумал он...

С тех пор прошла зима, и Максим Ковалев не разочаровался в Аленочкине, а наоборот, убедился в том, что начальник участка — отличный руководитель. Но больше всего Максиму нравится настойчивость, с которой Владимир Алексеевич выколачивает из треста новый погрузочный кран.

— Кран... Кран! — задумчиво говорит Владимир Алексеевич.— Считаю, что нам надо самим ехать за краном.

Он встает с кресла, подходит к окну, раздвигает крепдешиную шторку — видна замерзшая река, оголенный от снега коричневый берег, три погрузочные лебедки Мерзлякова, которыми на Оби грузят лес на баржи. Старые, замшелые, они стоят в маленькой гавани среди обдолбленного льда. Над лебедками висит большое солнце.

— Через несколько дней мы поедем за краном! — немного торжественно произносит Владимир Алексеевич.— А сейчас... Сейчас товарищей Егорова и Ковалева прошу пройти в ремонтные мастерские. За три дня надо успеть собрать последние моторы.

5

Солнце уже поднялось над тальниками и старыми осокорями — по-прежнему холодное, зимнее, несмотря на апрель; освещенная тусклыми лучами, деревня полна шумов — мычат в стойлах коровы, скрипят калитки, за околицей гремит трактор, а на берегу звонко бьют тяжелой кувалдой в стальной лист. По обледеневшей дороге ветер метет почерневшее сено, пучки соломы. Неуютно и холодно. А по небу текут низкие, серые облака, чтобы на весь день спрятать солнце.

Ковалев и Егоров идут мимо почерневших домов, куч навоза, покосившихся заборов, деревянных отхожих мест, щелястых сараев, из которых выглядывают коровы — тощие по весне, с вытертой на боках шерстью. Оскалив желтые зубы, выскакивают из подворотен собаки, задыхаются в злобном лае. Большинство домов покосилось, крыши провисли, вместо кирпичных труб видны прожженные старые ведра. В проводах тонко свистит ветер.

Молодые инженеры шагают рядом, касаются плечами друг друга, так как дорога узка. Сосредоточенно молчат. Максим иногда косится на Бориса, с любопытством поглядывает на него, но ничего не говорит. Оба курят. Ветер сносит дымок, завернув, бросает в спины. Они минуют крайние дома деревни, поворачивают к высокому зданию ремонтных мастерских. Здесь им надо подняться на небольшую возвышенность, и они поднимаются широким, сильным шагом, словно по команде вынужденно из карманов.

С возвышенности Черный Яр кажется очень маленькой деревней. Зато все окружающее распаивается бесконечностью горизонта: уходят к небу синие кедрачи, громадным зигзагом лежит грязно-серая Обь, покрытая чешуйками торосов, а за Обью, тальниками и кедрачами начинаются бесконечные Васюганские болота. Они, как небо, облегают со всех сторон маленькую кучку домов.

— Черный Яр! — останавливаясь, говорит Максим таким тоном, словно Борис Егоров не знает, как называется деревня.

— Да, Черный Яр! — тоже задерживаясь, отвечает Борис.

Он внимательно оглядывает деревню, потом смотрит на небо, кедрачи, старый осокорь, стоящий поблизости, и уж затем переводит взгляд на Максима. Борис усмехается уголками губ.

— В Черном Яре двадцать четыре жилых дома, сто шестьдесят семь жителей, — говорит он. — Впрочем, я ошибся — не сто шестьдесят семь жителей, а сто шестьдесят шесть, ибо... — Борис вынимает изо рта догоревшую сигарету, далеко отбрасывает ее от себя и серьезно продолжает: — Сто шестьдесят седьмой — я!

Сказав это, Борис отвертывается от Максима и легкими шагами сбегает с горушки.

Максим не сразу следует за ним — он еще несколько минут стоит на возвышенности и следит за тем, как Егоров ловко запрыгивает на край оврага, как быстро проходит путь от оврага к забору мастерских. И только тогда, когда Борис тянет к себе деревянные ворота, Максим бежит за ним. Он так рассчитывает бег, что догоняет Егорова как раз у дверей в мастерские.

В здание они входят одновременно. Здесь пахнет солидолом и бензином, раскаленным металлом, теплой краской; возле стен гудят станки, отчаянно визжит сверлильный станок. В сутолоке и нагромождении металла люди видны не сразу — нужно внимательно приглядеться, чтобы заметить возле станков и моторов согнутые фигуры в спецовках. Люди что-то делают с металлом — бьют его молотками, накалив докрасна, бьют еще отчаяннее, сдирают с металла заскорузлую корку, пронзают визжащими сверлами и опять бьют по металлу молотками.

Металл и люди... И люди похожи на металл, так как у них темные от грязи и пота лица, черные руки, шершавые, как необработанный металл, пальцы.

Приглядевшись к сумраку, отделив металл от людей, Максим идет направо, где на деревянном стенде собирают мотор лебедки. Уже на ходу Максим срывает с себя телогрейку, несет ее в руках, а подойдя, бросает на верстак.

— Здорово, ребята! — громко, чтобы перекричать шум и лязг металла, кричит Максим. — Как ночевали?

К нему обертываются три чумазых лица, три пары глаз с яркими белками.

— Добрый день, Максим Максимович! Здравствуйте!

Слесари окружают Максима, воспользовавшись минутной передышкой, достают папиросы, закуривают.

— Блок уже поставили. Хорошо! — говорит Максим. — Надо торопить сборку! Скоро едем за краном, а к тому времени надо собрать моторы!

Он наклоняется к мотору, похлопывает ладонью по теплому металлу.

— Кончай, ребята, перекур! — весело командует Максим. — Я встану на сборку маслососа. Добро?

— Добро! — смеются слесари. Видно, что они довольны приходом Максима.

— Давай-давай, ребята! — говорит Максим, разглядывая мотор, чтобы определить, с чего начать.

Мотор наполовину собран — оброс гайками и болтами, проводами и втулками; металл матово отсвечивает, блестит протертой медью. Максим глядит на мотор и чувствует в пальцах знакомое жжение, покалывание. Ему хочется прикоснуться пальцами к блестящей, отполированной поверхности цилиндра, ощутить бархатность ласкового металла, холодную корочку шлифовки, почувствовать в руке приятную тяжесть гаечного ключа, сопротивление закручиваемых гаек.

— Ключ! Разводной! — коротко приказывает Максим.

Он не глядя принимает ключ, подбросив его в руке, перехватывает за рукоятку, нагибается к мотору.

— Шуруй, ребята! Поработаем до седьмого пота! — смеется он.

— Поработаем! — откликаются слесари на любимую приказку Максима.

— Поработаем до седьмого пота! — весело повторяет Максим и вдруг чувствует, что кто-то теснит его в сторону. Максим быстро оборачивается и видит Бориса Егорова, о котором он совсем забыл.

Борис усаживается на корточки рядом с Максимом, поднимает с пола механизм маслососа и внимательно, поворачивая так и этак, рассматривает его.

— В две руки мы быстрее соберем маслосос, — говорит Борис. — Подвинься-ка еще, Максим Максимович, — просит он и смело, резко толкает руку в нутро двигателя.

6

Борис Егоров ходит по большой комнате и щелкает выключателями. Когда комната наполняется ярким светом, он выходит на середину ковра и принимает стойку «смирно». Он одет в легкую шелковую майку, шерстяные спортивные брюки, волосы стянуты резиновой сеточкой.

Борис собирается делать вечернюю зарядку.

Он делает зарядку трижды в день: по утрам легкая разминка, дыхание по системе йогов, пятиминутное стояние на голове, втягивание через нос теплой воды; перед обедом Борис двенадцать раз разжимает пружинный экспандер, а перед ужином делает наиболее трудные гимнастические упражнения. Сейчас он приседает, выпрямляется, опять приседает. Потом ложится на спину, поднимает ноги, старается коснуться ими пола за головой. Когда тело делается подвижным, теплым, берет со стула экспандер, выдохнув воздух, с силой растягивает его.

Плечи, руки, бедра, ноги у Бориса тонкие, длинные, юношеские, но работа с экспандером резко обозначила мускулы. Мускулы перекачаты-

ваются под белой кожей, набухают на плечах. Дышит он умело и ровно и, растягивая в двенадцатый раз тугую пружину, не чувствует усталости. Он мог бы еще и еще растягивать экспандер, но не делает этого, так как опасается перенапряжения.

Зарядка продолжается пятнадцать минут. После нее Борис проходит в кухню, сняв майку и брюки, с головы до ног обкатывается прохладной водой. Из кухни он идет в спальню, где достает из гардероба темный костюм, светлый галстук, белоснежную накрахмаленную рубашку. Чувствуя бодрость, легкость во всем теле, Борис переодевается, ловкими движениями завязывает галстук и во весь рост вытягивается перед зеркалом. Он оглядывает себя внимательно, неторопливо; снимает с борта пиджака пушинку, поправляет галстук.

Вернувшись в большую комнату, Борис садится в низкое кресло — до ужина еще полчаса и он может посидеть. Лоб у него наморщен, брови высоко подняты, так как Борис думает. Сидеть в кресле удобно, и он даже закрывает глаза, чтобы не мешал яркий свет, чтобы мысли были легкими.

Бориса со всех сторон окружает тишина — ни звука, ни шороха, точно он находится в стальной толстостенной камере. Слышно только, как в висках пульсирует кровь да шумит в ушах. Через несколько минут от тишины появляется такое чувство, как будто кресло начинает медленно плыть — сначала плывет по прямой, затем, все ускоряя движение, плавно делает поворот, вздымается. Ощущение движения так реально, что к горлу подступает легкая тошнота, и Борис быстро открывает глаза.

— Да, Черный Яр! — после длинного молчания вслух произносит он.

Слова падают в звенящую тишину.

— Ти-ши-на! — говорит Борис, прислушиваясь к тому, как звучат слова.

Они сразу же глохнут. Пожав плечами, он замедленно наклоняется к столу, берет толстый голубой конверт.

Письмо начинается шутивно: «О, романтик трудовых будней, живущий во глубине сибирских руд, чувак из столицы приветствует тебя...» Так начинает каждое письмо старший брат Бориса Эдуард Егоров. Пишет он мелкими ровными буквами, прямыми строчками, пишет на толстой атласной бумаге, от которой пахнет мужскими духами. Подписывается брат тоже шутивно: «Эдур де Егоре», а дату письма ставит вообще фантастическую: «18 апреля 1210 года, город Санкт-Петербург».

В письме Эдуард каламбурит, шутит и резвится. Девушек он называет статуетками, рестораны — палубами, вино — нектаром; описывая ленинградскую жизнь, Эдуард не скупится на краски.

Неторопливо перечитав письмо, Борис не кладет его на стол, а небрежно роняет на пол. Конверт ложится на ковер плашмя, словно пол притянул его.

— Старший брат Эдуард! — почти по слогам тихо произносит Борис. — Старший брат Эдуард! Вот какое положение, старший брат Эдуард...

Тишина по-прежнему жадно проглатывает звуки.

— Ти-ши-на...

Да, только здесь, в Черном Яре, Борис понял, какой может быть тишина! Раньше он и не предполагал, что тишина — это вещь, о которой стоит подумать.

Раньше Борис Егоров никогда не знал тишины — даже глубокой ночью их большая ленинградская квартира была переполнена звуками: шуршало в водопроводных трубах, ныли провода за окнами, дворники

скребли мостовую, пощелкивали шинами ночные автомобили; всю ночь в десятках квартир дома хлопали двери — уезжали и приезжали, приходили домой на рассвете, вызывали «скорую помощь», крутили до утра радиолы и магнитофоны. Не было тишины и на лесной даче, где летом жила семья Бориса, — всю ночь ходили по аллеям влюбленные, всю ночь летели с горящими фарами автомобили, гудели невидимые самолеты.

Тишина Черного Яра — тишина космоса. Когда прислушиваешься к ней, становится жутко и кажется, что жизни на земле нет. Пустая, холодная планета несется по звездной орбите, молча глотает миллионы километров пути. Предметы делаются нереальными: смотришь на стол и не веришь, что это стол, и приходится усилием воли уверять себя, что предмет на четырех ножках называется столом.

— Вот такое положение, старший брат Эдуард! — повторяет Борис. — Таково положение на сегодняшний день...

Он любит мысленно беседовать со старшим братом, спорить с ним. Борис умеет спорить с братом так, словно Эдуард живет не в Питере (так Борис называет Ленинград), а сидит или ходит рядом с ним по Черному Яру. Это объясняется тем, что Борис хорошо знает мысли Эдуарда, его отношение к жизни, к людям. Он легко представляет, что мог бы сделать брат в таком-то и таком-то случае, что сказал бы Эдуард, если бы ему пришлось столкнуться с тем-то и тем-то.

Эдуард окончил театральную студию при известном театре; он красив, силен, жизнерадостен, прекрасно одевается. Когда Эдуард идет по улице, девушки оборачиваются.

На все явления, предметы, людей и события Эдуард имеет свою, неожиданную точку зрения, а с Борисом он предельно откровенен, то есть откровенен так, как можно быть откровенным с родным и близким по духу человеком. Несмотря на это, Борису не нравится цинизм Эдуарда.

За два дня до отъезда Эдуард пришел в комнату Бориса, уселся на стол. Он поглядел на Бориса чистыми, ясными глазами, комически поджал губы.

— Пришел злить тебя, — объявил Эдуард.

— Ну, — неохотно отозвался Борис, так как знал, о чем пойдет речь.

— Знаешь, почему ты едешь в Сибирь? — спросил Эдуард и сам же быстро ответил на свой вопрос: — Ты едешь в Сибирь потому, что так хочет предок, в голове которого застряла сугубая мысль о том, что мы должны узнать, почему сотня гребешков.

— Ты дурак! — зло сказал Борис.

— Пожалуй, да, — неожиданно весело согласился брат. — Ты на два года моложе меня, но в два раза умнее... Из Сибири ты вернешься на белом коне, на котором въедешь на самый Невский проспект. Женщины будут бросаться тебе на шею, а на кафедре тебе приготовят теплое местечко. И даже на старости лет, собрав у камина внуков, ты будешь рассказывать им, как осваивал Сибирь в годы построения коммунистического общества.

— Слезь со стола! — закричал Борис. — Приличные люди сидят на стульях!

— Вот я и разозлил тебя, — заметил Эдуард. — А коли ты сердисься — значит, я прав.

— Вон! Пошел вон! — иступленно закричал Борис, но Эдуард вдруг положил ему руку на плечо, ласково погладил.

— Не злись, Борька, — попросил он. — Мне будет скучно без тебя...

— Но нельзя же быть таким циником, — по-прежнему зло сказал Борис. — Противно тебя слушать.

...С того дня прошло больше семи месяцев. Вспоминая Эдуарда, Борис теперь чувствует к нему признательность, но по-прежнему часто думает о том, что старший брат во многом не прав. Нельзя же быть таким циничным, как он! И нельзя писать такие письма, какие пишет Эдуард.

Усмехнувшись, Борис нагибается, поднимает с пола голубой конверт и еще раз — это уже в третий — пробегает письмо. Старший брат Эдуард спрашивает: «Нашел ли ты в Сибири романтиков трудовых будней? А может быть, ты сам стал романтиком?..» Нетрудно представить выражение лица, с которым Эдуард писал эти слова.

Борис поднимается с кресла, медленно идет в кухню. Там он вынимает из кармана зажигалку, щелкает механизмом и подносит к огню письмо брата. Толстая гладкая бумага загорается не сразу — сначала набухает, чернеет, корежится. Но потом огонь мгновенно, с оглушительным хлопком обхватывает письмо. На железный лист возле плиты летят крупные хлопья сажи.

— Вот так! — говорит Борис.

Он смотрит на часы — до ужина остается десять минут, то есть ровно столько времени, сколько и надо для того, чтобы не опоздать и не прийти слишком рано. Повеселев, Борис возвращается в прихожую, надевает просторное короткопалое пальто. В нем он проходит в спальню, останавливается возле зеркала. Борис весело, как милому знакомому, подмигивает своему отражению в большом стекле.

— Ничего! — улыбается он.

На крыльце дома Борис еще раз задерживается; внимательно, сосредоточенно оглядывает вечерний Черный Яр — желтые огоньки в окнах, низкое небо, тускло поблескивающую ледяной корочкой Обь.

— Те-те-те! — говорит Борис. — Сто шестьдесят седьмой житель Черного Яра — я! Те-те-те!

После этого он спрыгивает с крыльца и быстро шагает по улице.

Борис идет к Владимиру Алексеевичу Аленочкину, у которого обедает и ужинает, так как в Черном Яре нет столовой, а жена Аленочкина Любовь Борисовна предложила Егорову питаться у них, внося за это определенную сумму денег.

Шагая, Борис весело насвистывает. Ему нравится бывать у Аленочкиных. Ему нравится и обстановка в доме начальника, и его жена, и разговоры за столом, и то, как его кормят. Но больше всего ему нравится Владимир Алексеевич Аленочкин. «Аленочкин — прелесть!» — думает Борис, все ускоряя шаги. «Аленочкин — чудо!» — думает он еще раз, когда подходит к дому начальника. Остановившись у крыльца, чтобы счистить грязь с туфель, он вдруг говорит вслух:

— Аленочкин — вот человек! Так-то, брат Эдуард!

7

Дом Владимира Алексеевича Аленочкина, принадлежащий сплавному участку, велик и просторен. В нем пять комнат, дом с трех сторон обнесен стеклянной верандой; стены сложены из лиственных брусьев, крыша железная, окна широкие, полносолнечные. Дом стоит на небольшой возвышенности, в самом центре поселка — рядом магазин, клуб, пекарня. С веранды летом видна загнутая подковой Обь, синие кедрачи, далечина голубого горизонта. От дома пахнет смолой и свежей крапчатой.

Борису открывает дверь сам Владимир Алексеевич.

— Вы точны, как хронометр, Борис Петрович! — улыбается он. — Ужин ждет нас!

Они идут по коридору, потом минуя небольшую гостиную, кабинет

Владимира Алексеевича и уж затем попадают в столовую, где за большим столом сидят жена Аленочкина Любовь Борисовна и ее сестра — учительница Софья Борисовна Боярская.

— Добрый вечер!

Большие ковры прикрывают стены и пол, мебель — дорогая, полированная, под потолком сверкает стеклянными гранями огромная люстра. Стол сервирован тоже отлично — на полотняных салфетках лежат серебряные ножи и вилки, а в вазе чешского стекла желтеют подснежники. Накрахмаленная скатерть хрустит. И запахи в столовой приятные — пахнет ванилью, свежей скатертью и лаком мебели.

Хозяйке дома Любви Борисовне Аленочкиной лет сорок, но она так хорошо сохранилась, что ей можно дать и тридцать. Лицо у Любви Борисовны белое, тонкокожее, хотя она брюнетка, фигура отличная.

Ее сестра Софья Борисовна похожа на рано состарившуюся девочку — маленькая, тоненькая, проворная, как мышь. И цветом одежды она тоже похожа на мышь — на ней серое платье с глухим воротником. На носу у Софьи Борисовны пенсне.

— Что же, начнем! — решительно говорит Владимир Алексеевич, раскладывая на коленях салфетку. — Что у нас сегодня на закуску?

На закуску сегодня копченая стерлядь, ломтики твердой колбасы, капуста с брусникой и маринованные помидоры.

— Борис Петрович, пожалуйста! — мило улыбается Любовь Борисовна. — Не сидите без дела.

— Благодарю вас, — отвечает Борис.

Он чувствует себя у Аленочкиных как дома; все здесь привычно ему — и обилие комнат, и красивая, современная мебель, и сервиз, и даже то, как накрыт стол. В большой ленинградской квартире Егоровых все так же, как у Аленочкиных, — так же крахмалятся скатерти, накрывается стол, в таком же порядке подаются блюда.

Борис с аппетитом ест закуску, а сам незаметно наблюдает за соседями. Владимир Алексеевич читает газету. Это вредно, некультурно, но Любовь Борисовна давно уже примирилась с мужем, который убедил ее, что он должен читать газеты за столом, так как иного времени для чтения газет не имеет. Любовь Борисовна ест рассеянно: по-первых, она боится полноты, а во-вторых, внимательно следит за мужем, который, читая газету, может не съесть какое-нибудь блюдо. Потому Любовь Борисовна время от времени пододвигает к руке мужа то салатницу, то тарелку, то ломоть белого хлеба. Неохотно ест и Софья Борисовна — она вообще ест мало и плохо. Ковыряет вилкой в капусте, выбирает отдельные кусочки и берет самую малость. Вид у нее такой, словно она недоевельна ужином.

Наблюдая за соседями по столу, Борис Егоров думает о них. Глядя, как Аленочкин читает газету и рассеянно тычет вилкой в тарелку, Борис думает о том, что Владимир Алексеевич сумел в Черном Яре создать для себя хорошую жизнь. Зарплата у него тысяча восемьсот рублей, но это только та первоначальная сумма, на которую наматывается все остальное. Начать следует хотя бы с того, что Черный Яр считается самым северным районом северной области, и в связи с этим обстоятельством начальник получает еще тысячу восемьсот рублей; кроме северной надбавки, ему платят за выслугу лет. Однако и это не все: почти ежемесячно Владимир Алексеевич получает премиальные. Был случай, когда он заработал за месяц семь тысяч пятьсот рублей — за полуторное перевыполнение плана отгрузки леса и сортности древесины.

У Аленочкина, наверное, полно денег, так как в Черном Яре продукты дешевы: ведро жирных карасей стоит пять рублей, утка — семь, мешок

картошки — двадцать. Семья же у Владимира Алексеевича невелика: сам он, жена да сын — томский студент. По расчетам Бориса, Аленочкин ежемесячно может откладывать не меньше трех тысяч рублей.

Глядя на жену Аленочкина, Борис вспоминает, что его старший брат Эдуард таких женщин называет уютными, и он согласен с этим, ибо Любовь Борисовна именно уютная женщина. А вот ее сестра не вызывает у Бориса уважения к себе.

Аленочкин как-то назвал свою свояченицу идеалисткой, он сказал так:

— Софья Борисовна год назад повздорила с городским школьным начальством и была вынуждена эмигрировать из области в Черный Яр. Она большая идеалистка!

Сказано это было насмешливо.

В Софье Борисовне действительно есть что-то смешное — старомодное пенсне, фигура девочки, и ведет она себя по-девчоночьи: слишком порывиста, суетлива. А ведь ей уже пятьдесят лет.

И вот сейчас, глядя на нее, нельзя не улыбнуться. Пенсне у нее висит на кончике тонкого носа, губы сложены обиженно, и она так внимательно разглядывает пищу, словно ищет муху.

Софья Борисовна давно уже не в ладах с Аленочкиным, но ссоры между ними вспыхивают редко. Борису приходится только наблюдать, как меняется старая учительница, когда в комнату входит Владимир Алексеевич. Вот она спокойно сидит на диване, оживленно рассказывает о школе, охает и ахает, всплескивая узенькими ладошками, и вдруг лицо ее становится сухим, напряженным, а плечи опускаются. Прервав речь на полуслове, Софья Борисовна забивается в уголок и оттуда глядит на зятя немигающими глазами, по которым видно, что Аленочкина она терпеть не может. И за ужином ее взгляд все время выражает открытое презрение к хозяину дома.

Бориса терзает любопытство: что не поделили Аленочкин и Софья Борисовна, в чем корень их неприязни?

— Борис Петрович, вам жидкий компот или густой? — словно издалека слышит он голос Любви Борисовны.

— Ах, да, да... — рассеянно отвечает Борис, еще не понимая вопроса, обращенного к нему.

— Вам жидкий компот или густой? — с понимающей улыбкой повторяет Любовь Борисовна. — Как вы глубоко задумались!

— Простите, Любовь Борисовна.

Склонив голову, он весело смеется, разводит руками, как бы осуждая себя за то, что имел невежливость прослушать обращенный к нему вопрос.

— Мне средний компот, — продолжает смеяться Борис. — Я человек умеренных требований!

— А мне компота не надо! — восклицает Софья Борисовна. — Я уже по горло сыта!

Резко поднявшись из-за стола, она решительным шагом уходит из столовой — маленькая, худенькая, с остро торчащими на спине лопатками. Быстро повернувшись к ней, Борис провожает ее взглядом, потом смотрит на Любовь Борисовну.

— Странно! — восклицает Любовь Борисовна. — Она так любит компот!

— Но зато не любит людей умеренных требований, — вдруг раздается из-за газеты спокойный голос Владимира Алексеевича. — И на этот раз нелюбовь к ним победила любовь к компоту.

Положив на стол газету, Владимир Алексеевич с легкой усмешкой проводит пальцами по уставшим от чтения глазам.

— Кстати, сама Софья Борисовна ест компот средней концентрации! — насмешливо продолжает он. — А вот я люблю сладкую водичку!

Борис Егоров удивляется: оказывается, этот Аленочкин все видел и все слышал, хотя старательно делал вид, что углублен в газету.

Глава вторая

1

— Второй день? — огорченно спрашивает Максим.

— Второй день Емельян Кузьменко не выходит на работу, — повторяет мастер лебедек Валентина Батаногова. — Я ходила к нему на дом, но не застала. — Она старается не смотреть на Максима, говорит тихо. — По деревне идет слух, что Емельян запил.

— Я пойду к Емельяну! Вы, Валентина Павловна, идите домой... На сегодня дела кончены. До свидания!

— До свидания, — совсем тихо отвечает Валентина.

Когда Максим выходит из конторы, на него наваливается тугой, взгальный ветер — хватает за полу телогрейки, рванув за воротник, раздувает кончик шарфа. Максим нагибается и плечами, головой, туловищем раздвигает плотную массу воздуха.

В конце апреля на Оби всегда дуют ветры. Упругие и настойчивые, они продувают до сияния торчащие из реки льдины, сметают с накатанных дорог сено и мусор, продувают голую тайгу. Ветры дуют с утра и до поздней ночи, притихнув, отдохнув, на заре срываются опять.

Ветры подметают Обь, тайгу и болота к весне — они делают ноздреватыми, легкими толстые сугробы снега, обдувают ветви кедров, белые маковки вершин; громадной метлой ветры метут Васюганские болота. И они уже сейчас пахнут весной: оттаивающими смолевыми ветками, сырой землей, прелыми листьями.

Борясь с теплым апрельским ветром, Максим сердито думает об Емельяне Кузьменко — своем школьном товарище.

Всю зиму Емельян бузил — переходил с работы на работу, ругался с начальством, дважды пытался уволиться. С Максимом он поссорился еще осенью, когда тот приехал в Черный Яр с инженерским дипломом. Уже тогда Емельян встретил его угрюмо, злобно: «Моим начальством будешь!» — а когда Максим попытался пригласить его в гости, усмехнулся: «К начальству в гости не хожу! Начальству со мной скучно — я человек серый!» Максим от удивления присвистнул, но Емельян повернулся и ушел. Недели через две Максим настойчиво повторил приглашение. На этот раз Емельян был еще злее. «Егорова приглашай в гости! — стиснув зубы, ответил он. — И вообще не пойму, какого черта тебе от меня надо? Хочешь показать, что дружен с работягой?..» Потом они совсем разошлись, а несколько дней назад Максим был вынужден снять с работы Емельяна.

Через несколько минут ходьбы Максим подходит к дому Емельяна. Миновав калитку, Максим поднимается на крыльцо, хочет открыть сенную дверь, но вдруг опускает руку — он чувствует легкое покалывание в сердце. Становится грустно, тоскливо. «Я не был в этом доме лет семь!» — думает Максим, оглядывая почерневшие стены. Дом кажется ему очень маленьким. То ли оттого, что Максим вырос, то ли оттого, что дом ушел нижними венцами в землю.

Максим знает дом Емельяна до мелочей: знает, например, что на чердаке есть маленькая, огороженная фанерой комнатка — в ней они деть-

ми играли «в дом»; знает, что в сенях есть половица, которую можно поднять — под нее Максим и Емеля прятались от мальчишек; знает, что за домом есть верстак — на нем они мастерили деревянные сабли и пистолеты. И Казбека, разношерстного пса, знает Максим.

Увидев Максима, пес бросается навстречу, поднявшись на задние лапы, повизгивает от радости, высовывает язык. Максим ласково треплет его по скатанной шерсти. «Узнал! — растроганно думает Максим. — Узнал, Казбечина!» Он старается вспомнить, сколько лет псу, и у него получается, что Казбеку не меньше пятнадцати лет — почему-то он весь седой, и глаза у него бесцветные, и лапы у пса стали вроде бы короче, и сам он ниже и не лает уже от радости, а только визжит.

«Плохо! Все плохо!» — вздыхает Максим. Еще немного помедлив, он открывает дверь, проходит гулками, пустыми сенями, в полутьме нащупывает ручку избяной двери. Он не нашел бы ее, если бы не знал на ощупь, где ручка. «Плохо!» — снова со вздохом думает он и, постучав, тянет на себя тяжелую дверь. Он не ждет ответа на стук, так как ответ все равно не будет слышен из-за двери, сделанной из толстых кедровых досок.

Максим входит в большую, но единственную комнату дома. В первые секунды он ничего не видит, ослепленный быстрым переходом из темных сеней в дом, где в глаза ему светят два небольших оконца.

— Здравствуйте! — наугад здоровается Максим.

— Кто это? Кто? — приглушенно доносится из угла комнаты.

— Это я, Прасковья Михайловна! Максим Ковалев.

— Максимушка! — слышится вздох из того же угла.

Теперь Максим видит большую деревянную кровать и лежащую на ней Прасковью Михайловну — мать Емельяна, которая тяжело больна и лежит в кровати вот уже третий месяц.

— Проходи, Максимушка, садись, — шепчет Прасковья Михайловна. — Чего-то давно тебя не было... Уезжал куда или что? Матушка твоя кажинный день ходит, а тебя нету...

На цыпочках, чтобы не скрипеть разохшимися половицами, Максим проходит по комнате, не глядя, подтаскивает под себя табуретку и тихо опускается на нее.

— Совсем я плоха, — сама с собой разговаривает Прасковья Михайловна. — Совсем я на ноги сяла. Раньше, это, еще по дому ходила, шаршилась, а теперь совсем сяла. Щей, это, сварить не могу, картошки сжарить... Корову продали, — задумчиво сообщает она. — А как ее, корову, держать, коли не знаю, поднимусь ли теперь на ноженьки-то? Не знаю, парень.

У Максима сжимаются тяжелые большие губы — он не узнает Прасковью Михайловну. Ведь еще осенью она ходила по дому, по двору, ухаживала за коровой, стояла в очередях в орсовском магазине. Была тяжеловато-полной, бледной, но веселой. А теперь... Сухонькая, остроноса, с серой кожей на лице, Прасковья Михайловна глядит в потолок большими немигающими глазами. Волосы у нее совсем побелели.

— Надрыв во мне произошел, — шепчет Прасковья Михайловна. — Вот потому я на ноги и сяла... Матушка твоя, Максим, говорит: «Это у тебя, Михайловна, от невода!» Да я и сама думаю, что от него. Потаскай-ка неводище день-деньской... — Она передыхает, набирается сил. — Мне бы только на ноги встать! Подняться бы мне на ноги... У Сузгиных телушка есть, уступили бы. Поросят, слышала, по дешевке продают... — Она трудно поворачивает к Максиму лицо с лихорадочно блестящими глазами, спрашивает: — Ты не знаешь, Максимушка, почему поросята?

— Не знаю, тетя Паша, — тоже шепотом отвечает Максим.

— Плоха стала тетя Паша,— вздохнув, говорит Прасковья Михайловна.— Совсем тетя Паша на ноги сяла! Ты вот пришел, а мне тебя и угостить нечем... А ты любил мои шанежки, Максимка, с маком да с творогом... Ты почему к нам не ходишь, Максимушка?

Опустив голову, Максим молчит. Его тяжелые губы плотно сдвигаются, становятся тонкими.

— Где Емельян, тетя Паша? — тихо спрашивает он.

— На печке спит... Некормленный он, голодный. Утресь мне кусок пирога принес, я и поснедала...

В комнате холодно — даже через телогрейку Максим чувствует струю нетоплености. Потом он замечает, что на столе воском замерзла струйка воды, избяная дверь подернулась инеем, а в доме грязно и пусто. Печка давно не белена, пол покрыт коркой грязи, везде валяются тряпки, обрывки бумаги, веточки от веника.

— С третьеводни не убрано! — перехватив взгляд Максима, вздыхает Прасковья Михайловна.— Я ведь совсем на ноги сяла!

Она отвертывается от Максима, помолчав, говорит:

— Нужен Емеля, так разбуди...

Емельян спит крепко. Повалился лохматой головой в кучу старых шуб и телогреек, наташил на себя тулуп и как-то неловко, по-детски подвернул под живот руку. Во сне лицо у Емельяна доброе, простецкое, улыбочное, но затуманенное легкой, как бы мимолетной грустью. Большие брови Емельяна спокойно разведены, у губ нет тоскливой гримасы. Сейчас у него такое лицо, какое бывало у мальчишки. В детстве Емельян был хорошим мальчишкой — смелым, добрым, веселым и умным.

— Емельян! — Максим осторожно трогает Емельяна за плечо.— Вставай, Емельян! Ну, вставай!

Емельян пошевеливается, застонав, вытаскивает руку из-под живота, переворачивается на бок, но не просыпается.

— Емельян! А, Емельян!

Еще не совсем проснувшись, но услышав чужой голос, Емельян сдвигает брови, злым движением натягивает на голову тулуп.

— Емелюшка! Вставай! — ласково и негромко окликает сына Прасковья Михайловна.— Вставай, Емелюшка, к тебе товарищ пришел. Вставай, Емелюшка!

Емельян мгновенно открывает глаза, быстро поднявшись, сбрасывает тулуп.

— Что тебе, мама? — тревожно спрашивает он и видит Максима. Емельян задерживает движение рук, которыми хотел опереться, чтобы спрыгнуть с печки. Брови у него сходятся на переносице, глаза становятся холодными, далекими.

— Ковалев,— усмехается Емельян.— В гости пришел...

Опростав ноги от тулупа, Емельян слезает с печки, идет к Прасковье Михайловне.

— Пить хочешь, мама? — спрашивает он и, не дождаввшись ее ответа, берет с плиты чайник, протягивает матери.

Она жадно пьет, напившись, роняет голову.

— Полегчало мне... Внутри все горит, ровно там печка... А теперь полегчало,— благодарно шепчет Прасковья Михайловна.

— Зачем пришел? — не поворачиваясь к Максиму, сердито спрашивает Емельян.

— Поговорить.

— О чем? — усмехается Емельян.— О чем ты можешь со мной говорить?

— Чайку поставь, Емелюшка! — торопливо перебивает сына Пра-

сковья Михайловна.— Я совсем по дому не шарашусь... Ты чайку поставь, Емеля, да сбегай в магазин за пряниками... Вот и чайку попьем...

— Ты зачем пришел? — не слушая мать, снова спрашивает Емельян.

— Чайку поставь, Емелюшка! — болезненно стонет Прасковья Михайловна.

— погоди, мама! — останавливает ее Емельян.— погоди с чайком...

Он повертывается к Максиму медленно, словно не сам, а кто-то посторонний поворачивает его, взяв сильными руками за плечи.

— Поговорить, значит, пришел! — презрительно улыбается он.— Проявить заботу о человеке! Тебя, наверное, учили в институте, что о человеке надо заботу проявлять...

— Емелюшка! — тонко восклицает Прасковья Михайловна.— Емелюшка, чего это ты...

— погоди, мама! — болезненно сморщившись, просит Емельян, кладя руку на высохшее плечо матери.— погоди, мама, мне надо поговорить с Ковалевым! — теперь он говорит спокойнее: — неделю назад выгнал меня с работы, а теперь пришел проявлять заботу... Любопытненько! Не пойму, что это тебя привело! Может быть, Аленочкин послал? А может быть, с Егоровым посоветовался? Или сам пришел? Ну, чего молчишь? Сказать нечего...

— Я слушаю!

— Ах, вот как! — опять усмехается Емельян.— Он меня слушает. Их величество инженер Ковалев изволят слушать разнорабочего Кузьменко! Они даже не перебивают его.

— Ну! Ну! — говорит Максим, внутренне холодея.

— Они нукают на разнорабочего Кузьменко! — разведя руками, зло смеется Емельян.— Они не могут ничего сказать, хотя пришли поговорить...

— Емелюшка! — жалобно стонет мать.

— погоди, мама, постой... Им, инженеру Ковалеву, надо было бы захватить с собой технорука Егорова. Может быть, вдвоем лучше бы поговорили неосознательного рабочего... Виноват, разнорабочего! Двоим было бы лучше... Они ведь дружки! — говорит матери Емельян и кивает на Максима.— Они дружки — Егоров и Ковалев. Вместе коньяк пьют из хрустальных рюмок, узенькие штаны носят, галстуки с булавками, заморские танцы танцуют... Они дружки! — издевательски ухмыляется Емельян.— Инженеры!

— Емельян! Прекрати, Емельян! — тихо просит Максим.

— Пришел поговорить — слушай! — кричит Емельян и делает стремительное движение к Максиму.

Теперь они стоят друг против друга — сжав кулаки, тяжело дыша; они почти одного роста, широкоплечие, сильные, темнолицые; у них похожие фигуры, манеры держаться, говор, руки — замасленные, шершавые, плечи — прямые, крепкие. Оба до предела взволнованы.

— Кузь-мен-ко! — по слогам произносит Максим.

— Ко-ва-лев! — тоже по слогам отвечает Емельян.— Зачем ты пришел ко мне? — дрожащим от обиды голосом продолжает Емельян.— Чтобы говорить красивые слова о пользе труда на благо родины? А я не поверю, если о родине будешь говорить ты! Я не верю тебе! Работать! Для чего? Чтобы Аленочкин, Егоров и ты получали премии, чтобы вы сидели в президиумах! Чтобы Егоров носил узенькие брючки и смотрел на меня, как на диво! Для этого?

— Емелюшка! — стонет Прасковья Михайловна, пытаюсь подняться. Она хочет встать за кровать, но растопыренные тонкие пальцы хватают воздух.

— Лежи, мама! — восклицает Емельян. — Погоди, мама, я все скажу ему... Какие ты слова знаешь, Ковалев, чтобы меня заставить на жизнь посмотреть добрыми глазами? Или ты, может, слово такое знаешь, каким мою маму на ноги поставишь, отца убитого мне вернешь, образование мне дашь? Я, думаешь, хуже тебя был бы инженером? Я лучше тебя по математике шел... Чем ты мне можешь помочь, Ковалев? Словами о родине? Не тебе их говорить! Не тебе и не Егорову! Вам от родины одно надо — сладкий кусок!

Он теперь совсем неистов, этот Емельян. Он похож на сумасшедшего, он одержим, он, наверное, не понимает, что говорит.

— Чего морщишься, Ковалев? — кричит Емельян, заметив, как Максим страдальчески морщит губы. — Чего морщишься? Обстановка наша не нравится! Занавесок нет! Скатертей! Сервантов нет... Это у вас серванты, да портьеры, да ковры. У Аленочкина, у Егорова, у тебя... Из хрустальных рюмок пьете. А мы из стакана. Самогонку! Мы не аристократы!

Бледный Максим делает два шага назад, отступив, глубоко засовывает руки в карманы, сжимает пальцы в кулак.

— Придет время, ты сам откажешься от своих слов! Сам! — с придыханием говорит он. Затем круто разворачивается, подходит к Прасковье Михайловне. — До свидания, Прасковья Михайловна! Мама сегодня придет к вам.

У дверей Максим опять оборачивается.

— Истопи печь! — сухо говорит он. — А завтра выходи на работу... Прасковья Михайловна! — обращается Максим к матери Емельяна. — Очень прошу, Прасковья Михайловна, чтобы завтра Емельян вышел на работу.

— Беда! Беда! — шепчет Прасковья Михайловна. — Самовар бы надо вздуть, а они... такое!

— До свидания! — еще раз говорит Максим.

— Скатертью дорога! — кричит Емельян.

2

Татьяна Егоровна сквозь ветер и темень шагает к Прасковье Михайловне Кузьменко. В руках у нее маленький чемоданчик, из-под пальто выглядывает белый халат. Шагает она торопливо.

Татьяна Егоровна иногда в шутку говорит, что чернораевских жителей она знает насквозь. «Они для меня голые, эти чернораевцы!» — смеется она, когда речь заходит о жителях деревни.

И это правда — тех чернораевцев, которым сейчас не больше двадцати лет, Татьяна Егоровна держала в окровавленных руках в тот великий для них момент, когда они появились на свет; каждого жителя деревни, которому больше двадцати лет, Татьяна Егоровна когда-нибудь да лечила — от гриппа, простуды, свинки, воспаления легких, ревматизма, чирив, рожи и так далее.

Татьяна Егоровна знает все о каждом жителе Черного Яра. Ей известно, что у пожилого рабочего Ивана Перегудова на обоих легких петрификаты, на животе — шрам от осколка немецкой мины, что Иван, напившись на праздники, кричит жене Анне: «Сука!» — и выгоняет ее из дому, ссылаясь на то, что двадцать лет назад Анна не сразу вышла замуж за Ивана, а раздумывала, не выйти ли ей лучше за Петра. В свою очередь о Петре Татьяне Егоровне известно, что у него грыжа.

Татьяна Егоровна знает, что едят в каждом чернораевском доме, у кого сегодня есть деньги, у кого нет; ей первой становятся известными

через пожилых женщин все сердечные тайны и переживания деревенских жителей.

Татьяна Егоровна чувствует себя в Черном Яре как в большом собственном доме. Ей ничего не стоит в пух и прах разругать хозяйку дома за грязь, накричать на хозяина за то, что он неделю назад напился; прошлым летом на глазах у начальника сплавного участка Аленочкина она сняла с лебедки целую смену рабочих за то, что они своевременно не сделали уколы против столбняка. Татьяна Егоровна — огромная власть в деревне.

Ветер силится столкнуть Татьяну Егоровну с узенькой тропинки — хватает ее за полы короткого пальто, забирается за воротник, бьет в спину. Но Татьяна Егоровна не сердится на ветер. Ветер — это хорошо, это здорово. Если на Васюганских болотах дуют взгальные упрямые ветры — значит, близка весна, значит, через несколько дней на Оби поднимется бурый торосистый лед, на черном берегу проглянет веселый глазок зелени.

Нынешняя весна — особенная для Татьяны Егоровны. В деревню вернулся Максим, и впервые за пять лет они вместе встречают весну.

Татьяна Егоровна горда Максимом — сын вырос таким, каким она хотела, и она теперь счастлива. Ее жизнь не прошла даром, а то, что жизнь была тяжелой — что поделаешь! Не она одна осталась без мужа; не только ей пришлось хлебнуть горького. Не было в жизни праздников... Что же! Не было веселых друзей, курортов, театров... Не было, собственно, молодости...

Татьяна Егоровна идет по длинной чернойярской улице, которую, впрочем, и улицей-то называть трудно: какая же это улица, если только на одной ее стороне стоят дома, а вторая сторона — высокий берег Оби? Да и жилых домов в Черном Яре мало — всего двадцать шесть, а вообще домов-то в деревне значительно больше.

Двенадцать домов в Черном Яре крест-накрест заколочены досками — ветер дико свистит в холодных трубах, скрипят прогнившие стропила. Крыши пустых домов покрыты слежавшимся черным снегом — с жилых домов его уже давно соскребли.

Татьяна Егоровна знает заколоченные дома так же хорошо, как и жилые. И бывших хозяев их знает. В доме на пригорке жил горбатый слепой старик, игравший на гусях — настоящих гусях... Через два дома от умершего старика жили Вагановы — муж и два сына убиты на фронте... Между двумя кедрами стоит маленький дом Шмелевых — вся семья их подалась в город за старшим сыном, когда в Черном Яре случился неурожай картошки и коровы околевали от голода... Еще один пустой дом — в нем из-за несчастной любви повесилась единственная дочь... Пустует и дом Кондрашевых — средний сын Кондрашева вышел в генералы и увез родителей в Москву...

Когда Татьяна Егоровна проходит мимо заколоченных домов, ей тоскливо, как на кладбище. Поэтому она всегда проходит мимо них торпливым шагом. Доски, которыми забиты окна, ей кажутся похожими на кресты.

А вот и дом Паши Кузьменко. Он совсем покосился, старенький, продутый до черноты ветрами, окруженный развалившимся забором. И пес Казбек тоже очень стар. Он уже не лает от радости, когда бросается навстречу Татьяне Егоровне, а только тихонько повизгивает и виляет облезлым хвостом.

— Я к вам, Казбек, — тихо говорит она собаке, поглаживая ее по скатавшейся шерсти. — К вам, к вам...

Да, Паша Кузьменко умирает! Кому, как не врачу Татьяне Ковалевой, знать об этом.

Умирает Паша Кузьменко, а над Обью и Васюганьем несутся сырые весенние ветры — они торопятся взломать холодную грязно-серую Обь.

3

Обь тронулась ночью, когда над Черным Яром бешено неслись с юга на север низкие плотные тучи.

За несколько минут до того, как река тронулась, на берег, лениво волоча длинные задние ноги, выскочил грязный заяц. Сев под талину, вытянул мордочку с дрожащими усами и нервно понюхал воздух, насквозь пропитанный сыростью. Потом, наклонив голову, стал смотреть на Обь.

Выл ветрище, талина над зайцем скрипела, и он, прижав уши, сидел на снегу тревожно, как на горячей сковородке. Заяц был худой, тощий, с грустными глазами, и на Обь глядел печально, точно не верил, что скоро будет тепло, солнечно, а на веретях вырастет сладкая заячья капуста.

Заяц недолго сидел так: он вдруг тонко, жалобно вскрикнул и взвился вверх метровым прыжком. Только на секунду заяц опередил звук, который грозным накатом пронесся над рекой, над Черным Яром, над Васюганьем.

Что-то заскрежетало, заскрипело, потом раздался протяжный стон — река пошла, и словно для того, чтобы поглядеть на это, из-за туч показалась луна. Сразу стало видно, как на середине реки, блеснув зеркальным изломом, поднялась на дыбки льдина, несколько раз перевернувшись, встала вертикально, громадная, высокая, да так и поплыла дальше.

Затем на несколько минут все стихло. Отмахавший с полкилометра по верети, заяц прилег на снег, жадно лизнув его языком, прислушался к лихорадочному биению собственного сердца. Была немая тишина — без ветра, без звука. Потом послышался тихий треск — такой бывает, когда роговым гребнем расчесывают сухие волосы. Треск медленно усиливался, и над рекой пронесся шорох, как будто кто-то мял руками пергаментную бумагу.

Лед шел три дня; на четвертый Обь стала широкой, как море. Она залила тальники и осиновую рощу, далеко ушла вглубь от берегов — все видимое пространство сияет ее голубизной. И вот уже пятый день над рекой ярко полыхает майское солнце, дробится в воде на тысячи солнц.

У черноморского берега Обь сердито тычется в яр — высокий и глинистый, который река не может перешагнуть. Глина яра темная, отсюда и название деревни — Черный Яр.

Под весенним солнцем, на берегу разлившейся, как море, Оби Черный Яр справляет 1 Мая.

Третий день черноморцы пьют крепкую брагу, водку, самогон; третий день компании шатаются из дома в дом; третий день отовсюду несутся звуки гармошки, голоса поющих, крики ссорящихся; третий день ходит по черноморским улицам специально приехавший на праздник участковый уполномоченный милиции товарищ Колпаков.

Подвыпив, черноморцы обязательно идут на берег Оби. Здесь они встречают приехавших, провожают уезжающих; здесь, на берегу, они

работают, отдыхают, влюбляются и даже женятся, так как свадьбы тоже приходят после выпивки на берег — плясать и петь песни.

Сегодня на глинистом яру человек десять собрались в кружок, в котором лихо отплясывает под гармошку женщина. Молодой гармонист сидит на пеньке и, покачиваясь, рвет трехрядку.

Сияет голубая Обь, светит солнце, за древней ярко синееет молодой кедрач, за кедрачом — еще кедрач, а за ним — третий кедрач, отороченный по горизонту голубой дымкой. Тепло и тихо, а ветер такой слабый и ласковый, что к нему хочется прикоснуться щекой.

— И-эх! — вскрикивает женщина, помахивая белым платочком. — И-эх, пошла плясать, дома нечего кусать! И-эх!

Она уже немолода, эта женщина, ей лет за сорок.

— Давай, Анна! — кричит высокий мужчина, ее муж. — Откалывай!

И Анна Перегудова откалывает — то присядкой идет, то кругом, то бьет высокими каблуками по твердой земле, утопанной плясунами.

Истово отплясывает Анна; окружающие ее мужчины и женщины молча, сосредоточенно и внимательно следят за ней. Всем давно уже надоело пить и плясать, давно уже хочется ткнуться гудящей головой в мягкую подушку. Усталость валит всех с ног, но все продолжают веселиться, потому что вековой традицией в праздники заведено плясать на берегу, ходить из дома в дом, пить и орать песни. Традиция, привычка, а не веселье заставляет плясать Анну в орущем кругу мужчин и женщин, и по той же традиции на лице ее все еще держится вымученная улыбка.

По две-три тысячи прогуливают за праздники черноморские семьи — на водку, на закуски, на приправы. Последние осенние запасы выкладывают они на стол.

— Ех! — веселится Анна Перегудова, а сама думает о том, что унесла в магазин последнюю сотню, истратила ее на водку, чтобы не было стыдно перед людьми: выпить, дескать, нечего у Перегудовых.

— И-эх! — взвизгивает Анна, а сама раздумывает, у кого будет занимать деньги до двадцатого мая, когда муж Иван получит первую большую зарплату: до начала навигации черноморцы зарабатывают мало.

— Ех, жить будем, да и плясать будем, а смерть придет, помирать будем! — веселится Анна.

— Рви, Анна! — подзадоривает ее муж.

Веселится компания. А рядом струится Обь, светит солнце, плещет речная волна и зеленеет за Черным Яром кедровый бор, покрытый молодой глянцевиной зеленью.

Под солнцем, среди голубого сияния обской волны, обдуваемый теплым и ласковым ветром, медленно идет по берегу Емельян Кузьменко. Он не пьяница, к водке у него отвращение, но сегодня с утра, в одиночестве, он тоже хватил два полных стакана. А что ему оставалось делать, когда почти весь Черный Яр был пьян, — не ходить же трезвым среди орущих мужчин и пляшущих женщин?

Почти двухметрового роста, с громадными кулачищами, налитый водкой и злостью, Емельян напряженно шагает по обскому берегу и старательно ищет, с кем бы схватиться. Он нарочно задевает встречных плечом, толкает их, чтобы вызвать ответную вспышку или хотя бы недовольство. Емельяну нужен враг — нет сил держать в себе ненависть к пьяному поселку. «Представляются, сволочи! — думает Емельян. — Показывают, что им весело!» Врага он найти не может: встречные, которых он задевает плечом, испуганно шарахаются в сторону, другие загодя обходят Емельяна.

«Труссы!» — злится он, выходя на берег, где танцует веселящаяся Анна Перегудова.

Емельян без пальто, в одном черном поношенном пиджаке; на голове кепка, из-под которой выбивается огромный русый чуб. У него красивые волосы — мягкие и шелковые, как у пятилетнего ребенка.

— Танцуете! Пляшете! — говорит он, кривя губы. — Сейчас я вам покажу пляску!

Мужчины и женщины замечают Емельяна — гармошка словно захлебывается звуком, пляшущая Анна замирает с поднятыми вверх руками.

4

— Пляшете? — переспрашивает Емельян и злыми, покрасневшими от водки глазами обводит замерших мужчин и женщин. — Ну, чего замолкли, труссы? Бойтесь! Труссы! Труссы!

Ох, какая тоска! Живут, называется... Эх вы, сволочи! Для чего живете? Чтобы пить да жрать? Ну, покажите, что вы люди! Поднимите головы, избежите до полусмерти Емельяна! Бойтесь? Эх вы!

— Шел бы ты отдыхать, Емеля! — как можно мягче говорит гармонист. — Или спляши, я сыграю!

Ах, труссы, труссы! Емельян взмахивает кулаком и с криком: «Убью!» — бросается на гармониста. Тот валится с пенька, задрав неловко ноги, дрыгает ими, пытается подняться, но не может и закрывает руками голову.

— Лежачих не бьем! — презрительно кричит ему Емельян и бросается за самым высоким и здоровенным мужиком — Иваном Перегудовым.

Тот убегает, испуганно оглядываясь на ходу. Тяжелый на ноги Емельян не может догнать Ивана, остановившись, он озирается, ища другого противника.

— Труссы! Козьявки! — на весь берег ревет Емельян и вдруг ссутуливается, склоняет голову, длинные руки безвольно повисают вдоль тела.

«Убежали, труссы!» — с тоской думает он. А в это время гармонист, обронивший шапку, крадется к ней обратно. Емельян замечает это, и ему становится противно, что гармонист боится его и еще больше боится потерять шапку. «Козьявки! Сволочи!»

— Э! — внезапно вскрикивает он и кидается к крадущемуся гармонисту.

Тот быстро улепетывает. Тогда Емельян пинает шапку гармониста, топчет ее ногами, приплясывает на ней.

— Получайте! — кричит Емельян. — Вот... Вот вашей шапке!

Но по берегу уже вышагивает участковый уполномоченный районного отделения милиции товарищ Колпаков.

— Забрать его! Посадить! В кутузку! — кричат осмелевшие черноярцы. — Куда милиция смотрит? Безобразия!

Колпаков ни на кого не обращает внимания. Это словно не за ним валит возбужденная толпа. Черноярцы идут за Колпаковым, чтобы посмотреть, как участковый будет «забирать» Емельяна. А впереди всех ковыляет вдруг сильно опьяневший гармонист.

— Гляди, народ, что он с моей шапкой сделал! — кричит он, потрясая шапкой. — Гляди, народ, что сделал с ней!

Толпа тесно сжимает милиционера и Емельяна. Люди наваливаются спереди и сзади, дышат водочным перегаром, луком, чесноком.

— Пускай заплатит за шапку! — визжит гармонист.

— В кутузку его! — кричит баба Сузгиниха.

— Изватлать его!

— Судить!.. Морду начистить!

Хриплые от водки голоса похожи друг на друга.

Емельян стоит в центре толпы. Ни Колпакова, ни мужиков он не боится, но ему муторно, тоскливо оттого, что кругом красные, пьяные лица, мутные глаза — тот самый Черный Яр, что пьет три дня подряд, что ходит из дома в дом, что неистово орет песни. А где друзья Емельяна? Нет здесь у него друзей. Был раньше другом Максим Ковалев, да не тот теперь он, был другом Пашка Вертков, да нет теперь Пашки — работает инженером на большом заводе, а дом, в котором жил Пашка с родителями, заколочен крест-накрест досками.

«Эх, жизнь наша!» — вздыхает Емельян. Нет вокруг друзей. Злы все на Емельяна, и только лицо одного человека не пылает злобой к Емельяну. И самое странное то, что это лицо принадлежит участковому уполномоченному Колпакову.

— Пройдем, Емельян! — говорит Колпаков, мягко беря пальцами Емельяна за рукав. — Расступись! — приказывает он толпе. — Ну, кому говорят!

В толпе образуется брешь, люди расступаются, чтобы Емельян и Колпаков могли пройти. И они уже почти выходят из толпы, когда над берегом раздается мальчишечий крик:

— Глядите! — Мальчишка кричит тонко, фистулой, в голосе и испуг, и пронзительный восторг. — Глядите, какая чуда!

Емельян, Колпаков, все, кто стоит на берегу, оборачиваются на голос мальчишки. Сначала они ничего не видят, ослепленные солнцем, но потом на широкой излуине реки возникает что-то серое, громадное. И это серое, громадное кажется ажурным, воздушным — может быть, оттого, что его покрывает голубая дымка.

— Большой пароход! — кричат ребятишки.

Но нет, это не пароход.

— Трехэтажный дом! — вопят ребятишки.

Но нет, это и не дом.

— Батюшки! — вскрикивает баба Сузгиниха.

Вот «батюшки» — это, пожалуй, точнее всего выражает впечатление от того громадного, серого, ажурного, что медленно приближается к берегу.

Каким крошечным кажется рядом с ним буксирный пароход, который тянет за собой эту громадину!

Жители Черного Яра бросаются к Оби.

Семеня, бежит пожилой директор школы, идут учителя, закрыв на замок магазин, бежит на берег орсовский продавец Иван Иванович Голубь, отец Людмилы, несутся девушки из конторы, бежит Валентина Батаногова, идет Татьяна Егоровна Ковалева, тащатся старики и старики. Вся деревня высыпает на берег.

Громадное, серое, величественное приближается — уже видны переплетения металла, мощный понтон, поддерживающий тело нового погрузочного крана; солнце переливается в окнах кабины крановщика, на ажурной, легкой на вид стреле.

Люди молчат. В напряженной тишине слышно тяжелое сопенье буксира: ожесточенный стук паровых плит, шипенье пара. Уже можно прочесть на спасательных кругах, висящих на леерах буксира, крупные буквы — «Щетинкин». Буксир делает разворот, чтобы причалить кран. Занявший половину синего неба, кран так высок, что люди, глядя на него, задирают головы.

Проходит еще несколько минут, и на лица черноморцев падает тень — кран закрывает от них солнце. Вода с шумом бурлит у яра, с грохотом валится глиняные глыбы; берег вздрагивает.

Слышно шипенье, тонкие гудки «Щетинкина», крик матросов: «Прими чалку!» Машина «Щетинкина» ожесточенно срабатывает назад, кран от этого выравнивается. Летят легости, их принимают, на берег выскакивают речники, начинают закреплять чалки.

— Здравствуйте, товарищи! — весело кричит с понтона Владимир Алексеевич Аленочкин.

Рядом с ним на понтоне стоят Максим Ковалев и Борис Егоров.

Глава третья

1

Госгортехнадзор, или Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, — вот как называется организация, которая неделю назад передала в эксплуатацию Черноморскому сплавному участку новый погрузочный кран ПК-10. Со стороны госгортехнадзора протокол подписал усатый строгий человек; со стороны Черноморского сплавного участка — Аленочкин, Егоров, Ковалев и Батаногова.

Полный титул крана — КПлПК, грузоподъемностью десять тонн, с вылетом стрелы тридцать метров. Переводится это так: кран плавучий, погрузочный, крюковый. Высота крана с поднятой стрелой — тридцать пять метров; он может поднять и перенести с места на место десять тонн груза.

Почти все жители Черного Яра — грузчики, так как Черноморский сплавной участок занимается погрузкой леса на баржи. Чем больше барж погрузят черноморцы, тем лучше для государства и черноморцев. Новый погрузочный кран им для того и нужен, чтобы ускорить кругооборот барж, ибо кран мощнее старых погрузочных лебедок системы Мерзлякова — он может нагрузить баржу за смену, а лебедка грузит за сутки; на кране занято три человека, на лебедках — более двадцати.

Подписав протокол о сдаче крана, усатый представитель госгортехнадзора уехал в областной город, а кран остался в Черном Яре. Теперь он стоит у высокого черного берега, поднимает и опускает стрелу — работает. В это же время в конторе сплавного участка идет обычное десятиминутное заседание, на котором председательствует Владимир Алексеевич Аленочкин.

— Праздники кончились! — энергично говорит он, разрубая рукой воздух. — Начались будни! — Владимир Алексеевич придвигает к себе счеты, кладет пальцы на костяшки. — Если кто-нибудь из присутствующих здесь считает, что праздники не окончились, то он глубоко ошибается! — продолжает он и с улыбкой озирает присутствующих: «А ну, кто считает, что праздники не окончились?»

— Внедрение нового — это тяжкий труд. Говоря словами начальника рейда Максима Максимовича Ковалева, для внедрения нового надо работать до седьмого пота... До седьмого! — улыбается Владимир Алексеевич и откладывает на счетах сразу семь костяшек. — Прежде чем мы достигнем проектной производительности крана, с нас сойдет семь шкур! Уж поверьте мне, что это так, товарищи!

Его внимательно слушают. Максим Ковалев улыбается: его поражает совпадение слов Аленочкина с тем, о чем он только что думал. Десять минут назад Максим, шагая на десятиминутку, размышлял о том, что

начинается трудное время освоения нового погрузочного крана — время тревог и беспокойства, круглосуточной работы, нервного напряжения.

Владимир Алексеевич, подняв счеты, смахивает сразу все костяшки.

— Мы не знаем сотен неожиданностей, заключенных в кране, — говорит он. — Механизм не освоен, и было бы смешно полагать, что кран будет работать бесперебойно. Нет! Он будет ломаться, капризничать, преподносить нам сюрпризы. И к этому надо быть готовым... Что нужно делать, чтобы кран работал хорошо? — спрашивает Владимир Алексеевич, поднимаясь с места. — Что нужно?

Аленочкин спокойно прохаживается по ковровой дорожке — руки заложены за спину, взгляд серьезен, голова поднята; он туго затянут в серый полувоенный костюм из коверкота. Галифе ловко и красиво обтягивают полную мускулистую ногу, китель так впаян в грудь и плечи, что ни капельки не морщится. Аленочкин опрятный, подтянутый, как бы выглаженный.

— Мероприятия таковы! — говорит Владимир Алексеевич. — Первое и основное — профилактика. Второе — дежурства на кране. Чтобы облегчить работу Максима Максимовича как начальника рейда и Валентины Павловны как мастера крана, я составил график дежурств. Нас четверо. В сутки три смены. Я предполагаю, что каждый из нас в состоянии дежурить на кране через три смены, чтобы ни на секунду не оставлять механизм без присмотра инженерно-технического работника!

Далее Аленочкин перечисляет другие мероприятия, говорит о сложности руководства крановщиками, о создании резерва запасных тросов и чокеров, о необходимости хорошо сортировать лес, и, как всегда, начинает казаться, что Владимир Алексеевич не отдает распоряжения, не командует, а просто рассуждает вслух о том, что тревожит всех. И все согласны с Аленочкиным, так как он говорит то, что сказал бы каждый из них.

— Кран должен иметь три комплекта запасных чокеров, — говорит Аленочкин, и Максим Ковалев мысленно поддакивает: «Правильно! Именно так!»

Владимир Алексеевич высказывает предположение о том, что плохая сортировка леса может стать причиной аварии, и Максим согласно кивает: «Так! И только так!» Аленочкин беспокоится о работе сортировочной сетки, а Максим Ковалев только что думал о ней, ибо работа сетки тоже тревожит его. Каждое слово Аленочкина находит отклик у Максима, и это естественно — Владимир Алексеевич прекрасно знает дело.

— Кажется, все! — заканчивает Аленочкин. — Не пропустил ли что-нибудь важное?

Нет, он ничего не пропустил. Максим Ковалев удовлетворенно закрывает блокнот, в который он кое-что записывал, Валентина Батаногова задумчиво улыбается, а технорук Борис Петрович Егоров быстро пишет в настольном календаре — не надеясь на память, записывает дни, когда он будет дежурить на погрузочном кране.

— Значит, ничего не забыл! Хорошо!

Владимир Алексеевич возвращается по ковровой дорожке к своему столу, садится, расправляет широкие плечи. Он делается строгим, сосредоточенным, на лице начальника нет беглой, радушно-начальственной улыбки, серые глаза смотрят сурово.

— Вы, товарищи, не знаете о самом трудном! — строго говорит Аленочкин и круто поворачивается к Максиму Ковалеву. — Максим Максимович, вы помните, когда по предварительному плану кран должен быть включен в план?

— Конечно!.. Двадцатого июня!

— Нет, не двадцатого июня! — ударяя пальцами по счетам, жестко произносит Владимир Алексеевич. — Нет, не двадцатого июня, а первого июня... Понимаете, первого июня! — Владимир Алексеевич со звоном, размашистым движением пальцем откладывает одну костяшку на счетах. — Первого июня кран должен давать лес для плана! К первому июня должна быть достигнута проектная производительность. И ни днем позже! Вот в чем загвоздка, товарищи!

На несколько секунд в просторном кабинете начальника наступает тишина. Хорошо слышно, как на берегу работает новый погрузочный кран — гремит моторами, визжит блоками; тарыхтит сырой лес на погрузочных лебедках Мерзлякова. По стеклам окна бегут сине-розовые зайчики — отблеск Оби, текущей в ста метрах от конторы.

— И вы согласились на такие условия? — тихо спрашивает Аленочкина Борис Егоров. — Вы дали согласие на первое июня? Вы согласились? — переспрашивает он, быстро поднимаясь из-за стола.

— Да! — коротко отвечает Аленочкин.

Проходит секунда, вторая. Борис Егоров опять садится за стол своим обычным замедленным движением.

— Что же, вам виднее, — спокойно говорит он.

Дважды прошагав по ковровой дорожке, Аленочкин останавливается против Максима и Бориса.

— Вам еще, наверное, неизвестно, товарищи, что нынешней осенью или зимой соберется очередной съезд Коммунистической партии. Скоро будут опубликованы документы для всенародного обсуждения. — Он делает небольшую паузу, встряхнув головой, энергично заканчивает: — Мы должны встретить съезд трудовыми подарками! Именно поэтому я согласился включить кран в эксплуатацию первого июня... Мы должны сделать почти невозможное, товарищи! И мы сделаем!

Максим пристально смотрит на Владимира Алексеевича — начальник ему нравится. «Молодец! — думает о нем Максим. — Решительный и настойчивый человек этот Аленочкин».

Уж Максим-то Ковалев знает, что такое включить в план на двадцать дней раньше, и, значит, еще недостаточно освоенный, новый погрузочный кран. Это значит, что Черноярский сплавной участок может превратиться из передового в отстающий, Владимир Алексеевич Аленочкин из передового начальника станет непередовым; это может привести к тому, что в Черном Яре начнется глухое роптанье рабочих, которые, лишившись премиальных, будут зарабатывать меньше; это может привести к тому, что и сам Аленочкин потеряет большие деньги.

— Не надо молчать! — весело смеется Владимир Алексеевич. — Не надо смотреть в пол! Надо работать, товарищи, работать... До седьмого пота, как говорит Максим Максимович. Я уверен, мы справимся с задачей... У меня такие помощники, что любой может позавидовать!

И он так широко разводит руки, точно хочет обнять всех: технорука Егорова, начальника рейда Ковалева, мастера Батаногову.

— По местам, товарищи! Все будет хорошо! — уверенно говорит Аленочкин.

2

Поднявшись высоко над тальниками, солнце ярко освещает реку. Обь уже не темно-синяя, как на восходе, а голубая. На реке оживленно. Густо дымя, тилипает вдоль берега маленький буксирный пароход, по плесу снуют лодки, обласки, на излучине виден еще один пароход — белый, высокий, стремительный. На Оби и берегу много солнечных зайчиков: блестят покатые волны, стекла крана, капли воды, стекающие с кончиков весел. Звуков тоже много: веселый крик ребятишек, тяжелое

погромыхивание сырых бревен, скрип тросов на лебедках, шипенье пара.

Новый погрузочный кран работает: вздрогнув, стрела поднимается к высокому, сквозному облаку и замирает на тридцатипятиметровой высоте. Рабочие сортировочной сетки бросаются к тяжелому крюку, что-то делают с ним. Проходит не больше минуты, как раздается звучное чавканье металла — кран поднимает пучок бревен. Гремят лебедки, скрипят тросы, а бревна бросают на понтон крана резкую тень, которая быстро увеличивается. Когда тень покрывает почти весь понтон, по берегу разносится веселый громкий звонок. Это голос десятитонного крана. «Берегитесь, люди! — предупреждает звонком кран. — Я сейчас понесу на баржу пучок тяжелых бревен. Беда, если оборвется трос! Берегитесь, люди!» И люди бегутся — как ни крепки тросы, случается, что рвутся, как ни могуча стальная стрела, бывает, что ломается. Нельзя быть ротозеем, работая на кране.

Прозвонив, кран поворачивается — тяжелый пучок бревен наискосок прочерчивает небо, застыв солнце, повисает над баржей. И опять звенит звонок, но теперь еще тревожнее, громче: «Замрите, люди! Кладу опасный груз! Будьте бдительны!» Покачиваясь, вращаясь, бревна опускаются в руки отцепщика Емельяна Кузьменко, который разворачивает их, задержав, машет рукой крановщику: «Клади!» Затем полегчавшая стрела снова поворачивается к берегу.

Прыгая с бревна на бревно, начальник рейда Максим Ковалев пробирается на баржу. Цель у него единственная — поздороваться с Емельяном Кузьменко, то есть сказать ему: «Добрый день, Емельян!» — и вернуться обратно. Максиму нужно сделать это потому, что Емельян до сих пор зол на Максима.

— Добрый день, Емельян! — подойдя вплотную, здоровается Максим.

— Добрый день! — сквозь зубы отвечает Емельян и смотрит на Максима так, словно хочет добавить: «Гуляешь — руки в брюки! Осуществляешь руководство, командуешь! Ну командуй, командуй — может быть, докомандуешься!»

Поздоровавшись с Емельяном, Максим сразу же, весело насвистывая, возвращается на понтон — он старательно показывает, что не заметил злую усмешку Емельяна, не понял его взгляд, а, наоборот, доволен тем, что поздоровался со старым другом.

Максим подходит к машинному отделению крана, возле которого за маленьким столиком сидит Валентина Батаногова.

— Сколько? — коротко, отрывисто спрашивает он.

— Двести семьдесят. — отвечает Валентина Батаногова.

— Мало! — говорит Максим.

Эти два слова — «сколько» и «мало» — мастер крана Валентина Батаногова слышит от начальника рейда Максима Ковалева с утра до вечера. Он появляется на кране в шесть-семь часов утра и сразу же: «Сколько?» Услышав ответ, режет: «Мало!» — и становится мрачным. Сжимает тяжелые губы. Глаза — строгие, сухие, тревожные.

«Мало! Мало!» — только и слышно от Максима, и Валентина Батаногова чувствует, что его одержимость передается ей. Она тоже стремительно ходит с баржи на кран, с крана на баржу, появляется в конторе, на сортировочной сетке, в запани, тоже спрашивает: «Сколько?» — и режет: «Мало!» Невольно подражая Максиму, Валентина сухо поджимает губы, ходит размашистой походкой; она тоже встает в пять утра, ложится спать в двенадцать.

Сейчас, когда Максим стоит перед Валентиной, она опять чувствует потребность куда-то бежать, что-то делать; движения крана ей уже кажутся медленными, работа людей — ленивой.

— Мало! Мало! — повторяет Максим и, не спрашивая, берет из рук Валентины блокнот с записями, перелистывает его, двигая губами, считает в уме.

— Почему дали понижение во второй час? Что случилось? — жестко спрашивает он.

— Простоял пучковязатель...

— Почему?

Это третье слово, которое Валентина в эти дни очень часто слышит от Максима. «Почему?» — спрашивает Максим, и начинается длинная цепь «почему», так как он будет докапываться до самой первоосновы плохой работы пучковязателя.

— Так почему простоял пучковязатель? — переспрашивает Максим.

— Слабы кронштейны!

— А почему слабы кронштейны?

— Так были запроектированы! — отвечает Валентина. — Их рассчитывали в городе.

Максим совсем мрачнеет. Резко повернувшись, он уходит на пучковязатель.

Валентине по-матерински жалко Максима — он мало спит, ест на ходу, не вовремя, к вечеру глаза его краснеют от усталости. Помочь Максиму она может единственным — подниматься по утрам еще раньше, ложиться позже, не отходить от крана ни на секунду.

Максим возвращается с пучковязателя.

— Надо уметь предупреждать аварии, — сухо говорит он. — Вы утром осматривали пучковязатель?

— Осматривала, — тихо отвечает Валентина.

— Надо внимательнее осматривать, — тоже тихо говорит он. — Вы же сами монтировали кронштейн, Валентина Павловна?

— Сама.

— Ну, хорошо, — успокаивает Максим. — Следует продолжать почасовой хронометраж. Нам надо знать точно, что мешает!

— В обеденный перерыв я усилию второй кронштейн, — говорит Валентина. — Не беспокойтесь, Максим Максимович.

В спецовке и резиновых сапогах Валентина кажется выше, стройнее, золотистые волосы, собранные на затылке в толстый пучок, блестят на солнце. Максим видит ее профиль — прямой нос, овальный подбородок, крутую линию лба. В профиль лицо Валентины много строже, чем в фас. Губы у нее твердые, крепкие.

— Я пошел на лебедки, — говорит Максим.

— Хорошо.

Когда Максим спрыгивает с понтона на берег, из конторы сплавного участка, держа под мышкой черную папку с чертежами, выходит Борис Егоров. На голове у него очень красивая мохнатая кепка. Выйдя на солнце, Борис вынимает из кармана пачку сигарет, подносит ее ко рту и губами хватает одну сигарету; положив пачку в карман, он достает маленькую механическую зажигалку. Дым Борис выпускает сквозь узко сложенные губы.

Увидев Максима, он легко сбегает с горки, спрашивает:

— Ты куда?

— На лебедки! — отвечает Максим.

— А я на кран. — Борис стучит пальцем по папке. — Проверить комплектность запасных частей!

— Ну, счастливо!

— Счастливо!

Они расходятся в разные стороны.

Максим посмеивается: «Ты куда?.. Я на лебедки!.. А я на кран! Счастливо!.. Счастливо!» Что же, если говорить начистоту, то так и должно быть: если Борис Егоров идет на кран, то он, Максим Ковалев, должен идти на лебедки. И наоборот: если Егоров идет на лебедки, то Максим должен идти на кран.

— Вот так-то, Борис Егоров! — вслух произносит Максим, поднимаясь на лебедки. — Так-то, милый мой!

3

Максима Ковалева давно уже нет на кране, Борис Егоров полчаса назад проверил комплектацию запасных частей и скрылся в конторе, а Валентина Батаногова до сих пор взволнована разговором с Максимом. «Мало! Мало!» — слышится ей. Она торопливо ходит по понтону, и ей по-прежнему кажется, что стрела крана вращается медленно, моторы притихли, багры замерли в руках рабочих сортировки. Валентине хочется броситься в машинное отделение, открыть моторы, что-то сделать с ними, чтобы вращались быстрее, гудели неистовее, хотя она понимает, что кран работает нормально и моторы вращаются с нужной скоростью.

Валентина Батаногова любит Максима Ковалева. Она любит его с той самой минуты, как впервые увидела в кабинете Аленочкина. Он сидел на диване, слушал начальника. «Познакомьтесь! — сказал Аленочкин. — Новый начальник рейда, инженер Максим Максимович Ковалев!.. А это мастер лебедок, техник Валентина Павловна Батаногова!»

Валентина теперь не помнит, о чем они говорили тогда, — она не слышала ни Аленочкина, ни Максима. Она хорошо помнит только то, как вышла из конторы и пошла по берегу Оби. Была золотая осень, под ногами шуршали желтые листья, река золотилась на солнце. Валентина посмотрела на Черный Яр и не узнала его — это была не та деревня, в которой она прожила два года!

Да, это была не та деревня! В прежнем Черном Яре были маленькие, покосившиеся домики, у берега стояли три темные от непогоды, старенькие лебедки. Прежний Черный Яр пугал беспредельностью Васюганских болот. Теперешний Черный Яр был другим: золотистые на солнце, стояли дома, маленькие, уютные; длинная улица поселка вела к синим кедрачам; три лебедки тянулись в небо, к розовому легкому облаку; зданные ремонтных мастерских казались легким, просторным.

На другой день Валентина проснулась в шесть часов, открыла ставни, засмеялась солнцу. Она уже оделась, когда вошла старушка хозяйка, удивившись, сказала:

— Ишь, что подеялось! Это ведь всем на удивленье — сама проснулась!

Когда Валентина вышла из дома, она поймала себя на том, что бежит к конторе, — это поразило ее. Ведь вчера она шла на работу неохотно, была вялая, сонная, хотелось опять зарыться головой в подушку. Теперь же она с радостью представляла, как поднимется на лебедки, откроет блокнот с записями. Соберутся рабочие, станут задавать вопросы, жаловаться на бригадиров и требовать решения сотни неотложных дел.

С тех пор прошло десять месяцев, но ощущение происходящего чуда не покинуло Валентину. Что из того, что Максим Ковалев по-прежнему ничего не замечает? Что из того, что он не догадывается о ее любви?

Чудо продолжается — оно в том, что Валентина каждое утро просыпается от счастья, радостная бежит к конторе, что для нее Черный Яр теперь навсегда останется таким, каким она его увидела осенним золотым днем.

Валентина ходит по крану. Ей невдомек, что она сейчас подражает Максиму Ковалеву — манерой широко ставить ноги при ходьбе, прямо держать голову, насмешливой улыбкой; губы у нее складываются так же плотно, нижняя немного выступает, и кажется, что она сейчас скажет голосом Максима: «Мало, товарищи!»

Валентина размашисто спускается с крана, по тоненькой цепочке бонов пробирается на сортировочную сетку, где работают зацепщики бревен. Она берет багор, подбросив его, упирается в ближайшее бревно, и ей сразу делается весело. Рабочие видят Валентину, и им передается ее настроение. Они быстрее двигаются, быстрее мелькают в воздухе багры, чаще звучит металл чокеров, кажется, что и кран как будто учащает повороты — стрела словно бы быстрее взмывает в небо и опускается.

— Пошло! Пошло! — негромко вскрикивает Валентина.

Ей кажется, что Максим Ковалев с лебедек наблюдает за ними, видит, как хорошо идет у них работа.

— Пошло, пошло, товарищи! — радуется Валентина. — Поработаем до седьмого пота!

Она теперь часто повторяет любимую присказку Максима Ковалева.

4

Борис Егоров с трудом удерживается от того, чтобы не расхохотаться во все горло.

Софья Борисовна, встретив его в прихожей дома Аленочкина, сделала таинственное лицо и шепотом сообщила, что жена Аленочкина Любовь Борисовна ушла покупать какие-то кофточки, а сам Аленочкин, предупрежденный об этом по телефону, придет обедать на полчаса позже.

— Тогда, простите, я приду тоже на полчаса позже, — заметил Борис, но она еще таинственнее прошептала:

— Нет, нет, проходите в столовую! Нам надо поговорить!

И вот сейчас Софья Борисовна сидит на мягком стуле против Егорова и сквозь пенсне смотрит на него строгим, учительским взглядом. Но это не самое смешное: до неудержимого желания расхохотаться во все горло Софья Борисовна доводит Бориса не своим потешным видом, а тем, что говорит.

— Вы близорукий и недалновидный человек, Борис Петрович, — горячо говорит Софья Борисовна. — Вы плохо разбираетесь в людях, если принимаете Аленочкина за образец руководителя и коммуниста. Я могу оправдать вас только тем, что вы молоды. Аленочкин — безыдейный и дрянной человек!

«Вот это да! Вот это разворот событий!» — думает Борис, едва удерживаясь от смеха.

— Так, так, так, — произносит он. — Так, так, так...

— Аленочкин — мещанин! — продолжает Софья Борисовна. — Но мещанин высокой марки, не из тех мещан, которых можно узнать по канарейке и вышитым салфеточкам! Он мещанин в душе и в мыслях. Он обыватель, а не коммунист!

— Но факты, факты? — спрашивает Борис. — Чем вы можете подтвердить сказанное, Софья Борисовна? Факты... Дайте факты!

— Факты! — восклицает Софья Борисовна. — Вы требуете фактов? Да неужели вам непонятно, что такие, как Аленочкин, не любят фактов, доказывающих их обывательское нутро... Факты! Да если бы у меня были факты, я бы давно приперла его к стенке. Как вы не понимаете это?

— Значит, у вас нет фактов? — спрашивает он.

— И нет и есть, — отвечает она. — У меня нет таких фактов, но я знаю, что Аленочкин плохой коммунист.

— Откуда вы это знаете?

— Боже! — Софья Борисовна всплескивает руками. — Боже великий! Разве мало того, что я вижу Аленочкина! А это! — Она зло дергает рукой белоснежный чехол кушетки, на которой сидит Егоров. — А это? — Она быстро озирает комнату. — Ковры, серванты, сервизы, тысячные люстры, опять ковры... А это! — Она со злостью ударяет маленьким кулачком по стене, на которой висит дорогой натюрморт. — Что это, я вас спрашиваю?

— Это приличная обстановка, — замечает Борис.

— Для Аленочкина это не приличная обстановка, а смысл жизни! — почти кричит Софья Борисовна. — Вы знаете, почему он работает в Черном Яре? Не знаете, а говорите...

— Я ничего не говорю, — улыбается Борис.

— Борис Петрович, вы молодой человек, — умоляюще произносит она, — перед вами только открывается жизнь. Вы должны научиться отличать подлинное от мнимого. Я замечаю, что вы смотрите на Аленочкина восторженными глазами. Это опасно, ибо аленочкины заразительны...

— Но вы тоже живете с ним, — говорит Борис. — Чем объяснить это?

— Я сама не знаю! — упавшим голосом отвечает Софья Борисовна. — Моя сестра... случай в городе, когда я... Я сама не знаю! — Она склоняет голову и вздыхает, потом соскакивает со стула, легкой походкой пробегает по громадному ковру. — Когда я из города в первый раз ехала в деревню, я была счастлива! Я хотела, чтобы деревня стала грамотной, культурной. Потому мне не были страшны ни кулацкие обрезы, ни морозы и метели. Я знала, за что боролась... Аленочкин борется только за свое жизненное благополучие... А вы, Борис Петрович...

Софья Борисовна вдруг останавливается, потом медленно идет к Борису, на ходу повторяя:

— А вы, Борис Петрович... Минуточку! — восклицает она, словно вспомнила что-то важное. — Минуточку!.. А вы, Борис Петрович, обладаете идеей? Что вас привело в Черный Яр? Идея?

— Да, да, да! — глядя прямо в очки Софьи Борисовны, трижды повторяет Борис, опять чувствуя неудержимое желание расхотаться.

— Значит, вы счастливы! — торжественно заявляет Софья Борисовна. — Значит, вам сам черт не страшен!

— Мне действительно не страшен черт! — отвечает Борис. — Во-первых, я атеист, во-вторых, по утверждению бабы Сузгинихи, советская власть вывела в Черном Яре чертей!

Софья Борисовна улыбается.

— Могу заметить, — говорит она, — что чувство юмора — прекрасное чувство! Оно свидетельствует о душевной щедрости и критическом складе ума!

— Спасибо! — кланяется Борис.

— Пожалуйста! А теперь позвольте мне оставить вас одного... Моя сестрица стоит в очереди за сногшибательными кофточками, и это значит, что я должна позаботиться об обеде.

За обедом Аленочкин, как всегда, читает газету — шелестит страницами, хмыкает, когда находит что-нибудь интересное. Любовь Борисовна, довольная покупкой китайской шерстяной кофточки, бдительно следит за обедающими — угощает Бориса Егорова, придвигает читающему мужу то салатницу, то кусок хлеба, то горчицу. Софья Борисовна ест неохотно. Когда Аленочкин хмыкает и качает головой, она выжидающе поворачивается к нему. Но Владимир Алексеевич продолжает спокойно читать газету.

В общем, обстановка в столовой Аленочкиных обычная, такая, какая была день, неделю, месяц назад. Мерно постукивают ложки и вилки, гремит крышкой суповой миски Любовь Борисовна.

— Безобразие! — вдруг громко говорит Владимир Алексеевич и, положив газету, строго постукивает по ней пальцем. — За такие дела надо судить! Безобразие!

— Что случилось, Володя? — пугается Любовь Борисовна.

Владимир Алексеевич делает руками гневное движение.

— Объем заготовок мяса по области увеличен на шестнадцать процентов, а холодильное хозяйство... — Он раздраженно мнет газету. — А холодильное хозяйство сокращено. Погибло пятьдесят тонн мяса!

Софья Борисовна нервно комкает бумажную салфетку, а выражение лица у нее такое, словно ее обманули, словно она в чем-то просчиталась. Видимо, Софья Борисовна ожидала от Аленочкина чего угодно, но только не осуждающих слов по поводу головоутиев из холодильного хозяйства.

Борис Егоров торопливо наклоняется к тарелке — он опять с трудом удерживается от смеха. «Ну и ловкач! Артист оперы и балета!» — думает он об Аленочкине и бросает взгляд на Софью Борисовну. Теперь, когда Борис знает об отношениях между Аленочкиным и Софьей Борисовной, ему понятно поведение Владимира Алексеевича. Борису ясно, что Аленочкин говорит о холодильном хозяйстве только и только для Софьи Борисовны. Он как бы говорит ей: «Вы утверждаете, что у меня нет идеи, Софья Борисовна!.. Так? Позвольте вам заметить, что вы ошибаетесь, высокоуважаемая Софья Борисовна! Вам только кажется, что я не обладаю идеями! Я имею ее».

Черт возьми, это очень интересно — наблюдать за людьми, понимать скрытые душевные движения, отгадывать, что лежит за обычными словами, незначительными поступками! Борис Егоров где-то прочел: «Сущность людей выражает то, что они хотят скрыть!» Может быть, это так и есть... Ну что, например, представляет из себя Владимир Алексеевич Аленочкин? Кто он? Что скрывается под его энергичной начальственной внешностью?

Увлеченный своими думами, Борис не слышит, что в прихожей раздается громкий звонок.

— Боже, кто это? — морщится Любовь Борисовна. — Софочка, открой! — недовольно просит она.

Слышен скрип двери, незнакомый приглушенный голос, потом между бархатными малиновыми портьерами высокой двери столовой появляется Анна Перегудова, та самая женщина, что в Первомайские праздники лихо отплясывала на берегу и взвизгивала: «Пошла плясать, дома нечего кусать!»

— Здравствуй-ка! — здоровается Анна. — Приятного аппетита! — говорит она и вдруг страшно смущается: торопливо одергивает полы телогрейки, переступив с ноги на ногу, одну ногу быстро отводит назад. — Здравствуй-ка! — повторяет она.

— Здравствуйте, Анна Семеновна! — восклицает Владимир Алексеевич. — Проходите! Милости просим! Садитесь с нами обедать!

— Спасибо! — говорит Анна. — Я уже обедала.

— Садитесь, Анна, хоть чайку попьете, коли есть не хотите, — приглашает Любовь Борисовна.

— Я за другим... — говорит Анна. — Я за другим забежала! — повторяет она и опять смущается.

— Ну, ну, Анна! — радушно улыбается Владимир Алексеевич.

— Мне денег надо... взаймы! — покраснев, говорит Анна. — До полочки! Кофточки дают... шерстяные...

Дальнейшее происходит в веселой сутолоке: Владимир Алексеевич спрашивает Анну, сколько надо, получив ответ, кивает головой жене, та весело убегает в соседнюю комнату, возвращается, держа в руках блестящую сумку. Она еще на ходу достает несколько ассигнаций, кладет их Анне в руки, смеется:

— Кофточки — загляденье. Не прогадаете, Анна! Я из-за них дома с обедом опоздала.

— Ох, эти женщины, женщины! — смеется и Владимир Алексеевич. — Что поделаешь?

— Сколько здесь? — глядя на деньги, тихо спрашивает Анна, так как ей неловко считать их на глазах у всех.

— Ах, там, кажется, триста! — Любовь Борисовна машет рукой. — Одним словом, на кофточку хватит, Анна!

— Спасибо, — тихо благодарит Анна. — В получку отдадим.

— Ах, пожалуйста, пожалуйста!

— До свидания! — еще тише говорит Анна, поворачивается и исчезает за портьерой.

— После праздников уж шестой человек занимает у меня! — сердито говорит Аленочкин. — Безобразие, когда в праздники люди пропивают все до копейки! С этим надо кончать!

Борис Егоров наблюдает за Софьей Борисовной. «Сейчас закричит, — думает он, замечая, как она порывисто дышит. — Сейчас! Сейчас!» Щеки у Софьи Борисовны горят лихорадочным румянцем, она жадно хватается ртом воздух... Но Аленочкин опережает ее — звонко хлопает ладонью по столу.

— А завтра рабочим мы выдадим зарплату! — весело говорит он. — За десять дней до срока! Мне удалось уговорить райфинотдел!

«Ах ты, черт! Ах, ловкач! Ускользнул!» — восторженно думает Борис Егоров.

— Кому жидкий компот, кому густой? — спрашивает Любовь Борисовна, поднимая над столом серебряную ложку для разливания компота.

— Мне жидкий, — говорит Аленочкин.

— Мне средний, — говорит Борис.

— Мне компота не надо! — отрезает Софья Борисовна. — Я сыта по горло!

«И это все? — насмешливо смотрит на нее Борис. — И это все, чем вы, Софья Борисовна, можете выразить свой протест. Не много же! Очень не много!»

За триста метров от крана Максим чувствует, что случилось неладное, тревожное, хотя для тревоги как будто нет никаких причин: кран работает, по сортировочной сетке ходят рабочие, на барже темнеет штабель леса, изредка доносится треск электрического звонка. Однако Максим знает, что случилось неладное. Кран словно стал не таким, каким

был до обеда, что-то переменялось в положении баржи, как-то не так ходит громадная стрела.

Максим прыжком бросается к крану, бежит, не глядя под ноги, стараясь на ходу понять, что случилось, почему сердце кольнула тревога, но пока ничего не может понять. Он бежит еще быстрее, сердце отчаянно стучит. Вскочив на трап понтона, Максим морщится от громкого звонка, от надсадного гула дизеля и тревожно глядит на баржу.

Он уже понимает, что произошло. Баржа перекошена — корма грузно сидит в воде, а носовая часть, подняв несколько рядов погруженных бревен, задралась. Поэтому-то и кажется, что кран стал ниже.

— Стой! — кричит Максим. — На кране, стой!

В гуле моторов и скрежете тросов его, конечно, не слышат, и Максим прыжком бросается на баржу, становится на пути пучка бревен, поднимающегося от воды. Он как бы отгораживает пучок бревен от баржи. Тревожно прозвев, кран замирает.

Произошло опасное: стремясь ускорить погрузку, рабочие неравномерно нагрузили баржу. Чтобы не переставлять ее, они клали бревна только на корму. Страшно подумать о том, что может произойти, если продолжать грузить баржу неравномерно.

Максим молча наблюдает за Емельяном Кузьменко. Увидев Максима, Емельян поворачивается лицом к берегу, опирается на багор. Он без кепки, на нем вылинявшая майка и заплатанные брюки. «Это работа Емельяна!» — думает Максим.

— Где Батаногова? — спрашивает он.

— Обедает, — отвечает крановщик Иван Перегудов.

— Прошу всех подойти ко мне! — говорит Максим. — Позовите и шкипера баржи... Это я вас прошу, Перегудов.

Из палубной надстройки баржи выходит седой, сгорбленный старик, шаркая развалившимися валенками, семенит к Максиму.

— Добренько живали! — здоровается старик.

Емельян не подходит. Он стоит, картинно опершись на багор.

— Товарищ Перегудов, — ровным, но хрипловатым голосом начинает Максим. — Разве вы не знаете, что баржу надо грузить равномерно?

— Знаю.

— Знаете... — Максим передыхает. — Вам, значит, известно, что неравномерно нагруженная баржа может порваться, лопнуть! Баржа ломается посередине, понимаете...

И старик шкипер, и крановщик Иван Перегудов, и дизелист, выбравшийся из машинного, и рабочие сортировки — все косятся на Емельяна. «Неужели Емельян не понимает, что творит?» — думает Максим.

— Ну, хорошо, — говорит он. — Представим самое страшное. Баржа порвалась... Наш сплавной участок заплатит большие деньги за ремонт, во время аварии кран простоят не меньше суток... Вы же сами ни черта не заработаете... А вот что будет со шкипером баржи? — спрашивает Максим. — С работы его выгонят — это непременно! Шкипер отвечает за погрузку баржи... Дедушка, вы видели, что баржу грузят неправильно? — вдруг ласково обращается он к старику.

— Я, сынок, все вижу! — молодым и ясным голосом отвечает старик. — Я завсегда все вижу и с самого первоначалу матерился из рук вон как матерно! Однакожь меня не послушались... Чего я им! Они вон какие здоровенные да охальные! — И он показывает рукой на Емельяна Кузьменко. — Им на старика плевать.

Максим вздыхает. Неужели Емелья так озлобился на жизнь, что не видит горькой беззащитности старика, неужели не осталось в Емеле ничего человеческого? Ведь каким хорошим был Емелья в мальчишках —

добрым, ласковым, отзывчивым... Не может быть, чтобы все это исчезло! Осталось хоть что-нибудь, хоть малость, а?

— Иван! — громко спрашивает Максим. — Ты сколько заработал за декаду?

— Рублей шестьсот...

— Дедушка, а вы сколько получаете за месяц?

— Четыреста пятнадцать рубликов хрен копеек! — отвечает старик. — Моя зарработка известная!

— Ну, не сволочи ли вы! — огорченно качает головой Максим. — В погоне за лишней десяткой ставите под угрозу суда и увольнения шкипера!

Спокойно урчит на холостом ходу дизель, на малой обской волне качаются, стучаются друг о друга сырые бревна.

— Передвиньте баржу и продолжайте работу! — тихо говорит Максим. — Теряем время...

Прежде чем уйти с баржи, Максим еще раз смотрит на Емельяна. Положив багор, Емельян сидит на бревнах спиной к Максиму. Трудно понять, как он принял слова Максима, но хорошо уже то, что не стал отругиваться и усмехаться.

— Смешно! — говорит Максим. — Дико и смешно, когда шесть здоровенных мужиков боятся одного Емельяна Кузьменко!

Емельян, конечно, слышит его, но ничем не показывает этого. «Ну, хорошо, Емельян! — думает Максим. — Считаем это только началом!» Он спускается с крана, несколько мгновений стоит на берегу, наблюдая за перестановкой баржи. «Так, так, Емельян! Вот на какие штучки ты идешь! Ну держись, Емельян!»

7

В Черном Яре весенняя ночь.

Полная прозрачная луна висит над деревней. Если поглядеть на нее, прищурившись, то можно различить нос, глаза, губы — сморщенное, неприятное лицо, точно луне надоело все на свете и особенно Черный Яр.

Стоя на крыльце своего дома, Емельян Кузьменко глядит на луну и тоскливо вздыхает. Куда пойти? Друзей у него нет, девушки тоже. Самый близкий человек на свете — мать прикована к постели. Он только что покормил ее, оставил на табуретке воду, какие-то таблетки. Мать сказала: «Погуляй, Емельюшка... Молодой ты — жениться ведь надо! Как помру, один останешься на белом свете!»

Ах, какая тоска! Лежит под лунным светом Черный Яр — дома ветхие, покосившиеся, слепые. Горстка домов на безлюдности Васюганских болот. Родное, кажется, близкое, а чужое, такое чужое, что в груди больно. Уж лучше бы оно не было родным! «Эх, неудачный я! Совсем неудачный!» — горько думает Емельян.

Три года назад, когда в Черном Яре организовался сплавной участок, Аленочкин спросил его: «Почему не учился дальше? Почему окончил всего семь классов?» — «Пимов не было!» — процедил Емельян сквозь зубы. «Так... так! — задумчиво сказал Аленочкин. — Валенок, значит, не было! Понятно».

Конечно, понятно: ближайшая средняя школа в те годы была в десяти километрах от Черного Яра — без валенок зимой не дойдешь.

Отца Емельяна убили в 1942 году под Москвой, но похоронная пришла в Черный Яр лишь в начале 1943 года. Мать билась головой о спинку деревянной кровати, а Емельян стоял рядом и ничего не понимал: ему было четыре года, когда отец ушел на фронт, а когда пришла повестка, Емельяну шел шестой год. «Осиротели мы, Емельюшка!» — истошно выла мать.

Слово «осиротели» Емельян по-настоящему понял года три-четыре спустя, когда сидел за школьной партой. Оно, это слово, стало еще страшнее, когда закончилась война и стали возвращаться домой уцелевшие чернорабцы.

Послевоенный Черный Яр был тоскливым, пустым. Только в некоторых домах жили люди, остальные были крест-накрест заколочены почерневшими от непогоды досками. Ветер тоскливо продувал деревню, мычали голодные коровы; обносившиеся за войну люди торопливо перебежали из дома в дом в худой одежонке. Выли собаки, так как волки заходили в деревню. А в сорок шестом году в деревню пришел медведь, переломил хребет корове, но уволочь не смог — не хватило, голодному, сил. Медведя видела баба Сузгиниха, испугавшись, рассказывала: «Шерсть на нем клоками висит. Сам худющий, как коза!» Мать Емельяна работала на рыбном промысле — таскала тяжелый невод, гребла на громоздких лодках-метчиках, так как мужиков в деревне почти не было. Когда Емелья тоже пошел работать на промысел, он был вторыми «штанами» в бригаде, которой заправлял восьмидесятилетний старик.

Годы катились, а в Черном Яре ничего не менялось: стояли заколоченные дома, выли собаки, зимой по-прежнему было трудно прокормить корову, так как окрестные колхозы не разрешали косить траву. Жизнь шла в стороне от Черного Яра: не колхозное село и не рыбацья деревня.

Шесть или семь сверстников Емельяна закончили среднюю школу, трое пошли в институты: Максим Ковалев, Петр Голубь и Любка Вертова. В первые годы Максим и Любка иногда забегали к Емельяну, рассказывали о городских новостях. Потом он встречался с ними все реже и реже, так как Емельян летними месяцами работал на дальних озерах. Петька Голубь, брат Людмилы, никогда не заходил к нему. Петька еще в школе был заносчивым, высокомерным и глупым. Он списывал задачи у Емельяна, диктанты — у Максима. Сволочью был Петька.

В последний раз Емельян встретил Петьку в клубе, на танцах. На Петьке был шикарный костюм, клетчатые носки, совсем белый галстук, а на лацкане пиджака блестел инженерский значок — в это лето Петька закончил горный факультет политехнического института и приехал в Черный Яр, чтобы отдохнуть перед работой в Кузбассе.

Емельян смотрел на Петьку злыми глазами, думал: «Аристократы, интеллигенция, высшее общество! Где же равенство? Почему Петька мог учиться, стал инженером, а я, работяга, без образования?»

Петька Голубь... Кто в Черном Яре не знает, что его мать, работая бухгалтером сельпо, спекулировала, продавала из-под прилавка ходкие товары, наверное, и приворовывала. Откуда, если мать не ворует, у Петьки шикарные костюмы, клетчатые носки, большие деньги? Определенно ворует! Злые мысли о жизни, о людях терзали Емельяна.

Когда умер Сталин, мать Петьки на виду всего поселка, в клубе, бросилась на пол: «Отец родимый, на кого ты нас покинул?» Емельян задохнулся от ненависти к ней, подумал: «Играет, стерва! Ей бы лишь сладкий кусок от жизни!»

Какой из Петьки Голубя инженер! Когда Петьку вызывали к доске, он потел, лицо было глупым, как у телка; задачи, которые Емельян шелкал, как орехи, Петька без подсказки никогда не мог решить. Наверное, и в институте хитрит, списывает, заискивает перед преподавателями. Весь в мать — лживую, хитрую, самодовольную бабу.

Емельян смотрел на танцующего Петьку и скрипел зубами. Он нарочно далеко протянул ноги — может быть, Петька заденет. И Петька запнулся. Он, не извинившись, прищурился: «Чего выставил ноги, Кузьменко?» Тогда Емельян неторопливо поднялся с места, сгреб Петьку

пальцами за воротник шикарного пиджака. «Убью ведь сейчас!» — сказал Емельян и тряхнул Петьку. У Петьки в глазах мелькнул ужас, глаза закатились под лоб, и он заверещал по-заячьи. Сбежался весь клуб. Петькина сестра Людмила кричала, что вызовет милицию, что засадит Емельяна в тюрьму. Тогда он отпустил Петьку. У того все еще были обморочно закачены глаза. Через три дня Петька уехал.

Это произошло за неделю до возвращения в Черный Яр Максима Ковалева. Услышав о нем, Емельян вдруг — сам не ожидал этого — обрадовался. Стало тепло на душе оттого, что Максим все-таки вернулся в Черный Яр, из которого уехали насовсем и Петька и Любка Верткова. «Молодец!» — подумал Емельян. Ему захотелось повидать Максима, и он пошел в контору.

Дело было осенью, в сентябре, когда по Оби шли последние пароходы; день выдался теплый, словно весенний, — хрустели под ногами желтые листья, Обь голубела мягко, затушеванно, и воздух был легкий, по-осеннему чистый. «Молодец, Максимка, что вернулся в Черный Яр!» — думал Емельян, шагая по хрустящим листьям. Он сел на крыльцо конторы, решив подождать Максима: ему сказали, что Ковалев беседует с начальником сплавного участка Аленочкиным. Он ждал почти час и зря: Максим из кабинета начальника вышел не один. Его под руку держал Владимир Алексеевич, а позади замедленно, словно заведенный слабой пружиной, шагал красивый молодой человек в ярком пиджаке и серых брюках.

Аленочкин что-то весело говорил Максиму, и Максим смеялся; на нем был черный костюм из дорогого материала, светлый галстук. Увлеченный разговором, он не замечал Емельяна, а красивый молодой человек поглядывал на Емельяна пустыми, невидящими глазами.

«Новое начальство!» — подумал Емельян. — Технорук и начальник рейда... А Ковалев-то какой — не узнаешь, коли встретишь на улице!» Емельян неслышно соскользнул с крыльца и юркнул за угол.

Ковалев, Аленочкин и красивый молодой человек пошли к реке. Они шли тесно, рядом, как старые приятели. «Дружки!» — подумал Емельян, гневно сжимая кулаки: ему была ненавистна широкая прямая спина Аленочкина, его темная боксерская шея.

С Максимом он встретился только через три дня. «Емеля! — обрадовался Максим. — Здорово, Емеля!» — «Добрый день!» — буркнул Емельян, нарочно выбрав такое приветствие, чтобы не обращаться к Ковалеву ни на «вы», ни на «ты». «Пошли ко мне, Емеля! — предложил Максим. — Посидим, поболтаем!» — «Некогда мне болтать! — зло ответил Емельян. — Это у вас, инженеров, есть время для болтовни!» Максим не то обиделся, не то удивился, но приглашение повторил и так странно посмотрел на Емельяна, что Емельян смутился. «Идите к Аленочкину, к Егорову!» — забормотал он. Потом, окончательно запутавшись, горопливо ушел. Весь вечер и следующий день Емельян терзался — все было не так. Он чувствовал свою вину, ругал себя за глупость, порывался пойти к Максиму, но так и не пошел: было стыдно.

Во всем происходящем Емельян винил Аленочкина и незнакомого молодого человека: зачем Аленочкин тогда держал за локоть Максима, зачем молодой человек смотрел на него, Емельяна, пустыми глазами?

8

Тоскующий, одинокий, стоит Емельян на крыльце своего дома. Тоска! Эх, жизнь, черт тебя задери!

Вздыхнув, Емельян запахивает старый пиджак — три года носит без замены, — нахлобучивает на лоб кепку, спускается с крыльца. В клуб,

что ли, пойти? Там хоть светло, играет радиола. «Пойду!» — поразмыслив, решает Емельян.

По дороге в клуб он идет мимо нового погрузочного крана. Поравнявшись с ним, Емельян останавливается, закуривает. Постояв, медленно опускается на низкий пенек.

Нет, не для Емельяна Кузьменко стоит возле черноморского берега новый погрузочный кран. Поднимает стрелу, как живой, поворачивается, бросает два кинжальных луча прожекторов. В темноте кран кажется еще выше, легче, ажурней; опоясанный огнями, ушедший в темное небо, он кажется необычным для черноморского берега. Точно не кран, а островок иной жизни, осколочек больших заводов и громадных городов стоит, причалившись к Черному Яру.

При чем здесь Емельян Кузьменко? Отцепщик бревен, разнорабочий Емельян Кузьменко... Емельян вздыхает, поднимается с пенка.

Войдя в клуб, Емельян сразу же садится на стул, стоящий недалеко от дверей, и подтягивает под себя длинные ноги в больших сапогах. Он внимательно и долго осматривает зал. В клубе обычно: для танцев стулья расставлены вдоль стен, посерединке образован небольшой пятачок, на открытой низенькой сцене стоит табуретка, на табуретке радиола, а рядом, на втором стуле, сидит слепой баянист дядя Степа. Он играет только старинные танцы — вальс, краковяк, полечку и падеграс.

В черноморском обществе танцующих, как и во всяком другом — в Москве ли, в Минске ли, — есть представители разных стилей танцев. Если играет баянист, танцуют представители старинного стиля; если играет радиола, на круг выходят представители современного.

Когда Емельян входит в клуб и садится в сторонке, играет радиола. Танцуют Борис Егоров, Людмила Голубь, Валентина Батаногова, две учительницы, три молодых учителя, фельдшер Белкина и пожилой холостяк ветврач. Егоров танцует с Батаноговой, холостяк ветврач — с Людмилой Голубь.

Емельян презрительно улыбается: «Подумаешь, высший свет!» Его злит одежда танцующих: на Людмиле Голубь блестящее платье, похоже, что из парчи; платье на подоле разрезано, узкое, облегчающее, оно раздвигается, и тогда видна выше колена тонкая нога, обтянутая прозрачным чулком. Грудь у Людмилы глубоко открыта. Еще больше злит Емельяна ветврач. Лысая образина! Рыжий, облезлый, как старый диван, прижимает к себе тоненькую Людмилу, трясет щеками от удовольствия. Не лучше фельдшерица Белкина. Людмила хоть молода, красива, а эта — рот до ушей, морда наштукатурена, в талии как подушка, ноги — спичками. А тоже облегчающее платье надела!

Зачем он пришел в клуб? Чтобы злиться, тосковать, сжимать кулаки, чувствуя непреодолимое желание взять за шиворот ветврача или Бориса Егорова, встряхнув, увидеть, как от страха обморочно закатятся глаза. Интересно, что произойдет, если схватить за шиворот Бориса Егорова — залететь ли смертельной бледностью его холеное лицо, завизжит ли он от страха противным заячьим голосом, как визжал Петька Голубь? Трудно сказать, но Борис Егоров все-таки похож на Петьку. Тот, навсрное, тоже танцует с шахтерскими девушками, выламывает из себя большое начальство.

Егоров танцует так, словно собрался помирать — еле волочит ноги. Он что-то говорит Валентине, улыбаясь, поднимает светлые тонкие брови. Играет, собака, важного человека, представляется. А Валентина! Как ей не противно — она ведь не такая, как Людмила Голубь. Но что с ней, с Валентиной? Вдруг отвертывается от Егорова, глянув в сторону двери, делается напряженной, скованной; она уже не слушает Егорова, рассеянно глядит в пол, танцуя, сбивается с такта. Что произошло?

На пороге клуба, доставая головой до притолоки, стоит Максим Ковалев. На нем старенький, потрепанный костюм, кирзовые сапоги, замасленная кепка — как работал на кране, так и пришел в клуб. Но он, не смущаясь, озирает клубное общество; на лице его появляется насмешливая улыбка — он, видимо, все замечает: разрез на платье Людмилы, обольстительную улыбку холостяка ветврача, обтянутый модным платьем толстый живот фельдшерицы.

Конечно, он все понимает, этот Максим Ковалев! Он, Максим, конечно, не такой, как Петька Голубь и Борис Егоров, он все-таки лучше остальных. Хотя бы потому, что Максима нельзя схватить за шиворот, встряхнуть так, чтобы у него от страха побелели глаза.

Ого-го! Попробуй взять Максима за шиворот! Жизни станешь не рад... Похоже, что Максим кого-то ищет, но не может найти. Он опять оглядывает зал, прищуривается и видит Емельяна. Их глаза встречаются — Максим смотрит сосредоточенно, угрюмо, словно говорит: «А, значит, ты здесь! Нахулиганил на кране, а теперь посиживаешь себе на танцах!» Потом Максим делает крупный шаг к Емельяну, и теперь становится ясно, что он искал именно Емельяна — за тем и пришел на танцы, за тем и оглядывал публику.

Емельян быстро поднимается, выскакивает из клуба. «Ковалев тоже сволочь! — думает он. — Верно, хочет поговорить о случившемся. Опять собирается воспитывать!» Эх, надоело все! Самое правильное — завалиться головой в подушку, забыться сном!

Емельян устало входит в дом, бросает кепку, смяв, роняет на пол пиджак; потом садится за стол, опускает голову на скрещенные руки. Так он сидит долго. Жизнь, жизнь...

— Совсем я на ноги сяла, Емелюшка, — шепчет на кровати Прасковья Михайловна. — Поди, не подняться мне теперь на ноженьки-то. И что это делается! Раньше, бывало, хоть и болели, а я все по дому шарашусь, бегаю, хлопочу... Бесприютный ты, Емелюшка! Вот бы встать мне на ноги-то, я бы уж тебя душенькой одела — накормила бы, как стоит, обстирала бы да выгладила...

Емельян обхватывает голову руками. Боже, как помочь матери! «Мамочка, мама!» — хочется закричать ему, броситься к ней, обнять, сухонькую, невесомую, но не может он сделать этого: зарыдает.

— Нет, не подняться мне теперь на ноженьки-то, — опять шепчет Прасковья Михайловна. — Спасибо, конечно, Татьяна, но в город я не поеду... Без пользы это, раз я совсем на ноги сяла! Их, ноги-то, не приделаешь. Они на раз даются... Хоть тут наука, хоть разнаука — где ноженьки-то возьмешь! Нет, не поеду я в город!

Самое страшное, что в голосе матери не слышится ни жалобы, ни упрека, ни страдания, одно только слышится в голосе — сожаление о том, что не может стоять у плиты, ходить за коровой, убирать в комнате. Мать всегда говорит только о ногах, хотя у нее болезнь позвоночника.

— Надо ехать в город, мама, — говорит Емельян. — Там профессора, клиники, лечение...

— Не поможет оно мне, Емелюшка...

В доме душно, жарко; Емельян пальцами рвет воротник рубашки.

— Надо ехать в город, мама! Раз Татьяна Егоровна говорит — значит, надо ехать... — настаивает Емельян.

И как раз в этот момент раздается твердый и частый стук сапог на крыльце, скрипит сенная дверь, вздрогнув, открывается домовая — широко, на весь пролет. На пороге, сильно согнувшись, стоит Максим Ковалев.

— Добрый вечер, тетя Паша! — громко здоровается он. — Вот заглянул к вам.

Потом Максим подходит к Емельяну.

— Можешь меня материть, Емельян, но на этот раз я не отвяжусь от тебя! Называй меня прихлебателем, выскочкой — кем хочешь, но на этот раз я не отстану, Емельян! Мы будем с тобой долго разговаривать! Мало того, ты пойдешь ко мне домой... Ты знаешь меня, Емельян! Чего хочу, добиваюсь.

Они стоят вплотную друг к другу — одинакового роста, примерно равной силы, ловкости, одного возраста, выросшие в Черном Яре и знающие друг друга с раннего детства.

— Вот как,— усмехается Емельян.

— Именно так! Ты сейчас же пойдешь ко мне, Емельян!

— Не пойду!

— Нет, пойдешь!

— Иди, Емелюшка, иди! — стонет Прасковья Михайловна, стараясь подняться на кровати.— Иди, Емеля. Лучше Ковалевых у нас друзей нету! Они нам как родные!

— Постой, мама! — Емельян почти кричит Максиму: — Не пойду!

— Нет, пойдешь! — раздельно произносит Максим.— Пойдешь!

— Иди, Емелюшка, иди! — собрав последние силы, вскрикивает Прасковья Михайловна.— Свои они люди! — Тяжело дыша, она падает на подушку, протягивает к сыну руки.— Иди, Емелюшка, иди!

Глава четвертая

1

Пассажирский пароход «Рабочий» швартуется к чернойярской пристани.

Он пристаёт ненадолго — только притыкается носом к берегу, и по узенькому трапу на высокий яр торопливо сходит мужчина в сером дорогом макинтоше. Пароход «Рабочий» уходит дальше, вниз по течению, а приехавший внимательно оглядывает деревню: он, видимо, в Черный Яр приехал впервые. Поэтому несколько минут стоит на месте, изучает обстановку. Потом его взгляд останавливается на высоком здании конторы. «Ага! Вот тут!» — обрадованно загораются глаза приехавшего, и он неторопливо шагает к конторе.

Крепко прижимая к животу кожаный портфель, приезжий поднимается на крыльцо, открыв дверь в приемную, раскланивается направо и налево. Движения у него мягкие. Пахнет от него хорошим одеколоном. Осведомившись, здесь ли — то есть за этой ли дверью, обитой черной клеенкой,— Владимир Алексеевич Аленочкин, приезжий, продолжая раскланиваться с рабочими, находящимися в приемной, боком влазит в дверь кабинета.

— Приветствую вас, Владимир Алексеевич! — негромко, желая ошеломить приятной неожиданностью, здоровается приехавший.

Аленочкин быстро поднимает голову. Сначала он, как бы не веря себе, глядит на приезжего: он ли, дескать, это, да может ли быть такое?

— Поликарп Семенович! — удивляется Аленочкин.— Глазам своим не верю! Зачем же вы?

— Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Алексеевич! — кланяется приехавший.— Телеграмму я послать не мог, по телефону говорить неудобно, а письмо... Я решил, что съезжу к вам и обратно быстрее, чем дойдет и вернется письмо! Так, Владимир Алексеевич?

— Так, Поликарп Семенович, так! — оживленно отвечает Аленочкин и, крепко пожав руку гостю, деловито смотрит на часы.— Через пятна-

дцать минут обед! Идемте ко мне, Поликарп Семенович. Там и поговорим.

— Там и поговорим! — словно эхо, откликается Поликарп Семенович и шуточно добавляет: — Каждому овощу свое овощехранилище.

Поглядев друг на друга, они весело смеются.

По случаю солнечной погоды Владимир Алексеевич одет в белый ослепительный китель. В белом кителе, подтянутый, он похож на морского капитана. Пожав руку гостю, Владимир Алексеевич веселеет, становится подвижным, даже немного суетливым.

— Ну, идемте ко мне! — торопится он.

Когда они идут по чернойярской единственной улице, несколько женщин-домохозяек выбегают на крылечки своих домов, застыв глаза от солнца ладонями, бесцеремонно-любопытно разглядывают приехавшего, а те женщины, чьи дома стоят рядом, обмениваются громкими замечаниями.

— С области, — говорит одна. — Когда с портфелями — значит, с области!

— А может, с району! — сомневается другая. — Теперь и в районе чисто одеются, ровно как в области!

Они слышат реплики женщин. Владимир Алексеевич, посмеиваясь, молчит, а Поликарп Семенович перед каждым крылечком, на котором стоит женщина, чуть-чуть приподнимает фетровую шляпу и сдержанно кланяется.

На крыльце своего дома Владимир Алексеевич пропускает вперед гостя. В полутемной прихожей Поликарп Семенович снимает серый макинтош и остается в светло-коричневом костюме. Он достает из кармана расческу в металлическом футляре, причесывается — волосы у него тонкие, рыжие. Приводя их в порядок, Поликарп Семенович осматривается так, словно говорит: «Это, значит, прихожая! Ясно!» Затем они идут дальше — минуют дверь спальни, коридорчик в кухню, дверь в ванную и туалет. Войдя в столовую, Поликарп Семенович опять озирается так, словно говорит: «Вот это, значит, столовая! Ясно!»

— Любовь Борисовна! — громко зовет Владимир Алексеевич. — Любовь Борисовна!

— Так рано! — говорит Любовь Борисовна, появляясь меж портьерами, и на мгновение замирает — она, вероятно, вспомнила, что на ней домашний халат, фартук, а волосы в беспорядке. И халат и фартук на ней, конечно, милые, модные, но все-таки... Посторонний человек! — Простите, ради бога! — восклицает Любовь Борисовна. — Я домашнему!

— Ах, ах! — кланяется гость. — Что вы, что вы! — И смотрит на нее так, словно говорит: «Это, значит, жена! Ясно!»

— Любовь Борисовна! — улыбается Аленочкин. — Это Поликарп Семенович.

Как и ее муж при встрече с гостем в конторе, Любовь Борисовна сначала как будто не верит, что перед ней стоит всамделишный Поликарп Семенович. «Неужели! Да не может быть, что сам Поликарп Семенович пожаловал в Черный Яр!» — говорит ошеломленное лицо Любови Борисовны.

— Как! Неужели? — Она прижимает руки к груди. — Неужели?

Гость чуть слышно щелкает каблуками:

— Поликарп Семенович Соколов!

Вот теперь Любовь Борисовна верит в то, что перед ней сам Поликарп Семенович. Она мягким движением протягивает гостю белую душистую руку.

— Я рада познакомиться с вами! — счастливым голосом произносит Любовь Борисовна. — Муж столько рассказывал о вас! Столько рассказывал!

— Любовь Борисовна! — каким-то особым тоном говорит Владимир Алексеевич. — Мы займемся в моем кабинете!

— Понимаю! Понимаю! — отвечает она и улыбается Поликарпу Семеновичу. — Я вынуждена оставить вас вдвоем. Извините, ради бога!

— Дела всегда есть дела!

Любовь Борисовна уходит на кухню, а они — в кабинет Владимира Алексеевича. Это небольшая комната, обклеенная светлыми обоями; здесь стоят шкафы, полные книг, блестит толстым стеклом ореховый письменный стол.

— Прошу! — приглашает Владимир Алексеевич.

Поликарп Семенович останавливается на пороге. «Вот это, значит, кабинет! Так! Ясно!»

— Благодарю вас!

Они садятся в низкие, удобные кресла, в которых мягко утопает тело; в таких креслах удобно разговаривать по душам, пить хорошее вино.

— Итак! — улыбается Владимир Алексеевич.

— Итак, я приехал! — улыбается гость, и как раз в этот момент в комнату входит Любовь Борисовна.

Покачивая полными бедрами, она проходит к столу с подносом в руках. На подносе — бутылка коньяку, две хрустальные рюмки, конфеты в серебряной обертке и лимон, разрезанный на маленькие ломтики.

— Мужчины, — говорит она, — с этим, я думаю, вам будет веселее разговаривать!

Это фокус, но Любовь Борисовна успела переодеться. Платье из золотистого материала туго обтягивает грудь, бедра, покатые плечи.

— Я опять оставлю вас! — сокрушенно вздыхает Любовь Борисовна. — Домработницы мы не имеем... Я все делаю сама!

— Итак! — наливая в рюмки коньяк, повторяет Владимир Алексеевич.

— Итак! — отвечает Поликарп Семенович.

Звучно чокнувшись, они выпивают коньяк и, как по команде, откидываются в креслах.

— Нужны деньги, Владимир Алексеевич! — серьезно говорит гость. — И как можно скорее, ибо наступил самый ответственный момент!

Подняв с пола портфель, Поликарп Семенович достает из него кипу бумаг: несколько фотографий, планы на синьке и наконец большой альбом с цветной обложкой.

— Вот! — Он показывает Владимиру Алексеевичу крупную фотографию. — Полюбуйтесь на своего красавца!

На фотографии снят дом — высокие кирпичные стены, остроконечная крыша из шифера, еще не застекленная, но уже воздушно-солнечная веранда, огромные окна, легкий коробок верхнего полуэтажа. Дом недостроен. Это видно и по тому, что вокруг него валяются обломки кирпича, доски, щебень.

Кирпичный дом принадлежит Владимиру Алексеевичу Аленочкину, то есть он дает деньги на строительство дома, который Поликарп Семенович возводит для него на одной из тихих улиц областного города. Несмотря на то, что Поликарп Семенович хороший знакомый Аленочкина, он за услуги берет немалую сумму — двадцать тысяч. Но по сравнению со стоимостью дома эта сумма невелика, так как дом по смете, составленной Поликарпом Семеновичем и одобренной Аленочкиным, будет стоить около ста двадцати тысяч. Поликарп Семенович и Аленочкин познакомились в областном городе три года назад, месяца

за три до того, как Владимир Алексеевич принял решение поехать в Черный Яр, где организовывался сплавной участок. До этого Владимир Алексеевич работал рядовым инженером в тресте.

— Остается штукатурка, паркетные полы, дворовая постройка, отопление, ванна и клозет! — загибая пальцы, говорит Поликарп Семенович. — Вот документы на истраченное...

Владимир Алексеевич внимательно прочитывает каждую страничку, шевеля губами, иногда поднимает на гостя невидящие глаза.

Аленочкин удивительно быстро и точно считает в уме, и, зная это, Поликарп Семенович старается не мешать Владимиру Алексеевичу — он бесшумно тянется к бутылке, наливает... Коньяк отличный! Да и вообще Поликарпу Семеновичу очень нравится Аленочкин, а теперь, когда бывал в его деревенском доме и познакомился с женой, нравятся и жена и дом. Что и говорить, Владимир Алексеевич умеет жить — в газетах частенько мелькает его имя как имя одного из лучших начальников сплавных участков, зарплата у него большая, дом обставлен со вкусом, а жена — прелесть!

Поликарп Семенович смотрит на Аленочкина с глубочайшим уважением. Да, это не шантрапа, с которой он обычно имеет дело, это солидный, обстоятельный клиент, это в конце-то концов член партии, коммунист, а коммунистов Поликарпу Семеновичу приходится обслуживать не особенно часто.

«Вот как надо жить! — глядя на Аленочкина, думает Поликарп Семенович. — Этот человек спит спокойно, он всегда знает, что делает! Этот человек занимает прочное место на этой беспокойной земле. Этого человека не возьмешь голыми руками! Нет, не возьмешь!»

Очень уважает Владимира Алексеевича Поликарп Семенович Соколов. Да, это не тот человек, с которыми он привык иметь дело. Те трясутся над каждой копейкой, жульничают, а этот не таков! Деньги тратит смело, поступает решительно, не хочет лепить дом из всякого барахла. Кирпич ему нужен лучший, шифер лучший, ванна самая лучшая. И лицо у Аленочкина не мелочное, не жадное, а простое, сосредоточенное.

Да, в жизни всегда берут верх только солидные, серьезные люди, а не шушера, что стремится все подешевле да по знакомству. Та шушера ночами спит беспокойно, ей все мерещится тюремная решетка, а этому море по колено! Ишь как... В кресле сидит прочно, уверенно, лбище огромный, сильные плечи облиты белым кителем. Большой человек! Уверенный в себе человек! Вот каков он, Владимир Алексеевич Аленочкин! «Вот у кого надо учиться жить!» — думает Поликарп Семенович. Ну как не помочь такому человеку, как Аленочкин, построить дом! Уже за одно то, что сидишь рядом, учишься у него, можно строить. «За науку деньги платят!» — вот как говорят умные люди, а та шушера — плевать на нее! Вот с какими людьми надо иметь дело — с такими, как Аленочкин. И спать будешь спокойно, и деньги будут водиться! Да, вот как надо жить, дорогой мой товарищ Соколов!

— Так, так! — говорит Владимир Алексеевич, отрываясь от бумаг. — Значит, вам нужно по крайней мере восемь тысяч!

— Минимум, Владимир Алексеевич, — отвечает Поликарп Семенович с уважением в голосе. — Лето — лучший строительный сезон, и, если мы сейчас не будем форсировать штукатурные и сантехнические работы, мы много потеряем!

— Восемь тысяч будут! — говорит Аленочкин. — Вы их сегодня же получите... Но...

Он с улыбкой останавливается, поднявшись с кресла, подходит к окну, широко распахивает створки. В комнату врывается разноголосый шум берега: вой моторов крана, скрежет лебедек, плеск

воды, гарахтенье мокрых бревен. Кран работает: блеснит окнами кабины, вздымает стрелу.

— Но...— продолжает Владимир Алексеевич.— Но в июле я вам могу не дать такой суммы. Видите этот кран? Через три дня он будет включен в план участка! И может случиться такое, что я не получу премиальных — кран еще не освоен! Надо быть готовым к этому...

— Дорогой Владимир Алексеевич! — горячо говорит гость.— Если понадобится, моя сберегательная книжка к вашим услугам! Для вас...

— Спасибо! — вежливо перебивает его Аленочкин.— Если понадобится... Но я думаю, что нет... Лучше идемте-ка обедать!

Владимир Алексеевич пропускает гостя вперед, а сам идет за ним и думает о том, что Поликарп Семенович — жулик, прощелыга и ему надо как можно скорее разделаться со строительством дома. Денег у Соколова взаймы он, конечно, не возьмет. «Я буду сутками сидеть на кране, уморю себя работой,— думает Владимир Алексеевич,— а у этого жулика денег не возьму... Мы должны выполнить июньский план. Должны! Я получу премиальные...»

— Прощу к столу! — радостно встречает их Любовь Борисовна.

2

Во время парадного обеда у Аленочкиных Борис Егоров сидит между почетным гостем Поликарпом Семеновичем и самим Владимиром Алексеевичем Аленочкиным. Борис уже все знает — в прихожей его остановила Софья Борисовна, сделав таинственное лицо, заговорщически прошептала:

— Вам нужны были факты, доказывающие обывательское лицо Аленочкина! Извольте пройти в столовую... Там сидит главный строитель двухэтажного особняка Аленочкина! Посмотрите на его лицо, и вы поймете, что он жулик! А поговорка,— тут она подняла морщинистый палец, помотала перед носом Бориса,— а поговорка хороша! «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!»

Торжествующая Софья Борисовна ушла в кухню, а Борис быстро прошел в столовую, заинтересованный ее сообщением. Его вообще интересовало все, что касается начальника Черногоярского сплавного участка Владимира Алексеевича Аленочкина.

Сейчас Борис сидит меж гостем и Аленочкиным, с большим удовольствием ест свежую осетрину и наслаждается возможностью наблюдать за обедающими, думать о них, принимать участие в той тонкой игре, которую ведет Владимир Алексеевич со строгой Софьей Борисовной. Борис уже выпил две небольшие рюмки коньяку и, улыбаясь, держит в руках третью.

— За благополучие! — говорит гость Поликарп Семенович.

— За благополучие! — откликается Владимир Алексеевич.

— За удачу! — говорит Борис.

Они чокаются — рюмки звенят,— Борис подносит ко рту коньяк, смакуя, выпивает, а сам поверх рюмки смотрит на Софью Борисовну. «Вот так-то, голубушка! — думает он и усмехается.— Вот так-то, голубушка! И ничего-то ты не сделаешь, ничего не скажешь! Вот так и будешь сидеть, брезгливо морщиться, а потом откажешься от компота!»

— Отличный коньяк! — весело говорит Борис.

— Наилучший! — с воодушевлением поддерживает его Поликарп Семенович.

У Поликарпа Семеновича действительно жуликоватое лицо — бегающие глаза, мелкие зубы, смятый маленький подбородок. Но особенно выразительны его руки — рыжие, вздрагивающие от нетерпения. Одним

словом, Софья Борисовна была права, когда говорила, что строитель особняка — прохвост. Но вот в другом Софья Борисовна ошиблась — Владимир Алексеевич Аленочкин ничуть не похож на своего гостя.

Владимиром Алексеевичем можно без усталости любоваться. Его чеканным профилем, ровным загаром, крутой линией широкого лба; хорош у Владимира Алексеевича затылок — квадратный, выпирающий; шея у него крепкая, толстокожая, короткая, а уши маленькие, прилегающие к голове. И выражение лица у него мужественное, честное, волевое, и руки у него, конечно, не вздрагивают. Это сильные, могучие руки, которыми он умеет ворочать тяжелые бревна и чертить тончайшие чертежи.

Разглядывая Владимира Алексеевича, Борис Егоров мысленно разговаривает со своим старшим братом Эдуардом. Это у него уже вошло в привычку — разговаривать со старшим братом, и в последнее время Борис находит удовольствие в этих воображаемых, мысленных беседах. Он как-то обнаружил, что брат помогает ему думать, то есть, полемизируя или соглашаясь с Эдуардом, Борис точнее, до конца обдумывает то, что волнует его. Но главное в другом: Эдуард полез тем, что его словами можно называть вещи своими именами. Сам Борис, например, никогда не сказал бы вслух о том, что в двадцатом веке нет романтиков трудовых будней, а вот Эдуард говорит. «Покажите мне романтика трудовых будней,— умоляет он,— и я встану перед ним на колени!»

— Сегодня у нас два супа,— говорит Любовь Борисовна.— Могу предложить выбор — с фрикадельками и рыбный.

— Мне, пожалуйста, с фрикадельками,— просит Поликарп Семенович.

— Мне рыбный,— говорит Аленочкин.

— И мне рыбный,— заявляет Борис.

Да, он будет есть именно рыбный суп!

Собственно говоря, почему бы ему не есть именно тот суп, который будет есть Владимир Алексеевич Аленочкин? Ну что может помешать ему есть рыбный суп? Ничто и никто не может помешать ему есть рыбный суп... Ну, хотя бы потому, что он теперь до конца понял Аленочкина, ответил сам себе на все недоуменные вопросы, которые возникали при размышлениях о начальнике сплавного участка.

Подобно кибернетической счетной машине, Борис Егоров теперь может разложить Аленочкина на составные части, проанализировать каждую из них в отдельности и в целом; он может ответить на любой вопрос по поводу и в связи с жизнью и работой Владимира Алексеевича Аленочкина. Ответил Борис и на главный вопрос: «Почему Владимир Алексеевич живет и работает в Черном Яре?» Это, откровенно говоря, был самый трудный вопрос, ответить на который Борис смог только после того, как узнал о строительстве почти двухэтажного особняка. Остальное оказалось легким — ответы так и посыпались на остальные вопросы.

Почему Аленочкин внедряет новый кран? Почему он сутками пропадает на берегу? Почему ссорится с Софьей Борисовной? Почему любит высокие фразы?

На все эти вопросы Борис легко ответил, когда увидел сидящего за столом Поликарпа Семеновича Соколова, а ответив, вдруг спросил самого себя: «А зачем приехал в Черный Яр ты, Борис Егоров?» Борис улыбнулся, так как сразу представил старшего брата, который говорил: «Ты, Борька, едешь в Сибирь потому, что не хочешь лишиться поддержки предка!» После этого ему стало откровенно смешно. «Эдька дурак!» — решительно подумал он.

Конечно, брат Эдька дурак! Ему бы надо показать Владимира Алек-

сеевича Аленочкина, вот такого, каков он сейчас — оживленного коньяком, затаятого в белоснежный китель, ясноглазого, похожего с затылка на каменное изваяние. Брату надо бы увидеть, как тянется к коньячной бутылке мощная, обросшая темными волосами рука Аленочкина, как пальцы сжимают горлышко бутылки — сильно, хватко, как наливают Владимир Алексеевич коньяк в рюмку — не проливает ни капельки, как он поднимает рюмку на уровень глаз и рассматривает на свет золотистую жидкость. Надо бы увидеть брату лицо Владимира Алексеевича в этот миг, когда он поднимает рюмку.

— Внимание! — уважительно к Аленочкину восклицает Поликарп Семенович. — Внимание! Владимир Алексеевич хочет произнести тост!

Ах, вот как! Борис поворачивается к Аленочкину, тоже поднимает рюмку с коньяком. Ах, вот как! Начальник участка собирается произнести тост! Ну что же, валяй, Владимир Алексеевич! Интересно, о чем ты скажешь? Может быть, о процветании Черноярского сплавного участка, может быть, выпьешь дорогой коньяк за тружеников-сплавщиков... Давай-давай, Владимир Алексеевич, говорить ты умеешь!

— К сожалению, никакого тоста я произнести не могу! — весело говорит Аленочкин. — Мне остается только любоваться этим вином. — Он наклоняется к Поликарпу Семеновичу, огорченно продолжает: — Рабочий день, Поликарп Семенович... Рабочий же день! И вы понимаете, что нам с Борисом Петровичем больше пить нельзя!

— Да, нам пить нельзя, — подтверждает Борис и тоже ставит свою рюмку, полную коньяку, на стол. — Мы люди рабочие.

— Да, да, мы люди рабочие! — смеется Владимир Алексеевич.

А обед продолжается все в той же теплой, дружественной обстановке. Аппетитно ест рыбный суп Владимир Алексеевич Аленочкин, охотно поглощает жирные фрикадельки жуликоватый Поликарп Семенович, как всегда, плохо едят Софья Борисовна и ее сестра Любовь Борисовна: первая оттого, что ей противно есть, вторая потому, что вынуждена следить за обедающими и помогать им насыщаться. Впрочем, Любовь Борисовна не огорчена тем, что ей некогда есть: сияющая, помолодевшая от возбуждения и рюмки коньяку, она с удовольствием прислуживает обедающим.

Любовь Борисовна зорко наблюдает за Поликарпом Семеновичем, придвигает к нему нужные блюда, но следит не только за тем, чтобы он хорошо ел, а и за тем, чтобы гостю не было скучно. Вот она замечает, что Поликарп Семенович особенно внимательно смотрит на Бориса Егорова, улыбается, но ничего не говорит, хотя, видимо, интересуется молодым инженером. И она приходит на помощь гостю.

— Борис Петрович для нас стал родным человеком, — мило улыбается Любовь Борисовна. — Я совсем не чувствую, что он чужой. И подумать только! — Она с недоумением пожимает плечами. — И подумать только, что он мог бы питаться как попало... В таком цветущем возрасте нельзя питаться плохо! Я искренне рада, что наша семья как-то может скрасить его пребывание в деревне. Ведь после Ленинграда — Черный Яр... Вы представляете, Поликарп Семенович?

— Отлично представляю! — восклицает гость.

— Борис Петрович теперь нашенский! — говорит Аленочкин. — Был ленинградский, а стал нашенский...

— Мерси! — шуточно кланяется в ответ Борис.

«Плохо это или хорошо — быть вашенским?» — с иронией думает он о словах Владимира Алексеевича.

— Нравится ли вам утка, Поликарп Семенович? — озабоченно спрашивает Любовь Борисовна. — Вам не кажется, что она чуточку пережарена?

— Что вы! Что вы! — даже пугается Поликарп Семенович. — Деликатес!

— У меня разболелась голова! — неожиданно для всех сухим, скрипучим голосом говорит Софья Борисовна. — Я должна уйти!

Она подымается и уходит из комнаты.

«И это все! — мысленно хохочет Борис. — И это все, что вы можете сделать, Софья Борисовна, — подняться и уйти, сославшись на головную боль».

3

С веселой, позванивающей от коньяка головой Борис Егоров подходит к новому погрузочному крану. Настроение у него отличное.

Над Обью синее высокое небо, по-летнему густое, осыпанное черными и бордовыми точками, с двумя легкими облаками — одно висит над кедрачами, второе как бы зацепилось за ажурную стрелу крана. Растопырив острые крылья, висит над зеленой водой обской баклан, похожий на чайку, — высматривает мелкую рыбешку, прицелившись, камнем бросается в реку. За околицей, на подступах к кедрачам, белеет молодой веселый сосняк, от которого пейзаж становится легким, праздничным.

При солнечном свете Черный Яр кажется Борису Егорову похожим на дачное место — лес, вода, свежая трава, легкий воздух. Иногда ему грезится, что из-за синих кедрачей вот-вот послышится язг буферов, постукивание колес, и на берег Оби стремительно выскочит яркая электричка. Из вагонов повалят разбитные отдыхающие люди — рыбаки со спиннингами, девушки в узких брючках и с рюкзаками, толстяки с большими чемоданами в руках и молодые люди в громадных светофильтрах. Пройдет пять минут, и берег Оби станет похожим на тюленью лежбище.

Но электричка не выскакивает из-за синих кедрачей, и берег не становится тюленьим лежбищем.

Новый погрузочный кран наваливает на баржу мокрые, тяжелые бревна. На понтоне, задрав голову и держа в руках блокнот, стоит Максим Ковалев. Наблюдая за работой крана, он нетерпеливо постукивает ногой по металлическому полу и время от времени смотрит на хронометр. Недалеко от Максима работает на барже голый по пояс, черный от загара Емельян Кузьменко. Отцепляя бревна, он то и дело обертывается к Максиму, подает ему знаки. Тогда Ковалев торопливо нагибается к блокноту, делает короткую запись. Он, видимо, изучает цикл работы крана.

Докурив сигарету, Борис хочет подняться на кран, но Максим Ковалев, закончив хронометраж, сам опускается к нему. Оживленный, веселый, Максим спрыгивает с понтона, размахивая блокнотом, за пять метров от Бориса весело кричит:

— Вошли в график!

Радость Максима по поводу вхождения крана в график так велика, что, подскочив к Егорову, он хватается за рукав клетчатой ковбойки.

— Точка в точку, ты слышишь?! — оживленно говорит Максим.

— Слышу! — тоже весело отвечает Егоров и затаивает дыхание, чтобы случайно не дохнуть на Максима запахом коньяка.

Борис понимает, что ему нельзя дышать на Ковалева после торжественного обеда у Аленочкиных. Нельзя по многим причинам: положение технорука, разгар рабочего дня, деловитая оживленность Ковалева, но главная причина в том, что Борис мало и плохо знает Максима. Да, несмотря на то, что они проработали бок о бок почти год, что в один день приехали на сплавной участок и Максим несколько раз бывал в доме Егорова, Борис плохо знает Максима.

В Максиме Ковалеве многое непонятно Егорову. Борис до сих пор не знает, почему инженер Ковалев вернулся в Черный Яр, что заставляет его сутками торчать на кране. Почему на его лице иногда появляется усмешливая улыбка?

Не понимает Борис и много другого — ну, скажем, отношений Максима Ковалева с Емельяном Кузьменко. Месяц назад Емельян Кузьменко при виде Ковалева гневно сжимал руки в кулаки, глядел на молодого инженера ненавидящими глазами, а теперь они дружно ходят на работу, много времени проводят вместе. Это странно, как странно и многое другое в поведении Максима Ковалева.

Поэтому Борис Егоров старается не дышать на Максима после торжественного обеда у Аллочкина, но он смотрит на Максима так, как смотрит на всех в Черном Яре — испытующе, внимательно, боясь пропустить что-то важное. «Ну, кто ты такой, Максим Ковалев?» — спрашивают глаза Бориса Егорова, когда он смотрит на начальника рейда.

— Значит, вошли в график! — бодро говорит Борис, щелкая зажигалкой, чтобы закурить и дымом прикрыть запах коньяка. — Это хорошо, что вошли в график! Но ведь нам нужно идти дальше! — добавляет он со строгой ноткой в голосе. — Нам нужно перекрыть график!

И только теперь Максим замечает, что Борис Егоров неестественно оживлен и смотрит он на него, на Максима, еще пристальней, чем обычно.

— Да, да, да, — смешливо говорит Максим. — Мы должны перекрыть график! Это наша задача — перекрыть график!

— И мы его перекроем! — в тон Максиму отвечает Борис.

Они несколько мгновений молчат, смотрят друг на друга. Потом Максим поворачивается, чтобы уйти на лебедки, Егоров собирается подниматься на кран, но ни тот, ни другой своего намерения не выполняют — на кране вдруг раздается оглушительный хлопок, похожий на выстрел из пистолета.

— Что такое? — удивляется Борис Егоров.

— Автогенная сварка, — спокойно отвечает Максим, и сразу же после его слов на кране вспыхивает яркий огонек, раздается шипенье и треск.

По краю понтона с газовой горелкой в руках идет Валентина Батанова, одетая в тугую брезентовую спецовку; за ней тянется черный шланг, а двое рабочих несут тяжелый двойной баллон. Они останавливаются на конце понтона, где лежит разорванный на две части металлический кронштейн с пучковязателем.

— Почему Батанова? — подняв брови, спрашивает Борис.

— Она до техникума работала сварщицей! — отвечает Максим. — А к стати, другого сварщика на участке нет...

Подойдя к кронштейну, Валентина опускается на колено, натянув на руки брезентовые перчатки, прикрывает глаза щитком. Щиток она опускает таким движением, каким, наверно, опускали забрала своих шлемов средневековые рыцари. Молча, одним жестом Валентина отсылает рабочих от кронштейна, сгибается и приставляет горелку к металлу. Сначала слышно только шипенье, ожесточенный треск, но уже через несколько секунд ее с ног до головы осыпают пучки ослепительных искр, гул горелки делается грозным, раскатистым. Стоящие позади нее рабочие отшатываются, а она словно и не замечает того, что искры цевками, как опилки из-под пилы, брызжут на ее спецовку.

Со щитком на голове, осыпанная с ног до головы искрами, в ловком комбинезоне, туго обтягивающем фигуру, Валентина чудо как хороша! Ни одно платье, ни один костюм не могут сделать ее такой красивой, как брезентовая спецовка, даже в танце у нее никогда не бывает таких красивых движений, такой пластической позы.

Валентина знает, что она красива, когда сваривает кронштейн; знает она и то, что с берега за ней наблюдают. Еще тогда, когда шла по понтону, она заметила Максима Ковалева и технорука Егорова, увидела, что они следят за ней. И, опуская на глаза щиток, она еще раз искосаглянула на Максима Ковалева — высокий, сильный, в распахнутой на груди рубашке, он улыбался.

«Ну что же, смотри, Максим Ковалев!» — подумала она, приставляя горелку к кронштейну.

И вот Валентина сваривает металл, работает горелкой и понимает, что изящна, красива, чувствует, что с берега любуются ею, и, сама того не желая, кокетничает. Как иные женщины кокетничают одеждой, манерой говорить, ходить и держаться, особым голосом, фигурой, выражением глаз или улыбкой, так и Валентина кокетничает работой. Пользуясь целесообразностью движений сварщика, она нарочно усиливает впечатление — принимает пластическую позу, играет смелостью, точностью, умением. Но оттого, что она кокетничает, зная, что за ней наблюдают, на кронштейне получается такой ровный и крепкий шов, что во время короткой передышки один из рабочих уважительно говорит:

— Это да — как ниточка!

«Вот так! — как бы говорит облик Валентины. — Вот так надо варить кронштейны, не бояться искр, ровно тянуть шов, от котсрого деталь станет прочной!.. Любуйтесь на меня! — разрешает Валентина. — Смотрите, как я хорошо умею работать... Смотри на меня, Максим Ковалев!»

Минут через пять, распрямившись, Валентина гасит горелку, снимает с головы щиток и облеженно улыбается — солнцу, легкому ветру, расплавленной Оби, светлому березняку за околицей.

— Вот и все, — говорит она.

Поднявшись на понтон, Максим подходит к кронштейну, трогает пальцами еще горячий шов — работа выполнена отлично. Сизый, с перламутровыми оттенками шов похож на туго свернутую веревку.

— Отлично! — говорит Максим. — По-мастерски!

— Старалась, — по-прежнему тихо отвечает Валентина.

С берега на них внимательно, изучающе смотрит технорук Борис Егоров. Он курит ароматную сигарету, голова у него приятно кружится от коньяка, солнце ласково греет спину, обтянутую клетчатой ковбойкой. Настроение у него отличное, мысли приятные.

Девушка нравится Борису до того, что у него пересыхает во рту, когда он видит ее в спецовке. «Красавица!» — думает он, разглядывая Валентину, стоящую рядом с Ковалевым. Борис неторопливо пробегает взглядом по ее длинным ногам, высокой груди, узким, но крепким плечам. «Замечательная красавица!» Потом он останавливает взгляд на Максиме. Борис смотрит на Ковалева долго, испытующе. «Кто такой этот Ковалев? — думает он. — Что представляет из себя этот здоровый и веселый парень?»

4

Прежде чем войти в дом к тете Паше, Татьяна Егоровна предупреждает Емельяна:

— Если ты не сможешь, дело пропащее! А твою мать могут поставить на ноги только в городе. Нужно обязательно уговорить Прасковью Михайловну ехать... Пойми это, Емеля!

Потом Татьяна Егоровна внимательно оглядывает себя — белый халат, туфли на низком каблуке, — поправляет на голове белую косынку, напускает на лицо уверенно спокойное выражение, улыбнувшись, говорит:

— Теперь идемте. Максим, пошли!

Войдя в комнату, Татьяна Егоровна весело здоровается, положив чемоданчик на табуретку, садится рядом с Прасковьей Михайловной.

— Как делишки, Прасковья Михайловна? — громко спрашивает она. — Ночь спала?

— Спала. Ничего... — силясь привстать, отвечает Прасковья Михайловна. — Спасибо, Таня... Проходи, Максимушка.

Максим садится за стол, Емельян становится рядом с кроватью, и они напряженно следят за тем, как Татьяна Егоровна, шевеля губами, считает пульс.

— Так! Ничего! — Татьяна Егоровна достает стетоскоп, но Прасковья Михайловна останавливает ее.

— погоди, Татьяна, — просит она. — погоди немножко... Посиди рядом! Мне от твоего халата в глазах режет... Посиди, пригляжусь я! — Вздохнув, она роняет руку на одеяло, закрывает глаза. — Халат на тебе, Таня, белый, как снег, — после долгого молчания продолжает Прасковья Михайловна. — словно ранний снежок... Бывало, выбежишь, это, на крылечко и сослепнешь — ни-и-чегошеньки-то спервоначалу не видишь, а в глазах все круги — веселые да разноцветные! А потом откроешь глаза — мать честная! Все звездочки, звездочки на снегу-то... Одна одной блестящее да красивее. Жалко по ним ходить-то, по звездочкам-то! Вот ногу-то и ставишь сторожку, чутко...

Она говорит очень тихо, но в тишине ее голос кажется кричащим; она не открывает глаз, но Максиму кажется, что Прасковья Михайловна глядит на него широко раскрытыми, сияющими глазами.

— Не ходить теперь мне, Таня, по звездочкам-то... Совсем я на ноги сяду! — говорит Прасковья Михайловна и открывает глаза. — Вот и пригляделась я к твоему халату, подружка! Теперь мне с тобой можно разговаривать... — На ее темном неподвижном лице появляется улыбка. Сначала улыбаются огромные глаза, серые и внимательные, потом улыбка раздвигает пергаментные губы, потом показываются неожиданно белые и здоровые зубы. — Вы пришли, а мне и угостить вас нечем... Емеля, а Емеля!

— Что, мама? — нагибается к ней сын.

— Вздул бы самовар-то! Хоть чаем напои дорогих гостей... Скатерку достань белую, что с кружевами... Я сама вязала! — вспоминает она. — Ты ведь помнишь, Таня, как я кружева вязала?

— Помню, Паша.

— Я их хорошо, быстро вязала. А теперь вот не могу... В хребте-то ведь я не гнуся, Таня!.. Так вздуй самовар-то, Емеля! Скатерть белую постели!

— Не надо, Паша, — ласково говорит Татьяна Егоровна. — Мы обедали... Спасибо.

— Как же так — обедали, — огорчается Прасковья Михайловна и просит сына: — Подними, Емеля, мне чуток голову...

Емельян поднимает подушку, помогает матери выпрямиться. Теперь хорошо видно ее лицо, и Максим чувствует, как в горле перехлестывает — с худого, обтянутого кожей лица смотрят на него огромные, все понимающие и мудрые глаза старинной иконы. Все изменилось в лице тетки Прасковьи, и глаза, которые не меняются с возрастом, тоже изменились. Когда нет улыбки, это страшные глаза; они все понимают в Максиме, все знают о нем, и он, сжавшись, думает: «Она скоро умрет!» Максим отводит взгляд — в глазах закипают слезы.

— Паша, — тихо говорит Татьяна Егоровна. — Послушай, Паша...

— Не надо, Таня! — перебивает ее Прасковья Михайловна. — Не надо, Таня! Знаю я, чего говорить будешь... Говорила ты уж, что хочешь меня в город везти.

— Надо ехать, Паша!..

Но Прасковья Михайловна теперь словно не слышит ее — опять закрывает глаза, медленно вытаскивает руку из-под одеяла, трудными движениями подкладывает ее под щеку.

— Куда мне из Черного Яра ехать! — вслух думает Прасковья Михайловна. — Здесь я родилась, здесь и надорвалась на мушинской работе. Жила во мне какая-то лопнула... И то подумать, мужикам трудно неводище таскать, а не то что бабам... Вот я на ноги и сяла... Конечно, не будь войны, не ушел бы Гриша на фронт, не надорвалась бы я! А он, конечным образом, ушел! Все мужики уходили... — задумчиво вспоминает она. — Девкой была — отец ушел, бабой стала — мужа проводила. Отец тожеть не вернулся с германской... А мушинская работа для бабы тяжелая, жилу я надорвала... В библии, как сейчас помню, писано было, что мужиков никого не останется. Так в Черном Яре и было! Бабы да бабы...

Несколько минут она молчит, отдыхая.

— В русском народе бабы до всего привычные! Мужики воют, а они ворочают... Испокон веков!.. Говорят, в других народах бабы так не могут!.. Куды мне ехать! Некуда мне ехать... Гриша в чужих краях похоронен, да я буду в чужих краях лежать! Некуда мне ехать!..

Прасковья Михайловна чуть громче, но так же медленно говорит:

— Спасибо тебе, Таня, за все! Душевная ты, хорошая. И сын у тебя хороший. Благослови вас бог, а я никуда не поеду... Помру я, Таня, дорогой! Сразу помру... Да и Емельюшку одного оставить не могу... Его пожалеть надо — жизнь у него сломанная. Не вези меня на верную смерть, Таня! Дай помереть дома! На спокойное...

5

После танцев Борис Егоров провожает Валентину Батаногову.

Они идут вдоль берега по дороге, залитой лунным светом. Черный Яр кажется красивым ночью, когда над ним висят освещенные луной облака, а внизу, загнувшись серебряной подковой, течет Обь. На кране и лебедках горят прожекторы, поворачиваясь, то выхватывают из полумрака дома, то утыкаются в зеленую воду, то, поднявшись в небо, рассеиваются мучнистым светом.

— Отличная ночь! — рассеянно говорит Борис.

— Хорошая ночь! — после длинной паузы отвечает Валентина.

Борис пальцами, легонько, поддерживает ее за локоть; идет медленно, раздумывая, иногда косится на Валентину и высоко, вопросительно поднимает тонкие брови. Его тревожит профиль девушки, так как только сегодня Борис заметил, что в профиль лицо Валентины не кажется таким добрым, простецким, как в фас, — подбородок, оказывается, упрямый, волевой, кругая линия лба тоже свидетельствует о сильном характере. Шагая рядом с ним, она о чем-то напряженно думает, смотрит себе под ноги; она словно забыла о том, что Борис идет возле нее, осторожно поддерживает пальцами за локоть. Создается такое впечатление, что Валентина считает свои шаги: «Сто двадцать шесть, сто двадцать семь... двести...» — и похоже, что Валентине нужно считать шаги — может быть, она загадала что-то.

— Зайдем на кран? — предлагает Валентина, когда они подходят к рейду. — Посмотрим, что новенького.

Кран работает.

Молча копошатся на сортировке рабочие, в гавани мелькают черточки багров; громоздится мокрый и от этого блестящий лес, а вот

сам кран не виден — только угадывается его высокая и напряженная стрела, ушедшая высоко в небо.

— Постоим на берегу, — просит Валентина, не дойдя пяти метров до трапа. — Здесь Максим Максимович.

Максим неярко освещен бортовой лампочкой и потому не видит Валентину и Бориса Егорова, стоящих в тени. Вытирая руки паклей, он что-то кричит дизелисту, высунувшемуся из машинного, затем, размашисто пройдясь по крану, скрывается в освещенных дверях дизельного отделения.

— Пойдемте, Борис Петрович, — тихо говорит Валентина. — Коли Максим Максимович на кране...

Теперь Валентина идет быстрее, но по-прежнему смотрит в землю, и Борис тоже опускает голову и видит ее ноги — длинные, стройные, с круглыми коленями и выпуклыми икрами. Улыбнувшись, он вспоминает брата Эдуарда. Эх, показать бы ее Эдуарду! Ого-го!

— Ну, вот мы и дома! — неожиданно для Бориса говорит Валентина, останавливаясь. — Вот мы и пришли... Спасибо, Борис Петрович!

Крепко пожав ему руку, она бесшумно проскальзывает в калитку, а он удивленно озирается по сторонам — оказывается, они прошагали уже всю длинную улицу, оставили кран на полкилометра позади. Пожав плечами, Борис усмехается, опускает брови, потом медленно трогается с места. «Кажется, меня оставили с носом!» — смешливо думает он и достает из кармана пачку сигарет, которые ящиками посылает ему мать из Ленинграда. Закурив, он переходит через дорогу и оказывается возле собственного дома; поднявшись на крыльцо, достает ключ от английского замка, хочет вставить его в скважину, но вдруг опускает руку — завтра воскресенье, что он будет делать теперь дома, когда еще нет двенадцати? Помедлив, Борис отходит от двери.

С крыльца хорошо виден Черный Яр, река, густые кедрачи, залитые светом луны, низко повисшей над домами. Луна велика, прозрачна, как в театре, да и вообще все окружающее кажется театральным: именно так в театре вырубают зубчиками декорации ночного леса, такой серебряной лентой делают реку, такой луну, изготовленную в мастерских. И собаки в театре, записанные на магнитофонную ленту, лают точно так, как в Черном Яре.

Борис не переносит собачьего лая — в нем столько первобытного, дремучего, звериного, что его охватывает острая тоска. Хочется закрыть уши руками. Особенно тяжело слушать собачий лай, когда одиноко лежишь в постели и от тишины звенит в ушах. Почему так лают собаки?

Снаружи дом облупился, почернел от ветра и дождей, печальный и тоскливый. На крыше, поскрипывая, тихонько вращается металлический флюгер, хотя стоит безветрие. Окна дома слепо смотрят на блестящую Обь. «Двадцатый век! Фокс!» — вдруг зло думает Борис, бросая на землю окурок. Он садится на крыльцо, обхватывает голову руками; злые мысли приходят ему на ум, так как вспоминается старший брат. Интересно, чем занят сейчас Эдуард? Теперь в Питере утро, а что делал брат накануне: сидел ли в ресторане со «статуэткой», был ли на даче актера-друга или катался на его «волге» по курортным местам?

Черт возьми! Чего бы ни делал братишка, он хорошо провел время, а он, Борис... Он одиноко сидит на крыльце, хотя есть две девушки, которые его интересуют, — Валентина Батаногова и Людмила Голубь. Собственно, он сперва заинтересовался Людмилой — привлекала легкая фигурка с острой грудью, тонкая талия и задранный носик. Он сразу же пригласил ее к себе, и она еще больше понравилась ему, но через два

дня после этого вернулась из отпуска Валентина Батаногова — загорелая высокая красавица. «Она!» — радостно подумал Борис.

В его доме по ночам в крошечной темноте жужжат комары. На улице их меньше — сносит ветер, — но в доме комары ужасны. Только начинаешь засыпать, как раздается зудящее: «Жжжу». По ночам на крыше дома скрипит флюгер, слышно, как на рейде тоскливо гудят проходящие пароходы и нервно звонит новый погрузочный кран. Тоска.

Борис поднимается, зло поглядев на черные, прожухшие стены дома, запахивает пиджак и решительно поворачивается лицом к Черному Яру.
— Дома! Не спит! — вслух говорит он.

Он полубегом пробегает по переулку, поворачивает, сокращая путь, перелезает через невысокий забор и подходит к освещенному окну комнаты Людмилы Голубь. Он жадно прищипывает глазом к щели между шторами-задергушками — Людмила сидит на стуле. «Действовать решительно!» — приказывает себе Борис, проводя языком по пересохшим губам. Он снова перелезает через забор, возвращается к крыльцу и стучит в дверь. Сначала — тишина, потом в сених слышен приглушенный топот, затем опять наступает тишина.

— Кто там? — шепотом спрашивает Людмила.

— Борис Егоров! — с едва заметной хрипотцой в голосе отвечает Борис.

Гремит щеколда, дверь медленно открывается, вытянувшись, белая Людмила стоит на пороге.

— Так поздно! — шепчет она.

Шагнув к ней, Борис мягко, но решительно обнимает за плечи, наклонившись, прищипывает к губам, потом целует в то место, где начинается ключица. Он чувствует губами прохладную, нежную кожу, а руками — тонкую и гибкую талию Людмилы.

— Я не могу без тебя! — оторвавшись, шепчет Борис. — Я это понял... Сейчас понял... Идем ко мне!

— Так поздно! — тревожно шепчет она. — Первый час ночи... Все спят...

— Так надо! Надо!

Внезапно выпрямившись, Людмила вырывается из его рук, отшатывается.

— Я знала, что так будет! — вдруг порывисто говорит она. — Я знала... Вы не такой, как все в Черном Яре, и только я могу понять вас... Я сейчас переоденусь!

Хрипло засмеявшись, Борис достает из кармана пачку сигарет, шелкает зажигалкой. Он терпеливо ждет ее и, когда Людмила выходит, властно берет ее за руку. Неизвестно почему, но он вспоминает Владимира Алексеевича Аленочкина, сегодняшний торжественный обед, гостя Поликарпа Семеновича, отлично одетую Любовь Борисовну.

— Идем, — спокойно говорит Борис.

До своего дома Борис не произносит ни слова.

Войдя в комнату, он шелкает выключателями.

— Вот так! — говорит Борис и, приблизившись к Людмиле, берет ее за талию, подняв, сажает на стол.

— Не надо! — слабо вскрикивает Людмила, но сама прижимается к нему.

«Вот так-то, брат Эдуард!» — думает Борис. Подняв Людмилу, он на руках несет ее в спальню, а сам усмехается. «Вот так-то, Владимир Алексеевич Аленочкин! Мы тоже не лыком шиты!»

— Я люблю тебя, Людмила! — говорит он.

Глава пятая

I

Госгортехнадзор — организация строгая. Если за рычаги погрузочного крана посадить недипломированного человека, госгортехнадзор оштрафует начальника сплавного участка, технорука и начальника рейда; мало того — работники госгортехнадзора надолго остановят кран и напишут длинный протокол, в котором будут упоминаться слова «безответственность», «нарушение правил эксплуатации» и «превышение власти со стороны руководителей сплавного участка». Но и этого мало — сотрудники госгортехнадзора непременно сообщат о случившемся в трест и во все другие вышестоящие организации.

Протокол госгортехнадзора забудется нескоро: его год или два будет цитировать в передовых статьях областная газета, когда ей понадобится пример безответственного отношения к новой технике; о протоколе будут вспоминать на различных областных совещаниях ораторы: «За фактами, товарищи, не надо далеко ходить! Как наплевательски относятся некоторые руководители сплавных участков к внедрению новой техники, можно видеть на примере Черноярского участка, где к пульту управления допустили недипломированного человека!»

Одним словом, сажать за пульт управления краном недипломированного человека рискованно, но начальник рейда Черноярского сплавного участка Максим Ковалев решил на это: он хочет посадить в кабину своего друга Емельяна Кузьменко. Чтобы сделать это, он несколько недель занимался с Емельяном теорией, а вот сегодня хочет впервые посадить Емельяна за рычаги управления.

Емельян и Максим встречаются на берегу в пятом часу утра, когда солнце едва-едва поднимается над черными верхушками тальников. Они шагают навстречу друг другу. Емельян идет медленно, покачиваясь, поживаясь; он болезненно щурится, словно ему неприятна встреча с товарищем. Максим шагает энергично, напористо, но сегодня в глазах Максима нет веселой искорки. На лбу — глубокая складка, веки припухли, точно Максим тяжело устал.

— Здоров, Емельян!

— Здравствуй, Максим!

Они одеты одинаково — кирзовые сапоги, сатиновые рабочие брюки, клетчатые ковбойки; они одинакового роста, одинаково широкоплечи и чуточку сутуловаты, как бывают сутуловаты рабочие люди, которые привыкли глядеть в землю; и у того и у другого громадные, черные от загара и работы руки с шершавыми мозолистыми пальцами.

Объ курчавится тонким туманом, на траве, отражая неяркое солнце, поблескивают росинки. В реке гулко, как в металлической трубе, двоятся и троятся звуки — стук дерева, цокот паровых плит, скрип уключин лодки раннего рыбака.

— Половина пятого, — заглянув на часы, говорит Максим. — Самое время!.. Поднимайся на кран! — хмурится он. — Прошу тебя, поднимайся на кран!

— Аленочкин и Егоров поднимут вой... — тихо говорит Емельян.

— Поднимайся на кран! — сухо повторяет Максим и вдруг весело улыбается. — Аленочкин не поднимет вой: он вчера вечером уехал на плотбище и вернется только к обеду!

Круто повернувшись к Максиму, Емельян заглядывает ему в лицо, поглядев, отворачивается. Большие, черные брови Емельяна трагически сходятся на переносице.

— Украдкой... воровски... Не хочу! — говорит он.

Максим медленно достает из кармана пачку «беломорканала», еще медленнее вынимает папиросу, поломав две спички, прикуривает.

— Емельян, Емельян,— шепотом произносит Максим.— Быть всю жизнь обиженным и играть на этом... Лет десять назад я бы дал тебе в морду, Емельян! — Жадно затаившись папиросой, он хватается Емельяна за рукав, рывком приближает к себе.— Ты пойдешь на кран, Емельян! Ты сядешь в кабину! Мне не до чистоплюйства, Емельян!... Иди на кран! Ну! — кричит Максим.— Иди вперед!

— Ладно!.. Я пойду! — сникая, говорит Емельян.

Дальнейшее происходит быстро: поднявшись на понтон, Максим жестом останавливает кран и, когда крановщик выходит из кабины, подталкивает Емельяна к лесенке.

— Иди!

Движения у Максима злые, порывистые.

— Иду,— вздыхает Емельян.

Высокая кабина крана просвечена насквозь. Солнце дробится на рычагах и стеклах приборов, заполнив до отказа тесное пространство, золотистыми столбами упирается в пол, и от этого кажется, что под ногами ничего нет. Ступить на пол нельзя — не встретив сопротивления, нога провалится. Ощущение провала под ногами так реально, что Емельян чувствует легкое головокружение и, чтобы не потерять равновесия, хватается за спинку сиденья.

— Ого! — восклицает Емельян, на секунду закрывая глаза.

Открывая глаза, он видит с высоты птичьего полета раскидистую подкову Оби, голубые на восходе солнца кедрячи и чистенький, светлый, с высоты птичьего полета совсем не похожий на себя Черный Яр. Странно, но дома деревни с высоты представляются аккуратными, светлыми, даже новыми — так удачно освещает их восходящее солнце.

Емельян садится на маленькое удобное сиденье.

— Поворот? — спрашивает Максим.

Емельян находит блестящий металлический рычаг.

— Вот!

— Поворот стрелы?

— Вот так!

— Влево?

— Так!

Максим задает вопрос за вопросом — он заставляет Емельяна то мысленно повернуть кран вокруг оси, то поднять стрелу, то опустить ее, то включить грузовой трос, то сразу сделать комплекс движений: поднимать воображаемый груз и одновременно с этим, вращая кран, опускать стрелу.

— Подъем стрелы и поворот налево! — командует Максим.

— Так и так!

— Грузовой трос, поворот направо и подъем стрелы!

Когда Емельян выучивается быстро находить рычаги управления, Максим, выснувшись из кабины, приказывает завести дизель.

— Для начала постой рядом! — говорит он Емельяну и садится на место крановщика.

Рабочие занимают свои места — становится на баржу отцепщик, спускаются трое зацепщиков, две женщины с баграми идут на сортировочную сетку. Дождавшись их сигнала: «Готовы к работе!» — Максим берется за рычаги. Он туго сжимает губы, когда ударяет первый такт дизеля и кран, легонько вздрогнув, становится теплым, живым.

— Вращая кран направо, поднимаю стрелу,— говорит Максим.

Небо с прозрачными облаками вздрагивает, пошатнувшись, плывет влево; вместе с небом плывет вздыбившаяся Обь, берег, дома на берегу.

Весь мир как бы совершает плавный оборот вокруг Максима и Емельяна. Кажется, что кран взлетывает над Обью и лесом, раздвигая воздух, плавно опускается на берег. Емельян опять чувствует головокружение, опьяно на секунду закрывает глаза, но тут же торопливо открывает.

— Следи! — предупреждает Максим. — Делаю сразу три операции — подтягиваю лес тросом, поднимаю стрелу и вращаю кран влево.

Снова головокружительно мимо кабины пронесется небо, берег, вода, снова появляется ощущение крылатости, воздушности.

— Вот так! — закончив поворот и положив бревна на баржу, говорит Максим. — Садись-ка теперь ты...

Емельян осторожно притрагивается к рычагам, затаив дыхание, ждет, когда барабан придет в зацепление. Он бледнеет и тяжело дышит.

— Смелее! — подбадривает Максим.

И Емельян вдруг видит, что небо, река и берег уже несутся мимо окна — оказывается, кран, набирая скорость, вращается.

— Еще смелее! — шепчет Максим, и когда Емельян хочет крепко нажать на рычаг поворота, Максим быстро кладет руку на его пальцы.

— Минуточку!

На берегу, широко расставив ноги, стоит Борис Егоров. Тонкий сигаретный дым вьется над головой технорука, который, застыв глаза от солнца ладонью, с удивлением смотрит на кран, работающий вхолостую. Борис, видимо, не может понять, в чем дело, почему стрела уходит уже на второй поворот без пучка бревен.

— Егоров! — говорит Емельян. — Идет на кран!

— Продолжай работать! — сухо отвечает Максим и с грохотом, не задевая ногами за металлические ступени лестницы, сваливается вниз.

— Здравствуй, Максим Максимович! — протягивая руку, приветливо здоровается Егоров. — Что здесь происходит?

— Здравствуй, Борис Петрович! — без улыбки, но приветливо отвечает Максим. — А происходит вот что...

2

Борис Егоров однообразно покачивает головой.

— Ясно! Ясно! — время от времени говорит он, слушая объяснения Максима. — Понимаю... Ясно!

— Ну, а коли понимаешь, то дело в шляпе, — без улыбки шутит Максим. — Я хочу, чтобы Емельян стал крановщиком! Вот и все, что здесь происходит, а что касается госгортехнадзора, то...

— Вот это-то меня и интересует, — дружелюбно отзывается Егоров. — Что ты думаешь о надзоре?

— Что я думаю о надзоре? — Максим на мгновение задумывается. — Мне недосуг думать о надзоре... Если хочешь, то...

— Хочу, хочу! — подтверждает Егоров.

— Раз в жизни... Единственный раз закон может потесниться, чтобы дать место в жизни Емельяну! — говорит Максим. — Вот что я думаю о надзоре.

Сказав это, Максим неторопливо садится на кнехт.

— Слово за тобой, Борис Петрович... Если нас будет двое, то Аллочкин...

— Конечно! Конечно!.. Понимаю! — охотно соглашается Борис и садится на соседний кнехт.

Егоров сегодня движется особенно медленно. Чтобы сесть на кнехт, Борису надо затратить полминуты: спервоначалу он осторожно тушит сигарету, потом делает маленькие шажки вперед, потом медленно опу-

кается. Наконец усевшись, Борис так же медленно поворачивается к Максиму и вопросительно поднимает брови.

— Я все сказал,— говорит Максим.

Егоров молчит.

— Ну! Я все сказал!..— повторяет Максим.

— А ты не торопись,— спокойно улыбается Егоров.— Дай мне подумать. Госгортехнадзор — серьезная организация!

Борис лезет в карман, достает сигареты, зубами выхватывает одну, шелкает механической зажигалкой. Курит он неторопливо, даже мечтательно — пропускает дым сквозь сложенные дудочкой губы, делает из дыма кружки и завитушки.

— Ну!

— А что — ну! — отвечает Борис, разглядывая сигарету.— Нуканьем не поможешь, когда человеку надо принять серьезное решение... А вот и мастер крана! — внезапно восклицает он, заметив шагающую по берегу Валентину Батаногову.

— Явление Христа народу! — шутливо добавляет Борис.— Красавица, а? Ты посмотри, Максим Максимович, какая красавица, а!

Валентина Батаногова, свежая, загорелая, обтянутая тугой спецовой, легко запрыгивает на понтон крана, увидев технорука и начальника рейда, улыбается весело, по-утреннему, чуточку затуманенно. Поздоровавшись, проходит к навесу возле машинного отделения.

— Я жду! Я жду твоего решения...— напоминает Егорову Максим.

— Ничего, ничего,— говорит Борис.— Этот вопрос мы решим в кратчайшие исторические сроки... В кратчайшие!

Сказав это, он становится серьезным, озабоченным, словно вспомнил что-то очень важное, что надо сделать сейчас, пока не поздно.

— Да, да, да,— говорит он,— да, да... Я вынужден покинуть тебя...

Сбежав с понтона, он торопливым шагом поднимается к конторе. Максим провожает его взглядом, затем, машинально толкнув руку в карман, чтобы достать папиросу, нащупывает пальцами гладкие круглые камешки. Он вынимает их и усмехается — вчера шел берегом, задумавшись, присел на яр, набрал полную горсть камешков. Вспомнилась детская игра «пять камешков».

— Пять камешков! — слышит он негромкий голос Валентины.

— Валентина Павловна!.. Вы тоже знаете эту игру?

— Конечно,— отвечает она.

— Присаживайтесь! — просит Максим.— Вот на этот кнехт! — Он показывает на тот самый кнехт, где сидел Борис Егоров.

Валентина садится; несколько секунд она молчит, думает, потом говорит:

— Вы где взяли камешки, Максим Максимович? На Оби их нет. Здесь глина...

— Да, на Оби камней нет,— задумчиво отвечает Максим.— На Оби только глина... А камни... Мы привезли на кране гравий для бетона, а использовали не весь — вот я и набрал камешки. — Он достает из кармана камни, протягивает Валентине: — Берите, Валентина Павловна... Все берите!

Стуча, камешки сыплются в протянутую руку Валентины, и Максим близко видит ее лицо — голубые глаза, загнутые длинные ресницы, матовую кожу, такую нежную и бархатную, что она кажется неживой. И его снова, в который уже раз, охватывает ощущение того, что Валентина Батаногова несамделишная. У обыкновенного человека не может быть таких больших глаз, таких длинных ресниц, такой гладкой кожи. Лица такой красоты бывают только на полотнах художников. «Она настоящая!» — думает Максим.

В спящем Черном Яре торопливо открываются скрипучие калитки — люди, разбуженные воем сирены, выбегают на улицу, несутся на берег, поднимаются по трапу на кран. Возле машинного отделения уже стоит Валентина Батаногова, молча застегивающая лямки спецовки.

— Что случилось? — чуть не налетев в темноте на девушку, спрашивает Максим.

— Странное,— отвечает Валентина.— Кран работает, а стрела не двигается! Такого еще не было...

А люди продолжают подниматься на кран — влетают крановщики, дизелисты, и наконец, прогибая трап, грузно идет Владимир Алексеевич Аленочкин. Он в белом кителе, и, несмотря на первый час ночи, лицо у него свежее, бодрое, видимо, он еще не ложился спать — все сидел да работал в своем домашнем кабинете. Широким начальственным шагом Владимир Алексеевич проходит к столику возле машинного отделения, садится и подзывает к себе крановщика ночной смены.

— Садитесь, Сверкунов,— говорит Аленочкин.— Садитесь и успокойтесь!

На кране непривычная, тревожная тишина. Дизель не работает, и слышно, как у металлических бортов понтона бормочет вода. Иногда раздается плеск — это отрывается от берегового яра кусок глины и падает в воду.

Люди рассаживаются на бухтах металлического троса.

— Ну вот, а теперь рассказывайте по порядку, Сверкунов,— просит Владимир Алексеевич.— С чего все началось?

По всему видно, что Аленочкин абсолютно спокоен, что он несколько не обескуражен аварией — должно быть, считает подобные случаи неизбежными.

— Ну, рассказывайте,— ободряюще улыбнувшись крановщику, еще раз просит он.

— Да нечего рассказывать... Я поднял пучок, понес его на баржу, донес и включил спуск стрелы, а она не пошла... Вот так и висит! — показывая пальцем на стрелу, заканчивает крановщик.

Высоко в темно-синем небе на фоне тонкого облака висит громадный пучок бревен. В темноте трос не виден, и кажется, что пучок висит в воздухе, вот-вот сорвется и обрушится на баржу.

— Что вы проверили? — в тишине спрашивает Аленочкин.

— Все проверил! — отвечает крановщик.— Весь кран излазил, а в чем дело, не пойму... Потому и дал сирену!

— Когда встал кран?

— Шестнадцать минут назад!.. Я заметил время, как приказывали...

— Хорошо! — Аленочкин поднимается, подходит к Максиму Ковалеву.— Что будем делать, Максим Максимович?.. Ловить мышь, как вы говорите?

— Ловить мышь! — отвечает Максим.— Это, по-моему, самый лучший способ.

Никто из присутствующих, кроме Валентины Батаноговой, не понимает, что значит ловить мышь, зачем ее надо ловить, когда стоит кран. Поэтому Максим, смеясь, объясняет:

— Вот о чем идет речь, товарищи! Когда в ста комнатах надо найти одну мышь, лучше всего взять сто человек и послать по человеку в каждую комнату. Они сразу найдут мышь...

— Распределяйте, Максим Максимович,— тоже весело просит Аленочкин.— Вы — главнокомандующий!

Максим внимательно оглядывает людей, прищурившись, что-то быстро прикидывает, затем громко говорит:

— Емельян Кузьменко проверит пульт управления, Иван Перегудов просмотрит грузовые тросы, Валентина Павловна займется дизелем, Владимир Алексеевич — лебедками, остальные пойдут на осмотр кабелей. Я стану на распределительный щиток! Вот, кажется, и все!.. Запускайте дизель.

Мотор крана смачно чавкает; потом такты учащаются, сливаются в сплошной гул, и кран оживает: где-то дребезжит гайка, поскрипывают канаты, пенится вода у бортов понтона. Когда дизель набирает полные обороты, вспыхивают два мощных прожектора и на кране становится шумно, оживленно. Веселее на кране, когда работает дизель и светят прожекторы; кран не кажется притаившимся, зловещим, темнота не пугает.

Ухватившись руками за металлические поручни, не касаясь ногами спусенок, Максим сваливается в машинное отделение. Здесь веет теплом дизель, тяжелый маховик гонит душную волну воздуха, пахнувшего озонном. Блестит медь и сталь, вздрагивающий металл напряжен.

Теперь, когда он стоит возле мотора с заложенной за ухо папиросой и держит в руке разводной ключ, странная, непонятная остановка крана уже не пугает Максима.

Он разворачивает схему электросистемы. На бумаге изображены сотни перекрещивающихся линий, завитков, спиралей, темные точки соединений, густая сеть цифр, но он видит не линии и точки, а разноцветные провода, тяжелые моторы, соединения и контакты, не только видит, а чувствует, ощущает, как ток от распределительного щитка растекается по проводам подобно тому, как кровь растекается по артериям.

Несколько раз взглянув на схему, Максим присаживается на корточках возле распределительного щитка и закрывает глаза. Так ему удобнее следить за проводами, обдумывать их путь. Он мысленно разворачивает каждый провод, каждое соединение, не дает мысли прерваться до тех пор, пока провод не окончится механизмом, лампочкой, сиреной, прожектором, рычагом управления. «Здесь ничего не может быть! — думает он и восстанавливает в памяти следующий провод.— А вот здесь может быть!» — думает Максим и оставляет в памяти короткую зарубку, чтобы потом вернуться к замеченному месту. Так он перебирает провод за проводом.

Углубленный в себя, Максим не замечает окружающего, а в машинное отделение спускается Валентина Батаногова, останавливается возле Максима, внимательно смотрит на него. Она несколько раз порывается обратиться к Максиму, но останавливает себя. Наконец тихо говорит:

— Максим Максимович! Выходы из генератора проверены... Там все нормально.

Максим не слышит ее. Тогда Валентина делает еще полшага вперед.

— На выходах все нормально! — повторяет она чуть громче.

— Что? — отрывисто спрашивает Максим.— Что вы сказали?

— На выходах повреждений нет...

— ...повреждений нет! — машинально повторяет Максим и вдруг требует: — Отвертку! Дайте отвертку!

Протягивая ему отвертку, Валентина понимает, что Максим не слышит ее и не видит ее. Он берет отвертку и соединяет ею два контакта — летят искры, слышен звонкий щелчок. Максим качает головой («Не здесь!»), присоединяет отвертку к следующим двум контактам («Опять не то!»). Тогда он перекладывает отвертку из одной руки в другую, закрывает глаза и, как во сне, шевелит губами. Сидящий на корточках, он, с измазанным мазутом лицом, с закрытыми глазами, выглядит совсем мальчишкой. Валентина не дыша смотрит на него и чувствует непреодо-

лимое желание погладить Максима по включенным волосам, провести пальцами по морщинке меж бровями. Желание так сильно, что Валентина быстро отдергивает руку и прячет ее за спину. «Сумасшедшая!» — думает она.

Наконец Максим открывает глаза. Они у него возбужденно блестящие, он улыбается, разомкнув большие и тяжелые губы.

— Валентина Павловна! — звонко произносит он. — Все ясно! Я, кажется, нашел причину! Если ребята ничего не найдут — значит, я прав! Значит, мысль правильна! — ликует он и вдруг понимает, что Валентина смотрит на него как-то необычно. — Что, Валентина Павловна? — спрашивает он.

— Отвертка! — говорит Валентина. — Отвертка у вас!

— Отвертка!.. Ах, да, отвертка! — Он протягивает ей отвертку. — Вот отвертка.

Валентина берет ее.

— Взяла, — тихо говорит она.

Максим медленно поднимается.

— Вот пакля... руки вытереть!

Валентина протягивает Максиму паклю.

— Спасибо! — говорит Максим.

Валентина опускает голову. «Все! Он все понял! — думает она. — Он теперь знает, что я люблю его!» Затем она тихонько поворачивается, кладет отвертку на верстак.

Первое движение Максим делает тоже медленно — роняет паклю на металлический пол, распрямляется, чуть быстрее берет со щитка схему, засовывает в карман. Затем движения Максима убабляются — он круто поворачивается, схватившись сильными руками за поручни, выбрасывает тело в узкую дверь и быстро шагает по понтону к Аленочкину, который стоит под навесом в слабом свете матовой лампочки.

— Ну? — тревожно спрашивает Аленочкин.

Возле Аленочкина — крановщики, Емельян Кузьменко, два дизелиста, сюда же подходит и Валентина Батаногова.

— Ну, Максим Максимович, мы ничего не нашли...

Лица людей обращены к Максиму: полуоткрыв рот, смотрит с надеждой крановщик смены, нетерпеливо переступает с ноги на ногу Емельян Кузьменко, выдвинувшись вперед, напряженно мигает длиннорукий Иван Перегудов и даже спокойный, уверенный в себе Владимир Алексеевич Аленочкин глядит на Максима со скрытой тревогой.

— Так... так! — задумчиво произносит Максим. — Значит, вы ничего не нашли... Так, так!.. Это к лучшему! Если вы ничего не нашли — значит, подгорели контакты... Емельян, возьми напильник и зачисти! — весело заканчивает он.

Сменный крановщик почему-то тихо хихикает и бросается к столику, на котором лежат напильники. Схватив один, бежит к Емельяну, отдает ему и грубо толкает в спину:

— Иди скорее!

Емельян с грохотом спускается в машинное отделение, крановщик возвращается к Максиму и опять смотрит на него, полуоткрыв рот. И все смотрят на Максима восторженно.

Максиму становится душно от радости. «Нильские крокодилы! Черти полосатые! — думает он. — Ах вы, нильские крокодилы! Перемазались в мазуте, облазили весь кран, ничего не нашли и так огорчились, что стояли погребальной процессией. Ах вы, черти полосатые!»

— Готово! — высовываясь из машинного, кричит Емельян.

Крановщик вихрем влетает в кабину, включает сразу два мотора. Воеет лебедка, заскрипев, двигаются тросы, и пучок бревен, висящий над

баржей, медленно спускается. Емельян Кузьменко падает на него грудью, повиснув всем телом, разворачивает. Заливается звонок, отдается на темной реке, и сильный прожектор утыкается в зеленую обскую воду.

Когда пучок бревен мягко ложится на баржу, Аленочкин подходит к Максиму, крепко пожимает ему руку и говорит:

— Я рад, Максим Максимович, что вы работаете со мной на одном участке. Вы прекрасный инженер! Большое спасибо, Максим Максимович... Не знаю, что было бы с краном, коли бы не вы! Еще раз спасибо!

В этот момент на баржу запрыгивает Егоров.

— Виноват за опоздание! Были такие обстоятельства, что я опоздал,— весело говорит Борис и тоже протягивает руку Максиму.— Я не знаю, что здесь произошло,— улыбается он,— но всегда рад пожать руку Максиму Максимовичу.

Максим тоже улыбается.

— А может быть, мы пойдем спать?..— спрашивает он.— Может быть, вспомним, что завтра рабочий день?.. А, товарищи?

И как раз в это время с темного берега доносится приглушенный вскрик. Все оборачиваются на него и видят бегущую к трапу Татьяну Егоровну Ковалеву. Запыхавшись, покачиваясь на зыбких досках, она вбегает на понтон.

— С тетей Пашей плохо!— испуганно восклицает Татьяна Егоровна.

4

Прасковья Михайловна Кузьменко умирает. Коленки остро торчат из-под тонкого одеяла, сшитого из разноцветных кусочков. Одеяло от времени стало тонким, сквозным, а когда-то оно было теплым и пышным.

Целых три года собирала крошечные кусочки на одеяло молодая Паша Кузьменко— бережно хранила в сундуке остатки старых кофт, фланелевых юбочнок, отрезки ситца, мадаполама. Когда набралось достаточно, взялась за кропотливую работу. Кроила и перекраивала кусочки, сшивала и расшивала, стараясь создать узор. Молодой муж Гришка приходил с работы, разглядывал одеяло, улыбаясь, советовал, как лучше расположить кусочки; обняв за плечи, говорил: «Теплое будет одеяло, Паша!»

Месяц шила Паша лоскутный верх одеяла, но зато и получилось загляденье— словно большие цветы были брошены на одеяло, по краям шли две полосы, от которых весело рябило в глазах. Еще месяц ушло на добывание ваты и еще месяц на стежку. «Славно, Пашенька!»— сказал Гриша, ложась в первый раз под цветное пышное одеяло.

Всего шесть месяцев проспал под новым одеялом Гриша и ушел защищать Москву.

Возле кровати умирающей стоит Татьяна Егоровна Ковалева. Держит склянку с камфарой. Вспоминает, наверное, молодую Пашу Кузьменко. Эх, какая она была в молодости! Кровь с молоком, певунья, хохотуша, чернобровая, ясноглазая. И Гришка ее тоже был чернобровым, статным. Пел украинские песни. И у нее, Татьяны Егоровны, тоже был муж— Максим Ковалев. Молодой, здоровый, веселый. И ее мужа срезала пуля— только не немца, а японца; только не под Москвой, как Гришу Кузьменко, а под Халхин-Голом... Вот и стоит Татьяна Егоровна Ковалева. Держит склянку в руках. Думает.

Стоит рядом единственный сын Емельян. Закрыв глаза, молча плачет.

Стоит возле кровати друг ее сына Максим Ковалев, который тоже

помнит тетю Пашу молодой. Максим проглатывает тугой комок, застрявший в горле, прикусывает губу.

Глаза Прасковьи Михайловны широко открыты. Она словно заново, в первый раз смотрит на облупленную русскую печку, на прогнувшиеся балки потолка, словно она никогда не видела маленькие окна, стол, табуретки, полотенце, висящее на стене. Ее глаза ярко, ослепительно блестят.

— Емеля, а Емеля! — зовет она.

— Что, мама? — Емельян глотает слезы.

— Ты, Емелюшка, самовар бы вздул... Совсем я на ноги сяла, а гости пришли... Становой хребет во мне надорванный...

Медленно-медленно закрываются глаза Прасковьи Михайловны. Все уже щелочка меж веками, все тише ее голос:

— ...гости, это, пришли... Глаза слепые, никак не вдену нитку в иголку... Корова мычит — не доена... По полатам не ищи, ты в сундуке ищи... Баню истопила... — Совсем закрываются глаза Прасковьи Михайловны, почти не слышен ее голос: — ...гирю... подтяни...

Максим замирает: на стенных часах-ходиках гиря упирается в скамью.

Теперь у Прасковьи Михайловны только шевелятся губы. Мелко-мелко, точно она пытается облизать их языком, но не может. Потом легкая, прозрачная поднимается рука, и высохшие пальцы шупают лицо, словно на нем паутина и ее нужно смахнуть, но пальцы не могут сделать этого. Рука, странно переломившись в кисти, застывает на груди.

— Мама! Мама! — всхлипывает Емельян.

— Максим, выведи Емельяна на улицу! — кричит Татьяна Егоровна.

Максим обнимает Емельяна за плечи.

Глава шестая

1

На всяком цирковом представлении находится человек, который знает все секреты фокусника. В то время, когда весь зал, затаив дыхание, следит за ловким исполнителем, знающий человек снисходительно улыбается. «Дурни! Дурни! — говорят его всезнающие глаза. — Ну, чего вы бьете в ладоши? Неужели вы не видите, что вода течет из трубки, пропущенной в рукав, а голубя в цилиндр подсунул тот самый ассистент, который старательно делает вид, что занят другим... Ах, дурни, дурни!»

Именно такой улыбкой всезнающего, снисходительного человека улыбается технорук Борис Егоров, когда слушает Владимира Алексеевича Аленочкина, проводящего обычную десятиминутку.

— Итак, товарищи! — весело говорит Владимир Алексеевич. — Не так страшен черт, как его малюют... За неделю мы увеличили производительность крана на шесть процентов. Увеличение значительно!

Владимир Алексеевич делает паузу и после нее улыбается еще веселее.

— Мне хочется, — говорит он, — сказать несколько теплых слов о работе Максима Максимовича Ковалева и Валентины Павловны Батановой. Не хочу раздавать комплименты, а только замечу, что молодым специалистам надо заполнять трудовые книжки! — Он опять делает паузу, таинственно поджав губы, продолжает: — Я считаю необходимым

объявить приказом благодарность Валентине Павловне Батаноговой и Максиму Максимовичу Ковалеву. Таким образом, счет благодарностей открыт!

От улыбки лицо Аленочкина делается добрым, ласковым, симпатичным; видно, что он рад возможности поблагодарить Валентину и Максима за хорошую работу, вынести им благодарность и порадоваться за их успехи.

«Актер! Великолепный актер!» — усмехается Борис Егоров, рисующий на клочке бумаги веселую рожицу — торчащие уши, кривой рот, круглые глаза. Подумав, он пририсовывает рожице туловище, длинные руки, в которые вкладывает два больших флага; еще раз подумав и сморщив лоб, пишет на одном из флажков: «Да здравствует Аленочкин — генеральный вождь и учитель Черноярского сплавного участка!» Поставив жирный восклицательный знак, он любителю своей работой, затем тщательно зачеркивает написанное.

— Кран работает лучше, — продолжает Владимир Алексеевич, — но мы не можем останавливаться на достигнутом.

Владимир Алексеевич поднимается с мягкого кресла, делает несколько шагов, останавливается посередине ковровой дорожки. В молчании проходит несколько секунд, потом он энергично взмахивает рукой:

— Нужны выдающиеся трудовые достижения. Мы с вами, товарищи, взяли обязательство дать сверх плана десять тысяч кубометров леса. Обязательство высокое, и надо хорошо поработать, чтобы выполнить его. Отсюда наша задача заключается в том, чтобы довести производительность крана до двух тысяч кубометров леса в смену. Каковы пути к этому...

«А действительно, каковы пути к этому?» — насмешливо думает Борис Егоров и начинает рисовать рядом с человечком громадный дом; ко второму этажу он приставляет затейливый балкон, во дворе рисует похожий на гриб атомного взрыва фонтан, а над парадной дверью прилаживает табличку: «Пенсионер Аленочкин — бывший романтик трудовых будней».

— Один из путей повышения производительности труда, — говорит Владимир Алексеевич, — это путь повышения квалификации крановщиков. На участке крановщики неплохие, работают они добросовестно, но мастеров своего дела, выдающихся крановщиков у нас еще нет, а они должны быть...

После этих слов Владимир Алексеевич неторопливо подходит к столу, берет вчетверо свернутую газету, на которой изображен улыбающийся молодой человек.

— Вот, товарищи, факт, взволновавший меня до глубины души! — торжественно произносит он. — В газете описан опыт крановщика Среднеисейской сплавной конторы Еремееенко. Он ежемесянно грузит две тысячи сто кубометров леса. Его выработка лучшая в Сибири.

Сейчас лицо Аленочкина серьезно, тугой подбородок поднят. Молча усевшись в кресло, он бросает на счетах несколько костяшек и решительно поворачивается к Максиму Ковалеву.

— Максим Максимович, — строго спрашивает Аленочкин. — Вы читали об опыте работы Еремееенко?

— Да.

На этот раз Владимир Алексеевич выдерживает очень большую паузу. Он молчит ровно столько времени, сколько ему надо на то, чтобы привести стол в порядок — прячет в ящик бумаги и счета, скомкав бумажку, вытирает настольное стекло. Вид у него такой, словно в кабинете никого нет, а движения сердитые, даже злые. Закончив уборку стола, Владимир Алексеевич с размаху кладет на стекло обе руки.

— Максим Максимович,— сухо обращается он.— Вы ничего не поняли?

— Нет,— недоуменно отвечает Максим.

— Тем хуже для вас!.. Тем хуже для вас! И для меня... И для меня...— повторяет Владимир Алексеевич, медленно поднимаясь.— Вы, Максим Максимович, совсем не доверяете мне? А я почему-то думал, что мои отношения с молодыми специалистами строятся на основе взаимного доверия и приязни. Я, видимо, ошибся. Да, видимо, ошибся!

С каждой секундой голос Аленочкина делается все приглушеннее и печальнее, плечи опускаются, становятся сутулыми. Он грустно покачивает головой.

— Я всегда был искренен с молодыми специалистами, хотел найти общий язык и с Максимом Максимовичем, и с Борисом Петровичем, и с Валентиной Павловной, а вы мне платите недоверчивостью. Нельзя так поступать, товарищи, нельзя!.. Неужели вы, Максим Максимович, могли подумать, что я плохо отнесусь к вашему предложению? А, Максим Максимович? — огорченно обращается он к Максиму.— Неужели вы могли подумать, что я не одобрю ваше предложение?.. Вы хотите спросить, какое предложение...

Печально взмахнув рукой, Владимир Алексеевич повертывается лицом к окну.

— Я имею в виду ваше предложение сделать крановщиком Емельяна Кузьменко,— говорит он.— И мне обидно, что вы не поделились со мной мыслями об этом! Ну, почему вы не предупредили меня, Максим Максимович?.. Вот вы и молчите! Вам нечего сказать...

— Почему же нечего! — строго отвечает Максим.— Очень даже есть что сказать...

— А вы не говорите,— печально перебивает его Аленочкин.— Я же знаю, что вы скажете!.. Вы скажете, что хотели взять всю ответственность на себя и поэтому начали обучать Кузьменко в мое отсутствие... Это вы скажете?

— Примерно.

— Вот это и обидно, Максим Максимович... Вы, вероятно, думаете, что Аленочкин трус, что он побоится надзора и спрячется в кусты...

Владимир Алексеевич делает еще одну длинную, внушительную паузу, затем удобно устраивается в кресле и спокойно, но тоном приказа говорит:

— С понедельника прошу зачислить Кузьменко в штаты крановщиков. Запишите это себе, Валентина Павловна, а вы, Максим Максимович, зарубите себе на носу: я все знаю, что происходит на сплавном участке. Муха... Обыкновенная муха не сдохнет без моего ведома!.. Эх, Максим Максимович! — весело произносит он.— Я ведь тоже понимаю, что из Кузьменко получится отличный крановщик.

«Вот это да!» — восторженно думает Борис Егоров и жирно зачеркивает дом, нарисованный им на клочке твердой чертежной бумаги.

— Совещание окончено! — громко объявляет Владимир Алексеевич.— Прощу занять рабочие места!

Максим первым выходит из кабинета начальника, не оглянувшись на контору, спускается с крутой горюшки. Он садится на пенек, посматривает на Обь, левобережье — на синие молодые кедрачи; посматривает и зябко поеживается: он испытывает какое-то неприятное чувство. Максим никогда не думал, что слова могут быть такими — липкими, как паутина, скользкими, как мыльный камень. Чего только не нагородил этот Владимир Алексеевич... Слова! Слова! Слова! А что за ними кроется?

Борис Егоров обедает у Аленочкиных.

Он веселый, благодушный. Причин для этого много: хорошая погода, вкусный обед, прошедшая половина рабочего дня, в которой было много занимательного. Он до сих пор восхищен Аленочкиным.

Благодушно посмеиваясь, Борис ест бефстроганов и внимательно наблюдает за обедающими. За столом ничего нового нет — Владимир Алексеевич читает газету, Любовь Борисовна бдительно следит за порядком, Софья Борисовна поддевает вилкой кусочек мяса, рассматривает, поморщившись, бросает косые взгляды на Владимира Алексеевича, иногда нервно передергивает плечами.

Борису кажется, что сегодня Софья Борисовна ведет себя необычно. Она, конечно, и раньше презирала зятя и сестру, но сегодня презирает особенно старательно. Что-то новое, незнакомое есть в ее поведении; представляется, что Софья Борисовна до предела переполнилась негодованием и с трудом сдерживает себя. Наблюдая за ней, Борис невольно сравнивает Софью Борисовну с Аленочкиным и посмеивается. Они примерно одного возраста, но Софья Борисовна морщинистая, сутулая, чуточку кривобокая, а Аленочкин — как вылитый из бронзы.

Монумент, а не человек — вот что такое Владимир Алексеевич Аленочкин. Профиль у него чеканный, резкий, словно выточенный на фрезерном станке.

Читая газету, Владимир Алексеевич хмурится, цыкает языком, порой застывает с поднятой вилкой. Иногда же он вольно откидывается на спинку стула, шумно вздыхает. Потом опять хмурится, цыкает.

— Разделяют Петровскую сплавную контору! — наконец громко объявляет он. — Статья называется «Обещалкины еще живы!».

— Вот как? — удивляется Любовь Борисовна. — Жуть!

— Жуть! — подтверждает Владимир Алексеевич.

— Гнать из партии и отдавать под суд! — гневно продолжает он, закончив читать статью. — Таким людям не место в партии! — Владимир Алексеевич зло втыкает вилку в мясо. — Взяли обязательство, уверили, что рабочие готовы дать полтора плана, и... провалили план — выполнили всего на семьдесят процентов! На двух плотбищах древесина обсохла и наверняка погибнет! На предприятии приписки! Директор в разгар молевого сплава выезжал на охоту... Бил уток!

— Ужас! — всплескивает руками Любовь Борисовна.

— Без чувства ответственности за план как за свое кровное дело мы не сдвинемся с места! — сердито продолжает Владимир Алексеевич. — Только подбором честных, работающих людей мы сможем решить стоящие перед нами задачи!..

— Противно! — вдруг тонким голосом перебивает его Софья Борисовна. — Противно слушать! — Она схватывается ладонями за щеки и страдальчески морщится. — Боже! И это говорит Аленочкин! Боже!

— Что вы сказали? — тихо спрашивает Владимир Алексеевич, бросая газету на стол.

— Я сказала, что мне противно слушать вас! — восклицает Софья Борисовна. Скомкав бумажную салфетку, она стремительно поднимается.

«Решилась! — с веселым ожесточением думает Борис. — Ну вот и началась потеха. Сейчас Аленочкин разделает ее, как бог черепаху!»

— Мне противно слушать вас, Аленочкин! — повторяет Софья Борисовна. — Я не верю ни единому вашему слову! Вы лгун и актер, Аленочкин!

— Софочка! — пугается Любовь Борисовна.

— Вы называете меня идеалисткой, Аленочкин! — продолжает Софья Борисовна.— Пусть так! Пусть я идеалистка! Но вы... Вы, Аленочкин, страшнее всего! Вы страшны, Аленочкин!

— Софочка, перестань! — заламывает руки Любовь Борисовна.— Что ты говоришь, Софочка?

Но Софья Борисовна не слушает ее — обежав стол, она подскакивает к Аленочкину.

— Без идей жить нельзя, как без воздуха! — поблескивая пенсне, говорит она.— Человек без идеи — дерево, пустота! А вы, Аленочкин, живете без идеи. Ваши слова об идеях неискренни... Вы живете не для идей, а для себя. Ваши идеи — это...— Она обводит взглядом столовую — стол, сервант, ковры, тахту, торшер.— Вот ваша идея, Аленочкин! Вы живете для вещей, для желудка, для городского дома... — Софья Борисовна гордо поднимает голову. — Вы называете меня идеалисткой... Прекрасно! Я горжусь этим. Я горжусь тем, что никогда не знала компромиссов, что была верна идее. Вы страшны, Аленочкин! — еще громче, горячее говорит она.— Беда в том, что вы неуловимы. Вас трудно раскусить, Аленочкин!

— Софья! Я запрещаю! — холодно говорит Любовь Борисовна и поднимается из-за стола.— Я запрещаю!

— Мне нельзя запретить сказать правду! — вскрикивает Софья Борисовна.— Я скажу все!.. Дойдет и до вас черед, Аленочкин! Придет время, когда вас раскусят. И тогда земля покачнется под вашими ногами...

— Софья, прекрати! — кричит на нее Любовь Борисовна.

Но Владимир Алексеевич вдруг берет жену за руку, потянув к себе, сажает на место.

— Пусть Софья Борисовна скажет все,— негромко говорит он.

Владимир Алексеевич абсолютно спокоен — он монументально сидит на стуле, прямо держит туловище, голову, и глаза у него спокойные, и лицо спокойное.

— Я слушаю вас, Софья Борисовна,— тихо произносит Владимир Алексеевич.— Продолжайте, пожалуйста, Софья Борисовна.

— Я сказала все! — отрезает она.

— А я вас выслушал,— спокойно отзывается Аленочкин.— Наконец-то известно, что вы думаете обо мне...— Он сцепляет пальцы, внимательно смотрит на стол.

«Ну, сейчас начнется! — с веселым ожиданием думает Борис.— Сейчас он ее превратит в сосульку! Сейчас начнется!»

— Ваша главная ошибка в том, Софья Борисовна,— говорит Аленочкин,— что вы пытаетесь выдать желаемое за действительное. Вам, видимо, по каким-то причинам хочется увидеть во мне плохого коммуниста. Больше того, вам хочется сделать обобщение!.. Какое обобщение, я скажу потом, а пока будем говорить только обо мне... Так вот, вы по каким-то причинам не хотите верить тому, что я искренне принимаю к сердцу заботы и дела партии. По каким-то причинам — мы их пока не будем называть — вам хочется приписать мне такой смертный грех, как безыдейность... Так ведь?

— Я говорила, что вы, Аленочкин, мещанин! — отвечает Софья Борисовна.

— Я понял вас! Повторять не надо! — Он поднимает голову, смотрит прямо в глаза Софьи Борисовны.— У меня создается впечатление, что вы вообще не способны поверить в искренность партийного человека.

— То есть? — сурово спрашивает она.

— Вы не способны понять мою искренность потому, что стремитесь во всех людях партии видеть только плохое,— холодно отвечает Аленоч-

кин.— Вы стараетесь найти в людях партии недостатки, выпятив и раздуть их!

— И это значит...— Софья Борисовна немного отступает от Аленочкина.

— Вы сами поймете, что это значит! — еще холоднее говорит он.— А теперь позвольте продолжить! И прошу вас, не перебивайте! Я вас слушал, не перебивая, и прошу вас не перебивать меня. Проявите такт хоть в этом... Итак, мы остановились на том, что вам по каким-то причинам хочется шельмовать членов партии. Каковы же причины этого?

Аленочкин замолкает, склонив голову, задумывается. Согнутыми пальцами он однообразно постукивает по скатерти, выбивает какой-то сложный неторопливый мотив.

— Аленочкин! — шепчет Софья Борисовна.— Аленочкин!

— Я просил вас не перебивать меня... Но продолжим... Вы, товарищ Боярская, относитесь к тем людям, которые критику культа личности восприняли как сигнал для нападков на партию и советскую власть. Справедливую критику недостатков партийного руководства при Сталине вы расценили как возможность шельмовать партию...

— Аленочкин! — снова повторяет Софья Борисовна.— Аленочкин!

— Вы даже не находите мужества выслушать правду, Боярская,— сухо и желчно говорит Аленочкин.— Это тоже характеризует вас. Но это мелочь. Главное, вероятно, в том, что до критики культа личности вы молчали и втайне шельмовали партию, а теперь хотите сделать это во весь голос. Сорок с лишним лет советской власти ничему вас не научили, и вы остаетесь на враждебных нам позициях.

Лицо Аленочкина с прищуренными глазами так жестоко, что даже Борис Егоров, с любопытством следящий за его схваткой со свояченицей, чувствует, как по спине бегут мурашки. А Владимир Алексеевич поднимается, выпрямившись, властно закидывает голову.

— Вы опасный человек, Боярская! — выпятив подбородок, медленно произносит Аленочкин.— Защищая себя, вы готовы идти на любую подлость. А? — вдруг отрывисто, с придыханием спрашивает он.— А? Что вы молчите, Боярская? А? Может быть, вы недовольны тем, что под видом критики культа личности вам не удалось протащить ваши враждебные взгляды?.. А? Что же вы молчите, Боярская? А?

Софья Борисовна действительно молчит. Она смотрит на Аленочкина и медленно, как в полуобмороке, снимает пенсне.

— О боже, боже! — еле слышно произносит она.— О боже! — Она съезживается, втягивает голову в плечи, словно ждет удара сверху.— О боже, боже!

«Инцидент становится интересным!» — думает Борис Егоров. Широко улыбаясь, он ждет, чем окончится дело.

— О боже! — стонет Софья Борисовна.

Она слепо тычется по комнате — сначала идет к дверям, затем поворачивается обратно, опять делает шаг к дверям, шарахается из стороны в сторону, натывается на стул, отбрасывает его. Любовь Борисовна кидается за ней:

— Софочка! Успокойся, Софочка! Ну, поспорили, ну, поругались — не чужие же люди! Ты же знаешь Володю, он такой горячий...

Потом Любовь Борисовна бросается к мужу, повисает на его плечах:

— Володечка! — умоляет она.— Ну не надо быть таким, ну не надо...

И снова к сестре:

— Софочка! Не надо уходить... Ведь мы так любим тебя! Ты же моя родная сестра, я так люблю тебя! Я так люблю тебя!

«Умора! — забавляется Борис Егоров. — Комедия! Эти Аленочкины знают, чего они хотят... Но, но... Ну, а ты, товарищ Егоров, ты знаешь, что хочешь?» — спрашивает он вдруг себя.

3

Борис Егоров в одиночестве сидит в конторе, за столом под стеклянной дощечкой, на которой крупными буквами написано «Технорук», и рисует на плотной чертежной бумаге профили. Так Борису удобнее думать — мысли текут ровнее.

Для начала он рисует Владимира Алексеевича Аленочкина — проводит прямую линию, только чуточку изогнув ее, ведет карандаш дальше, чтобы получилась короткая, борцовская шея; затем рисует высокий и крутой лоб, резко очерченный нос с круто вырезанными ноздрями и, не пририсовывая губы, внизу накладывает подбородок. Этого достаточно, чтобы профиль походил на Аленочкина. Затем Борис рисует профиль Максима Ковалева — тоже крупная голова, сильная шея, большой лоб, резкий подбородок.

Нарисовав профиль, Борис бросает карандаш, откидывается на стуле, минуту сидит неподвижно. Потом он берет автоматическую ручку и, дурашливо подмигнув сам себе, делает подпись под рисунком: «Черноярские князья!» Затем еще минуту о чем-то думает, встает, идет к окну, жадно вдохнув свежий речной воздух, выпрямляется во весь рост. Он стоит, не шевелясь, твердо оперевшись руками в бока, снова набирает полную грудь воздуха и кричит на весь берег:

— Прошу послать ко мне начальника рейда Ковалева! Эй, товарищи на сортировке, прошу послать ко мне Ковалева!..

Он видит, как рабочие сортировки поднимают головы, ищут взглядами Максима Ковалева; потом он слышит, как среди них перекатывается зычный крик: «Ковалева в контору! Ковалева в контору!» Уверенный, что начальник рейда немедленно появится в кабинете, Борис возвращается к своему столу, садится, выпрямившись, откидывается на спинку стула. Левой рукой он берет со стола какую-то бумагу, правой карандаш. В этой позе занятого человека он и встречает вбегающего в кабинет Максима.

— Ты звал меня? — спрашивает Максим.

— Да! Садись!

Максим с ходу плюхается на диван. Подождав, когда успокоятся заскрипевшие пружины, он поворачивается лицом к Егорову. Несколько секунд они молчат. В раскрытое окно вместе с напузырившейся занавеской влетает гул моторов, лязг, напряженное гудение лебедок. На рейде пискляво вскрикивает рейдовый буксир. Над всеми звуками висит мощное гудение нового крана. Кран не скрежещет, не гремит, не тарактит, а именно гудит, как гудит мощный реактивный самолет.

— Ну? — нетерпеливо говорит Максим. — Я слушаю.

— Я не задержу тебя, — отвечает Егоров.

Он поднимается, несколько раз проходит по ковровой дорожке из конца в конец. Потом останавливается, склонив голову набок, внимательно, изучающе смотрит на Максима. Брови у него поднимаются на лоб, глаза веселеют.

— Ну? — спрашивает Максим.

— Вот в чем дело, Максим! — говорит Борис. — Я очень хорошо отношусь к тебе и Аленочкину, я многому научился у вас, но есть границы моего восхищения вами.

— То есть?

— Видишь ли, всему есть пределы, которые я не могу перешагнуть, даже если бы очень хотел этого. Не могу, ты пойми меня, Максим.

Борис говорит мягким, дружеским тоном, выражение лица у него тоже дружеское, мягкое. Он умоляет Максима понять его, простить, войти в тяжелое положение.

— Пойми меня, Максим, и не суди строго, — проникновенно продолжает Борис. — Но я не могу сделать этого. Не могу! Это выше моих сил, ибо закон есть закон!.. Мне очень жаль, но придется ссориться и с Аленочкиным! Он разрешил посадить Емельяна Кузьменко на кран, а я не могу сделать этого! Не могу, Максим!

Максим начинает медленно подниматься с дивана.

— Я понимаю, — душевно продолжает Борис. — Ты хочешь сделать из Емельяна знатного крановщика, но ведь есть закон... Переступить его нельзя! А жалко! Ох, как жалко! — Борис сочувственно склоняет голову набок. — Но я ничего не могу поделать. Закон!

Максим встает во весь рост.

— Я все сказал! — Егоров склоняет голову.

— Я все понял! — отвечает Максим и вдруг насмешливо улыбается: его поражает то, что Борис Егоров сейчас очень похож на Владимира Алексеевича Аленочкина — жесты, голос и взгляд начальника сплава участка.

Глава седьмая

1

— Боевое крещение? — весело спрашивает Аленочкин у Максима, когда Емельян делает первый разворот крана.

— Да, боевое крещение, — отвечает Максим.

Над Обью плывет тонкий, зябкий туман, бордовое солнце висит над тальниками, а напротив солнца, окруженный радужными кольцами, — затуманенный лунный диск. Он не успел спрятаться и теперь не знает, что делать: то ли таять, то ли набираться блеску. Когда стрела крана проплывает над головами Максима и Аленочкина, клочки тумана, уцепившись за металл, оседают на нем блестящими капельками.

— Начинается грузовой поворот, — говорит Максим. — Может быть, вы отойдете в сторону?

— Нет, я буду стоять здесь!

Слышно покряхтывание металла, басовито гудит напряженный трос. Потом громко, тревожно звенит звонок, и на секунду наступает тишина — кран готовится к трудному делу. Дизель работает приглушенно, на малых оборотах; электрические моторы застыли в неподвижности. Передохнув, Максим напрягается, застывает, но его руки невольно делают то, что должен делать в этот миг Емельян: правая тянет на себя рычаг поворота, левая нажимает на другой. Ногами он, как на педали, жмет в металл понтона.

— Ого! — вдруг восклицает Аленочкин.

С пучком бревен происходит необычное — вместо того, чтобы подниматься вверх, бревна неожиданно двигаются по крутой опасной дуге, пролетают над головами зацепщиков, потом устремляются к баржевой надстройке, и кажется, что бревна неминуемо ударятся о нее.

— Ого! — еще громче восклицает Владимир Алексеевич.

Бревна на большой скорости проносятся над надстройкой, миновав ее, неожиданно меняют направление. Теперь они так быстро летят в противоположную сторону, что возникает опасение — пучок с грохотом обрушится на отцепщика! Но нет, возле отцепщика он останавливается, и слышно, как облегченно, обрадованно снижает обороты дизель.

— Вот и все! — говорит Максим. — Совмещение грузовых операций! Кузьменко использовал в одном развороте крана все возможности механизма. Расчет был основан на том, чтобы все операции были слиты, и потому он совершил разворот в два раза быстрее, чем обычно!

Стрела опять висит над сортировочной сеткой; опять слышится побряхтывание металла, потом стремительное нарастание гула дизеля, а затем бревна начинают чертить опасную крутую дугу. Все повторяется. И в этом — в повторении дуги полета бревен — видится уверенный расчет, крепкие, спокойные руки крановщика Емельяна Кузьменко.

Туман словно впитывается в воду и землю. Веселыми островками уже проглядывают голубые клочки воды, появляются дальние дома Черного Яра. Луна исчезает с неба внезапно, точно ее задерживают. А потом наступает и такой момент, когда туман, став тонким, лентой прилегает к Оби и мгновенно растворяется в ней. И тогда в глаза ударяет сияющая голубизна. Теперь Обь вольно раскидывается громадным плесом — от берега к берегу, от излучины до излучины, громадная, будто бы поднышающая к небу.

День начинается над Обью и Черным Яром — светлый, жаркий, длинный-длинный.

— Ну, вот и все! — с облегченным вздохом говорит Максим. — Емельян стал крановщиком.

Теперь Максим может повернуться лицом к Владимиру Алексеевичу Аленочкину. И он поворачивается и внимательно смотрит на него, так как пять минут назад, когда Емельян работал на кране, Максим не видел Аленочкина. С глазами Максима происходило то же самое, что происходит с объективом фотоаппарата, когда он не наведен на фокус. Аленочкин тогда не был в «фокусе» глаз Максима Ковалева, а вот теперь Максим разглядывает его внимательным, требовательным взглядом.

В белом кителе, загорелый и веселый, Аленочкин коренасто стоит на понтоне. На фоне просветлевшего неба он четко, скульптурно нарисован, и Максим впервые замечает, какая у него шея и какой затылок. Собственно, шеи у Аленочкина нет, а прямой квадратный затылок сразу переходит к плечам. Потому и кажется, что затылок у Аленочкина борцовский, тугой и твердый, как до отказа накаченная резина, а там, где у человека должна быть шея, у Аленочкина бугрятся две твердые, жесткие складки, обросшие короткими волосами.

— Ну, что же, Максим Максимович, — весело говорит Аленочкин. — Считаю, что вы одержали еще одну победу — на Черноморском сплавно-м участке появился выдающийся крановщик.

— Да! — говорит Максим. — У Емели с детства был математический талант. Из него вышел бы прекрасный инженер.

— О Кузьменко скоро заговорят газеты и радио, — продолжает Владимир Алексеевич. — Талант, талант! Это дорогая вещь...

— Емельяну надо кончать десятилетку и поступать заочно в институт, — говорит Максим. — Нелегко будет ему! Все придется начинать сначала!

— Талант — редкость! — говорит Аленочкин. — Его надо выбирать до конца! С ним многого можно достичь... Чему вы улыбаетесь, Максим Максимович? — спрашивает он. — Впрочем, я понимаю — успех колоссальный! Я бы на вашем месте тоже смеялся, как ребенок!

Да, он, Аленочкин, умеет смеяться так, как того ему захочется — как ребенок, как добрый дядя, как товарищ, как снисходительный начальник. Он все умеет, этот Владимир Алексеевич Аленочкин!

— Ну что же, Максим Максимович! — говорит Аленочкин. — Спасибо! Есть у нас крановщик! А по сему поводу позвольте позвать вашу ручищу!.. А вот и товарищ Егоров идет.

2

Технорук Борис Егоров действительно выходит из конторы и спускается с горушки к новому погрузочному крану. Шагает он, как всегда, замедленно и одет по-обычному — на ногах сандалеты, клетчатая ковбойка выпущена поверх брюк, на голове светлая ворсистая кепка.

Борис хорошо выспался, прекрасно позавтракал и пришел в контору ровно без десяти девять. Он немного посидел за своим столом, привел в порядок кое-какие бумаги, а когда стрелки часов показали девять, поднялся и пошел на кран. И вот уже спускается с горушки, и ему так весело, что он легонько насвистывает сквозь зубы и напевает: «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...»

У него действительно все хорошо, так как еще вчера вечером Борис принял окончательное решение. Перед тем, как заснуть, он счастливо улыбнулся сам себе, отвернулся от ночевавшей у него Людмилы и сказал вслух:

— Так и будет!

Людмила торопливо спросила, что будет, но он не ответил — спал. Утром Борис сделал напряженную зарядку, обкатился с ног до головы холодной водой и от бодрости почувствовал себя так же счастливо, как вчера вечером от усталости и любви с Людмилой Голубь.

Во время завтрака он вспомнил о кране, и ему в голову пришла мысль, вызвавшая у него довольную улыбку: «Эх, товарищ Аленочкин, и я тоже не лыком шит!» Он решил, что пора уже ему помериться силой с самим Аленочкиным, и, посмеиваясь про себя, до конца додумал эту смелую мысль.

И вот теперь Борис спокойно спускается с горушки, поднимается по трапу на кран и, по-прежнему не торопясь, подходит к Аленочкину и Ковалеву.

— Владимир Алексеевич, — обращается он к Аленочкину, — прошу выслушать меня! — Он делает небольшую паузу и продолжает: — Я не могу пойти на то, чтобы краном управлял недипломированный человек! Это нарушение всех инструкций! Прошу немедленно снять Кузьменко с крана. Если этого не будет сделано... — Он выдерживает еще одну длинную паузу, потом резко заканчивает: — Если этого не будет сделано, я буду вынужден подать телеграмму в госгортехнадзор!

Кран останавливается — сникнув от снижения нагрузки, неслышно работает дизель, прерывается грохот мокрого дерева; выплывает, делается отчетливо слышным торопливый бег по реке небольшого буксирного парохода — шипит пар и стучат плицы. Потом раздается стук, буханье. Это спрыгивает с сиденья Емельян Кузьменко. Выбравшись из кабины, он подходит к начальству, остановившись в трех метрах от Егорова, заталкивает руки в карманы, прищуривается.

— Ты, инженер, — говорит Емельян, — ты, инженер, не волнуйся. Я могу уйти! Я на твой кран положил... Понял?

— Емельян! — кричит Максим. — Спокойно, Емельян! Спокойно! — торопится Максим, так как замечает, что на щеках Емельяна появляются красные пятна. — Спокойно! — И он делает движение, которым как бы отгораживает Емельяна от Егорова. — Слушай, Егоров, — тугим голосом произносит Максим. — Слушай, Егоров!

— Ну, ну! — с улыбкой перебивает его Владимир Алексеевич. — Что же это получается, Максим Максимович: просите Емельяна сохранить спокойствие, а сами... А сами не сохраняете спокойствие. Нехорошо!

После этого Аленочкин берет Емельяна за руку, отводит его в сторону.

— Плохо делаете, Кузьменко! — укоризненно говорит Владимир Алексеевич. — Без всякой на то причины останавливаете кран, прекра-

шаете работу... Так делать нельзя, Кузьменко! — строго продолжает он.— Прошу немедленно занять свое место!.. Я не привык дважды повторять распоряжения! — властно вскрикивает Аленочкин, когда видит, что Емельян не движется.— Я кому говорю, товарищ Кузьменко!

Шаркая тяжелыми сапогами, Емельян идет к кабине.

— Вот так! — удовлетворенно замечает Аленочкин.— С дисциплиной у нас еще не все ладно!

Затем на загорелом мускулистом лице Владимира Алексеевича появляется изумление — светлые глаза округляются, левая бровь, изогнувшись, поднимается на лоб.

— Борис Петрович, вы серьезно говорите все это? — спрашивает он.

— Вполне! — отвечает Егоров.— Но я ничего больше говорить не буду... Я иду на телеграф.

И действительно хочет идти, но Аленочкин крепко хватает его за рукав ковбойки.

— Мило! Очень мило! — удерживая Егорова, донельзя изумленно протягивает Аленочкин.— Так мило, что и не верится! Вы слышите? — восклицает он.— Вы слышите, что делается?.. Борис Петрович собирается жаловаться в надзор! Он подаст телеграмму, они немедленно пришлют контролера, и заварится каша...

— Отпустите мою руку! — напружинившись, тихо просит Егоров.— Отпустите руку! — повторяет он.— Если вы не сделаете этого, я обращусь к помощи силы!

— Силы?

Лицо Владимира Алексеевича становится надменным, презрительным; две глубокие начальственные складки пролегают у губ, вертикальная морщина прорезывает лоб, глаза светлеют. Что-то жесткое появляется в его тоне, а движения делаются короткими, стесненными.

— Вы говорите силы, Егоров! Ах, щенок! Ах, мальчишка! — Аленочкин еще крепче сжимает руку Егорова, притягивает его к себе.— Вы грозите мне силой?.. Мне, Аленочкину?.. Вы, пижон и бездельник!

— Отпустите! — совсем тихо просит Егоров, но об этом просить уже не надо.

Аленочкин сам опускает Егорова и вытирает руку об руку. Он вытирает руки так, словно держался за что-то грязное, непотребное, и лицо у него становится брезгливым.

— Вы подлец, Егоров! — гневно говорит Аленочкин.— Вы не понимаете, что люди щадят вас! Вы хотите черной неблагодарностью заплатить людям за то, что они простили вам все хамства!

— Какие хамства?! — спрашивает Егоров.

— Ах, вы не знаете какие? — Взбешенный Аленочкин поворачивается к Максиму.— Он не знает, какие безобразия! Вы слышите, Максим Максимович?.. Он не знает! Так я скажу вам, Егоров! Знайте, что Максим Ковалев работает за вас... Что, не нравится? Да, он работает за вас... Это ваше дело — сутками, как Максим Максимович, сидеть на кра-не, находить способных крановщиков, внедрять новую технику... Это ваше дело! А не начальника рейда.

Передохнув, Аленочкин кричит:

— Вы не знаете, что мы мирились с вами как с пижоном и бездельником! Мы это делали потому, что понимали ваше городское воспитание, видели вашу неспособность к настоящему делу. И вы не цените это, а? Вы не цените это, а? Ну, что вы молчите, Егоров, а?.. Вы боитесь! Знаете, что мы можем испортить вам биографию, а? Понимаете, что стоит нам выставить вас с треском, как ваша биография будет испорчена навсегда, а?.. Ну, Егоров? Такими вещами не шутят! Вы что — хотели характер показать, а? Ну и ну! Вы помните мои слова при вашем назначе-

нии, когда я говорил, что трест ошибся, назначив вас техноруком! Могу вам сообщить, что о моих колебаниях я еще осенью сообщил тресту и мне разрешили действовать по своему усмотрению. Я могу сейчас же, немедленно снять вас с должности и перевести в мастера. Ну, Егоров!.. Что вы молчите, Максим Максимович? Скажите этому пижону пару теплых слов! Скажите! — просит он.

Но Максим ничего не говорит Егорову — он внимательно наблюдает за начальником сплава участка и техноруком. Посмотрит на Аленочкина — лицо перекошено от гнева, глаза запали; переведет взгляд на Егорова — щеки бледны, словно припудрены, глаза злые, как у маленького зверька. «Тарантулы в банке! — думает Максим. — Черт знает, что делается!»

Валентина Батаногова тоже глядит на Аленочкина и Егорова непонимающими глазами, глядит и испуганно пьтится от них.

— Возьмите свои слова обратно, Егоров! — опять набрасывается Аленочкин на технорука. — Скажите, что вы пошутили и вообще у вас дурное настроение... Ну, Егоров...

Владимир Алексеевич делает небольшую паузу.

— Мне кажется, что все это вы говорили несерьезно, — продолжает он уже более спокойно. — Не могу поверить, что у вас был какой-нибудь нехороший расчет. Вы просто не подумали. А надо было думать, Егоров. Подумав, вы могли бы понять, что и я, и Максим Максимович, и Валентина Павловна не без оснований идем на нарушение инструкций.

А после этого происходит невероятное: Аленочкин улыбается, шагнув к Егорову, кладет ему руку на плечо.

— Подумайте, Егоров, — соболезнующим, отцовским голосом говорит он. — Подумайте, Егоров, над тем, что вы хотели сделать. Подумайте на досуге, и вы поймете свою ошибку. А на мою резкость, Борис Петрович, не обижайтесь! Я ведь стараюсь удерживать вас от поступка, за который вам потом стало бы очень стыдно... Ради бога, не обижайтесь! — И он делает такое движение, точно хочет разом обнять и Егорова, и Максима, и Валентину. — В общем-то вы у меня народ замечательный! — радостно говорит Владимир Алексеевич. И вдруг лицо его становится грустным. — Да! — печально говорит Аленочкин. — Для каждого человека наступает час, когда он понимает, что уже стар!

Что случилось с Владимиром Алексеевичем? Плечи его ссутуливаются, опадают, руки безвольно повисают вдоль тела. Теперь все видят, что Аленочкин действительно уже старый человек. Что из того, что кожа загорелая и румяная, что из того, что шея бычья? Посмотрите, люди добрые, какие глубокие морщины лежат на лбу, какие у него усталые глаза, какая печаль таится в уголках опущенных губ! Кто говорил, что у Аленочкина нет седых волос? Они есть, но их просто не видно. Бывает же так, что снаружи волосы молодые, свежие, черные, а откинешь прядь и ужаснешься — седой ведь человек-то.

— Нет, товарищи, старость не определяется возрастом! — говорит Аленочкин. — Это не так! Старость начинается иначе... Запомните — старость начинается в тот день и час, когда тебя не понимает молодежь... Да, да! Старость начинается в тот миг, когда ты начинаешь с молодыми людьми разговаривать на разных языках!

О, сколько тоски в голосе Владимира Алексеевича Аленочкина!

— В общем, не надо волноваться, товарищи! — добродушно смеясь, говорит Аленочкин. — Вот как начинается старость... Мне сегодня было очень трудно говорить с вами, Борис Петрович. Я думал о том, что я стар!.. Не желаю вам когда-нибудь испытать то же самое... Да, не хотелось бы, чтобы и вы на старости лет испытали подобное чувство... Но...

После «но», произнесенного с тяжелым вздохом, Владимир Алексеевич делает длинную, значительную паузу. Но вот он вдыхает побольше

воздуха, вот распрямляет согнутые плечи, вот стирает со лба горестные морщины, и, в общем, по всему видно, что человек приходит в себя, так как понимает, что ему, руководителю, начальнику, не к лицу расслабленность и печаль. И вот уже он прежний, и вот уже на губах улыбка, просящая извинить его за минутную слабость.

3

Емельян сидит на крыльце дома, в котором родился и вырос. С этого крыльца спускался отец, когда уходил на фронт, с этого крыльца снесли на руках легкое тело матери в обтянутом кумачом гробу. С этого крыльца Емельян первый раз в жизни сошел на тонких ножках на теплую землю. Он знает в лицо каждое бревно дома, каждую царапину, каждую вмятину в почерневшем дереве. И каждую половицу на крыльце знает Емельян. И сучки в бревнах помнит он...

Вот на стене глубокая вдавленка — это Емельян, стараясь попасть в воробья, запустил камнем. Услышав громкий стук в стену, мать вскочила на крыльцо, весело закричала: «Не балуй, Емелюшка! Окна выстегнешь!..» Вот осколок литовки, торчащий из щели, — это Емельян, поломав косу, решил из обломка сделать нож, да так и не собрался — то ли забыл, то ли чем важным был занят...

На толстом бревне вырезаны две буквы — «П» и «Е». П — это Поля Краснова, Е — Емельян Кузьменко. Было время, когда он везде вырезывал две эти буквы, а вечерами шел к Поле — маленькой, беленькой. Они уходили на берег Оби и в молчании, взявшись за руки, просиживали почти до утра. Потом Поля уехала учиться в техникум, писала ему, называла Емелюшкой, но затем поступила работать на шахту, да так и исчезла. Говорят, вышла замуж за инженера, а дом Поли до сих пор перекрещен по окнам трухлявыми досками.

Наконец Емельян поднимается, медленно открывает сенную дверь. Она жалобно, тонко скрипит. В доме пахнет амбарной сыростью. На окнах пыль, на столе пыль, пол покрыт серым налетом. Кровать пуста.

Емельян неподвижно стоит посередине комнаты, не дышит, но все вокруг полно звуков: раскачиваемый ветром, скрипит ставень, кряхтят сами по себе половицы, пощелкивают старые бревна, а за печкой верещит сверчок.

По щекам Емельяна ползут редкие, медленные слезинки. Он плачет так, как плачут старики, у которых нет ни сил, ни желания вытирать слезы, которые они, может быть, и не замечают. Продолжая плакать, Емельян садится на табуретку, кладет голову на скрещенные руки. Так он сидит еще минут десять. Потом разгибается, достает из кармана пригоршню махорки, бумагу. Закурив, подходит к окну, широко распахивает его и садится на подоконник. Теперь он смотрит в палисадник, где стоят старые ветлы. Ветер шевелит листья.

Да, жизнь продолжается... Расцвела и уже отцвела черемуха, у крыльца родного дома из каменистой земли выросла молодая, упругая трава. В палисаднике порхают синицы — верткие, жадные; складываясь, ползет по наличнику зеленая гусеница. Куда, зачем — сама не знает, но ведь станет со временем яркой бабочкой, полетит на солнце... За летом наступит осень, за зимой весна.

«Надо жить! — думает Емельян. — Надо жить дальше!»

Он начнет наново создавать дом. Пусть именно здесь, где умерла его мать, откуда ушел на фронт отец, начнется все сначала — придет молодая жена, раздастся радостный смех ребенка, в первый раз увидевшего солнце. Пусть все начнется сначала — целая жизнь.

Он подведет под дом несколько новых венцов, перестелит полы, заново — железом — покроет крышу; русскую печку он заменит небольшой плитой, комнату перегородит на две половины. Емельян возьмет на участке бензomotorную пилу, злой рукой расширит окна — пусть в них широко льется солнце, пусть ветки деревьев забираются в комнату, пусть будет много воздуха и света.

«Надо начинать все сначала!» — думает Емельян.

Не может же быть такого, что жизнь повторится. Нет, не может быть этого... Не может! Не уйдет Емельян от молодой жены на фронт... Не останется вдовой его молодая жена... Не будет сиротой его сын... Не может же жизнь повториться с такой жестокостью.

Да, все надо начинать сначала. Ему всего двадцать четыре года. В этом возрасте еще ничего не поздно, в этом возрасте еще можно все сначала... Мысли с жизни — сначала, мысли о себе — сначала, мысли о людях — сначала. Все сначала. Любовь, учеба, работа, друзья, враги, дом, голубое небо, звездные ночи, туманные утра, сверкающий на солнце звездочками снег...

Емельян выходит в сени, широко раскрыв дверь, находит за притолокой консервную банку с дегтем. Высохший деготь покрыт пленкой, но под ней все-таки есть немного жидкости. Емельян берет щепочку, поддев дегтю, мажет шарниры дверей. Намазав, пробует — двери двигаются бесшумно, легко. Он ставит деготь на место, щепочку прячет в щель и выходит на крыльцо.

В лебеду и крапиве что-то шуршит, извивается, стебли гнутся, расходятся. Бесшумно, стремительным прыжком из травы выскакивает лохматый Казбек. Без голоса бросается к Емельяну, всем телом ударяется об его ноги, потеряв равновесие, валится на спину, но сейчас же вскакивает и опять прижимается к ногам Емельяна.

— Казбечина! — тихо говорит Емельян.

Пес взвизгивает, поднявшись на задние лапы, заглядывает в лицо Емельяну.

— Прости, Казбечина, забыл я о тебе! — говорит Емельян, прижимая к себе пса. — Прости, дорогой!



Двадцать седьмого марта 1963 года писателю Александру Яшину исполняется пятьдесят лет. Редакция «Нового мира» сердечно поздравляет юбиляра, желает ему здоровья и творческих успехов.

АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

ОГОНЕК

Светлячок во мгле —
Огонек в лесах.
Может, он на земле?
Может, в небесах?

Может, свет костра
Мерцает вдали?
Может, звездочка —
сестра
Нашей земли?

В бесконечной ночи
Тьма густа, пуста.
Но не меркнут лучи
Светлого поста.

Изнемог,
Сбился с ног,
Но горит впереди
Огонек,

огонек —
И тепло в груди.

1962

После снегопада

Снег, словно пыль с полочек,
С хвойных ветвей сбиваю.
Сколько я сосен и елочек
За день освобождаю!

Как это славно, здорово:
Лес поднимает вершины —
Вскидывает головы
И разгибает спины.

Снежная пыль — как дыхание,
И заполняется воздух
Радужным сиянием
Будто бы летом, в грозы.

В радуге, что в фейерверке,
И снегири,
И белки;
Сыплется, посверкивая,
В снег шелуха поделки.

Радужен даже валежник —
Вихрей нагромождения,
Речек крутобережных
Глинистые обнажения.

В радуге все, как новое:
Скрыты следы порубок,
Ярки стволы сосновые,
Будто кирпичные трубы...

Лыжи скрипят кленовые.
Стынут щеки и губы.

С палкой бреду бамбуковой —
С пикой былинный витязь,
По деревцам постукиваю:
— Выпрямитесь!
— Разогнитесь!

1962

Песня без слов

Пусть ни грибов, ни ягод в лесу —
Он все равно хорош.
Каждое утро что-то несу
В дом из окрестных рощ:

Чаги кружок,
Черенок для ножа,
Корень, охапку дров,
Шишку, похожую на ежа,
Песню — пока без слов...

Пусть тишина,
В глуши ни души —
Все равно гул в ушах:
В шорохи трав и в шумы вершин
Вслушиваюсь, не дыша.

Неба не видно,
Но там и тут
До колдовского дна
То озерцо полыхнет, то пруд —
Та же голубизна.

Срок непогоде,
Птичий отлет
И листопад,
А все ж
Каждая тропка к счастью ведет:
Будешь искать — найдешь.

1962



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ*

19

В этой книге я пытаюсь рассказать о людях, которых я встретил в жизни и — одних лучше, других хуже — узнал. Сейчас мне хочется рассказать о девушке, которой я никогда не видел.

Вскоре после моего возвращения из Вильнюса ко мне в гостиницу «Москва» пришла В. В. Константинова, преподавательница, жившая в Кашине; она рассказала, что ее дочь Ина была партизанкой и погибла в марте месяце. Вера Васильевна попросила меня прочитать дневник Ины. Я положил школьные тетрадки в ящик стола и вспомнил о них только два месяца спустя — было много газетной работы. Начав читать дневник, я не мог от него оторваться.

Дневник начинался с 1938 года — Ине тогда было четырнадцать лет; она записывала свою жизнь в течение четырех лет; это раннее утро жизни. Читая, я невольно вспоминал мои школьные годы: похоже и не то, детство оставалось детством, но изменилась эпоха.

После войны мне захотелось навестить Константиновых. Я побывал в Кашине. Это небольшой город Калининской области; там мало заводов, большая базарная площадь, старые церковушки, деревянные домики. В одном из таких домиков жили Константиновы; и Александр Павлович и Вера Васильевна были педагогами; кроме Ины, у них была вторая дочь — Рена, младшая.

Ина с детства много читала, но она любила и проказы, игры (в «свадьбу», в «бутылку-указку», в «американку»), танцы, любила кататься на коньках, ухаживала за кошками, за щенками, работала в саду. Отличницей она не была и часто угрызалась, получая плохие отметки («Математика мне всю жизнь портит»), старалась наверстать потерянное. Ничего в ней не было болезненного, экзальтированного, исключительного.

У нее была подруга детства Люся, с нею Ина делилась всем и, когда родители увезли Люсю в Магадан, страдала, что некому поверить свои тайны. Однако она отнюдь не была замкнутой, дружила со многими, всегда находила в товарищах хорошие стороны. Она училась в восьмом «А», попала в девятый «Б» и сразу подружилась с Таней и Леной. В детстве, куда она часто ходила, ей нравились Валя Амбражунас и Оля Руманова. «Вообще мне в этом году везет на людей. Максим с Федором, Аленка, Таня Волкова — все чудные, славные, хорошие. Вот жаль только, что Люся уехала». «Лидочка Кожина. Какая она прелесть! Идеальная девушка. Красивая, умная, отлично учится, прекрасный товарищ». «Подружилась с Кларой Калининой». Когда началась война, Ина пошла в санитарную дружину, работала в госпитале. «Ростовчанин Заславский,

* Окончание. Начало см. «Новый мир», № 1, 2 с. г.

молодой, ранен в ногу, плечо и голову. Славный он человек и патриот». В школу поступили новые ученики: «Москвич Женя Никифоров и Рэм Меньшиков, ленинградец. Чудесные, милые ребята». «Саша Куликов, кажется, останется у нас. Хорошо бы! По-моему, он прекрасный мальчик, умный, начитанный». В ноябре 1941 года — эвакуация. Ина попадает в далекий город, в чужую школу; два месяца спустя ей уже жалко расставаться с новыми друзьями — с Людой, Геркой, Галей, Вовкой. В июне 1942 года Ина становится партизанкой; ее посылают в тыл врага. Она говорит о первом своем начальнике: «Каких чудесных людей ставит судьба на моем пути! Он умный, чуткий, тонкий!» О комиссаре Абрамове: «Удивительно интересный человек, такой образованный и тоже... тонкий (это мое выражение, я-то его хорошо понимаю)». Вот ее товарищи по партизанскому отряду: «Гриша Шевачев. Высокий, худой, еврейского типа мальчик... славный парень. Игорь Глинский. Чудесный мальчишка... паразитичное чувство юмора. Умный, начитанный... Макаша Березкин. Ну, прелесть!.. Всегда весел, всегда улыбается. Не отказывается ни от какого дела...» Потом она пишет сестре: «Зоя была моей лучшей подругой. Замечательная девушка! И она погибла геройской смертью. Именно геройской. Погибло много замечательных людей. Самыми близкими я считаю Зою, комбрига Арбузова, радиста Геньку, Игоря Глинского и Гришу Шевачева. И вот из них остался только Игорь». В отряде был пятнадцатилетний Вадик Никоненко. Девушки удивленно спрашивали Ину: «О чем ты с ним разговариваешь?» Она отвечала: «А он такой интересный...»

Она была веселой, прыскала, как и полагается девчонке. «У Феди Германа на щеке были две замечательные кляксы. Я как их увидела, так уж успокоиться не могла, чуть не до слез хохотала... И вдруг меня вызывают. Я даже не знаю, что и отвечать. Кое-как по подсказкам ответила и получила «хорошо». Но среди ответа вдруг меня такой смех разобрал, я не удержалась и фыркнула на весь класс. Так нехорошо получилось...» «Сегодня был в пионердоме вечер, посвященный 35-летию какой-то стачки... Сначала танцевала девочка в шелковых панталонах. Затем сел на стол и провалился какой-то десятиклассник. Потом кто-то снаружи разбил стекло, и Питанов через окно стал ловить разбойника. Хохотали невероятно...»

Ина читала много и беспорядочно. В пятнадцать лет она записывает: «Взяла Шиллера «Статьи по эстетике»... Жаль только, что я там некоторые вещи не понимаю. Нужно прочитать Канта, Гегеля и других философов, а затем уже и эту книгу». Философией, кажется, она не увлеклась. Как многие ее сверстницы, восхищалась «Мартином Иденом», плакала над «Оводом». Ее волновали самые несхожие авторы — Мамин-Сибиряк и Гайдар, Шпильгаген и Ю. Герман, Вербицкая и Андре Жид. Ина любила стихи. В шестнадцать лет ей нравился Надсон, и она отрицала Маяковского — знала его только по школьным хрестоматиям. Потом она узнала и полюбила другого Маяковского, повесила его портрет в своей комнате. Она писала, что Гейне так хорош, что мирит ее с немецким языком. Она часто повторяла стихи Блока; в старой «Ниве» нашла его ранние стихи.

Она увидела в московском музее картины старых итальянцев. «Картины современных художников, на которых физиономия не отличается от помидора и темы которых однообразны, как песчаные холмы, никогда нельзя назвать живописью. Это мазня. Современные скульптуры, в которых красота заменена динамичностью и «выразительностью», нельзя причислить к произведениям благородного искусства. Никогда не появится «Джиоконда», фрески итальянских мастеров... Никто не напишет «Божественной комедии» и «Анны Карениной». Мир теряет самое лучшее — красоту...»

В шестнадцать лет ей казалось, что виноваты в этом вкусы народа. Год спустя над этой фразой она надписала: «Неправда!», над осуждением Маяковского: «Заблуждени!»

А любовь к красоте оставалась, ее Ина никогда не считала заблуждением.

Подростки часто мечтают стать актрисами или писателями. Ина хотела учиться в юридическом институте. Потом, будучи партизанкой, она переменяла планы и в 1944 году просила мать послать документы в авиационный институт. Я ее не вижу ни прокурором, ни авиаконструктором, но хорошо, что ее не тянуло ни в театральное училище, ни в литературный институт, хотя, разумеется, она участвовала в школьных спектаклях и, влюбляясь, тайно писала стихи.

Влюблялась она часто, страстно и каждый раз считала — «вот это настоящая любовь». В пятнадцать лет она влюбилась в товарища по школе: «Мне стоит огромных усилий воли не сесть на скамью, откуда видно его... Я люблюсь им только тогда, когда он проходит мимо по коридору. Но если я замечаю на себе его взгляд, то делаю гримасу презрения. Зачем? Неужели это правда бессознательная тактика Жюльена Сореля? Не может быть! Ведь он действовал из гордости, а я люблю...»

Левушка уехал, Ина о нем тосковала. «Мама говорит, что я не его люблю, а идеал, который я создала... По-моему, нет. Ведь я вижу все его недостатки, знаю все плохие стороны и все-таки люблю. Люблю все в нем, даже недостатки». Прошло три месяца, и Ина в страхе спрашивала себя: «Я не понимаю — неужели можно любить несколько раз и всегда одинаково сильно? Только разница в том, как любить. Левочку мне хотелось чувствовать около себя, хотелось держать его руки, целовать его. А этот... Нет, совсем не то. С этим я больше всего в жизни хотела бы быть друзьями, знать, что он меня любит...» Николай, по ее словам, был к ней равнодушен. «Я танцевала с ним! Вдруг подходит он ко мне, и я пошла танцевать с ним. Я все время путалась, сбивалась, пролепетала что-то, что я не умею, и все... Я все-таки стараюсь показать, что он мне совершенно безразличен, и кажется, выходит...»

Ина узнала ревность: «Опять он провожал ее домой!» Она сердилась на себя: «В любви надо быть гордой, и если ему нравится другая, так я не хочу быть пайщиком». Но вскоре после этого поняла, что не все в жизни подчинено разуму: «Очевидно, это чувство сильнее гордости и самолюбия. Да и могут ли они существовать вместе с любовью? Нет, никогда!»

В 1940 году она подружилась с двумя одноклассниками, воспитанниками детдома — Максимом Пирушко и Федей Германом. «Они рассказали о том, как арестовали их родителей, причем так спокойно, что можно подумать, что это случилось не с ними. У Максима сначала взяли отца, а затем в поезде мать. Он даже не простился с ней. У Федеи сначала мать, потом отца. Теперь обе матери в Караганде, а где отцы — неизвестно. Они, оказывается, как мы, когда особенно есть о чем поговорить, когда сильные переживания, уходят куда-нибудь, где никто не мешает, и говорят обо всем». Ине в 1937 году было тринадцать лет; беда обошла ее родителей. Мир девочки узок, а для Максима и Федеи аресты невинных были будничным явлением, бытом. Легко понять, как это всполошило Ину, которую больше всего возмущала несправедливость. Федя стал ее лучшим другом. Она часто ходила в детдом. Федя показал ей фотографии отца, матери, сестры. «Вчера они сказали мне самую неприятную вещь — пришел приказ из наркомата, чтобы воспитанников детдомов старше четырнадцати лет отправлять в ремесленные училища. Значит, скоро они уедут...» Она пишет дальше: «Вчера был вечер в детдоме, посвященный Дню Конституции... Когда я прихожу туда, то для меня это действительно праздник. Только там мне по-настоящему хорошо и весело... Я танцевала немнож-

ко... Но больше сидели в углу с Федей и разговаривали. Он был какой-то грустный. Как он говорит, потому что вспоминал, как три года тому назад в эти дни были арестованы его родители. На наше «tête-à-tête» обратили внимание учителя, и сегодня со мной мама говорила об этом... Думаю, что это только дружба, не больше. Но эта дружба мне очень дорога и незаменима...» «Сейчас Федя мне сказал, что у него 19 марта умерла мама. Боже мой, как это тяжело и как трудно пережить!..»

В дневнике Ины меня поражают душевная взыскательность, честность, прямота. Еще ученицей седьмого класса она ненавидела «подлиз». Она была комсомолка, входила в совет Осоавиахима. Осенью 1940 года она писала: «В нехорошее, темное, неясное время начала я эту тетрадь. Сегодня живем так, а что будет завтра — неизвестно...» Ина болезненно относилась к любой фальши; в дневнике она размышляет над несоответствием между различными трудностями, связанными с надвигающейся войной, и неискрытыми, чересчур радужными речами, которые раздавались на собраниях в Кашине: «Ведь это ложь!.. Ну зачем это?.. Люси нет, и не с кем поговорить на эту тему...» В шестнадцать лет она умела думать, умела взглянуть правде в глаза и три года спустя погибла, сражаясь за правду.

В дневнике Ины много обычного, сближающего его с дневниками девочек ее возраста; есть и не столь обычное. Может быть, любовь к искусству, к поэзии придавала ей особую душевную настроенность? В четырнадцать лет она писала: «Сейчас очень тихий, не по-январски мягкий вечер. Все кажется особенно хорошим, все покрыто розовато-кремовым светом. Скоро зайдет солнце. Все должно было бы быть легким, приятным, но нет этого. Наоборот, появляется какая-то тоска. Отчего? Кажется, нет никаких видимых причин, но... Вот это «но» и мешает. Людям без него легче. Например, Лиза, Нюра — они живут настоящим, реальным миром, а я не могу. Для меня гораздо важнее мечта, фантазия. Что же делать, если я не могу жить в исключительно романтических условиях, например, в Италии или хотя бы на Дальнем Востоке, а живу в каком-то затхлом городишке, где никаких событий...» Полгода спустя она вернулась к раздумьям о своем характере: «Я имею двойную душу. Первое «я» появляется по вечерам. Это «я» живет только будущим — мечтами. Эта душа, грустная, тоскливая, покидает меня иногда. И тогда я становлюсь современной девочкой. Тогда меня интересуют злободневные вопросы... Трудно будет мне жить с такими противоположными наклонностями в душе. Это как бы два разных человека...»

О смерти Ина впервые подумала, прочитав «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева: «Какая это жуткая вещь — чувствовать неизбежность, близость смерти! Я пробовала представить себя на их месте, но ничего не вышло. То мне казалось, что я буду спокойно ждать конца и даже не думать о нем, то казалось, что я буду кого-то умолять, беспечно метаться».

В Кашине покончил с собой один педагог. Ина была потрясена, хотя почти не знала самоубийцы: «Какой ужас! Сейчас узнала, что отравился В. В. Жигарев, учитель из техникума... Неужели не было другого выхода? Значит, не было. Как жутко сознавать безвыходность положения, видеть смерть неизбежную и близкую!»

«Луна... Снег... И тишина, тишина. Как в сказке. Когда-нибудь в такую же ночь я пойду в лес. И наступит сказка... Как мелко все то, о чем мы плачем, чему радуемся! Как бедна и прозаична наша жизнь! Есть только одно действительное событие в жизни каждого, одно, стоящее того, чтобы перед ним преклониться, — смерть, шаг в неизвестное и несуществующее».

Май 1941 года был в жизни Ины счастливым: «Мы случайно сели рядом с Мишей Ушаковым и случайно разговорились. И... и я, что называется,

по уши!.. Ну можно ли выразить все чувства, которые внезапно возникают в такие минуты?..» «Он иногда даже странным кажется, но я люблю в нем и эту странность...» «Мы все время сидели рядом с Мишей. Провозгласили нас женихом и невестой и кричали нам «горько». Опять целовались...» «Как хорошо жить, когда за спиной у тебя шестнадцать лет и девять классов, яркое солнце и хорошие отметки, большая дружба и светлая любовь, а впереди... А впереди жизнь!» Миша читал Ине стихи Фофанова: «Все тает, надежды и годы... И память о милом когда-то, как лед пробужденной природы, растает... уйдет без возврата». Но могли ли эти печальные строки смутить семнадцатилетних влюбленных?

22 июня 1941. «Еще вчера все было так спокойно, так тихо, а сегодня... Боже мой!..»

Бомбежки, расставание с друзьями, тревога за Москву, за Родину. «Даже воздух стал другим. Что-то будет... На фронт — это мечта! Разбить фашистов!» В дневнике Ины нет деклараций. Она любила людей, доверяла им, и это помогало ей пережить испытания: «Нет, с такими людьми не пропадет наша страна, не может пропасть!»

Она отнюдь не романтизировала войну; когда умерли двое раненых в госпитале, где она работала, она написала: «Во имя чего отдали они жизнь? Во имя чего теряют жизнь сотни тысяч других молодых, смелых? Кто ответит на этот вопрос?»

Вернувшись из эвакуации в Кашин, Ина узнала, что Миша Ушаков умер от раны, полученной в бою. Она поняла (а может быть, убедила себя), что Миша был ее большой, настоящей, единственной любовью. Она подала заявление в райвоенкомат, просила отправить ее на фронт, говорила, что кончила курсы сандружинниц и «неплохо стреляет». Ответа долго не было. Ина ходила в школу, увлекалась молодыми людьми, плакала тихонько по Мише, спрашивала себя: «Когда же кончится эта проклятая война?», старалась развлечься: «Иногда танцуем под патефон. Мама называет это легкомыслием, она не может понять, как мы сейчас можем думать о развлечениях. А на самом деле хоть на минуту хочется забыться от всех ужасов... И так скупы наши развлечения, что на них не следовало бы и обижаться. Да и скоро они кончатся...»

Развлечения действительно скоро кончились: в июне 1942 года Ину послали в тыл врага. Она уехала, не сказав ничего родителям, написала из Калининна: «Я знаю — это подлость по отношению к вам, но ведь так было лучше. Я все равно не выдержала бы маминых слез...»

Сражалась она хорошо, об этом рассказывают уцелевшие товарищи; ходила в разведку, участвовала и в боях с карательными отрядами, и в «заданиях» — взрывали мосты, нападали на склады. Я не стану говорить об ее боевой жизни: героизм был в те годы буднями многих. Я переписывал отрывки из школьных дневников, чтобы показать истоки этого героизма. Многие предрешила зыскательность к себе, прямота, честность.

Однажды Ину послали как разведчицу собрать сведения о немецком гарнизоне. Когда она шла назад, гитлеровцы ее задержали. Офицер бил девушку по лицу, потом начал жечь сигарой ее руку. Ина молчала. За полгода до начала войны ей вырвали зуб: «Я так плакала, и сама не знаю, когда и как это кончилось. Казалось, что если боль увеличится хоть на йоту, то я сойду с ума». А когда фашист ее пытал, она молчала: «Я думала только об одном — как бы не показать свою слабость».

Она писала матери нежные, простые письма: «Иногда ночью вдруг проснусь от того, что живо-живо представится, что ты сидишь у меня на кровати, как когда-то дома. И мне так хорошо, так тепло. Проснусь — и нет никого, и все пусто». «Мне теперь все время вспоминается домашнее, прошлогоднее. И Мишу жаль так, как, пожалуй, в прошлый год не

жалела, потому что теперь я по-настоящему оценила жизнь». «Вы все-таки считаете меня чуть ли не героем. Напрасно. Я всего только советский человек».

Отец Ины, Александр Павлович, был направлен во вражеский тыл. Он встретил Ину и рассказывал мне, что, когда он назвал ее девочкой, она запротестовала: «Папа, я уже не девочка, я разведчица Второй Калининской партизанской бригады». Однако узнав, что у отца в вещевом мешке сласти, Ина попросила: «Дай сладенького...»

Партизанка оставалась самой собой. В письме к школьной подруге Лене она рассказывала: «Безумно влюбилась в одного товарища, и он любил. А потом он погиб. Думала, с ума сойду. Ты ведь знаешь мой характер...»

Портрет Ины не был бы полным, если бы я опустил одну запись в ее дневнике. Она, как я говорил, участвовала в боях, стреляла из автомата; это казалось ей легким. Она записала в дневник, как расстреливали предателя-старосту: «Держался он твердо. Ни слова не сказал. Только концы пальцев чуть дрожали. И умер он спокойно. Стреляла в него Зойка. И рука не дрогнула. Молодец! А мне было чего-то жутко. Чувствовала себя отвратительно».

В ночь на 4 марта 1944 года несколько партизан спали в лесной землянке. Перед рассветом часовой разбудил их: «Немцы!» Ина поняла, что всем уйти не удастся. Она крикнула товарищам: «Уходите!» — и, встав на колено, стала стрелять из автомата. Она погибла в том снежном лесу, под звездами, о котором писала три года назад. Ей не было и двадцати лет.

Я написал об Ине вскоре после того, как прочитал ее дневник. После войны дневник издали — чуть приглаженный: не хотели, чтобы героиня говорила об изнанке жизни, а это только яснее показывает ее верность, душевное мужество. В этом, как и во многом другом, она была — повторяю ее слова — «советским человеком»: она многим до войны возмущалась, а в трудный час пошла защищать советскую землю.

Я дал дневник Ины Э. Ю. Триоле, она его перевела на французский язык. Вышли переводы и в других странах.

В 1958 году при автомобильной катастрофе погибла мать Ины. А отец живет в том же деревянном домике с Реной, со внуком, мальчик уже ходит в школу. Недавно я видел Александра Павловича, и, конечно, мы снова говорили об Ине. Мне кажется, что я ее знаю лучше, чем некоторых людей, с которыми прожил долгие годы, не только потому, что она умела хорошо исповедоваться в дневнике, но и потому, что мне душевно близка эта девочка или девушка, с которой я встретился только после ее смерти. Прежде открывали материки, острова, скоро, наверно, начнут открывать планеты, но для писателя во все времена было и будет самым важным открытие человеческого сердца. Вот почему я включил рассказ об Ине Константиновой в книгу, посвященную моей жизни: Ина помогла мне многое еще раз проверить в трудное время, когда война вытаптывала в человеке все, что мы обычно называем человеческим.

Мне кажется, что короткая жизнь Ины помогает понять, почему советские люди выдержали испытание и победили. Это исповедь поколения, которое было скошено раньше, чем успело всколоситься. И вместе с тем, как это ни звучит странно, рассказывая о некоторых сторонах душевной жизни Ины, я говорю и о себе.

В 1944 году один из корреспондентов «Красной звезды» писал обо мне: «На забрызганном грязью «виллисе» ехал по прифронтовой полосе немолодой, предельно штатский человек в мешковатом коричневом

пальто, в меховой штатской шапке, с сигарой. Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько сутулясь, разговаривая тихим голосом и ни секунды не стараясь скрывать то обстоятельство, что он глубоко штатский человек».

Когда в конце января я сказал генералу Галенскому, что хочу поехать в Восточную Пруссию, он улыбнулся: «Только придется вам надеть форму, а то, чего доброго, вас примут за фрица». Звания у меня не было, и новенькая офицерская шинель без погон выглядела на мне, пожалуй, еще смешнее, чем мешковатое коричневое пальто. Впрочем, об этом я подумал только тогда, когда немцы начали меня упорно именовать «господином комиссаром».

Наши войска быстро продвигались на запад, оставляя позади островки, в которых держались окруженные гитлеровцы. В городе Бартенштейн еще горели дома; рядом были немецкие позиции. Я встретил генерала Чанчибадзе; он усмехался: «Это не Ржев...» Говорил, что солдаты рвутся вперед, жаловался: мало снарядов. (Немцы продержались в том «котле» еще два месяца.) В Эльбинге, когда я туда попал, продолжались уличные бои. Враг порой поспешно отступал, порой отчаянно сопротивлялся. Мины были заложены повсюду — в зданиях школ, в крестьянских амбарах, в магазинах обуви. Генерал кричал в телефон: «Слушай, прибавь огонька — он, черт, огрызается...» А солдат рассказывал о товарище: «Говорил: «Фрицы выдохлись», а дня не прошло — я его притащил в санбат, посмотрели и говорят: «Поздно...»

Все понимали, что дело идет к концу, но никто не был уверен, что он до него доживет. В начале февраля погода резко изменилась — пришла ранняя весна, на солнце было тепло, в брошенных садах зацветали подснежники, лиловые крокусы. Близость развязки делала смерть особенно нелепой и страшной.

От мысли, что мы продвигаемся в глубь Германии, у меня кружилась голова. Я столько писал об этом, когда гитлеровцы были на Волге, а теперь я ехал по хорошей, гладкой дороге, обсаженной липами, глядел на старый замок, на ратушу, на магазины с немецкими вывесками, и все не верилось: неужели мы в Германии? Как-то повстречался я со старыми друзьями — тацинцами. Мы долго, улыбаясь, бессмысленно повторяли: «Вот, значит, где...»

Почти у каждого было свое горе: погибли два брата, сожгли дом и угнали сестер в Германию, убили мать в Полтаве, всю семью замучали в Гомеле — ненависть была живой, не успевшей притихнуть. Бог ты мой, если бы перед нами оказались Гитлер или Гиммлер, министры, гестаповцы, палачи!.. Но на дорогах жалобно скрипели телеги, метались без толку старые немки, плакали дети, потерявшие матерей, и в сердце подымалась жалость. Я помнил, конечно, что немцы не жалели наших, все помнил, но одно дело фашизм, рейх, Германия, другое — старик в нелепой тирольской шляпе с перышком, который бежит по развороченной улице и машет клочком простыни.

В Растенбурге красноармеец яростно колот штыком девушку из папье-маше, стоявшую в витрине разгромленного магазина. Кукла кокетливо улыбалась, а он колот, колот. Я сказал: «Брось! Немцы смотрят...» Он ответил: «Гады! Жену замучали...» — он был белорусом.

В том же Растенбурге комендантом города назначили майора Розенфельда. Гитлеровцы убили его семью, а он делал все, чтобы оградить население немецкого города. Он оставил меня ночевать. В доме богатого фашиста на стене висела любительская фотография: дочь хозяина подносит букет Гитлеру. Местные жители рассказывали, что в этом доме останавливался фюрер, когда приезжал в Восточную Пруссию. Май-

ор Розенфельд горевал, что его оторвали от полка, но работал чуть ли не круглые сутки. При мне к коменданту привели маленькую девочку — родители погибли. Майор ласково и печально глядел на нее, может быть, вспоминал свою дочку. Сколько раз он, наверно, повторял про себя слова о «священной мести», а в Растенбурге понял, что это была абстракция и что рана в его сердце не заживет.

Радость победы и здесь смешивалась с той печалью, которая неизменно рождается, когда видишь войну — не на полотне баталиста, не на экране, а под носом: расщепленные дома, пух от перин, беженцы, узлы, недоевшие коровы, а чей-то долгий пронзительный визг застревает надолго в ушах.

Некоторые города были разбиты артиллерией; в Крейцбурге уцелела только тюрьма; среди развалин Велау я не нашел ни одного немца: все убежали. Другие города уцелели; в Растенбурге жители очищали улицы от обломков мебели, разломанных телег. В Эльбинге оказалось шестьдесят тысяч человек — треть населения осталась.

Восточная Пруссия издавна считалась самой реакционной частью Германии. Здесь было мало заводов, мало рабочих; зажиточные крестьяне голосовали за Гинденбурга, потом дружно кричали «хайль Гитлер». Помещики были подлинными зубрами, любая либеральная поблажка казалась им оскорблением родовой чести. В городах жили коммерсанты, чиновники и адвокаты, врачи, нотариусы, люди интеллигентских профессий, которых трудно причислить к интеллигенции. Дома были чистыми, благоустроенными, с мещанским уютом, с рогами оленей в столовой, с вышитыми сентенциями о том, что «порядок в доме — порядок в государстве» или что «трудись — и увидишь сладкие сны». В кухне стояли фаянсовые банки с надписями «соль», «перец», «тмин», «кофе». На полке красовались книги: библия, стихи Уланда, иногда том Гёте, доставшиеся в наследство, и десяток новых изданий — «Майн кампф», «Поход на Польшу», «Расовая гигиена», «Наша верная Пруссия». В таких городах, как Растенбург, Летцен, Тапиау, не было городских библиотек. В Бартенштейне мне сказали, что здание музея невредимо. Я всполошил коменданта: «Сейчас же поставьте охрану». Пошел в музей, и стало не по себе: кроме чучел животных, там были весьма однообразные экспонаты — огромный портрет Гинденбурга, карта военных действий в 1914 году, трофеи — погоны русского офицера, фотографии разрушенной Варшавы, портреты местных благотворительниц.

Наши солдаты разглядывали обстановку. Один, помню, усмехнулся: «В такой берлоге можно жить». Другой выругался: «Сволочи, жили хо-рошо, чего они к нам полезли? Ты посмотри, ведь полотенца наши» — он показал на вышитые украинские полотенца в нарядной кухне.

Я ужинал в Эльбинге у командира корпуса генерала Г. И. Анисимова, когда прибежал лейтенант: «Разрешите доложить?» Лейтенант сказал, что в одном из подвалов обнаружены тридцать—сорок человек, которые отказываются выйти наружу, кричат, что они швейцары, и требуют, чтобы их оставили в покое. Недоразумение вскоре выяснилось — к генералу привели человека в костюме, перепачканном углем, давно не бритого, который представился: «Карл Бранденберг, вице-консул Швейцарии». Оказалось, в Эльбинге проживало довольно много швейцарцев, они здесь обосновались как специалисты по изготовлению сыров. Генерал приказал напоить и накормить голодного вице-консула, а потом вывести всех швейцарских граждан из подвала. Меня удивило, что охранная грамота, которую нейтральный сыровар предъявил, была написана на русском языке и выдана швейцарским правительством осенью 1944 года. Вице-консул объяснил: «В Берне предвидели события, — и, чуть усмехнувшись, добавил: — В Берне, но не в Эльбинге..»

Генеральный викарий жаловался мне, что при Гитлере немцы растеряли веру (о том же говорили и два пастора). Мне же казалось, что они просто сменили предмет культа. Непогрешимость папы перестала интересовать католиков, зато они свято верили в непогрешимость фюрера. Вторжение Красной Армии в Восточную Пруссию застало жителей врасплох: они верили не только Гитлеру, но и его помощникам, а гаулейтер Эрих Кох еще в начале января писал: «Русские никогда не прорвутся в глубь Восточной Пруссии — за четыре месяца мы вырыли окопы и рвы общим протяжением 22 875 километров». Цифра успокаивала. В Либштадте я нашел незаконченное «свидетельство об арийском происхождении» — 12 января некто Шеллер, решив жениться, заполнил анкету о своих предках, но не успел представить справку об одном из дедов: 26 января в Либштадт вошли советские танки.

В 1944 году я часто спрашивал себя: что произойдет, когда Красная Армия войдет в Германию? Ведь Гитлеру удалось убедить не отдельных изуверов, а большинство своих соотечественников, что они — избранная нация, что плутократы и коммунисты, объединившись, лишают талантливых и трудолюбивых немцев жизненного пространства и что на Германии лежит великая миссия установить в Европе новый порядок. Я помнил некоторые разговоры с пленными, дневники, которые поражали не только жестокостью, но и культом силы, смерти, помесью вульгарного нищезанятия и воскресших суеверий. Я ждал, что население встретит Красную Армию отчаянным сопротивлением. Повсюду я видел надписи, сделанные накануне прихода наших войск, проклятия, призывы к борьбе: «Растенбург всегда будет немецким!», «Эльбинг не сдастся!», «Гражданин Тапиау помнит о Гинденбурге. Смерть русским!» Я прочитал листовку, в которой почему-то упоминались традиции «вервольфов»; я спросил капитана, занятого пропагандой среди войск противника и следовательно, хорошо знавшего немецкий язык, что такое «вервольф»; он ответил: «Фамилия генерала; кажется, он сражался в Ливии...» Я решил проверить, заглянул в толковый словарь и прочитал: «В древних германских сагах вервольф обладает сверхъестественной силой, он облачен в волчью шкуру, живет в дубовых лесах и нападает на людей, уничтожая все живое». В Растенбурге я нашел школьную тетрадку, какой-то мальчик написал: «Клянусь быть вервольфом и убивать русских!» Но в том же Растенбурге не только подростки или старики, но и застрывшие жители призывного возраста вели себя, как пай-дети. Гитлеровцы изготовили маленькие кинжалы с надписью на клинке: «Все для Германии». В инструкции говорилось, что эти кинжалы помогут немецким патриотам бороться с красными захватчиками. Я взял такой кинжал, он мне служил консервным ножом. А про заколотых красноармейцев я не слышал. Все это было разговорами, фантазией Геббельса, зловещей фашистской романтикой. Конечно, среди гражданского населения были не только безобидные старики и ребята, были и волки, но в отличие от мифических вервольфов они предпочитали временно наряжаться в овечью шкуру и аккуратно выполняли любой приказ советского коменданта.

Я побывал в десятках городов, разговаривал с разными людьми: с врачами, нотариусами, учителями, крестьянами, трактирщиками, портными, лавочниками, токарями, пивоварами, ювелирами, агрономами, пасторами, даже с одним специалистом по изготовлению генеалогических деревьев. Я искал ответа у католика-викария, у профессора Марбургского университета, у стариков, у школьников — хотел понять, как они относятся к идее «народа господ», к мечте о завоевании Индии, к личности Гитлера, к печам Освенцима. Повсюду я слышал то же самое: «Мы ни при чем...» Один говорил, что он никогда не интересовался политикой, война была бедствием, Гитлера поддерживали только эсэсов-

цы; другой уверял, что на последних выборах в 1933 году он голосовал за социал-демократов; третий клялся, что был связан со своим шурином, который коммунист и участвует в Ганновере в подпольной организации. Возле Эльбинга в селе Хоэнвальд один немец поднял кулак, приветствуя «господина комиссара»: «Рот фронт!» В его доме нашли альбом любительских фотографий: вешают русских, возле виселицы доска с крупной надписью: «Я хотел зажечь лесопилку, подсобник партизанов»; еврейские женщины со звездами на груди ждут в вагоне расстрела. Находка не заставила мнимого «ротфронтиста» примолкнуть, он продолжал говорить о своей борьбе против нацистов: «Эти фото оставил неизвестный штурмовик, который, наверно, приходил к моему брату, мой брат был очень наивным, его убили на Восточном фронте, а я воевал в Голландии, во Франции, в Италии — в России я не был. Можете мне поверить: в душе я коммунист...»

Конечно, среди сотен людей, с которыми я беседовал, были и такие, что говорили искренне, но я не мог отличить их от других — все повторяли одно и то же. Я в ответ вежливо улыбался. Пожалуй, наиболее искренним мне показался пожилой немец, который возвращался с запада в Прейсиш-Эйлау, он сказал: «Герр Шталин хат гезигт, их гее нах хаузе» («Господин Сталин победил, я иду домой»).

Люди, с которыми я разговаривал, вначале отвечали, что они ничего не знали об Освенциме, о «факельщиках», о сожженных деревнях, о массовом уничтожении евреев; потом, видя, что ничто непосредственно им не угрожает, признавались, что отпускники о многом рассказывали и осуждали Гитлера, эсэсовцев, гестапо.

Третий рейх, еще недавно казавшийся незыблемым, рухнул сразу, все (на некоторое время) схоронилось, залезло в щели — упрощенное нищестановление и разговоры о превосходстве немцев, об исторической миссии Германии. Я видел только желание спасти свое добро да привычку пунктуально выполнять приказы. Все почтительно здоровались, старались улыбнуться. В районе Мазурских озер моя машина завязла; откуда-то прибежали немцы, вытащили машину, наперебой объясняли, как лучше проехать дальше. В Эльбинге еще стреляли, а корректный упитанный бюргер проявил инициативу — принес складную лесенку и переставил на больших часах стрелку на два вперед: «Они идут замечательно, сейчас три часа двенадцать минут по московскому времени...»

Комендантом города назначали строевого офицера, и, конечно, он не был специально подготовлен для такого рода должности. Расклеивали стереотипное объявление — правила. Один наш комендант, смеясь, говорил: «Я и не прочитал, что там написано, а они изучили от первой буквы до последней — что можно, чего нельзя. Часа не прошло, как начали приходить: один спрашивает, может ли забраться на крышу и залатать дыру, другой — куда ему доставить русскую работницу, она лежит больная, третий ябедничает на соседа...»

В Эльбинге я увидел необычайную очередь: тысячи жителей города жаждали проникнуть в тюрьму. Я обратился к одному, на вид самому миролюбивому: «Зачем вам здесь стоять на холоду? Покажите мне город, вы, наверно, знаете, в каких кварталах еще стреляют...» Он вначале сетовал — потерял свое место в очереди, говорил, что тюрьма теперь самое безопасное место: русские, наверно, поставят охрану и можно будет спокойно переждать; он несколько успокоился, только когда я обещал вечером его доставить в тюрьму. Это был вагоновожатый трамвая. Я его не спрашивал о Гитлере — знал, что он ответит. Он рассказал, что его дом сгорел, он едва успел выскочить в одном пиджаке. День был холодный. Мы проходили мимо магазина готового платья, на улице валялись пальто, плащи, костюмы. Я сказал, чтобы он взял себе

пальто. Он испугался: «Что вы, господин комиссар! Это ведь трофеи русских...» Я предложил ему выдать письменное удостоверение; подумав, он спросил: «А у вас есть печать, господин комиссар? Без печати это не документ, на слово никто не поверит».

По Растенбургу меня водил мальчик Вася, которого немцы пригнали из Гродно. Он рассказал, что работал в доме богатого немца, на груди у него была бирка, все на него кричали. Теперь он шел рядом со мной, и встречные немцы учтиво его приветствовали: «Добрый день, господин Вася!»

Позднее в западногерманской печати много писали о «русских зверствах», стремясь объяснить приниженное поведение жителей естественным ужасом. По правде сказать, я боялся, что после всего учиненного оккупантами в нашей стране красноармейцы начнут сводить счеты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить — мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты, хмурясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа — в любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы; но наше командование боролось с актами насилия. Не произволом русских солдат следует объяснить угодливость гражданского населения, а растерянностью: мечта рухнула, дисциплина отпала, и люди, привыкшие шагать по команде, заметались, как стадо испуганных овец. Я радовался победе, близкому концу войны. А глядеть вокруг было тяжело, и не знаю, что меня больше стесняло — развалины городов, метель из пуха на дорогах или униженность, покорность жителей. В те дни я почувствовал, что круговая порука связывает свирепых эсэсовцев и мирную госпожу Мюллер из Растенбурга, которая никого не убивала, а только получила дешевую прислугу — Настю из Орла.

Глядя на улыбки обывателей Растенбурга или Эльбинга, я не чувствовал ни злорадства, ни сострадания, во мне смешивались безразличие с жалостью, и это порой отравляло то большое счастье, которое я испытывал, видя наших солдат, прошедших с боем от Волги до устья Вислы. Отдыхал я, беседуя с освобожденными людьми — с советскими девушками, с гражданами и солдатами поработанных Гитлером стран. В Бартенштейне мне довелось быть свидетелем редкостной встречи: один боец, смоляк, среди освобожденных советских женщин нашел свою сестру с двумя детьми — одиннадцати и девяти лет. Еще недавно эта женщина рыла те рвы, которыми хвастал Эрих Кох. Она ничего не могла вымолвить, только плакала: «Вася!.. Васенька!..» А старший мальчик восхитенно разглядывал две медали на груди дяди Васи.

Кого только не привелось мне встретить! Среди освобожденных были люди разных стран, разных профессий: французы-военнопленные, бельгийцы, югославы, англичане, даже несколько американцев, студент из Афин, голландские актеры, чешский профессор, австралиец-фермер, польские девушки, священники, экипаж норвежского парусника. Все кричали, шутили, не знали, как выразить свою радость.

Французы раздобыли немецкие велосипеды и катили на восток — им хотелось поскорее вернуться домой. Среди них всегда находился человек, умевший хорошо стряпать, и, зарезав барана, они устраивали пир, приглашали наших солдат, пели, балагурили, смешили даже невозмутимых англичан.

В плену все научились немного говорить по-немецки, бельгиец рассказывал чеху, что он пережил, а югославы и англичане обсуждали, как теперь быть с Германией. Здесь было куда легче договориться, чем на Ялтинской или Потсдамской конференции: люди понимали друг друга.

В Эльбинге в бараках, где содержались военнопленные, я видел пра-

вила, напечатанные на десяти языках. В районе Мазурских озер французы должны были рубить лес и строить военные укрепления. В имении фон Дингофа работали французы, русские, поляки — сто пять душ. Железнодорожник Чудовский из Днепропетровска подружился с марокканцем, научил его немного говорить по-русски. В маленьком захолустье Бартенштейне каждая семья, имеющая троих детей, получала работницу — русскую или польку. Одна фермерша мне говорила, что она жила скромно, у нее работали только одна украинка и один итальянец; за них она вносила шестьдесят марок в «арбейтсамт». Теперь это известно всем, а тогда это меня потрясло: воскресили рабство античного мира, но вместо Эврипида — Бальдур фон Ширах, а вместо Акрополя — Освенцим.

Француз, военный врач, рассказал, что неподалеку от их лагеря был другой, где держали советских военнопленных. Началась эпидемия тифа. Гитлеровский врач говорил: «Лечить их нечего, все равно умрут...» Каждый день зарывали умерших. «Я видел, — говорил француз, — как вместе с трупами зарывали еще живых, вспомнить не могу без ужаса...»

В Бартенштейне наши саперы нашли в кухне тетрадку — это был дневник русской девушки. Тетрадку я увез. В ней были простые и поэтому убедительные записи: «26 сентября. Воспользовалась тем, что ее нет, и навела радио на Москву. Харьков наш! Я потом весь день плакала от радости. Говорю себе: дура, ведь наша берет, и плачу, плачу. Вспомнила Петю. Где он теперь, жив ли? Может быть, забыл меня? Все равно, лишь бы жил! Я знаю, что мне не дожить до свободы. Но теперь я наверно знаю, что наши победят... 11 ноября. Мой день рождения. Вспомнила, как приходили Таня и Ниночка. Мы пили чай с пирожными, спорили о книгах. Таня расхваливала своего И. Думала ли я, что буду выносить ее ночные горшки и выслушивать насмешки!..»

Не знаю, как звали девушку, не знаю, дожила ли она до свободы, что с нею приключилось потом, но я не мог без восхищения глядеть на людей, воистину освобождающих человеческие души, и невыносимо грустно было думать о погибших в киевском окружении, под Ржевом, на Волге.

В Гутштадте я заночевал, утром собирался поехать дальше. Командующий дивизией уговаривал меня, чтобы я задержался, пообедал. Он сказал, что мне необходимо посмотреть на старинный монастырь. Я уступил. Вместо монастыря я увидел развалины: по монастырю била артиллерия. На земле валялась груда книг — маленьких, в кожаных или пергаментных переплетах, я видел такие в других городах: молитвенники, псалтыри, библии, труды отцов церкви. Я хотел было уйти, как, сам не знаю почему, наклонился и поднял маленькую книжицу. Я обомлел — первое собрание стихов Ронсара, изданное в Париже в 1579 году! Второй том, третий, четвертый... Стихи одного из друзей Ронсара — Реми Белло. Томик произведений Лукиана во французском переводе. (Лукиана я потом подарил Я. З. Сурицу, а Ронсара и Белло берегу). На первой странице отметка: такой-то купил там-то, заплатил столько-то. В XVI веке монахов, которые чрезмерно любили женщин и вино, посылали в отдаленные монастыри, на окраину католического мира. Естественно, что человек, которому нравились стихи Ронсара и сатиры Лукиана, не был аскетом. Вероятно, когда провинившийся монах умер в забытом всеми Гутштадте, его книги попали в монастырскую библиотеку — немцы не разобрали, что это за книги; в них никто не заглядывал, и они изумительно сохранились.

В машине я раскрыл томик Ронсара и снова обомлел — раскрыл как раз на той поэме, отрывки из которой вставил в «Падение Парижа» — их читает Жаннет Дессеру: «Признает даже смерть твои владенья, любви не выдержит земля, увидим вместе мы корабль забвенья и Ели-

сейские поля»... Все было несовместимо: развалины, танки, санбат и Ронсар, любовь, Елисейские поля — не парижские, другие, те, о которых писал Пушкин: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах...»

Две недели спустя, возвращаясь в Москву, в Вильнюсе я рассказывал Ю. И. Палецкису про швейцарского вице-консула. Мы смеялись, повторяли друг другу: «Теперь скоро конец!..»

Потом я проехал через разрушенный Минск. Знакомая дорога — сожженные села, Борисов. Кожевенный завод, где гитлеровцы убивали... Снег еще милосердно прикрывал сожженную, изрытую землю, ржавую проволоку, пустые гильзы, кости.

Я вдруг удивился: вот и победа, почему же к радости примешивается печаль? Раньше этого не бывало. Видимо, близость конца позволяет задуматься. Я вспомнил о томиках Ронсара. В 1940 году в Париже я писал: «Не раз в те громкие больные годы, под шум войны, среди нищенства природы, я перечитывал стихи Ронсара»; короткое стихотворение кончалось словами: «Как это просто все! Как недоступно! Любимая, дышать и то преступно...» В памяти встали пять лет, прошедшие после той весны, — потери, тоска, надежды. Кажется, подходит время, когда можно будет дышать, когда все любимые уснут без тревоги за тонкую нить человеческой жизни. Может быть, станет доступным и другое — радость, подснежники, искусство?.. Я больше не думал о Растенбурге или Эльбинге — думал о жизни.

21

Во вступлении к моей книге я писал четыре года назад: «Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них идет речь о живых людях или о событиях, которые не стали достоянием истории»; многое из того, что пережито мною в военные годы, я опускаю. Расскажу теперь о последних неделях войны.

Вокруг Кенигсберга, на подступах к Берлину, в Венгрии шли кровопролитные бои. Почти каждый вечер в Москве громыхали салюты; они были трех классов — первый из трехсот двадцати четырех орудий двадцать четыре залпа, а третий из ста двадцати четырех двенадцать залпов. Москвичи к ним привыкли — бывали вечера, когда небо три-четыре раза обряжалось ракетами. «За что салют?» — спрашивала в фойе театра девушка подругу, та отвечала: «Маленький — за какой-то венгерский город...» Но если люди успели привыкнуть к победам, то страстно, мучительно они ожидали Победу. Ждали письма с фронта от близкого человека, терзались еще больше, чем в предшествующие годы. Наступали те последние четверть часа, которые кажутся вечностью.

В марте генерал Таленский покинул «Красную звезду». С новым редактором мне было нелегко. Я утешал себя мыслью, что газетной работе подходит конец, скоро можно будет сесть за книгу. Пока что я продолжал писать статьи для «Красной звезды», для «Правды», для еженедельника «Война и рабочий класс».

Еще осенью 1944 года я получил письмо из Англии от леди Гибб. Ею руководили религиозные чувства, она призывала меня предоставить богу покарать фашистских преступников и не взывать к чувству мести. Я напечатал это письмо в «Красной звезде» с моим ответом, писал, что чувство мести мне чуждо, что солдаты Красной Армии, овладевая городами Трансильвании, в которых было много немецких семейств, не убивали безоружных, что мы хотим справедливости, уничтожения фашизма, подлинного мира и поэтому не можем предоставить господа-богу судить гитлеровских злодеев. Я напоминал, что, когда слепые политики отдали Чехословакию в руки фашистских палачей, их именовали «анге-

лами мира», на самом деле они были глупыми хитрецами и хитрыми глупцами.

Я получил много писем от фронтовиков, возмущенных обращением леди Гибб. (Кажется, еще больше писем получила леди — мне потом рассказывали, что почтальоны в небольшом городе, где она проживала, были подавлены лавиной русских писем.) Между тем леди Гибб случайно оказалась в центре внимания: дело было, конечно, не в ней; начиналась борьба между людьми, решившими уничтожить фашизм, и вчерашними «мюнхенцами», сторонниками «мягкого мира». Не сердобольные христиане, а вдоволь циничные политики восставали против решения Ялтинской конференции отдать под суд военных преступников, разоружить Германию и заставить немцев участвовать в восстановлении разрушенных ими городов. Как это ни звучит парадоксально, но уже в конце 1944 года, когда немцы контратаковали в Эльзасе и в Арденнах, нашлись американцы и англичане, озабоченные тем, чтобы оставить Германию, «способной преградить путь коммунизму», хотя бы часть ее военной силы.

Брэйсфорд, автор книги, изданной в Англии в 1944 году, предлагал прежде всего помочь немцам восстановить города Германии, отказавшись от каких-либо репараций, обязать чехословаков обеспечить равноправие судетским немцам, а вопрос о том, должна ли Австрия составлять часть Германии, решить плебисцитом. Различные телеграммы ТАССа выводили меня из себя. В Америке открыли довольно необычную школу: военнопленные немцы готовились к карьере полицейских в оккупированной Германии; по словам американских газет, слушатели этой школы соглашались на замену фашистского режима демократическим, но настаивали, чтобы американцы финансировали восстановление немецких городов, разрушенных союзной авиацией.

Начиная с февраля 1945 года Гитлер начал спешно перебрасывать дивизии с Западного фронта на Восточный. Вполне понятно, что из двух зол гитлеровцы выбирали меньшее. Они успели убедиться, что союзники, занимая немецкие города, снисходительно относятся ко вчерашним нацистам. В Рейнской области сплошь да рядом на посту бургомистра оставался гитлеровец. Газета «Дейли телеграф» осудила английского офицера, позволившего итальянским и русским пленным уйти из имения немецкого помещика: «Такие меры разваливают сельское хозяйство Германии». В различные экономические органы, создаваемые союзниками, включались крупные промышленники Рура, представители треста «ИГ». Видный американский публицист обнародовал книгу, где впервые провозглашал «атлантическую общность».

Бог ты мой, я никак не дипломат, да и не политик — литература мне всегда была понятнее и ближе сложной политической игры. Если я писал о том, что некоторые западные политики хотят оставить впрок микробы фашизма, то только потому, что помнил Испанию, Мюнхен, знал, какими жертвами оплачена победа над гитлеровской Германией.

Я продолжал писать, что мы пришли в Германию не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы вырвать фашизм с корнем. Вспоминая отдельные случаи насилия в городах Восточной Пруссии, возмущившие нас всех, я привел в «Красной звезде» письмо, полученное мною от офицера В. А. Курилко: «...Немцы думают, что мы будем делать на их земле то, что они делали на нашей. Эти палачи не могут понять величия советского воина. Мы будем суровы, но справедливы, и никогда, никогда наши люди не унижат себя...» Я писал дальше: «Я видел, как русские солдаты спасали немецких детей, мы не стыдимся этого, мы этим гордимся... Советский воин не тронет немецкой женщины... Он пришел в Германию не за добычей, не за барахлом, не за наложницами...»

«Холодная война» еще находилась в засекреченном инкубаторе, и многие люди на Западе говорили, что нужно понять резоны народа, понесшего больше всего жертв. В марте 1945 года «Нью-Йорк геральд трибюн» писала: «То, как Эренбург в последнее время подвел итоги военного положения, стоит многословных трудов пятидесяти конгрессменов, двадцати комментаторов и дюжины политических экспертов... Это не кабинетная стратегия, а конкретная тактика; это прямой жестокий характер войны, в которую немцы вовлекли мир. Никто из нас этого не хотел. Русские, заключившие в 1939 году пакт о ненападении, этого не хотели. Мистер Чемберлен, который со сложенным зонтиком прибыл в Роденсберг, этого не хотел. Поляки, французы, англичане, американцы этого не хотели, но немцы настояли на своем и геперь получают то, что они затеяли. Только те, что знают, какова эта война, способны обеспечить при победе мир для нашей истерзанной цивилизации».

Одиннадцатого апреля «Красная звезда» напечатала мою статью «Хватит!», мало чем отличавшуюся от предшествующих. Рассказывая, что Маннгейм сдался союзникам по телефону, а в Бранденбурге продолжаются тяжелые бои, я говорил, что фашисты куда более страшатся советской оккупации, чем англо-американской. «Хватит!» относилось к тем политическим кругам Запада, которые после первой мировой войны сделали ставку на сохранение и развитие германского милитаризма.

Двенадцатого апреля умер Рузвельт. Это было тяжелой потерей. Теперь у нас перспектива времени, и мы видим, что Рузвельт принадлежал к тем немногочисленным государственным деятелям Америки, которые хотели обновить климат мира и сохранить добрые отношения с Советским Союзом. Москва убралась траурными флагами. Все гадали, что будет делать новый президент Трумэн.

Семнадцатого апреля я был в Славянском комитете на ужине в честь маршала Тито. Ко мне подсел Г. Ф. Александров, спрашивал, не устал ли я, лестно отзывался о моей газетной работе. На следующий день, раскрыв «Правду», я увидел большой заголовок «Товарищ Эренбург упрощает», статья была подписана Г. Александровым. (Я, конечно, сразу понял, что Александров выступил не по своему почину и что накануне не рассказал мне об этом потому, что испытывал некоторую неловкость; может быть, поэтому он и расхваливал мои статьи.)

Г. Ф. Александров упрекал меня в том, что я не замечаю расслоения немецкого народа, говорю, что в Германии некому капитулировать, что все немцы ответственны за преступную войну, наконец что я объясняю переброску немецких дивизий с запада на восток страхом немцев перед Красной Армией, в то время как это — провокация, маневр Гитлера, попытка посеять недоверие между участниками антигитлеровской коалиции.

Конечно, я не рассказывал бы обо всем этом, если бы писал историю эпохи, но я пишу книгу о своей жизни и не могу промолчать об эпизоде, который причинил мне много трудных часов.

Я еще раз оказался наивным, а мне было пятьдесят четыре года: я не могу сослаться на молодость, неопытность; видимо, такого рода наивность лежит в моем характере. Я понимал, почему появилась статья Александрова: нужно было попытаться сломить сопротивление немцев, обещав рядовым исполнителям гитлеровских приказов безнаказанность, нужно было также напомнить союзникам, что мы дорожим сплоченностью коалиции. Я соглашался и с тем, и с другим — хотел, как все, чтобы последний акт трагедии не принес лишних жертв и чтобы близкий конец войны стал подлинным миром. Меня огорчало другое: почему мне приписали не мои мысли, почему нужно было осудить меня для того, чтобы успокоить немцев? Теперь, когда горечь тех дней давно за-

быта, я вижу, что в расчете была своя логика. Геббельс меня изображал как исчадие ада, и статья Александрова могла оказаться правильным ходом в шахматной партии. Но моя наивность была в том, что я считал человека не деревянной пешкой.

«Красная звезда», разумеется, перепечатала статью Александрова. Редактор со мною разговаривал сурово, как с солдатом-штрафником. В редакцию посыпались запросы с фронта, почему нет статей Эренбурга; об этом толковали и за границей. Мне предложили написать статью о боях за Берлин. Я знал, что статью редактор пошлет в ЦК тому же Г. Ф. Александрову, и предпочел это сделать сам. Копия письма Георгию Федоровичу у меня сохранилась: «...Иной читатель, прочитав Вашу статью, сможет сделать вывод, будто я призывал к поголовному истреблению немецкого народа. Между тем я, разумеется, никогда к этому не призывал, и это мне приписывала фашистская немецкая пропаганда. Я не могу написать хотя бы одну строку, не разъяснив так или иначе этого недоразумения. Как вы увидите, я сделал это не в форме возражения, а приведя цитату из моей прежней статьи. Здесь затронута моя совесть писателя и интернационалиста, которому отвратительна расовая теория...» Ответа я не получил.

Только 10 мая — на следующий день после Победы — «Правда» поместила мою статью «Утро мира». Я уже понимал, что мне не дадут оправдаться, и для людей, обладающих памятью, вставил без кавычек цитаты из моих давних статей — о том, что нам чуждо чувство мести и что для немецкого народа найдется место под солнцем, когда он очистится от фашизма.

К сожалению, статья Г. Александрова не произвела должного впечатления на немцев. Они были деморализованы задолго до этой статьи, но имелись еще боеспособные дивизии, которые продолжали упорно сопротивляться. Что касается союзников, то некоторые из них в первую минуту всполошились: уж не попытаются ли русские перетащить немцев на свою сторону? Впрочем, они быстро успокоились — понимали, что реки крови не бутылка чернил и что одна статья не изменит ни отношения советского народа к гитлеровцам, ни страха немецких бюргеров перед коммунизмом. Конечно, солдаты и офицеры союзных армий были настолько потрясены зрелищем Равенсбрука или Бухенвальда, что фашистским главарям не приходилось рассчитывать на пощаду, но промышленники Рура, генералы рейхсвера, крупные чиновники третьего рейха, гитлеровцы не очень приметные, те, что поспешно жгли партийные билеты, понимали, где они найдут влиятельных защитников.

Пожалуй, наиболее сильное впечатление статья Г. Александрова произвела на наших фронтовиков. Никогда в жизни я не получал столько приветственных писем. На улице незнакомые люди жали мне руку (не скрою: я этого побаивался и старался поменьше бывать на людях).

Фронтовики присылали мне в утешение подарки; об одном рассказу. Это было поломанное охотничье ружье, которое льежские оружейники поднесли в год VII республиканской эры консулу Бонапарту. Ружье было красивым, с монограммой республики, с барельефным портретом молодого Наполеона, с изображенной чернью на серебре морской битвой против англичан. Надпись «Свобода морей!» напоминала о борьбе революционной Франции против блокады. Но как мне ни нравилось ружье, еще больше обрадовало меня письмо от солдат, которые его нашли на прусской дороге и прислали мне. В нем были добрые слова о моих статьях трудного времени, сердечность, ласка.

Пришел Суриц, сказал: «Зря огорчаетесь. Это не против вас, просто в его нравах. Узнаю почерк...» В общем, он оказался прав. Несколько

недель меня не печатали, потом все забылось, и теперь о статье Г. Александра вспоминают только реваншисты из «Зольдатенцейтунг».

А вот вопросы, которые меня волновали в последние месяцы войны, увы, не устарели. Приветствуя в апреле 1945 года союзных солдат, гитлеровцы знали, что они делают, — требовалось крылышко, под которым можно укрыться, отдышаться, переждать, чтобы потом, выйдя на свет божий, снова заговорить о «красной опасности», о «защите Запада», об «исторической миссии Германии». На моем столе свежие газеты — сообщения о маневрах германской армии, о демонстрации судетских немцев, о выступлении военного министра Штрауса. Тяжело читать. Тяжело и вспоминать. Сказку про белого бычка можно не слушать. Но я пишу эту книгу в Новом Иерусалиме, рядом — братская могила, давно заросшая травой. Сегодня светлый осенний день; впервые идут в заново отстроенную школу важные малыши. Я не могу не думать о том, что их ждет.

22

В конце апреля сводка Совинформбюро сообщила, что в западном предместье Берлина войсками Первого Украинского фронта освобожден из немецкого плена Эдуард Эррио. Два дня спустя мне позвонили: «Эррио спрашивает, в Москве ли вы, он хотел бы вас повидать».

Эррио обнял меня: «Малыш, это было нелегко!..» Рассказывая о пережитом, он взволновался и вдруг перешел на «ты».

Я с ним познакомился в середине двадцатых годов. Встречались мы редко — в посольстве у В. С. Довгалева, в палате депутатов, в Лионе, в Марселе во время съезда радикальной партии, раза два или три вместе обедали. Он охотно рассказывал, я охотно слушал; я чувствовал, что он ко мне расположен, но смешно было говорить о дружбе: между нами были два десятка лет, позволившие ему назвать меня «малышом», да и жили мы в различных мирах — для премьер-министра, председателя парламента, мэра Лиона литература была отдыхом, а для меня политика являлась скорее военной службой, чем страстью или профессией.

У него было одно из тех лиц, которые остаются в памяти: большая голова, жесткие волосы, выпуклый лоб, мясистые щеки — все это напоминало работу современного скульптора, пуще всего боящегося пригладить ком глины. А голубые глаза ласково мерцали. До войны карикатуристы изображали Эррио с огромнейшим животом. Родился он в Шампани, но полвека прожил в Лионе, который славится тонкой кухней, любил вкусно поесть, не заботясь о своей талии. Я нашел его сильно похудевшим, пиджак на нем висел. Хотя немцы обращались с ним куда лучше, чем с обычными арестованными, приехав в Москву, он все время хотел есть. Когда его пригласили в ВОКС, он спросил меня шепотом: «Как вы думаете, нам дадут перекусить?..»

Улыбаясь, он рассказал мне, как его освободили красноармейцы: «Вошел ваш офицер, солдаты. Я закричал: «Франсуз! Эдуар Эррио!» И можете себе представить, он знал мое имя, пожал руку, смеялся, повторял «Эррио» на русский лад...» (Эррио постарался произнести свою фамилию с ударением на первом слоге.) Он говорил, что видел панику, понимал: не сегодня-завтра наступит развязка — убьют или освободят. «Но хорошо, что меня освободили ваши — ведь вся моя политическая биография связана с идеей франко-советской дружбы. Вы-то это знаете... А я начинаю думать о биографии — нужно, чтобы все увязалось...»

Он долго рассказывал, что пережил после разгрома Франции. Многое из того, что он говорил, я знал, но мне было интересно, как это восприни-

мает Эррио. Я увидел, что не ошибался, считая его одним из самых ярких представителей Франции прошлого века, той, что продержалась до первой мировой войны. Дело не только в возрасте, но и в идеях, в характере, в привычках. Конечно, как политический деятель он должен был проиграть — со своей отсталой стратегией, с устаревшим оружием, со словами, вышедшими из обихода, но именно эти анахронизмы меня к нему притягивали.

Кажется, на следующий день ему показали в маленьком просмотровом зале ВОКСа военную кинохронику. Он восхищенно смотрел на наши танки, продвигавшиеся по немецким дорогам. Потом на экране появились трупы, печи Освенцима, тюки с женскими волосами, подготовленные для отправки в Германию. Я переводил: «Шесть тонн женских волос» — и вдруг увидел, что Эррио закрыл глаза, по его щеке катились слезы. Когда мы вышли из зала, он сказал: «Я об этом не знал... Мне, видимо, время умереть — я ничего не понимаю... Вы знаете, почему я увлекся политикой? Из-за дела Дрейфуса. Я был преподавателем, мечтал о литературной работе. И вдруг «дело». Одного человека неправильно осудили только потому, что он был евреем, и вся Франция раскололась. Мне было двадцать шесть лет, я кричал до хрипоты. Золя, Жорес, Анатоль Франс... Шли телеграммы — Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, все протестовали... Одного невинного послали на Чертов остров!.. Скажите, вы понимаете, что произошло с человечеством? Я лично ничего не понимаю. «Шесть тонн женских волос...» Я знаю, что это — нацисты, немцы, но ведь это наши современники, соседи. У них был Бетховен...»

Немцев он не любил, говорил: «Больше всего меня удивляет их коварство. Даже больше, чем жестокость. Я говорил с Штреземаном, и в течение четверти часа он трижды мне солгал. Он мечтал об одном — после короткой передышки отыгратья, восстановит первенство «великой Германии». Однако нелюбовь к немцам у Эррио не связывалась с расизмом или шовинизмом: он обожал старую немецкую музыку, помогал антифашистским немецким беженцам. Это может звучать удивительно, даже чудовишно — для человека, который часто стоял во главе правительства большой державы в середине XX века, еще имели первостепенное значение вопросы вполне старомодные, например, «сдержать данное слово», «спасти честь». «Нужно платить долги Америке — мы ведь дали слово». «Англичане допускают перевооружение Германии, где же их обещания?» «Мы обманули чехов, это пятно на чести Франции». «Бельгийский король, сын «короля-рыцаря», поступил недостойно: капитулировал, не запросив союзников». «Нельзя сложить оружие — мы связаны договором с Англией».

В трагические дни июля 1940 года Эррио поддерживал проект отъезда правительства в Алжир, где можно будет организовать сопротивление. Одновременно он показал всю свою слабость: просил, чтобы его Лион объявили открытым городом. Говоря, что Петен коварнее немцев, Эррио все же взывал к его чувству справедливости. Собрали Национальную ассамблею: депутатам было предложено отречься от себя и похоронить Республику. На первом заседании председательствовал Эррио, в своей речи он сказал: «Наш народ, переживающий великую беду, объединился вокруг маршала Петена, имя которого вызывает общее благоговение...» Рассказывая мне о том времени, он признался: «Это было одной из самых больших ошибок в моей жизни. Конечно, я знал, что Петен ненавидит Республику, но мне казалось, что в нем есть понятие чести и он не осмелится поднять руку на свободу...» Эррио не протестовал против капитуляции. Он примирился с передачей всей власти Петену. Но он не мог принять обвинений, выдвинутых против депутатов, которые уехали в Алжир: «Они повиновались долгу, чести...» Профаши-

стские депутаты возмущенно прерывали его, и, вспоминая об этом, Эррио мне говорил: «Настоящие каннибалы!..» (То же слово вырвалось у Золя, когда сиятельная чернь во время дела Дрейфуса улюлюкала под его окнами.) В начале июня 1941 года Эррио потребовал от Петена, чтобы тот оградил достоинство Франции: помилуйте, немцы лишают депутатов Эльзаса и Лотарингии права называть себя членами французского парламента! В августе 1942 года, когда Германия казалась непобедимой, когда ее войска дошли до Волги, до Северного Кавказа, до границ Египта, Эррио выступил трижды: он протестовал против расстрела немцами заложников, ссылаясь на Гаагскую конвенцию; возмущался преследованиями французских евреев; наконец вернул свой орден Почетного легиона после того, как такие же ордена были выданы двум изменникам, сражавшимся в России на стороне Германии. Эррио арестовали, а осенью 1944 года передали гитлеровцам, которые отправили его в Германию.

Если подойти к этим противоречивым поступкам как к политике крупного государственного деятеля, то останется только развести руками. Да, конечно, Эррио был одним из лидеров радикалов — этой чрезвычайно пестрой, рыхлой партии, объединявшей бедных крестьян Юга и крупных дельцов, свободолюбивых учителей и полуфашистов, называвших себя «младорадикалами», и все же удивительно, как столь противоречивый человек, смелый и растерянный, образованный и наивный, мог в течение многих лет возглавлять правительство великой державы. Но если вспомнить, что Эррио сформировался в прошлом столетии, что он был автором книг, посвященных госпоже Рекамье, философу Филону Александрийскому, молодой Советской Республике, что он мог в перерыве между двумя заседаниями совета министров беседовать с русским писателем о Декарте или о вкусах советской молодежи, что каждую неделю он лично принимал в мэрии Лиона всех просителей, терпеливо выслушивая их жалобы, что он гордился знакомством не с королями, не с магнатами промышленности, а с Горьким и с Эйнштейном, то многое в его биографии станет понятным.

После второй мировой войны правые упрекали Эррио за то, что он якшался с «красными», а левые говорили об его неблагодарности: «Он забыл, как танцевал от радости, когда его освободили советские солдаты». Эррио ничего не забывал, просто он оставался самим собой — непоследовательным в политике и верным в своих привязанностях. Весной 1954 года я был у него в Лионе. Среди прочего мы заговорили о советском искусстве. Я сказал ему, что считаю обращение французского правительства с Улановой и другими артистами московского балета позорным: их пригласили на гастроли и вдруг запретили выступать, ссылаясь на события в Индокитае. Эррио внимательно слушал, подошел к письменному столу и написал здесь же письмо, адресованное мне: «Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам, как я сожалею об инциденте с балетом и как я его осуждаю. Злая судьба как бы чинит все препятствия франко-русскому сближению, которого я, как старый демократ, страстно желаю. Я заверяю Вас, что большинство французов в этом согласны со мною». Он дал мне листок: «Можете напечатать...»

Вскоре после этого болезнь Эррио обострилась — он не мог передвигаться. В августе 1954 года национальное собрание должно было ратифицировать договор об Европейском оборонительном сообществе», говоря проще — о согласии Франции на ремилитаризацию Западной Германии. Эррио приехал на заседание палаты; он не смог подняться на трибуну и выступал, сидя в кресле. Он резко осудил внешнюю политику Франции, сказал, что залог европейской безопасности во франко-советском сближении, и обратился к депутатам с предостережением: «Видите

ли, дорогие коллеги, вы не найдете мира, если будете его искать на дорогах войны».

В 1956 году в Лионе состоялось совещание представителей различных миролюбивых организаций, посвященное опасности возрождения германского милитаризма. Мы заседали в кабинете Эррио. Его здоровье ухудшалось с каждым месяцем; он все же захотел приветствовать нас. Он шел с трудом, его поддерживали. Он сказал о том, что нужно бороться за мир, что оружие в руках боннского правительства — угроза всей Европе; он выглядел слабым, дряхлым, но глаза по-прежнему ласково мерцали, и голос был молодым, звонким. Больше я его не видел.

В Москве в 1945 году он хотел побеседовать с одним из руководителей советской политики. Отношения между союзниками были скорее натянутыми. Состав французского посольства успел перемениться. Французские дипломаты сказали Эррио: «Русские справились, когда вы предполагаете уехать, — это больше, чем намек...» Видимо, кому-то хотелось рассорить Эррио с его советскими друзьями.

У него тогда не было трубочного табака. Я долго искал, наконец раздобыл несколько пачек «золотого руна», позвонил Эррио, но мне ответили, что он «неожиданно уехал». Я послал табак вдогонку и вскоре получил письмо: «Ваш табак я получил в Тегеране. По моим расчетам, его хватит до конца моей жизни. Я очень сожалею, что пришлось уехать, не простившись с вами, что не удалось провести вместе исторический день Победы, не завершить должно пребывания в Москве. Но в десять часов вечера мне сказали, что я должен вылететь в четыре часа утра».

Он дожил до восьмидесяти пяти лет и умер за год до конца Четвертой республики. Его пристрастия и отталкивания не менялись. Он не любил военщину, клерикалов, пруссаков, шовинистов, антисемитов, не любил коварства, мюзик-холлов и строгой диеты; а любил он традиции якобинцев, Лион, Декарта, русских, Бетховена, красноречье, популярность и вино «божоле».

В 1954 году, когда я был у него, он вдруг заговорил о поэзии, рассказал, как в молодости встретил старого, спившегося Верлена, который хлопотал о пособии. «Вы любите Вийона, — сказал он, — а знаете ли вы стихи лионской поэтессы шестнадцатого века Луизы Лабэ?» И он прочитал начало одного из ее сонетов: «Живу и гибну и горю — дотла, я замерзаю, не могу иначе — от счастья я в тоске смертельной плачу, легка мне жизнь, легка и тяжела».

Может быть, этими стихами лучше закончить рассказ об Эррио. Но, чтобы вернуться к нити повествования, напомним: второго мая он говорил мне: «Скоро я чокнусь с вами, со всеми русскими друзьями за одержанную победу», а накануне победы его посадили в самолет.

Я хорошо помню последние дни войны. В Берлин мне поехать не удалось из-за статьи Александрова. Я сидел у приемника и ловил Лондон, Париж, Бразавиль: ждал развязки.

Войны начинаются почти всегда внезапно, а кончаются медленно: уже ясен исход, но люди еще гибнут и гибнут.

В апреле я писал: «В Германии некому капитулировать...» Третий рейх умирал, как и жил — бесчеловечно. Не было теперь кильских моряков, не было даже принца Макса Баденского. Не нашлось ни одного полка, ни одного города, который хотя бы в последнюю минуту восстал против нацистских главарей. Один немецкий остряк потом говорил, что красные гардины повсюду остались невредимыми, зато не было больше простынь — белые тряпки выползали из всех окон. Союзники теперь про-

двигались быстро: один немецкий город сдавался за другим. А в Берлине шли бои, и в Берлине сдавался дом за домом. Ветераны, помнившие империю Гогенцоллернов, школьники, одураченные дешевой романтикой, эсэсовцы, боявшиеся расплаты, стреляли в советских солдат из окон, с крыш. А фашистские главарь закатывали истерики в бомбоубежищах или тихонько пробирались на запад, переодевались, гримировались.

Первого мая немецкое радио сообщило, что Гитлер погиб, как герой, в Берлине. День или два спустя Лондон передал, что фюрер покончил жизнь самоубийством вместе с Гиббельсом. Геринг и Гиммлер скрылись. Адмирал Дениц объявил, что возглавляет новое правительство; однако составить его было трудно — оппозиции в Германии давно не было, а люди, еще вчера поддерживавшие Гитлера, мечтали скорее о швейцарском паспорте, чем о министерском портфеле.

Вечером 7 мая я слушал Браззавиль: в Реймсе представители Деница и германского командования подписали акт о капитуляции; от Советского Союза документ подписал полковник... Три раза я прослушал сообщение, но так и не разобрал, о каком полковнике идет речь, — диктор не мог выговорить русское имя (оказалось, это был полковник Суслопаров, которого я знал — он был военным атташе во Франции). Браззавиль сообщил также, что 8 мая объявлено праздничным днем. Я взволновался, позвонил в редакцию; мне сказали, что нельзя доверять слухам, возможно, это провокация — попытка сепаратного мира, так или иначе военные действия продолжаются.

Восьмого мая из Лондона, из Парижа передавали радостный гул толпы, песни, описания демонстраций, речь Черчилля. Вечером были два салюта — за Дрезден и несколько чехословацких городов. Однако с двух часов дня не умолкал телефон — друзья и знакомые спрашивали: «Вы ничего не слышали?» — или таинственно предупреждали: «Не выключайте радио...» А московское радио рассказывало о боях за Либаву, об успешной подписке на новый заем, о конференции в Сан-Франциско.

Поздно ночью наконец-то передали сообщение о капитуляции, подписанной в Берлине. Было, кажется, два часа. Я поглядел в окно — почти повсюду окна светились: люди не спали.

Начали выходить на лестницу, некоторые не одетые — их разбудили соседи. Обнимались. Кто-то громко плакал. В четыре часа утра на улице Горького былолюдно: стояли возле домов или шли вниз — к Красной площади. После дождливых дней небо очистилось от облаков и солнце отогревало город.

Так наступил день, которого мы столько ждали. Я шел и не думал, был песчинкой, подхваченной ветром. Это был необычайный день и в своей радости, и в печали: трудно его описать — ничего не происходило, и, однако, все было полно значения — любое лицо, любое слово встречного.

Пожилая женщина показывала всем фотографию юноши в гимнастерке, говорила, что это ее сын, он погиб прошлой осенью, она плакала и улыбалась. Девушки, взявшись за руки, что-то пели. Рядом со мною шла женщина и мальчик, который все время повторял: «Вот это майор. Ура! Старший лейтенант, орден Отечественной второй степени. Ура!..» У женщины было милое изможденное лицо; вдруг я вспомнил, как в начале войны на Страстном бульваре сидела женщина с сыном, который шалил, а она плакала. Мне показалось, что это она; наверное, и сходства не было, просто два лица сливались в одно. Девочка сунула моряку букетик подснежников, он хотел ее обнять, она фыркнула и убежала. Старик громко сказал: «Вечная память погибшим», майор на костылях поднес руку к козырьку, а старик рассказывал: «Жена просила: «Скажи», она простыла, лежит... Гвардии старшина Березовский. Две личные бла-

годарности от товарища Сталина...» Кто-то сказал: «Ну, теперь скоро вернется...» Старик покачал головой: «Погиб смертью героя, восемнадцатого апреля, командир написал.. Жена просила: «Ты расскажи...»

Я говорил, что было много печали: все вспоминали погибших. Я думал о Борисе Матвеевиче, и мне казалось, что в ту ночь, когда мы читали роман Хемингуэя, он хотел что-то рассказать, но мы торопились, и разговора не вышло; думал о том, что мы жили рядом, а я с ним мало разговаривал, то есть говорили мы много, но все о другом — не о главном. Я думал о добром Жене Петрове, вспоминал, как он, смеясь, говорил: «Вот кончится война, напишу классический роман в семи томах о героизме комиссара государственной безопасности третьего ранга Юстиана Иннокентьевича Прокакина-Стукала». Вспомнил, как он уговаривал меня надеть теплое белье: «Вы не пижон, и Можайск не Ницца...» Вспомнил товарищей по «Красной звезде», молодых поэтов Михаила Кульчицкого, Павла Когана, тацинцев, Черняховского, Юрия Севрука из «Знамени», ездового Мишу, который под Ржевом читал мне свои стихи. Почему-то все время перед моими глазами вставал Ржев, дождь, два дома — «полковник» и «подполковник», как будто не было потом ни Касторной, ни Вильнюса, ни Эльбинга. Все Ржев да Ржев...

Кажется, не было в нашей стране стола, где люди, собравшись вечером, не почувствовали пустого места. Об этом потом написал Твардовский: «...Под гром пальбы прощались мы впервые со всеми, что погибли на войне, как с мертвыми прощаются живые».

Днём на Красной площади подростки веселились, их веселье передавалось другим. Да и можно ли было не радоваться: кончилось! Качали военных. Один офицер протестовал: «Ну меня за что?..» В ответ кричали «ура». Несколько военных узнали меня, кто-то крикнул: «Эренбург!» Начали и меня качать. Неприятно, когда тебя подкидывают вверх, а главное, неловко: я молил «хватит», но это только подзадоривало солдат, и меня подбрасывали еще выше.

«Кончилось» — я повторял это Любе, Ирине, Савичам, знакомым, чужим. Слов нет, чтобы сказать, как я возненавидел войну. Из всех человеческих начинаний, порой жестоких и безрассудных, это самое окаянное. Нет для него оправдания, и никакие разговоры о том, что война в природе людей или что она школа мужества, никакие Киплинги и киплингствующие, никакая романтика «мужских бесед у костра» не прикроют ужаса убийства оптом, судьбы выкорчеванных поколений.

Вечером передавали речь Сталина. Он говорил коротко, уверенно: в голосе не чувствовалось никакого волнения, и назвал он нас не как 3 июля 1941 года «братьями и сестрами», а «соотечественниками и соотечественницами». Прогремел небывалый салют — палила тысяча орудий, дрожали стекла; а я думал о речи Сталина. Отсутствие сердечности меня огорчило, но не удивило. Он — генералиссимус, победитель. Зачем ему чувства? Люди, слушавшие его речь, благоговейно восклицали: «Сталину ура!» Это тоже давно перестало меня удивлять, я привык к тому, что есть люди, их радости, горе, а где-то над ними — Сталин. Дважды в год его можно увидеть издали; он стоит на трибуне Мавзолея. Он хочет, чтобы человечество шло вперед. Он ведет людей, решает их судьбы. Я сам писал о Сталине-победителе; я думал о солдатах, веривших в этого человека, о партизанах или заложниках, о предсмертных письмах, заканчивавшихся словами: «Да здравствует Сталин!» Вспоминая вечер девятого мая, я мог бы приписать себе другие, куда более правильные мысли — ведь я помнил судьбу Горева, Штерна, Смушкевича, Павлова, знал, что они были не изменниками, а честнейшими и чистейшими людьми, что расправа с ними, с другими команди-

рами Красной Армии, с инженерами, с интеллигенцией дорого обошлась нашему народу. Но скажу откровенно: в тот вечер я об этом не думал. В словах, произнесенных (вернее, изреченных) Сталиным, все было убедительно, а залпы тысячи пушек прозвучали, как «аминь».

Наверно, все в тот день чувствовали: вот еще один рубеж, может быть, самый важный — что-то кончилось, что-то начинается. Я знал, что новая, послевоенная жизнь будет трудной — страна разорена и бедна, на войне погибли молодые, сильные, может быть, лучшие; но я знал также, как вырос наш народ, помнил мудрые и благородные слова о будущем, которые не раз слышал в блиндажах и землянках. И если бы кто-нибудь сказал мне в тот вечер, что впереди ленинградское дело, обвинение врачей — словом, все, что было разоблачено и осуждено десять лет спустя на XX съезде, я счел бы его сумасшедшим. Нет, пророком я не был.

Начиная с середины апреля я располагал досугом и много думал о будущем. Порой меня охватывала тревога. Хотя в последние недели из наших газет исчезли сообщения о распрях между союзниками, я понимал, что подлинного согласия нет и вряд ли оно будет. Меня удивляло, как снисходительно говорили американцы и англичане о Франко, о Салазаре. Я боялся, что западные союзники будут добиваться такого мира, при котором немецкая военщина сможет быстро встать на ноги. В моем блокноте записана передача французского радио — беседа с одним немецким генералом, который сдался в плен американцам. Его любезно приняли в ставку; отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Гитлер совершил непростительную ошибку, направив удар на Запад, мы за это расплачиваемся. Я надеюсь, что ваши правительства поступят разумнее, ведь через десять лет вам придется в войне против русских опираться на Германию». Репортер возмущенно добавлял, что такие декларации могут вызвать улыбку презрения. Я слушал и не улыбался. Радиопередачи сообщали о том, что американцы ведут переговоры с адмиралом Деницем, который наконец-то нашел министров и обосновался в небольшом городе Фленсбург возле датской границы. Все поздравляли Сталина, прославляли Красную Армию, и все-таки на душе было беспокойно.

А что будет у нас после войны? Об этом я еще больше думал. Нужны новые методы воспитания — не окрики, не зубрежка, не кампании, а вдохновение. Нужно вдохнуть в молодых начала добра, доверие, огонь, исключаящий безразличие к судьбе товарища, соседа. Главное — что будет теперь делать Сталин? По поручению «Красной звезды» Ирина в марте поехала в Одессу — оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленными, среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказала, что их встретили, как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в лагерь. Минутами я спрашивал себя: не повторится ли тридцать седьмой? Но опять меня подводила логика, я говорил себе: в тридцать седьмом был страх перед фашистской Германией и открыли огонь по своим. Теперь фашизм разбит, Красная Армия показала свою силу. Народ пережил слишком много... Прошое не может повториться. Еще раз я принимал свои желания за действительность, а логику — за обязательный предмет в школе истории.

Я говорю об этом потому, что хочу понять, почему поздно вечером того необычайного дня я написал стихотворение с заголовком «Победа». Оно недлинное, и я его приведу целиком: «О них когда-то говорил поэт; они друг друга долго ожидали, а, встретившись, друг друга не узнали — на небесах, где горя больше нет. Но не в раю, на том земном просторе,

где шаг ступи — и горе, горе, горе, я ждал ее, как можно ждать любя, я знал ее, как можно знать себя, я знал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал. Закончилась война. Я шел домой. Навстречу шла она. И мы друг друга не узнали».

А. А. Фадеев как-то спросил меня, когда я написал эти стихи. Я ответил, что в День Победы. Он удивился: «Почему?» Я честно признался: «Не знаю». Да и теперь, вспоминая тот день, я не понимаю, почему именно такой увидел я долгожданную Победу. Вероятно, в природе поэзии чувствовать острее, да и глубже; в стихах я не пытался быть логичным, не утешал себя, а передавал недоумение, тревогу, которые таились где-то в глубине.

Я стараюсь как можно точнее восстановить тот далекий день. Я перечитал написанное и вдруг смутился: читатель может подумать, что я только рассуждал, тревожился. А я радовался вместе со всеми, улыбался, поздравлял. Победа! Я вспоминал ночи Мадрида, эсэсовцев на парижских улицах, Киев. Бог ты мой, какое счастье! Что там ни говори, начинается новая эпоха. Наш народ показал свою силу — плохо подготовленный, застигнутый врасплох, он не сдался, стоял насмерть под Москвой, у Волги, повернулся лицом к захватчику, повалил. Я вспомнил статью в «Крисчен сайенс монитор»: «Может быть, последующую эпоху окрестят «русским веком»...»

Все это размышления над будущим. А хочется мне кончить рассказ о девятом мае другим: это был день необычайной близости всех, и сказывалась она не только в том, что незнакомые люди на улице целовались, — в улыбках, в глазах, в каком-то тумане сочувствия, нежности, который ночью окутал город.

Последний день войны... Никогда я не испытывал такой связи с другими, как в военные годы. Некоторые писатели тогда написали хорошие романы, повести, поэмы. А что у меня осталось от тех лет? Тысячи статей, похожих одна на другую, которые теперь сможет прочитать только чрезмерно добросовестный историк, да несколько десятков коротеньких стихотворений. Но я пуще всего дорожу теми годами: вместе со всеми я горевал, отчаивался, ненавидел, любил. Я лучше узнал людей, чем за долгие десятилетия, крепче их полюбил — столько было беды, столько душевной силы, так прощались и так держались.

Об этом тоже я думал ночью, когда погасли огни ракет, стихли песни и женщины плакали в подушку, боясь разбудить соседей, — о горе, о мужестве, о любви, о верности.

(Конец пятой книги)



Д. САМОЙЛОВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

..*

Странно стариться. Очень странно.
Недоступно то, что желанно,
но зато бесплотное весомо —
мысль, любовь и дальний отзвук грома.
Тяжелы, как медные монеты,
слезы, дождь... Не в тишине, а в звоне
чьи-то судьбы сквозь меня продеты.
Тяжела ладошка на ладони.

Даже эта легкая ладошка
ношей кажется мне непосильной,
непосильной
даже для двужильной
суетной судьбы моей.
Вот эта,
в синих детских жилках у запястья,
легче крылышка,
легче пряжи —
эта легкая ладошка даже
давит, давит, словно колокольня.
Раздавила пальцы, губы, сердце,
маленькая, словно птичье тельце.

Дом - музей

*Потомков ропот восхищенный,
Блаженной славы Парфенон...*

Из старого поэта.

...производит глубокое...

Из книги отзывов.

Заходите, пожалуйста! Это —
Стол поэта. Кушетка поэта.
Книжный шкаф. Умывальник. Кровать.
Это штора — окно прикрывать.
Вот любимое кресло. Покойный
Был ценителем жизни спокойной.

Это вот безымянный портрет.
Здесь поэту четырнадцать лет.
Почему-то он сделан брюнетом —
Все ученые спорят об этом.
Вот позднейший портрет — удалой.
Он писал тогда оду «Долой»
И был сослан за это в Калугу.
Вот сюртук его с рваной полрой —
След дуэли. Пейзаж «Под скалой».
Вот начало «Послания к другу».

Вот письмо: «Припадаю к стопам...»
Вот ответ: «Разрешаю вернуться».
Вот поэта любимое блюдо,
А вот это — любимый стакан.
Завитушки и пробы пера,
Варианты поэмы «Ура!»
И гравюра «Вручение медали».
Повидали? Отправимся дале.
Годы странствий. Венеция. Рим.
Дневники. Замечанья. Тетрадки.
Вот блестящий ответ на нападки
И статья «Почему мы душим?».

Вы устали? Уж скоро конец.
Вот поэта лавровый венец,
Им он был удостоен в Тулузе.
Этот выцветший дагерротип —
Лысый, старенький, в бархатной блузе —
Был последним. Потом он погиб.

Здесь он умер. На том канapé.
Перед тем прошептал изреченье
Непонятное: «Хочется пе...»
То ли песен, а то ли печенья?
Кто узнает, чего он хотел,
Этот старый поэт, перед гробом!
Смерть поэта — последний раздел.
Не толпитесь перед гардеробом.



И. ИСАКОВ

★

КОНЕЦ ОДНОЙ «ДЕВЯТКИ»

(Из невыдуманных рассказов)

Почему комбриг Столярский сменил большую серебряную серьгу в левом ухе на чуть заметное тонкое колечко и зачем срезал свою «норвежскую» бороду, расплзавшуюся веером от кадыка, отчего бритые губы и подбородок казались более голыми,— об этом придется рассказать в следующий раз. А пока достаточно знать, что мы по-прежнему очень уважали и крепко любили его в новом качестве экстраординарного профессора не меньше, чем на Волге, где он был начальником гидродивизиона и, кроме пиратской серьги и бороды, носил еще фишку и маузер. (В те времена военморлет Станислав Столярский именовался чаще всего просто Стахом.)

Сегодня в факультетский кабинет Стах ворвался, как всегда, словно ~~шквал~~ — внезапно, порывисто и громко, заглушая всех, кроме самого себя.

— Кто пикирует? Много всплесков и брызг, но не вижу попаданий! В чем дело?

Спорившие молчали. Тогда нейтральный наблюдатель, который всегда предсказывал авиации блестящее будущее, но только при условии, что сам он будет находиться на твердой суше или на палубе корабля, выступил в роли комментатора:

— По-моему, потери есть с обеих сторон... Если позволите — я доложу. Вы, конечно, слышали о нашумевшем случае, когда какой-то летун хитрился сигануть...

— Не какой-то, а летчик Чкалов! Не сиганул, а пролетел!

— Так точно, пролетел под Николаевским мостом...

— Лейтенанта Шмидта!

— Так точно... Так вот, ваш адъютант написал статью в специальный журнал, в которой пытается доказать, что этот пролет был не выражением ухарства или удалства, а... итогом предварительных соображений и расчетов, преследовавших определенную позитивную цель. Однако, зная наперед, что начальство такой эксперимент не разрешит, летчик рискнул на ЧП и... попал на гауптвахту. В данный момент перепалка произошла потому, что редакция возвратила статью с заключением, что, независимо от побуждений Чкалова, «публикация подобной статьи была бы непедagogичной», поскольку «вся молодежь хочет стать летчиками, а все летчики — Чкаловыми» и так далее.

— Ясно! Но это мнение редакции! А каково суждение грандов? ¹

¹ Придется как-нибудь рассказать, почему в неофициальных обращениях укоренилась привычка называть друг друга «синьорами» и «грандами».

Первым не выдержал «гранд», соглашавшийся с журналом:

— Я ему и говорю, что в редакции недостаточно серьезно оценивают события. Сейчас каждый мальчишка мечтает сразу стать Чкаловым, минуя скучный процесс пребывания в школах и в частях. Вот почему, прочтя эту статью,— (кивок головой в сторону адъютанта),— многие пилоты начнут сигать с моста, прижав к животу учебник по аэронавигации того же автора, так как это пособие легче воздуха...

— Стоп! Это удар ниже пояса! Как старший, допускать подобное не могу...

Попытку покрасневшего автора учебника открыть рот Стах пресек движением руки.

— Не надо отвлекаться из-за обид. Случай слишком серьезный! — И голосом глуховатым, с своеобразной хрипотцой, но в то же время очень сильным он продолжал: — Чтобы ни у кого не оставалось сомнений насчет моей позиции в вопросе о педагогичности подобной статьи, скажу сразу: я целиком на стороне ее автора! Чкалов показал, что можно сделать с хорошей машиной — необязательно под мостом. Таксе может случиться под высоковольтными проводами, в ущельях между скалами или сквозь просеки — между деревьями... Мало ли где придется внезапно выкручиваться? Именно выкручиваться! Но главное — он показал, что может сделать летчик, в совершенстве владеющий самолетом, и на что может воодушевить летчика хороший самолет! К черту редакцию! Мы еще поговорим с ней! Кстати, под арками Троицкого моста еще летом 1917 года пролетал несколько раз морской летчик Грузинов¹ на гидросамолете М-9. Возможно, этот эксперимент повлиял на решение Чкалова, но равнять их нельзя. Грузинов был блестящий пилотажник, но увлекающийся «фокусник», за которым числилось несколько трюков, выполненных для «полировки нервов» вывозимых им учеников. Чкалов никого не втягивал в свой эксперимент. А сейчас, синьоры, признайтесь, кто из вас знает историю о том, как Борис Чухновский сдавал свою старую «девятку»? Непосвященных прошу остаться; остальных не задерживаю!

Дневные занятия в Морской академии закончились, но никто не встал. Все стали устраниваться поудобнее и хлопать крышками портсигаров.

— Подумать только!.. Почти невероятно!.. Такое собрание водоплавающих, ныряющих и пернатых, а меж тем весьма назидательная история, по всей видимости, никому не известна! Очевидно, тот же самый критерий «непедагогичности», задушил ее в зародыше, да так, что не только статьи или рассказа, но даже и устного предания не сохранилось!

Стах раскурил свою огромную пиратскую трубку и приступил к повествованию. Не желая задерживать своих коллег и сотрудников после рабочего академического дня, он изложил эту историю более лаконично, чем она заслуживала. Вот почему, записав основное, я в дальнейшем пользовался всяким случаем, чтобы пополнить рассказ об этом происшествии расспросами участников и свидетелей. Однако в моих расчетах узнать наиболее интересные подробности от самого виновника ЧП я оказался обманутым. Я столько раз летал без разрешения, в том числе и на отслуживших срок или на аварийных самолетах, что случалось попадать в более тяжелые условия, чем в эпизоде, переданном Столярским. Возможно, поэтому сейчас не могу вспомнить подробностей этого происшествия.

Записи эти лежали в столе годы, изредка обрастая некоторыми деталями. И вот спустя почти сорок лет после самого события и почти три-

¹ Разбился в США во время испытаний закупленных истребителей.

дцать лет после первой попытки его рассказать он наконец появляется в свет с включением некоторых подробностей, о которых, возможно, не знал даже Стах Столярский.

В один прекрасный летний день...

Это не просто банальное вступление. День действительно был ясным и теплым, что нечасто случается на Балтике. Но, кроме того, штилевая, солнечная обстановка понадобится нам для разъяснения событий, происшедших в тот день.

Итак, весной 1923 года на Ораниенбаумской гидроавиастанции с утра начала работать техническая комиссия, чтобы определить категорию самолетов и моторов воздушной бригады Балтийского моря и исключить из списков те планеры и моторы, которые по причине износа или аварий уже «не лезли ни в какую категорию».

Назначение подобной комиссии было для морских летчиков важным событием. Ведь новые советские машины не поступали уже много лет, а за границей приобретались пока единицы, почему списание непригодных безжалостно уменьшало состав гидроавиации РСФСР.

Для многих комиссия оборачивалась проклятым вопросом: летать или не летать?

Еще несколько лет назад на каждом флоте, в любой речной или озерной флотилии были (и не только были, но и неплохо воевали) свои гидроотряды, гидродивизионы и даже бригады.

Именно Ораниенбаумскому (первому) гидродивизиону пришлось после немцев и англичан бомбить в 1919 году восставших на форту Красная Горка и совсем недавно — участвовать в операциях против кронштадтских мятежников.

А сегодня? Куда податься, если на каждый залатанный самолет по два-три экипажа, а кроме того, десятки «безлошадных» летчиков?!

Нет, так ставить вопрос нельзя.

Есть куда податься. Куда душа хочет. И в состав гидрографических экспедиций; и со зверобоями на тюленей и моржей; и для обеспечения плавания «купцов» в устья северных рек. А транспортное обслуживание северных факторий или... курортных линий? В общем, задач — сколько хочешь!

Но на чем?

Самолета, вернее отечественного гидросамолета, нет.

А тут еще эта комиссия!

Почтенного вида председатель по тучности, плавности движений и бороде, бесспорно, отвечал всем внешним признакам авторитетного специалиста. Старая флотская фуражка и китель со следами отпоротых знаков принадлежности к... «их превосходительствам» несколько не умаляли, а еще больше подчеркивали весомость технического авторитета.

Два-три летчика и инженера старой формации из бывших «богов» балтийской авиации. Два-три пилота и авиамеханика новой формации из бывших авиамотористов и будущих «богов» советской авиации.

Комиссию удачно замыкал молодой секретарь из недоучившихся юноцов, неугомонный и веселый, с замысловатым серебряным крылом на рукаве.

В связи с редким великолепием летнего штилевого дня начальство распорядилось вытащить приготовленные канцелярские столы из ангара на бетонную набережную. Отсюда членам комиссии были видны не только самолеты, мирно покачивающиеся на якорных буйках, но и вся база: взморье, расплывчатый силуэт Кронштадта и даже — при наличии воображения — Петроград.

Чуть поодаль на громадных заводских ящиках из-под моторов или отдельных частей самолетов сидели и возлежали с равнодушным видом те, чьиими золотыми руками неоднократно чинились и латались машины, стоящие на буйках или с задранными хвостами на спусках.

Внешне спокойные? Да! Равнодушные? Нет, никогда! Если в их среде случайно и оказывались равнодушные, то такие быстро отсеивались. А оставшиеся, обмораживая пальцы на холоде, обдирая их в кровь, с головой, тяжелой от паров адской смеси, «рекомендованной техническим отделом в качестве заменителя авиабензина», насквозь промасленные из-за нехватки табельной спецробы, — работали дни и ночи, чтобы всегда иметь право доложить: «Машина в порядке». И даже когда они не летали в качестве «бортового», а провожали глазами «своего» пилота — разве тогда они бывали спокойными или равнодушными?

Какая стойка вылетит внезапно, как подрубленная, в самый неподходящий момент? Какая растяжка лопнет, как струна на гитаре? Не «обрежет» ли в воздухе мотор, при пробных пусках работавший как будто нормально? Разве можно быть спокойным или равнодушным до конца полетов, если все это хозяйство латано-перелатано, чинено-перечинено пускай даже собственными твоими руками?

После этой комиссии придется ли еще возиться с самолетами или — слесарем в мастерские, а то и огородником в подсобное хозяйство?

А пока что покурим!

Традиция не позволяет в этих делах выражать свои чувства, а какой-то особенный, напускной цинизм считается вроде как хорошим тоном бывалых людей.

Ох уж это балтийское лето!

Иногда лето как лето. Правда, ненадолго.

Но чаще не лето, а какая-то перемежающаяся лихорадка. То дождь, то туман. То штиль, то ветер. А то и шторм почище зимнего, только короче. То прохладно, то тепло. Бывает даже жарко... Однако без всякой последовательности, при неизменной бледности лимфатического солнца и непомерно долгих сумерках.

Что же является специфическим, в числе других особенностей, для гидроавиаметеообстановки этой самой Балтики?

А то, что в тихий и безоблачный летний день глаз ясно видит сквозь белесо-мутноватую атмосферу все то, что находится вплотную — и мутно-голубую волнушку, желтеющую к устью Невы, и силуэт шхерного островка с сосновой кущей. Видно и подальше, как будто до горизонта. Только этот серебристый и расплывчатый горизонт, широкой лентой смыкающий небо и море, кажется каким-то подозрительно близким. Да и белесовато-голубое, почти молочное небо кажется чересчур низким.

Встречный корабль почти внезапно возникает мутноватым пятном и слишком быстро оказывается на траверзе, отчетливо видимый до каждой бусинки изоляторов антенны или дырочек иллюминаторов. А через три-четыре минуты бродяга бесследно растворяется в опаловой атмосфере где-то за кормой, хотя опыт и глазомер Атлантики или Севера подсказывают, что он должен был скрыться позднее. Еще быстролетнее показывается и исчезает самолет из Ревеля на Стокгольм или на Хельсинки.

Вот это и есть специфический летний день Балтики, когда вокруг вас ясное, но ограниченное пространство, которое движется вместе с вами, как бы раздвигая границы видимости впереди и смыкая эти же границы сзади, где исчезают островки, маяки, трампы, лайбы, пограничные катера, купола. Вместе с вами движется балтийское солнце, которое не только не придает яркости краскам, но, наоборот, обесцвечивает их, как это видно по кормовым флагам или фирменным маркам на трубах.

Вот так и сейчас.

Прямо на норд-норд-вест вдоль предполагаемого горизонта тонул в мутном мареве силуэт Кронштадтской крепости и военно-морской базы с их фортами, заводскими трубами, мрачным куполом собора и колоннами дальних маяков. Силуэт расплывчатый и бесформенный, больше угадывающийся, по привычке.

Изредка с оста или веста вползал в пределы видимости пароход, идущий по илистому раствору Морского канала. Плоский, будто игрушечный, вырезанный из картона, без буруна под носом или за кормой, без дыма из трубы, почти неподвижный — он незаметно исчезал, освобождая бесшумно место другому. Очевидно, передвигал такие игрушки «Союзфрахт» Наркомвнешторга и Петроградский торговый порт.

Почему-то даже чаек сегодня не было в этом благословенном уголке Маркизовой лужи.

Порою идиллия нарушалась стреляющим треском запускаемого для пробы мотора, и опять наступала блаженная тишина.

Казалось, что неустойчивость таких летних часов и переменчивость погоды даже в пределах одних суток должна торопить людей. А между тем членов комиссии развезло от этой великолепной смеси из ясного воздуха, голубовато-молочного неба, чуть ощутимого ласкового бриза и еще более ласкового солнца. То же происходило и с моторным сословием, в промасленных спецовках развалившимся на авиационной таре.

Тучный председатель расправил сановную бороду, вытащил огромный, безукоризненной белизны платок, провел им по лысине, затем внутри фуражки и многозначительно изрек:

— Начнем, пожалуй!

Безоблачность его настроения была очевидной.

К тому же дошлым членам комиссии было известно, что хорошее самочувствие шефа подогревалось сознанием того, что часам к двенадцати начальник дивизиона (он же начальник станции) пригласит на обед, который полагается по распорядку дня, не менее строгому, чем устав внутренней службы. И эта служебная обязанность перерастала в сознании опытного начальника в приятную повинность, поскольку все знали, что у ораниенбаумцев лучшее подсобное хозяйство (вплоть до кур и поросят) во всей морской авиации и что хозяева не крохоборствуют, принимая гостей.

Как ни пытался военком скрывать сомнения, терзавшие его душу, все же они терзали его беспощадно.

А существо их заключалось в следующем.

После окончания гражданской войны и многочисленных реорганизаций морской авиации от нее осталось не так много. А между тем стране, встающей из пепла пожарищ, авиация была нужна. Она нужна была и для обороны от возможных новых посягательств извне, и для множества мирных целей.

Энтузиасты гидроавиации считали, что ее надо развивать в первую очередь, так как строительство аэродромов стоит очень дорого, а громадная система российских рек, озер и приморских районов давала почти даром готовую сеть естественных взлетных площадок.

В дополнение к пилотам из унтер-офицеров морской авиации, подготовленных при частях еще во время первой мировой войны, в годы войны гражданской было выпущено много летчиков из матросов — вчерашних авиамотористов или механиков. Их большой опыт был неопценным преимуществом, пока нормальные школы не начали готовить классных летчиков и инженеров.

К тому же мы располагали кадрами из старой офицерской среды, делом доказавшими свою верность народу, в то время как многие их

вчерашние друзья дезертировали за границу — нередко на наших же самолетах, тем самым сократив и без того скудный авиационный парк молодой Республики.

Не дешевле обошлись нам более подлые предатели вроде лейтенантов Дидерихса или Прокофьева-Северского, которые, присягнув революции, получили русским золотом подъемные и командировочные и отправились в США в составе миссий для закупки необходимых моторов, а заодно гидросамолетов фирмы «Кертисс». Перебравшись через границу, они сразу же начинали «исповедь офицера, вырвавшегося из когтей чрезвычайки», за что получали гонорар в американских долларах.

Летучие дезертиры чем-то рисковали, пока не дотягивали до вражеского тыла, а расторопный Северский не только с музыкалы уезжал с Финляндского вокзала, провожаемый наивными сослуживцами из морской авиации Балтфлота, но даже ухитрился вместе с золотыми монетами вывезти все ценные вещи и свою старую мамочку. В последнем рапорте Генмору¹ он очень трогательно писал, что ни одного дня не в состоянии прожить без дорогой старушки².

К черту подлецов! В существе подобных процессов всегда есть диалектическая сторона, так как сокращение числа бесчестных специалистов неизбежно ведет к убыстрению другого процесса — выращивания своих, новых кадров.

Как ни хороши были гидросамолеты Григоровича М-5 и особенно М-9, состоявшие на вооружении с 1915 года, все же к началу двадцатых годов этих машин уже не хватало.

Немногие авиационные заводы в старой России почти не работали. На заводах «Дукс» в Москве, «Анатра» в Одессе и на Русско-Балтийском в Петрограде занимались досборкой последних машин из оставшихся или ранее отбракованных материалов. Завод купца Щетинина, изготовлявший все самолеты типа «М» конструкции Д. П. Григоровича, закрылся. Но главным пунктом преткновения были моторы, раньше ввозившиеся из-за границы. Поступление их прекратилось еще в 1918 году в связи с блокадой.

На заводы начали возвращаться с различных фронтов остатки, вернее останки, машин, выслуживших все сроки, продырявленных пулевыми и осколочными попаданиями, с абсолютно изношенными моторами, а иногда и вовсе без них. Последующая возня с этим ломом из металла, дерева, тросов и обрывков перкаля официально именовалась «производством капитального ремонта».

Но ни для кого не было секретом, что эти же самые машины во фронтовых или тыловых, парковых или аэродромных мастерских не однажды проходили все виды ремонта, включая и капитальный, прежде чем уцелевшее сооружение немислимой конструкции грузилось на железнодорожные платформы и направлялось в Москву или Петроград с документами, где слова о «необходимости капитального ремонта» упоминались неоднократно. Причем не злой умысел, а печальная необходимость заставляла отправителя предварительно ободрить погруженную машину, отнимая, вывинчивая, а то и вырывая «с мясом» все приспособления, устройства и детали, которые еще можно было использовать во фронтовом хозяйстве. Из-за нехватки запасных частей и оборудования даже на самых солидных заводах капитальный ремонт одной машины удавалось делать только за счет другой.

¹ Генмор — Морской Генеральный штаб.

² Документы Северского хранятся в Центральном военно-морском архиве.

В последующем для восстановления одного самолета приходилось уже жертвовать останками двух, а то и трех бывших машин.

Но наступил день, когда и эта техническая метаморфоза перестала давать эффект, так как не стало годных авиационных двигателей, проходивших восстановление почти по такому же методу. Немногие выпускаемые с завода машины являлись результатом упорного и нечеловеческого труда тех самоотверженных авиационных техников, которые делали чудеса, чтобы дать в руки Красному Воздушному Флоту оружие для борьбы с иностранной и белогвардейской авиацией.

Все это прекрасно знал военком. Он сам начинал службу в Балтийском флоте с моториста, потом авиамеханика на гидроавиационных станциях, расположенных в Пернове и на островах Рижского залива, а затем плавал на авиаматке Воздушных сил Балтийского флота «Орлица», в качестве делегата которой он представлял морскую авиацию на всех революционных съездах и конференциях с октябрьских дней 17-го года.

Душевные терзания военкома доходили до такого высокого градуса, что, будь его коллеги по комиссии более наблюдательными, они бы заметили под этой суровой маской и скупой мимикой готовность выть полным голосом.

Подумать только: предстоит отбраковать несколько самолетов, числящихся еще в списках, но, по-видимому, пришедших в полную техническую негодность.

Это значит уменьшить самолетный парк Российской Федерации на несколько самолетов.

Но, с другой стороны, оставить изношенные гидросамолеты в строю — значит продлить формально разрешение полетов на них. А ведь каждый подъем на такой машине — страшный риск для жизни пилота.

На какой-то момент зашевелилась зависть к тем, которые лежали в самых расхристанных позах на ящиках. Конечно, он знал, что и они переживают происходящее. Но более субъективно — болея больше за свою машину, за свой мотор. Ну, в лучшем случае — заботясь о том, какой урон комиссия нанесет первому или второму отряду.

А ведь военком болел за всю гидроавиацию Республики. За ее будущее. За мечту о ней.

Итак, вычеркивать на слом машины, которые еще можно использовать без риска для жизни пилотов, нельзя!

Итак, оставлять машины, опасные для жизни летчиков, тоже нельзя! Формула как будто ясная. Но как ее практически реализовать?

Обласканный солнышком и почтением окружающих, превосходительный председатель оставался невозмутимо спокойным. Инженеры зарылись в бумаги или с бесстрастно серьезным видом копошились на самолетах, подтянутых к бетонному спуску. Только молодой секретарь, которого военком смутно вспоминал желторотым кадетом на «Орлице», вел себя легкомысленно, беспричинно улыбаясь и все время порываясь рассказывать разнообразные истории из авиационной жизни.

Очевидно, все они были честными и весьма знающими специалистами, и каждый из них, не терзая свою совесть, мог совершенно точно сказать, почему из-за такого-то процента износа, или из-за усталости металла, или из-за деформации фундамента двигателя, а может быть, по совокупности всех этих причин — данный самолет подлежит списанию, как безвозвратно изношенный (или поврежденный).

Через пять минут начнется выбраковка замызганных и потрепанных летающих лодок, лениво покачивающихся на своих буйках в нескольких сажнях от стенки, на которой расположилась комиссия. И военком

вдруг почувствовал какую-то необъяснимую теплоту и жалость к этим ветеранам морской и воздушной войны, которые сейчас, как живые, ждали решения своей участи.

В каких только переделках они не бывали! Кто только на них не летал! Кама, Волга, Астрахань всплыли в памяти военкома, и он, тряхнув головой, с усилием заставил себя сосредоточиться на разделах акта, которые сейчас громко формулировал главный инженер.

В разгар работы, когда председатель, следуя за смещающейся тенью ближайшего ангара, уже в третий раз приказывал передвинуть стол, на котором громоздились документы, прижимаемые гайками и шатунами покойных «сальсонов», в расплывчатом мареве гусклого горизонта послышался характерный стрекот. Он приближался со стороны Петрограда и был не вполне уверенного тембра и вовсе ненадежной частоты. Вскоре возникло темное пятно, за которым угадывался дымный шлейф, а еще через минуту нетрудно было опознать низко идущий гидросамолет, один из серии лодочных бипланов, которые в официальных документах числились под условными литерами М-1, М-5 и так до М-9 (в обиходе, характерном для капиталистической России, при полном забвении конструктора Григоровича они назывались «щетининскими пятерками» или «девятками» только потому, что строились на заводах фабриканта Щетинина).

Теряя высоту, гидросамолет проревел прямо над комиссией (надо признаться, что при этом кое-кто инстинктивно втянул голову в плечи), потом, сделав крутой вираж, плюхнулся на воду в одном кабельтове от бетонного спуска.

Все это произошло с ошеломляющей быстротой. Несмотря на грохот мотора, члены комиссии и опытные мотористы успели различить ненормальный визг вибрирующих растяжек и абсолютно возмутительное для инженерного слуха дребезжание каких-то расхлябанных угольничков, обушков или болтиков.

Заметили они за этот короткий миг и то, что давно не лакированный самолет выглядит грязно-пятнистым ягуаром, а в нижнем углу левой коробки скандально зияет неприличная дыра в разорванном перкале.

Пока виновник происшествия подруливал к спуску, перелезал из кокпита на берег и поспешал пред грозные очи председателя, комендант успел доложить, что день сегодня нелетный, никакого прилета не намечалось; что, судя по номеру, эта старая калоша самовольно поднялась с гутуевской станции или из Гребного порта, а судя по невзрачному виду приближающегося, он является старшим военморлетом Чухновским.

— Мальчишество!

— Бессмысленный риск!!

— Воздушное хулиганство!!!

Такой серией нелестных выражений и еще кое-какими посильнее был встречен молодой, скромного вида человек в старом офицерском кителе. В левой руке он держал мятый шлем, а правой усиленно пытался привести в порядок свою прическу. Однако последняя слушалась его значительно хуже, чем самолет.

Комиссар мрачно рассматривал неказистого и застенчивого на вид пилота.

Председатель опасливо молчал, пока Чухновский не подошел к столу и, представившись по форме, не доложил, что прибыл для списания своего самолета.

После этого начальство обрело дар речи.

— Но почему именно сегодня и здесь?

— Мне нужен самолет!

— Ну, батенька мой. Я вам самолета дать не могу.

— Так точно! Но нужно списать мою старую машину, чтобы я попал в список кандидатов на новые самолеты «савойя» или Ю-20. А ради этого я готов лететь еще дальше.

— Ну, батенька мой!.. Дальше, как говорится, ехать или, вернее, лететь некуда! Ждали бы, пока дойдет до вас очередь.

— Так точно! Ждал больше года. И очередь подходила.

— Ну и что?

— К нашим ангарам на Гутуевском добираться сложно. Как на грех, моторный катер станции оказался в ремонте. Председатель комиссии приехал в Торговый порт, увидел, что через Морской канал надо переправляться в простом дощанике, да еще вымазанном смолой, и повернул назад.

— Позвольте!.. по... по... звольте... **Когда это было?**

— Прошлой осенью.

— И вы мне будете рассказывать, что только из-за смоляных пятен...

— Так точно! День был еще теплее, чем сегодня, а на вас были белые брюки.

В наступившей тишине слышалось учащенное дыхание главы комиссии.

До ящиков астматическое бульканье не достигало, зато сказанные слова запоминались там полностью, так же как и те, которые не были сказаны, но напрашивались.

— Ну, батенька мой... Все-таки не вижу оснований нарушать дисциплину! Но раз вы здесь,— это было сказано уже примирительно,— то не отправлять же вашего одра обратно. Предъявляйте его к списанию. О прошлогоднем снеге не станем вспоминать. А что касается вашего самоуправства, то пусть в этом разбирается начальник второго гидро-дизвиона.— И, опять обретя утраченные было начальственные интонации, председатель добавил: — Василий Васильевич! Прошу вас, батенька мой, обследовать «девятку», оформить соответствующим актом и выдать военморлету Чухненко...

— Чухновскому.

— Ну да! Я и говорю: Чухновскому! Если нужно, я могу лично присутствовать при дефектовании...

— Что вы, что вы! Ваше... товарищ председатель! Осмелюсь доложить, вам там делать абсолютно нечего. Поверьте мне и бригаинжу, что случай бесспорный! Так сказать, безоговорочно подлежит списанию по всем статьям... Верьте мне... Судя по днищу и редану, в лодке, наверное, плещется вода, так что в ней без калош находиться не рекомендуется. Вообще я удивляюсь, как это сооружение...— Но, взглянув на стоявшего у стола Чухновского, инженер оборвал свой монолог.

— Вы, как опытный врач, ставите диагноз, только прослушав пациента... Любопытно... Возможно, что диагноз правилен. Но нельзя, батенька мой, не потрогать руками и не пощупать глазами. Придется хотя бы про fogma осмотреть.

Остывшему от раздражения председателю меньше всего хотелось спускаться к гидросамолету, заглядывать в него, а затем подниматься обратно по бетонному спуску. Вот почему он совершенно размяк от благожелательности, услышав внезапное предложение военкома:

— Действительно! Отчего бы вам не посидеть, а я пойду и мельком взгляну. Результат доложу. Могу вас заверить, что я хоть академий или институтов не кончал, но в чем-чем, а в материальной части немножко разбираюсь... И на заводе у Щетинина слесарил, и в Аренсбурге работал в самое тяжелое время, и в Гаспале немного учился... Кого-кого, а «девятку» с «сальмсоном» знаю...

— Что вы, что вы, товарищ военком! Ваше слово будет решающее. Председатель развел руками в церемонном полупоклоне, какой можно было сделать, не вставая со стула, и при наличии довольно солидного кранца (или брюха попросту).

Откровенно говоря, у военкома после просмотра документов и доклада двух опытных инженеров, а еще больше под впечатлением грома небесного, пронесшегося над его головой, не оставалось никаких сомнений о дальнейшей участи этой «девятки». Но военком был заинтригован подозрительной возней вокруг самолета. Наблюдая из-под руки, военком видел, как два моториста в замусоленных робах отвязали самолет и, манипулируя отпорными шестами, увели его за ближайший ангар, туда, где находился старый деревянный спуск. Сейчас от стола комиссии виден был только задранный кверху хвост с обшарпанным оперением гидросамолета.

Когда военком обошел ангар по соединительной полосе между маневренными площадками, произошла мимическая сцена.

Два ораниенбаумских механика из первого или второго гидроотряда, потянув «девятку» сколько могли на деревянный спуск, только-только готовились к некоей хирургической операции.

— Нехорошо, братки!.. Можно сказать, акт еще не подписан, а вы тут машину распатрониваете.

— А что с этой дурой церемониться,— сказал моторист постарше, оправившись от первого смущения,— можно сказать, на свалку и то не годится. А между прочим, на ней совсем новый масляный насосик стоит...

— Ну и что?

— А то,— сказал, уже злясь, моторист,— что у меня на лодке, которая еще во второй категории ходит, насосик обратно паяный и перепаянный.

Разговор оборвался из-за оглушающего треска мотора на соседнем самолете. Военком выразительным жестом показал, чтобы охотники за насосиками смывались, а сам он медленно побрел к фокусу событий у главного стола комиссии.

Здесь тонный инженер (явным «тонягой» он был потому, что из рукавов его небезупречного кителя выделялись безупречные манжеты) протянул акт, уже подписанный председателем, после чего, получив последнюю подпись и печать, повернулся в сторону молчаливо стоявшего Чухновского.

— Приговор окончательный, обжалованию не подлежит! — сказал он с подчеркнuto трибунальской интонацией, но в то же время улыбаясь, так как был очень доволен своей остротой.

Инженер острил, или барахлил, как принято выражаться на флотском жаргоне, но это был действительно приговор для «девятки». И приговор окончательный.

Со смешанным чувством жалости к старому боевому другу и в то же время с облегчением в душе, наконец избавившись от нудной мороки, Чухновский даже позабыл попрощаться с комиссией, медленно побрел вдоль стенки к нижнему ангару, на ходу закладывая во внутренний карман кителя долгожданный акт.

Отделившись от группы ораниенбаумских товарищей, к нему присоединился механик с «девятки» — старый и верный друг Оскар Санаужак, и они побрели дальше медленно и уныло, вполголоса обмениваясь отрывистыми фразами. Так идут на панихиду, чтобы попрощаться с дорогим покойником.

Комиссии предстояло еще решить судьбу двух машин. Если одна из них под маркой М-5 с мотором «гном-моносулап» никаких сомнений не вызывала, то последняя машина М-9 с стопятидесятысильным «сальмсоном» могла испортить председателю ожидаемый обед, после которого старик хотел поспеть на четырехчасовой поезд в Петроград.

Так или иначе, но чрезвычайное происшествие в связи с прилетом «девятки» из гутуевского отряда было временно забыто.

Но, по-видимому, сама «девятка» не хотела, чтобы о ней так скоро забыли, потому что через десять или пятнадцать минут она о себе напомнила.

Запуск мотора остался совсем незамеченным.

Пробег, начатый за ангаром от старого спуска, привлек внимание, но чья эта машина — сообразили не сразу, тем более что Чухновский набирал скорость, удаляясь от зрителей.

Все сомнения отпали, когда после разворота «девятка» в обратном порядке воспроизвела утреннюю эволюцию, пройдя прямо над столом председателя.

Только свист, грохот и дребезг показались на этот раз еще громче. Это было невероятно!

Ошарашенные неожиданностью больше, чем громом, все смотрели в небо.

Набухшее днище лодки источало три тончайшие струйки от киля и от боковых угольников редана. Эти струйки, сорванные потоком воздуха, сверкали на солнце утончающимися капельными пунктирами и дальше исчезали светлыми бусинками, переходя в водяную пыль.

Повторное происшествие казалось еще более «чрезвычайным». В первом случае оно поразило неожиданностью, и только после посадки самолета стало ясно, что оно было почти невозможным. Сейчас все было и неожиданно, и невозможно, и нелепо.

Комиссия в полном составе вместе с председателем стояла с открытыми ртами и безмолвно смотрела вслед гидросамолету, который удалялся в сторону тускло отсвечивающего в привычном воображении купола Исаакиевского собора. И как-то особенно обидно, если не оскорбительно, спустя несколько секунд всех осенило с безоблачного неба невидимыми бисеринками той самой эмульсии, наличие которой в соответствии с мнением специалистов, изложенным в акте, свидетельствовало о том, что корпус лодки подлежал списанию еще тогда, когда на председателе были шикарные белые брюки.

— Еще и окропил, подлец! — со злостью изрек председатель, обтирая лысину.

С этого момента у всех развязались языки. В обратной последовательности раздались те же выкрики:

— Мальчишество!

— Бессмысленный риск!

— Воздушное хулиганство!

И кое-что другое, значительно покрепче.

Поскольку этот день был нелетным, на вышке никого не оказалось. Военком приказал срочно подняться наблюдателю и, мобилизовав всю оптику, докладывать о полете Чухновского. Однако балтийская дымка быстро поглощала нарушителя и его «девятку».

Еще через минуту произошло новое необычайное событие — вернее, метаморфоза.

Только что работавшая техническая комиссия исчезла.

Вместо нее за теми же столами заседал трибунал. С суровым председателем, строгими специалистами-экспертами, мрачными свидетелями обвинения и с непременным секретарем.

От обычного этот трибунал отличался тем, что почти все члены считали себя прокурорами и наперебой, на высоких нотах изощрялись в квалификации обвинения.

Не совсем обычным было также количество и позы присяжных заседателей.

И вовсе отсутствовала защита.

Наконец не было никакого порядка, так что нарушение процессуальных норм Уголовного кодекса могло бы служить основанием для обжалования всего процесса и отвода всех прокуроров. Но этого некому было сделать, так как сам обвиняемый в этот момент вел злополучное произведение купца Щетинина по прямой на небольшой высоте, с каждым мгновением удаляясь от грозного судилища.

Сперва затихли несносные звуки.

Затем темные очертания лодки с шлейфом из дыма постепенно превратились в расплывчатое серое пятно.

Наконец вовсе исчезло и это пятно. Так, как будто его и не было.

А может, и действительно не было?.. Бывают же миражи даже на Балтике.

В другой раз рефракция поднимает на небо не только лайбы, но и целые острова, а другие атмосферные фокусы скрадывают маяки и знаки, когда в них особенно нуждаешься.

К сожалению, нет! Не мираж!

Даже если бы все присутствующие хором заявили, что они явились жертвой оптического обмана или галлюцинации, капли на лысине председателя начисто опровергали такую версию.

— Да как он смел? — явно запоздало и уныло твердил председатель. — Ну пусть сам сумасшедший! Но как он смел вынудить механика рисковать жизнью?

Председатель хотел уже повторить этот вопрос в полный голос с расчетом на всю аудиторию, как вдруг из плотной группы авиамотористов и механиков послышался спокойный и раздумчивый голос:

— С таким человеком любой из нас хоть на полюс сам полетит!

— Ничего не понимаю!.. Какое-то массовое помешательство.

Господи! Что сделалось в душе у председателя!

И злоба, и возмущение, и неловкость перед окружающими, и, может быть, в какой-то степени беспокойство за жизнь Чухновского. Но главным образом — бессилие.

Да, абсолютное бессилие что-либо предпринять, сделать или хотя бы что-нибудь скомандовать.

Сияние балтийского летнего дня мельчайшей невидимой сеткой слепило глаза, притупляя старческий взгляд, упирившийся в нежную дымку и серебристую рябь чешуек, покрывавших залив.

Не только настроение — даже аппетит был испорчен бесповоротно.

Вконец расстроенный, обозленный, порывисто дышащий старик, еще полчаса назад торжественный и авторитетный, сейчас стоял, прислонившись к столу, и смотрел в направлении, по которому скрылся «этот сумасшедший».

Смотрел — но ничего не видел.

Странное дело, он понимал или скорее чувствовал, что все стоявшие за его спиной смотрят не в сторону Петрограда, а на него. Как бы ждут его резюме, последнего слова или реплики, завершающей этот необычный эпизод.

Понимал, однако никак не мог собраться с мыслями и сделать какой-нибудь жест или изречь «слово», приличествующее ему как старшему.

И вдруг, как бы выручая председателя, обрывая общую неловкую паузу, из-за ангара показался взъерошенный механик, который бежал прямо на председателя и тоном крайнего и искреннего возмущения, задыхаясь, выкрикивал:

— Сумка! Моя инструментальная сумка!

— Ничего не понимаю! Какая еще сумка?

— Да — моя! Собственная!.. Можно сказать, годами собирал. На ночь под подушку клал... — размахивая руками, в ажитации продолжал орать хозяин собственной сумки.

Обрадованный случайной разрядкой, председатель демонстративно отвернулся от той части света, в которой растворилась «девятка», и обратился к военкому тоном вновь обретенной солидности:

— Попрошу вас разобраться... Уверю, что я абсолютно ничего не понял.

Из последующих расспросов сразу выяснилось, что военком кое-что знает.

Пока шло оформление списания самолета, хозяйственный авиамоторист второго отряда присмотрел на М-9 почти новенький масляный насосик. Сбегав за инструментальной сумкой, он попросил дружков перетащить гидросамолет при помощи фалиня и отпорных шестов за ангар, к старому спуску. Поскольку такой маневр входил в расчеты Чухновского, его механик охотно помогал ораниенбаумцам.

Но отсоединить насосик так и не пришлось, так как не успел механик разложить свою сумку на сиденье летчика, как появился военком, запретивший «распатронивать» старуху.

Затем перекур, разговор, то да се, мол, уберется комиссия, тогда видно будет... а сумочка-то осталась в кокпите.

А дальше — все сами видели! Безобразие!

— Па-а-звольте! А как же вы посмели сдирать с машины хороший насос?

— А на что он этой трухлявой бандуре? Ведь на ней все одно летать нельзя?!

— Па-а-звольте?! Как это нельзя, если машина улетела?

— А очень просто — посмотрите, что вы ей сами в акте записали! Это уже было нетактично!

Во всяком случае свыше моральных и физических сил старого спеца.

— Дайте мне телеграфный бланк! — прохрипел он, обращаясь к секретарю.

При общем безмолвии он схватил телеграфный бланк и, излишне долго макая в чернильницу и разбрызгивая кляксы, написал энергичную и лаконичную телефонограмму. Затем, продолжая дышать, как человек, только что вынырнувший из воды, он повторно перечел бланк, видимо, остался удовлетворен и затем, в правом верхнем углу жирно надписав «срочная», протянул ее комиссару. Теперь все члены комиссии: начальник базы, комендант аэродрома — и остальные присутствующие при этой сцене, как по команде, перевели глаза на военкома. Последний медленно прочел бланк, затем протянул его коменданту и сказал:

— Отправьте.

Ручка, протянутая ему услужливо для подписи, повисла в воздухе, как и рука, услужливо ее державшая. А военком, избавившись от бланка, продолжал смотреть в сторону Петрограда, как будто надеясь увидеть знамение о благополучной посадке.

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Служебная

Срочная

Начальнику Гутуевской гидроавиабазы

Если военморлет Чухновский Борис долетит живой зпт отправьте гауптвахту 15 суток тчк Военморспец такой-то.

Военком (подписи нет).

Дата. Часы. Минуты. Принял . . . Передал . . .

Вы спросите: и это все?

Почти все.

Можно, конечно, добавить некоторые уточняющие детали.

Во-первых, как водилось в те времена, — телефонограмма из Ораниенбаума на Гутуевский остров через два коммутатора, да еще разных ведомств, пришла значительно позже, чем прилетел самолет, уже вычеркнутый из списков советской авиации. Пришла в изрядно искаженном виде, вызвав искреннее беспокойство за жизнь летчика, о которой упоминалось в депеше. Суматоха улеглась, когда нашлись свидетели, удостоверившие, что виновник происшествия сел в трамвай и уехал на Васильевский остров, не подозревая о мере пресечения и санкции, очень довольный тем, что наконец добился своего. Можно подозревать, что в трамвае он мечтал о новом самолете.

Во-вторых, Чухновскому так и не пришлось отсидеть на «губе», так как председатель сгоряча переборщил, не имея соответствующих дисциплинарных прав.

Теперь позвольте мне возвратиться к тому дню в Морской академии, когда Стах скупно передал нам историю списания «девятки» Чухновского, вызванный на этот разговор пролетом Валерия Чкалова под мостом лейтенанта Шмидта в Ленинграде.

Как сейчас помню концовку его рассказа, даже не сверяясь с записью, сделанной несколько дней спустя.

— Так вот. Чухновский готов был отсидиваться на «губе» хоть год, хоть два, лишь бы добиться избавления от М-9 и получить новый самолет. Конечно, он исполнял не только описанный мною способ и, несмотря на исключительную вежливость и скромность, сумел добиться своего и один из первых облетывал итальянскую «савойю-16».

Конструкторская мысль продолжала работать. Тот же Дмитрий Павлович Григорович уже спроектировал М-24, за ним МУ-1 (учебный) и работал над РОМом (разведчиком открытого моря), но отставала производственная база, так как наша промышленность только-только начинала восстанавливаться...

Не могли те, кто создал благодаря «девятке» так называемое «русское направление в гидроавиации», как писали англичане, остаться без отечественных самолетов.

Ведь фабрикант Щетинин построил в 1916 году по английскому заказу сто пятьдесят «девяток» для флота его величества, а США и Франция закупили по несколько образцов для своих бюро и заводов. И если посмотреть на современные лодки фирмы «Кертисс», то нетрудно увидеть в них знакомые черты их прародителя Григоровича.

Но летать надо было, и летать срочно.

Вот почему, кроме лодочных «савой», не годных для полярных условий, в Германии были закуплены гидросамолеты фирмы «Юнкерс», чтобы заполнить временный разрыв в создании своей авиации. И один из первых Чухновский получил поплавковый Ю-20, на котором вошел в историю полярной авиации, так как после Нагурского он первый осваи-

вал с воздуха Новую Землю в августе 1924 года, участвуя в гидрографических экспедициях, а в 1925-м он впервые перелетел из Москвы к Маточкину Шару для обеспечения ледовой разведкой Карской экспедиции. Откуда и началось последующее развитие полярной авиации.

В свою очередь это послужило своеобразной подготовкой, без которой вряд ли можно было совершить подвиг, связанный с еще одной телеграммой в жизни Чухновского (и его экипажа в лице Страубе, Алексеева и Федотова).

Я говорю о спасении в 1928 году группы Мальмгрена. Весь мир тогда облетела радиограмма, переданная с самолета ЮГ-1, который потерпел аварию во время поиска пострадавших и теперь сам нуждался в помощи ледокола: «...Обнаружили Мальмгрена... координаты... ледовая обстановка... Считаю необходимым, чтобы «Красин» немедленно шел на спасение Мальмгрена. Чухновский».

Вот теперь я отвечаю на вопрос о педагогичности.

Подумайте только, ведь он поднимался в воздух на необлетанном трехмоторном ЮГ-1, погруженном прямо из заводских ящиков на палубу ледокола и позже собранном кустарным образом, в полярных условиях, прямо на льду. Взлетал Чухновский с ледовой площадки, наскоро приготовленной экипажем «Красина», причем взлетал на этом типе машины в первый раз в жизни!

Лично я считаю, что этот вылет под пристальным взглядом всего мира был куда рискованнее, чем перелет на «девятке».

Вот это был риск! Благородный риск!

На карте стояла не только жизнь самого летчика или новой машины. На карте стояла жизнь группы аэронавтов, бедствовавших в полярных льдах. На карте стояла жизнь экипажа ЮГ-1. На карте стоял авторитет Советского Союза — хозяйина Полярного бассейна!

Вот мой ответ на вопрос о педагогичности рассказов о пролете Чкалова и перелете Чухновского.

В конечном счете решает идея, замысел, цель, ради которой люди идут на риск, если эти люди предварительно рассчитывают все то, что поддается анализу и расчету, оставляя какую-то долю на... Николу Чудотворца. Но эту «долю» знает только тот, кто идет на риск.

После короткой паузы, в течение которой чувствовалось, что пролетел ангел согласия, дружбы, умиротворения и даже радости по поводу услышанного,— последовал вопрос того, кто с легким налетом цинизма воспринимал все на свете.

— Благодарю вас. Действительно, об истории с «девяткой» слышу впервые, хотя я служу на Балтике с тех времен, когда на флоте еще не было никакой авиации. Помню и первую жертву — лейтенанта Ваксмута, разбившегося в ноябре тысяча девятьсот тринадцатого года под Либавой. Сейчас, после вашего рассказа, вся эпопея с группой Мальмгрена выглядит в новом свете. И все же я позволю себе задать вам один вопрос.

— Я знаю ваш вопрос! — досадливо поморщился Стах.— Но поскольку вы его ставите, придется отвечать... Так вот, прилет Чухновского в Ораниенбаум задним числом в какой-то мере оправдан. Если же его «девятка» не дотянула бы до Рамбова или позже он не получил бы Ю-20, то Чухновский был бы признан полностью виновным и просидел бы на гауптвахте или в более приспособленном помещении долгое время.

— Но вы обошли вопрос об оценке его вторичного вылета на М-9, когда для того не было абсолютно никакой необходимости. Как оформить разборку списанной машины, могли решить между собой началь-

ники дивизионов. В то же время риск обратного перелета был больше, чем в первом случае.

— Отмечаю в вас задатки критического мышления, с чем и поздравляю. — Обращаясь ко всем присутствующим, Стах продолжал как будто бесстрастно, но звавшие его улавливали оттенок досады, смешанной с печалью: — Я изложу фактическую сторону, заранее оговорив, что лично понимаю Бориса, хотя публикацию объяснения причин обратного перелета на Гутуевский остров считаю непедагогичной... Что же касается более глубокого анализа душевных или практических побуждений, толкнувших Чухновского на повторное ЧП, предоставляю это каждому из вас, потому что при опросе летчика он после длительного молчания смущенно заявил: «Ни у меня, ни у механика не оказалось денег на железнодорожные билеты до Петрограда... Как-то не подумали перед вылетом... А занимать даже мелочь у этих людей не хватило сил». Все! Все, если не считать строгого выговора, которым ограничился я, включая его в список безлошадных первой очереди... На этом импровизированное собеседование на тему «Из истории отечественной гидроавиации» считаю законченным. До завтра!

Закончив рассказ, автор считает уместным сделать небольшое добавление.

Прогуливаясь по Москве где-нибудь около Суворовского бульвара, читатель может встретить не очень бросающуюся в глаза фигуру живущего поблизости москвича. Вместо сияния ореола вокруг головы — лысина. Вместо золотого панциря — кожаный реглан. Нимбы, звезды, ордена и почетные медали многих стран и расцветок скучают в ящике стола.

Это отдыхает, гуляя, или идет на службу пилот-консультант ОТК пожарной авиации ГУГФ Борис Григорьевич Чухновский.

Если же вы сделаете нескромный шаг и попытаетесь спросить его: «Как было на самом деле с гидросамолетом М-9?» — и даже если сошлетесь на этот номер журнала, то наверняка в ответ услышите: «Право же, не помню... Вернее, не помню таких подробностей».

Именно так ответил мне много лет назад Борис Григорьевич, когда впервые готовился к опубликованию этот рассказ.

Но вы не смущайтесь.

В погоне за истиной у нас есть несколько важных свидетельств, которые помогают восполнить некоторые изъяны памяти главного персонажа этой истории, хотя во многих случаях, когда разговор касается происшествий, относящихся не лично к Чухновскому, точности его памяти может позавидовать любой человек и любая машина.

Главное — это свидетельство Стаха, как называли друзья комбрига Станислава Эдуардовича Столярского, прошедшего в самые тяжелые и героические годы путь от рядового матроса и авиамоториста до начальника морской авиации¹, от которого мне впервые пришлось услышать этот «воздушный анекдот». За ним следуют ораниенбаумские абorigены, сохранившие в памяти случай с «девяткой», хотя в таком многообразии версий, что разобраться в них было нелегко.

Есть наконец хотя и косвенное, но убедительное свидетельство писателя Э. Миндлина в его книге «Красин» во льдах², написанной в ка-

¹ Умер в Ленинграде 19 апреля 1958 года профессором и начальником кафедры Морской академии, в звании генерал-майора авиации.

² Э. Миндлин. «Красин» во льдах. Детгиз. 1961. Было бы печально, если некоторые взрослые дяди, прочтя на титуле наименование издательства, отложили бы эту книгу для детей. Книга написана для всех возрастов, и написана хорошо.

честве участника экспедиции по спасению в Полярном бассейне уцелевших людей с дирижабля, потерпевшего катастрофу в мае 1928 года, под командованием генерала Нобиле.

Миндлину удалось не только воссоздать достоверную картину катастрофы и последующих спасательных работ. Он раскрыл несколько черных человеческих душ и много-много светлых, одновременно засвидетельствовав величие подвига советских людей, самоотверженно и бескорыстно спасавших на ледоколах и самолетах экипаж дирижабля «Италия».

В числе других Миндлину особенно удался своеобразный облик командира экипажа самолета ЮГ-1.

«Он производил иногда впечатление человека застенчивого и часто краснел... и юношеские глаза на первый взгляд меньше всего свидетельствовали о замечательной воле и мужестве этого человека.

Не знаю человека, который был бы скромнее его».

Те из читателей, которые знают «этого человека», очевидно, подпишутся под каждой строчкой. Я же, прочтя книгу до конца, вынул из ящика стола папку с пожелтевшими материалами и обрывками многочисленных вариантов «Истории одной «девятки», и, не задумываясь над вопросом педагогичности, отнес последнюю версию в редакцию «Нового мира».



ЛЕОНИД КИСЕЛЕВ

ученик 10 класса школы № 37, г. Киев

★

ПЕРВЫЕ СТИХИ

..*

Еще мальчишкой удивлялся дико:
Раз все цари плохие, почему
Царя Петра зовем Петром Великим
И в Ленинграде памятник ему?

Зачем он нам, державный этот конник?
Взорвать бы — чтоб копыта в небеса!
Шевченко, говорят, односторонне
Отнесся... Нет, он правильно писал:

«Це той перший, що розпинав
Нашу Україну...»

Не Петр, а те голодные, простые
В болоте основали Ленинград.
За долгую историю России —
Ни одного хорошего царя.

..*

Все изменчиво! Все в движенье!
Волны в дикий пустились пляс.
И, без всякого сожаленья,
Море вгрызлось в песчаный пляж.

Унесло бревно, что полгода
Пролежало на берегу.
Ребятишки заходят в воду
И назад от волны бегут.

Все изменчиво, но не обманчиво,
А скорее — обнажено!
Вот отхлынет волна, и мальчики
Снова видят морское дно,

Я воспитывался в очередях
За сахаром и за маслом.
Помню все дворы, где тогда
Простаивал час за часом.
Не хватало мне — я молчал.
Успехом ужасно горд был —
Пятилетний, я получал,
Как мама, взрослую норму.
Полдвора — трехчасовой путь.
Я помнил, что я мужчина,
И это выстаиванье отнюдь
Меня не ожесточило.
Очень долго умею ждать,
Даже в беде — веселый.
Я воспитывался в очередях.
И доволен своей школой.

Яблоню, что растет на улице,
Чтобы за яблоками не лазили,
Ржавой проволокой колючею
Старый дворник обвил.

Рядом с заржавленными колючками
Кажутся странными и наивными,
Кажутся до смешного ненужными
Розовые цветы.

Вы не пытались проследить,
Куда бежит ручей?
Петляет, вьется, словно нить
Из серебра, — ничей.
Мне даже странно, что ручей
Из серебра — ничей.
А интересно б проследить,
Куда бежит ручей.

И я пытался проследить,
Куда бежит ручей.
Но закружил меня в полях
Он хитростью своей.
Чуть было не сгубил меня
Он хитростью своей.
Да разве можно проследить,
Куда бежит ручей?!



ДИМИТРИС ХАДЗИС

★

ДЕТЕКТИВ

Рассказ

Я велю начертать на моем щите странный и печальный образ.

(Дон Кихот во время бодрствования на постоялом дворе.)¹

Красиво и здесь, в этом маленьком городе, греческом провинциальном городишке. Вокруг горы, реки... И вы, господин Торнтон Уайлдер, конечно, совершенно правы. Какой прекрасной изображаете вы провинциальную жизнь в своей знаменитой пьесе «Наш маленький город»!¹ Мы прочли ее и видели в Греции на сцене, и вы, конечно, правы, что в провинции никогда ничего не случается. Жизнь течет тихо и размеренно, безмятежно-спокойно, в раз навсегда заведенном порядке. Рано утром приходит молочник. Вскоре начинают продавать газеты. В полдень кончаются занятия в школе, и проголодавшиеся ребятишки весело возвращаются домой. Вечером девушки выходят на прогулку. Матери, бабушки, тетки, сидя у окна или на балконе, заставленном цветочными горшками, вышивают, предаются воспоминаниям. Мужчины заняты серьезными делами. Иногда кто-нибудь умирает — такое несчастие! Мы все отправляемся на кладбище, но там тоже ничего не исчезает бесследно. Они являются туда, стоят рядом с нами, совсем как живые — души наших возлюбленных покойников, а если идет дождь, то и они прячутся под наши зонты, чтобы не промокнуть, и беседуют с нами так рассудительно, так благоразумно — сначала о наших делах, потом о наших дочерях, которые уже выросли, повзрослели, невесты на выданье...

И больше ничего не случается. Ни там, у вас, в вашем прославленном маленьком городе. Ни здесь, у нас, в нашем бедном захолустье...

В один прекрасный день нашу безмятежно спокойную и размеренную жизнь несколько нарушило исчезновение Тудасюдаса. Ничего серьезного не произошло. Просто лавочники с нашей единственной торговой улицы на базаре, которые всегда видели его там, как только на часах муниципалитета било девять, не увидев его в то утро, стали спрашивать, что могло случиться. Решив, что он заболел, они послали мальчишку в подвальчик, где ютился Тудасюдас. Там его не оказалось. Они недоумевали. А в полдень, когда прошел по базару полицейский, младший лейтенант жандармерии — старше его по чину не было никого в нашем городишке, — на всякий случай сообщили ему.

¹ Торнтон Уайлдер — американский драматург. (Прим. перев.)

Дознание показало, что Тудасюдас вовсе не приходил ночевать к себе в подвал. Тогда произвели тщательное следствие. Но и оно дало ничтожные результаты. Накануне вечером Тудасюдас до одиннадцати часов сидел в своем излюбленном винном погребок на северной окраине города и, как всегда, преспокойно пропивал свою дневную выручку. Как всегда, пьяный и, как всегда, тихий, он смиренно попросался и ушел, как всегда, один. Здесь следы его теряются. Здесь дело становится темным и запутанным.

Одиноким пожилой человек, тихий, мирный и молчаливый, не отличавшийся никакими странностями, в здравом уме и полной памяти, он в течение многих лет выполнял на базаре мелкие поручения: тотчас прибегал помочь, куда бы его ни позвали, относил покупки, куда бы его ни послали, и вскоре возвращался на свое место — оттого и пристало к нему прозвище, настолько вытеснившее настоящее имя, совсем забытое, никому уже не известное, что он стал для всех Тудасюдас. Его заработка хватало на то, чтобы съесть в обед тарелку супа в харчевне на базаре и выпить вечером в винном погребок — всегда в одном и том же. Ровно в одиннадцать, еле держась на ногах, он уходил и отсыпался в своем подвальчике, утром в обычный час был уже на базаре.

Итак, куда он мог деваться? Уехать из нашего города — но зачем уезжать потихоньку? Ограбить, убить кого-нибудь — это бы раскрылось. Умереть — но куда пошел бы он умирать? Невозможно было понять, что случилось. И только когда прошла горячка, ребятишки на северной окраине города обнаружили, что случилось с Тудасюдасом. Там, в том квартале, где был его винный погребок, в нескольких шагах от него начиналась мощенная плитами площадь с колодцем посередине. Колодец высох, им уже не пользовались, и, так как дети из этого квартала целыми днями играли на площади, его прикрыли деревянным щитком, плотно пригнав его к низкому основанию, чтобы ребятишки не свалились в колодец и не произошли те драматические события, о которых мы читаем в «Женщине-убийце» и других рассказах нашего Пападиамантиса¹.

Итак, дети заметили, что деревянный щиток, успевший уже прогнить, сломан. Они не придали этому значения. Но через несколько дней из колодца стало распространяться нестерпимое зловоние, и они то и дело заглядывали туда. Увидев, что дети все время погибают над колодцем, взрослые, подойдя к нему, обнаружили, что щиток сломан, и тоже почувствовали зловоние — тут-то все и открылось. В колодце находился Тудасюдас.

Опять поднялся переполох, еще больший, чем прежде. Из окружного центра приехали прокурор, судья, врач, приехал и начальник жандармерии — снова началось следствие. Оно тянулось много дней и не пошло дальше того, на чем остановился наш полицейский. Самоубийство исключалось всеми. Если бы Тудасюдас хотел покончить с собой, то, очевидно, выбрал бы не этот колодец, совсем мелкий. А если бы он и хотел каким-нибудь образом в нем утопиться, то, прежде чем броситься в воду, он мог бы сначала снять щиток. Не было никакой необходимости проламывать его головой, не говоря уж, конечно, о том, что самоубийство — привилегия более высоких слоев общества.

Итак, оставалось два объяснения: несчастный случай или преступление. Наш полицейский придерживался первой версии. С давних пор хорошо зная наш городишко и его обитателей, он мог с полным правом утверждать, что Тудасюдас никогда ни с кем не ссорился, ни с кем

¹ Александрос Пападиамантис (1851—1911) — известный писатель, один из основоположников новогреческой литературы.

не враждовал. И это, конечно, не какая-нибудь старая история, или месть, или что-нибудь в этом роде. Грабеж — но что можно украсть у Тудасюдаса? Вот простые разумные доводы нашего полицейского: в тот вечер Тудасюдас опьянел несколько больше, чем обычно; по дороге домой, к себе в подвальчик, сбился с пути; споткнулся, ничего не видя впотьмах, и упал на низкий колодец; проломив тяжестью своего тела гнилой щиток, провалился вниз — и дух из него вон. Что же еще?

Но врач совершенно исключал, что причиной смерти могло быть опьянение. Вот ход его мыслей: если вы падаете в нетрезвом виде в колодец, то летите вниз головой. Но у Тудасюдаса не нашли ни одного ушиба на груди, ни одной царапины на лице. Исследование трупа показало, что смертельный ушиб он получил сзади, в затылок. Он ударился затылком, по-видимому, о внутреннюю стенку колодца, а затем упал на дно — его нашли там в сидячем положении. Значит, очевидно, кто-то толкнул его в грудь, он повалился спиной на щиток и, проломив его тяжестью своего тела, рухнул вниз. Остальное врача не касалось.

Судья пошел дальше. Он категорически утверждал, что здесь кроется преступление. Не обошлось без постороннего вмешательства, иначе бы не случилось то, что случилось, и в поисках новых улик он донимал нашего полицейского. Чтобы угодить ему, тот арестовал всех бродяг и мелких воришек — в нашем городе их было немного — и показал им, где раки зимуют. Опять никаких результатов.

Следствие зашло в тупик. В соответствующих учреждениях и по всему городу обсуждали еще несколько дней, как шел бедняга по улице и упал в колодец, затем папку с материалами следствия закрыли, закрыли новым, более прочным щитком колодец, а Тудасюдас был предан вечному забвению. И «вечная ему память», как говорится в молитве.

Только два человека во всем городишке не забыли так скоро о его гибели. Первым был полицейский. Как раз в то время, когда он дожидался повышения в должности, этот бедняга взял, да и утопился. Словно сделал это нарочно, чтобы навредить ему, доставить неприятности, и к тому же не оставил никаких улик. Судья, в голове которого засела мысль, что здесь кроется преступление, дошел однажды до того, что заговорил с полицейским в оскорбительном тоне. А присутствовавший при этом начальник жандармерии кивнул головой и ничего не сказал. Нашего полицейского глубоко огорчала вся эта история. Погиб человек, что называется, у него на глазах, честный человек, пусть даже и Тудасюдас, но если он, полицейский, не в состоянии ничем помочь следствию, то это не говорит в его пользу и может помешать карьере — так обстояли дела. И хотя следствие прекратилось, он не успокоился.

Вторым был Фодоракис, и тот не мог успокоиться, не имел на то права. Его собственные кровные интересы были связаны с этой смертью и скрывавшей ее тайной. Когда все — и полицейский, и прокурор, и следователь — отступили и сдались, явись тогда он, Фодоракис, и докажи: так-то и так, господа, обстояло дело, и открой им глаза — это не только принесло бы ему честь и славу: сразу бы изменилась его жизнь, изменилось бы все.

К тому времени прошло уже два года, как Фодоракис окончил гимназию. Он окончил ее на «отлично», и учителя советовали его отцу отправить юношу в университет, раз он проявляет такие способности. Отец не смог этого сделать, не имел средств, как он утверждал. Но Фодоракис не особенно огорчился. Он получил в гимназии аттестат с отличием и был вполне удовлетворен. Он кичился им и ждал, пока его

назначат регистратором в провинциальную канцелярию, как обещал его отцу один из окружных депутатов. Назначение задерживалось, Фодоракис все еще кичился и все еще ждал. У отца его была на базаре лавка, вернее сказать лавчонка, но он слыл respectable человеком среди состоятельных граждан нашего городишка. И собственный домик был у его отца. А у Фодоракиса был гимназический аттестат. Карьера государственного чиновника была у него в руках. Итак, он поглядывал на девушек свысока, с презрением завидного жениха, который выберет, конечно, лучшую невесту, когда ему вздумается,— и тогда лопнет от зависти Деспина Димули: ведь отец у нее был из бедных и не имел лавки, она, конечно, и помышлять не могла о том, чтобы выйти замуж за государственного чиновника. В то же время Фодоракис душой и телом томился по Деспине Димули — и вообще по девушкам. Но поглядывал на всех свысока, с презрением будущего регистратора провинциальной канцелярии, затем секретаря начальника округа, а затем... там видно будет. Тем временем его засасывало болото безделья.

Фодоракис и не думал, что оно засосет его, хотя прошел год, целый год. Он уже забыл об отличных отметках; назначение все еще не пришло. Тогда отец отправил его в окружной центр, чтобы Фодоракис сам посмотрел, чем он может заняться. Он поехал и, прожив там несколько месяцев, стал кичиться тем, что получил крещение и что он уже не провинциал — хотя это и был всего-навсего окружной центр. Он получил крещение и как мужчина в городском публичном доме, кичился и этим — хотя продолжал томиться душой и телом. Он сдал экзамены в школу телеграфистов — это тоже государственная служба — и кичился тем, что сдал успешно, хотя не прошел по конкурсу и опять остался без места. Больше никакого применения своим способностям он не смог найти и вернулся к себе в городок. Но он не чувствовал себя побежденным и несколько не тревожился. Возмнив себя столичным жителем, Фодоракис завязывал шелковый шарф на шее так, как завязывали его тогда в окружном центре, всегда носил галстук и считал признаком хорошего тона вынимать беспрестанно носовой платок и, поплевав на него, изящно вытирать им губы. А по вечерам, убивая время в кофейне, он читал, кроме газет, свои любимые детективные романы — приносил их туда и читал до поздней ночи.

Сначала он читал их по привычке, сохранившейся у него со школьной скамьи, или скорее для того, чтобы производить впечатление образованного человека, чтобы все в кофейне видели его погруженным в чтение. Затем постепенно он настолько втянулся, что стал находить в этих романах спасение от убожества своей собственной жизни. По ночам в одиночестве он мечтал, что сам совершит какой-нибудь подвиг, как те, о ком он читал, проявит доблесть и удивит всех: расправится с бандой злоумышленников, угрожающих его городу, спасет человека из рук бандитов. И тогда об этом узнает Деспина. Об этом узнают и прочие и поспешат, конечно, предоставить ему хорошее, очень хорошее место регистратора. Но, чтобы внести ясность, я не вправе умолчать о том, что все это не являлось для Фодоракиса страстью, целиком его поглотившей, то есть болезненным бредом мистика или фантазера. Фодоракис был совершенно здоров. Чуть-чуть лжи нужно было лишь для того, чтобы вечером успокоить его сердце — немного мечты, совсем безобидной. Не вправе я умолчать и о том, что в этих мечтах о подвигах на полицейском поприще была не только жажда вознаграждения и всеобщего признания, но и любовь, стремление к добру. Не слышком много, тоже в меру. Как раз столько, чтобы поддерживать и питать мысль о превосходстве своей личности — Фодоракису хотелось быть не таким, как все.

Еще через год отцу стало тошно смотреть, как сын бьет баклуши, проводит в бездельи день за днем, бесконечные дни. И он встревожился. В городе была типография, принадлежавшая Праксителю, по прозвищу Жаба, страстному голубятнику и неутомимому хвостуну, распространявшемуся о своих победах на поприще гомосексуализма, а в общем-то добрейшему и почтеннейшему человеку, торжественно именуемому Праксителем, а в просторечии Жабой.

В типографии у него имелись траурные рамки для извещений о смерти, которые вывешивали на двери и телеграфные столбы, немного красивого шрифта с позолотой для объявлений о счастливых браках, две-три кассы строчных букв, несколько ящичков с заглавными, маленькая ручная печатная машина и допотопная ножная «виктория».

Отец Фодоракиса пошел к Праксителю поговорить с ним. Он сказал ему, что не верит в назначение сына на место регистратора и что лавчонка не может прокормить их обоих. Они обстоятельно потолковали обо всем и пришли к обоюдному согласию: пусть Фодоракис подучится пока типографскому делу. А там — у Праксителя были свои планы: ему уже порядком надоела эта работа, он выбился из сил — он передаст со временем типографию парню, чтобы тот жил, как люди, и преуспевал. Старик отец обрадовался. Он сказал тогда Фодоракису, что надо чем-нибудь заняться хотя бы временно, пока не выяснится с этим назначением, нельзя же бить баклуши.

Так Фодоракис начал ходить в типографию. Сначала он ходил только после обеда и работал, никогда не расставаясь с пиджаком и галстуком, чтобы все сразу же видели, что он не рабочий, не какой-нибудь поденщик, а лишь помогает Праксителю так, от нечего делать — ведь и в типографии работа умственная, — пока не получит место государственного чиновника — это единственное, что ему подходит. Если он сидел за столиком у окна так, что его видели с улицы, и правил корректуру, он был почти счастлив. Затем он стал ходить в типографию и по утрам, снимал иногда галстук, наконец стал снимать и пиджак. Пракситель положил ему жалованье. Тут успокоился и старик отец.

Сам Фодоракис не мирился со своей участью, не хотел быть рабочим, но и не отказывался от места с тем, чтобы попытаться изменить свою жизнь. Он выжидал. Лелеял мысль о превосходстве своей личности и мечтал о должности регистратора, о выдвижении и всеобщем признании. Время от времени возобновлялись хлопоты о месте, иногда казалось, что дело идет на лад, приходило письмо из Афин, подтверждавшее обещание, приближались выборы, разгоралась надежда — не угасал огонь. Между тем подвиги на полицейском поприще не выходили у Фодоракиса по вечерам из головы — и здесь не угасал огонь. Мечты не доставляли ему прежней радости и стали другими: исчезла любовь, исчезло то робкое стремление к добру, о котором мы говорили. Сочиняемые им фантастические истории прежде кончались тем, что он просто спасал девушку, а теперь она должна была в конце концов выйти за него замуж и подарить ему свою красоту и большое приданое, то есть счастье. А если речь шла о старике, то он спасал богатого старика, в конце концов усыновившего Фодоракиса...

Гибель Тудасюдаса потрясла его. В засасывающем его болоте тайна этой гибели казалась ему веткой, склонившейся над ним, чтобы он ухватился, вцепился в нее. И он вцепился в нее со всей страстью безнадежного отчаяния. Здесь был выход. Какой выход, об этом он не думал и не хотел думать.

Вечерком в типографию заходил иногда полицейский и пил с Праксителем кофе. Он-то как раз и нужен был Фодоракису. С ним впервые

заговорил он о Тудасюдасе в те дни, когда тот исчез и все, в том числе и полицейский, считали, что он куда-то уехал.

— Он здесь,— решительно заявил Фодоракис.— Вот увидите.

— Как так? — спросил полицейский.

Фодоракис не удостоил его ответом и только многозначительно улыбнулся.

Его слова не замедлили блестяще подтвердиться — в колодце был найден труп.

— Что ты на это скажешь? — спросил полицейский Фодоракиса, зайдя опять в типографию.

Фодоракис понял, что пришел его час. Праксителя в это время поблизости не было. Перестав набирать, Фодоракис оперся локтями на кассу, на лице его снова появилась та же многозначительная улыбка, и он стал излагать полицейскому свои доводы: почему он считал, что Тудасюдас — живой или мертвый, это уже другой вопрос — находится здесь.

— Да ты неглупый парнишка,— сказал полицейский.— Настоящий детектив.

В то время полицейского очень огорчало, что следствие топталось на месте, а судья наседал на него и распекал его, пожилого человека. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь, поделиться, и этот парень был единственным человеком, который его понимал. И вот он поведал Фодоракису, сколько горя пришлось ему хлебнуть из-за этого проклятого дела, не скрыл, как он обеспокоен своим служебным положением и дальнейшей карьерой. Фодоракис сел рядом с ним. И он в свою очередь поведал полицейскому о своей страсти, о том, что в душе он детектив, до поры до времени тайный, просто любитель. Но он не успокоится, сказал Фодоракис, пока не доведет дело до конца, не докапается до правды. Ему известны материалы следствия, заключение врача, все данные, которыми они располагают, а также есть у него и свои соображения, все аккуратно, по порядку занесено в тетрадь.

— Ну и ну! — сказал полицейский.— Настоящий детектив...

В тот же вечер, прихватив тетрадь, Фодоракис отправился в полицейский участок. Заперев дверь, они с полицейским сели и принялись обсуждать. Фодоракис доказал, что тот ошибается, считая, что Тудасюдас свалился в колодец пьяным. Это исключено.

— Ну, а что же тогда? Значит, прав судья? Он утверждает, что его бросили туда. Но как ты это докажешь?

— Нет, и он ошибается. Это тоже исключено.

— Что же тогда?

— Тудасюдас стоял у колодца. Он не был пьян. Он стоял там, потому что смотрел на что-то, повернувшись спиной к колодцу. На что он смотрел, это совершенно неважно. И тогда что-то произошло на площади. Он что-то увидел, испугался, хотел бежать, сделал шаг назад и упал спиной на щиток колодца. Проломив его, провалился вниз. Врач прав только в одном: беда стряслась не потому, что он был пьян. Нет здесь и никакого преступления. Совсем другое. Что никакого отношения к Тудасюдасу не имеет. Совсем другое, чего мы не знаем.

Полицейский слушал, опустив голову.

— Что же это может быть? В ту ночь ничего не произошло в нашем городе. На площади никого не было, никто в такое время не проходил там. Мы знаем точно.

— В том-то и дело, что здесь ничего не произошло. Судья ошибается — здесь не было преступления. Но что-то произошло в другом месте. В большом городе произошло убийство около девяти вечера, за два часа до того, как утопился Тудасюдас. Убийцу обнаружили, но не успели задержать. Он тут же скрылся из города. Пешком до нас как раз два

часа, то есть именно в это время наш Тудасюдас стоял у колодца. В тот же вечер, часов в десять, произошло мелкое ограбление на шоссе, километрах в пяти отсюда. Обокрали частную машину. Преступников не задержали. Вот что произошло в ту ночь — пожалуйста.

— А какая связь между этими происшествиями?

— Пока еще я точно не знаю. И убийца и те, кто ограбил машину, скорей всего побывали в нашем городе. Как раз в то время, около одиннадцати. С одним из этих двух происшествий связана смерть Тудасюдаса, его гибель. Как именно, я не знаю. Но я докопаюсь. Когда-нибудь, со временем, я докопаюсь.

И тут полицейский не сказал Фодоракису, что это будет, конечно, иметь очень большое значение, но ему-то самому совершенно безразлично, что произойдет когда-нибудь, со временем. Ему нужно докопаться сейчас, а сейчас соображения Фодоракиса ничего не давали. Однако полицейский признал, что в этом парне сидит сам черт — ведь весь его домисел разумно построен на материале следствия. В свете более серьезного и значительного дела гибель Тудасюдаса уже была не какой-то необъяснимой тайной, а просто загадкой, вопросом, который следовало разрешить в том серьезном деле, нити которого терялись за пределами нашего городишка. Они закрыли тетрадь. Полицейский тепло, с искренней симпатией пожал Фодоракису руку.

— Ты докопаешься,— сказал он. — У тебя, Фодоракис, есть голова на плечах... Составь-ка мне донесение. Пусть лежит там, в архиве. Кто знает, что еще будет...

Через несколько дней Фодоракис отдал ему донесение. Полицейский спрятал его в архив. Конечно, о самом деле он никому не сказал ни слова. Но о Фодоракисе он всем с тех пор говорил: «Какой умный парень! Посмотрел бы ты, братец мой, как грамотно пишет. Вот увидите, он не засидится в типографии: у него будущее — вот увидите».

С тех пор Фодоракис приобрел некоторую известность, и его прозвали Детектив, Фодоракис Детектив. Его это несколько не удивило. Теперь он мог гордиться — его тайное донесение находилось уже в делах полиции, дожидаясь продолжения, которое, по его мнению, не замедлит последовать. И он мог также радоваться, что все признали его исключительные способности, что полицейский его восхваляет и он, конечно, не засидится подручным у Праксителя.

Назначение на место регистратора так и не приходило. Отец Фодоракиса умер. Перестала существовать маленькая лавка на базаре, благодаря которой и его считали состоятельным человеком. Потом Деспина вышла за кого-то замуж. Полицейский получил наконец повышение и уехал из городка — Фодоракис лишился надежного свидетеля своих исключительных способностей. Но и тогда он не счел, что все кончено, ни от чего не отступился: ни от той тайны, что ждала разгадки в полицейском архиве, ни от прочего. Он все еще верил, что у него два огромных крыла, из-за несправедливости судьбы они пока опущены, но когда-нибудь он их расправит. И каждое утро он складывал свои крылья под потертым пальто и шел в типографию быстрым шагом, словно это был путь, который он спешил пройти, миновать, покончить с ним — шел сегодня в последний раз. Вечером он мыл поташом руки, чтобы вывести чернила, ввевшиеся под ногти, и плелся, задумчивый и молчаливый, точно чувствовал себя виноватым — день прошел, и ничего не изменилось, пройдет еще день, и он снова отправится, опять отправится в тот же путь.

Если когда-нибудь вы попадете в наш городишко, вы можете сразу узнать Фодоракиса. Вы найдете его где-нибудь поблизости от единственной торговой улицы, около автобусной станции или в кофейнях, где

сидят и читают написанные на кафаребусе¹ газетные статьи о бессмертном духе греческой нации, где стучат костями и играют в преферанс. Вы тотчас узнаете его. Сын мелкого лавочника, он стал рабочим и не хочет с этим примириться. Это Фодоракис с гимназическим аттестатом в кармане, не получивший места регистратора. Это безвестный детектив, совершивший много подвигов, но все еще не открывший страшную тайну: как случилось, что утонул в колодце мирный человек без имени, а только с прозвищем,— дело серьезное, значительное, и следы его теряются за пределами нашего городишка...

С тех пор прошли годы. Пятнадцать лет. Была война, миновала война, были в Греции и другие события, миновали и другие события. Фодоракис не примкнул ни к левым, ни к правым, сохранял независимость. Он все еще в типографии. Она уже не принадлежит Праксителю. Прежде чем продать ее, он сказал Фодоракису, что они с его отцом строили планы передать дело ему. Фодоракис не захотел, он, мол, не делец и, самое главное, вряд ли останется в типографии навсегда. Ее новые хозяева представления не имели о том, что Фодоракис чуть не стал ее владельцем. Дело разрослось, а он по-прежнему там и трудится наравне с другими рабочими.

И наш маленький город разросся за это время. Старый винный погребок, куда заходил Тудасюдас, снесли, и там высится трехэтажное здание из цемента и бетона — городская гостиница. На маленькой площади сняли плиты и залили ее асфальтом. Исчез бесследно колодец; там теперь несколько деревьев, успевших уже разрастись, и две-три скамейки — зеленый островок в центре площади.

Из старых построек на этой площади остался только домик Деспины, ее отцовский дом, и он стоит до сих пор, а она после замужества продолжает жить в нем.

Вот уже пятнадцать лет, как Фодоракис не проходил по площади. Если он оказывался поблизости, то шел в обход, сворачивал в сторону, чтобы не проходить по ней.

Сегодня вечером он прошел там, сам того не желая; задумался, шагая по улице, и вдруг обнаружил, что очутился на площади. Он быстро осмотрелся. Первым его побуждением было уйти, убежать отсюда. Уже поздно, за полночь, городок спит, нет никого на улицах, дом Деспины заперт — к чему прятаться? Он стоит, смотрит по сторонам. Ясная летняя ночь. Маленькая площадь таинственно сверкает в ночном свете. Он отступает назад к зеленому островку и стоит под деревьями. Все молчит, все застыло. Ему кажется, что это сон. Здесь словно в театре, дома вокруг ненастоящие — декорации, намалеванные красной и синей краской. Дом Деспины прямо перед ним. Налево, там, где теперь трехэтажное здание, находился винный погребок, куда заходил Тудасюдас. Плиты в такие ночи, наверное, прежде белели и сверкали, как мраморные, как во дворце. Все словно в театре. И тишина. Вот-вот начнется представление.

И вот... Тудасюдас выходит из своего винного погребка. В такую ночь он упал в колодец. Это записано в тетради. И тогда было полнолуние, сияла круглая луна — настоящая иллюминация. В одиннадцать часов, как всегда. Пьяный, как всегда, ни чуточки больше. Идет, петляя, покачивается на ходу и, кажется, очень доволен. Проходит по площади. Вот он у колодца. Колодец был здесь, именно здесь, где стоит сейчас Фодоракис, под этой скамейкой. Тудасюдас остановился тогда там, у

¹ Ка ф а р е в у с а — искусственное приближение новогреческого языка к древнегреческому.

колодца, полюбоваться волшебством ночи... На этом обрывалась запись в тетради Фодоракиса...

Опять видение.

В тиши ночи быстрые легкие шаги, они все приближаются, дробный гулкий стук по тротуару. Женщина. Это Деспина Димули. Как раз двадцать минут двенадцатого она возвращалась с тетушкиных именин. Двадцать минут двенадцатого, он помнит это прекрасно.

Еще одна запись в тетради.

На допрос Деспину не вызывали, не знали, что она видела, как Тудасюдас стоял у колодца. Но Фодоракису она потом сказала, и он внес это тоже в тетрадь, но не придал значения, не думал тогда, что это имеет связь с делом, ему и в голову не пришло, что это могло иметь связь.

— Я увидела тень. Кто-то стоял у колодца,— сказала ему тогда Деспина.— Я решила, что это ты.

Нет, это был не он.

— А почему это был не ты? Я любила тебя, и ты это знал. Меня ничуть не огорчало, что ты не получил места регистратора. Я была бедна.

Запись обрывается...

Это Тудасюдас стоял там, у колодца, в такую же волшебную ночь, как сегодня. Стоял, слышал приближавшиеся шаги. Остался там, чтобы увидеть женщину. Вскоре она появилась в углу сцены, прошла перед домами, высокая, стройная, такая была тогда Деспина — словно видение в лунном свете. Она вошла в дом. На верхнем этаже справа, в комнате, где она спала, засветилось окно. Тень девушки мелькала в комнате, несколько раз падала на окно. Тудасюдас все стоял. Стоял и радовался, когда видел эту тень, ждал, чтобы она снова упала на окно.

Фодоракис улыбнулся. Вот в чем была связь. Вот почему Тудасюдас стоял там, вот на что смотрел.

Опять запись в тетради.

— Я погасила свет,— рассказывала Деспина,— и выглянула из-за занавески осторожно, чтобы никто меня не заметил. Он все еще был там, стоял, никуда не уходил. Я выглянула еще раз. Мне хотелось, чтобы это был ты...

На этом кончилась запись — пятнадцать лет назад. На этом кончилась, оборвалась и жизнь Фодоракиса. Он смотрит по сторонам: видения растаяли в холодном лунном свете. Все вокруг стало совершенно чужим. Представление кончилось, исчезли декорации, плиты, мраморный дворец, здесь нет ни души. Нет уже света в том окне, и незачем ему стоять и дожидаться, чтобы промелькнула тень. Нет уже никакой Деспины в том доме, в этом городе, нет нигде. У него вырывается глухое, сдавленное рыдание, сдерживаемое пятнадцать лет, он шепчет:

— Деспина...

Закрыв лицо руками, отворачивается, тяжело опускается на скамейку — чтобы выплакаться. Сиденье скрипит под его тяжестью — и вдруг Фодоракис вскакивает, потрясенный, растерянный. Он забывает о своем горе; рыдания замирают у него в груди, не успев вырваться. Мысль начинает работать необыкновенно четко, он мгновенно переносится в прошлое, снова и снова возвращается к прошлому. Потом мысль останавливается, точно механизм, настроенный на скрип скамейки. А дальше — дальше уже нет ничего.

Так было дело. Так было дело и тогда. Так и тот закрыл лицо руками, когда в окне погас свет, сделал шаг назад, чтобы сесть — чтобы выплакаться. Скамейки не было, был гнилой щиток. Тудасюдас провалился в колодец.

Здесь нет никакой гайны, преступления, нитей, теряющихся вдалеке, убийц, грабителей. Нет никакого торжества правосудия, дело так и

будет лежать в архиве, нет никакой славы, хотя Фодоракис и раскрыл тайну. Потерянная молодость, загубленная жизнь и обманутые мечты, в которые — теперь он это знает — он никогда не верил...

Фодоракис снова опускается на скамейку, закрывает лицо руками и дает теперь волю слезам, плачет беззвучно, горько, окончательно смирившись.

На площади раздаются медленные тяжелые шаги. Фодоракис испуганно вздрагивает. Ему кажется, что это идет Тудасюдас. Он поднимает голову. Это полицейский возвращается с ночного дежурства. Он знать не знает об исключительных способностях Фодоракиса. Остановившись, полицейский смотрит и сразу узнает его: это чудак наборщик Фодоракис, по прозвищу Детектив. Полицейскому не кажется странным или опасным, что тот сидит на скамейке, и он идет дальше своим путем. К тому же нет больше колодца, и ему, подобно его предшественнику, нечего опасаться неприятностей с такими вот неудачниками, которых в такие вот ночи одолевает грусть и они садятся там, где стоят, и плачут. Конечно, и у вас тоже, господин Торнтон Уайлдер, и в нашем захолустье. Но в такой поздний час мы: Деспина, вы и я.— погасив свет, закрыли уже окно и не видим их, не слышим, как они тяжело опускаются на скамейку, а иной раз летят в объятия смерти.

Перевела с новогреческого
Н. Подземская.



ХИРОСИ НУЯМА

★

СТИХИ ИЗ ТЮРЬМЫ

С японского

Недавно исполнилось шестьдесят лет со дня рождения прогрессивного японского поэта Хироси Нуяма.

За свою активную антифашистскую и антивоенную деятельность Хироси Нуяма был брошен в тюрьму. Около двенадцати лет, вплоть до капитуляции милитаристской Японии, он провел в одиночной камере.

В Японии широко известны три сборника стихотворений Хироси Нуяма: «Тюремные стены», «Соломенная шляпа» и «Во имя создания прекрасного общества» — книга послевоенных стихотворений.

Пылающий снег

Окно предо мною.
Окошко. Оконце.
В оконце на прутьях
Озябшее солнце
К стеклу прилепилось
Холодным лучом.
К лучу прислонился я
Левым плечом...
Но если я слева
Стою под окошком,
То с левого локтя,
Подобно сережкам,
Сосульки свисают —
Подарок зимы,
Как те —
На карнизах
Промерзшей тюрьмы.
А встану я справа,
То — в сумерках синий —
На правой руке
Собирается иней...
Окно предо мною.
Решетка. Стекло.
Пылающим снегом
Окно занесло.

Зимнее небо

Словно в пальто меховые
 Горы оделись под вечер,
 В воротники снеговые
 Прячут озябшие плечи.
 Буран застиляет дороги,
 И в тучах метельной пряжи
 Тонут леса и отроги,
 Тонут горные кряжи.
 Карабкаюсь я на утесы,
 Влево бреду и вправо,
 И вброд, обойдя откосы,
 Штурмую Тикумагава.
 Туда, сквозь снежную замять,
 Спешу, не зная усталости,
 Где в деревушке Годзама
 Коммуниста выбрали старостой.
 Пусть ноги свинца тяжелее,—
 Сердце поет неустанно!
 Иду, ни о чем не жалея,
 Под зимним небом Синано.
 Так вой, метель,— мне не сбиться!
 Неистовствуй — не обманешь!
 Снег на очки садится
 И тает, стекла туманя...

Тюремные стены

Стены,
 Тюремные стены
 Сплошь,
 Куда ни пойти,
 Словно до неба
 Стены
 Выросли на пути...
 О люди,
 Живущие рядом,
 Вокруг этой серой громады!
 Неужели у вас
 Не болит голова
 От круженья,
 Тоски и тревоги?..
 У стены незнакомец.
 Он ловит слова —
 Он кого-то спросил о дороге.
 «...Вот пойдете на север,
 На той стороне
 Часового увидите
 В будке у входа,
 А потом...»

А потом часовой
В тишине
Отвечает на тот же вопрос
Пешехода:
«...Это нужно идти по прямой,
А после — держите левее,
Ну, а там, как раз за тюрьмой
Третий дом...»
«Левее», «правее» —
Люди ходят и месят грязь...
Люди ходят?
А стены, стены?
Разве стены могут упасть?
Люди лгут!
Никакой перемены...
Стены,
Сплошные стены,
Тюрьма,
Куда ни пойти.
Словно до неба
Стены
Выросли на пути.
Кружишь... кружишь...
И нет просвета...
Перепутались
стороны света.

Перевел Анатолий Мамонов.



ЖУБАЩИСТИКА

ЛЕОНИД ИВАНОВ

★

В РОДНЫХ МЕСТАХ

Родные края... Перед моими глазами всякий раз встает извилистая, хорошо утоптанная тропинка, связывавшая нашу деревню с небольшим разъездом Торфяное. Сбегает она с железнодорожной насыпи, а шагов через тридцать на ее пути уже небольшое препятствие — весело журчащий ручеек, через который перекинута три перекладины, до блеска отшлифованные ногами людей. Еще несколько шагов — и тропинка разветвляется: влево — на Михайлово, вправо — на Крюкино, а прямо — к нам, в нашу деревню. Тропинки эти убегают сквозь заросли кустарников в лес. А леса тут красивые. В добром соседстве стоят ели с березками, уживаются осина с ольхой. А если дело весной, то далеко виден и осядут белый кипень душистой черемухи. Осенью же резко выделяется своими румяными гроздьями рябина.

Из первого же лесочка наша тропинка выбегает на небольшой луг. Здесь под ногами почти всегда хлюпает вода, летом все кругом в цвету. Слово бы никакой травы тут и нет, одни цветы, раскрасившие лужок десятками оттенков. А тропинка взбегает на бугорок и вьется по заворчику возле лесного массива. А там уж начались и поля, завиднелись блестящие на солнце золотые купола церкви. Значит, скоро и дом родной...

Эту тропиночку я и сейчас бы нарисовал самым подробнейшим образом, со всеми рытвинками и извилинками, со всеми камнями и валунами, на которых доводилось отдохнуть, когда шел с грузом.

Да, нарисовал бы... Вот только сверить этот рисунок уже не с чем. Нет уже той тропиночки: затерялась в зарослях, накрывших и заворчики, и перелески, и лужочки. И люди стали ходить круглым путем по дороге, удлинившей путь почти в полтора раза.

Богато прошлое этих мест. Еще в школе мы знали, что в наших местах проживали и творили многие знаменитые художники — Левитан, Богданов-Бельский, Степанов, Моравов, Жуковский, Бялыницкий-Бируля и многие другие. На берегу озера Лайкова жил изобретатель радио А. С. Попов. И сейчас в Удомельском районе есть колхоз его имени.

И обязательно вспоминается мне наш учитель Сергей Иванович Волков. Это он водил нас по берегам озера Удомля, к селу Островно, где в течение нескольких лет жил и творил певец русской природы Левитан. Бывали мы и на острове Аржаник, который он изобразил в своей знаменитой картине «Над вечным покоем». С радостным трепетом выслушивали мы рассказ Сергея Ивановича о Левитане, о том, что именно сюда, под Островно, приезжал в 1895 году Антон Павлович Чехов...

Впрочем... не слишком ли затянулось мое отступление в область истории?..

Еще об одном я все-таки упомяну.

От своей бабушки Марьи, да и от других стариков слышал я такой рассказ: орды хана Батыя, двинувшиеся на Русь, докатились и до наших мест. Главный

бой был неподалеку от Бежецка (это близко от Удомли). Одержав победу, батыевцы двинулись на Новгород, но, дойдя до озера Удомля, остановились. Дело было зимой, а впереди леса и непроходимые болота, корму для лошадей нет. Постояла тут орда немного и повернула к югу — в сторону Вышнего Волочка, Торжка. И вот там, где остановились монголы, на пожертвования населения и его силами была построена церковь, названная Николо-Стан.

Учитель Сергей Иванович раскапывал вместе с нами курган близ Удомли, мы нашли несколько обломков холодного оружия. А таких курганов здесь много — по берегам реки Мста, по дороге на Вышний Волочек и на Бежецк.

Обо всем этом я припомнил к тому, что и в те далекие времена здесь трудились на земле крестьяне, жили хлебопашеством и скотоводством, строили деревни, утверждая тем самым жизнь на земле. Места эти — исконно русская земля!

И хочется сказать большущее спасибо нашему учителю — ныне пенсионеру — Сергею Ивановичу Волкову за то, что он заронил в наши сердца много патристических искорок, вселил в них гордость за родные края, за великих предков!

Вот уже тридцать лет, как уехал я в Сибирь. Когда уезжал, то моя бабушка Марья никак не верила, что в Сибирь еду по своей охоте. Помнится, при расставании шепнула мне на ухо:

— Ты скажи мне: за что тебя? А я уж никому...

Сильно привязался я к Сибири. В родные края заглядывал нечасто и лишь на денек-другой. И всякий раз, сравнивая Сибирь с родными местами, находил, что Сибирь хотя и отставала в отношении культуры, но хорошеет быстрее. А какие масштабы! Деревня так уж деревня! Поле так поле! Глазом не окинешь. И стада там более тучные, и тракторы гусеничные появились намного раньше, и комбайны. И новых построек там возводилось неизмеримо больше. А сколько населенных пунктов создавалось заново! И все совхозы, совхозы, совхозы...

Особенно круто зашагала в гору сибирская деревня в последние годы, когда начался новый поход за освоение целинных земель. И словно бы с высоты этого взлета более отчетливо стало видно большое отставание моих родных мест. Вот тогда-то я и обратился к цифрам. И что же? Здесь, в центре России, и урожай хуже, чем в Сибири, и продуктивность скота ниже. А механизация сельскохозяйственных работ ни в какое сравнение не идет. Особенно электрификация. В Удомельском районе двадцать девять колхозов, но только в трех из них есть электричество, и то от маломощных гидростанций на местных речушках. А попробуйте в Омской области, где я живу постоянно, найти населенный пункт без электричества!

Дальше — больше... Удомельский район сдает государству зерна меньше, чем берет из государственных складов. А ведь район-то сельскохозяйственный, промышленность не получила здесь большого развития.

Так возникло желание заглянуть поглубже в жизнь родного края, побродить по деревням, побеседовать с земляками.

На валуне

Полевая дорога с пригорка от деревни устремляется к деревянному мосту через небольшую, притихшую после весеннего половодья речку и тут же взбирается на очередной пригорок. Но этот пригорок не самый высокий; метрах в двухстах впереди — еще выше. Отсюда далеко видно!

Впереди деревня Михайлово, окаймленная высокими старыми деревьями. Зелень на них еще неуверенная, вроде бы с сероватым оттенком. С левой стороны — болото, поросшее в середине небольшими сосенками, а по краям сплошным кустарником. В конце болота выделяются своей мощью высокие густые ели, расположенные по кругу. Там кладбище...

С правой стороны и позади — пригорки и пригорочки. Вдали сквозь заросли олешиника голубеет узенькая лента реки. Она уже вошла в берега, но раскинув-

шийся в ее пойме большой луг (большой по местным масштабам — около четырех гектаров) все еще под водой.

Я забрался на большой камень-валун, вросший в землю у самой дороги. И горизонт раздвинулся: отсюда видны восемь деревушек, все они на пригорочках.

Теперь хорошо видна и полоска пашни у высокого берега реки. Это была наша полоска, я пахал ее последний раз, когда мне было пятнадцать лет.

Послышался грохот трактора. Вот и сам трактор выполз из-за пригорка, звеня гусеницами, устремился вдоль высокого берега реки, оставляя за собой ленту черной взрыхленной земли.

Это Сергей Пыжов — единственный пахарь на три деревни.

Да, это так: опытный тракторист, он распахивает поля трех деревень. Правда, деревни тут небольшие — двадцать, тридцать дворов, редко сорок, а есть и по десять. Но зато они часты: километр-два друг от друга, а то и ближе. Но как бы там ни было, а один тракторист заменил полсотни пахарей!

Вот гусеницы трактора надвинулись и на «мою полоску», миновали ее, еще одна или две такие борозды — и полоска будет запахана во всю ее ширину. Я хорошо запомнил: граница полосы проходила у большого валуна. Он и сейчас виден на том же месте, но вроде бы стал пониже.

А тем временем трактор Пыжова завершал первый круг по всему караваю. Именно круг, потому что пахать здесь можно только по кругу — таков каравай. И когда он пошел на второй заход, на поле среди черной-черной земли, на которую нагрянули грачи с кладбищенских елей, показались «огрехи». Это у валунов. Трактористу приходилось объезжать их. От каждого такого камня в обе стороны по ходу трактора протянулись своеобразные усы невспаханной земли... А валунов здесь много.

Оживилось поле и за рекой. Там появилась телега, груженная мешками. Потом она остановилась на краю полосы, от нее отделились четыре женщины и зашагали по вспаханной земле.

Мое внимание отвлек характерный треск мотоцикла. Его еще не видно, но он близко, где-то за березнячком у реки.

Мотоцикл выскочил на горку, потом снова нырнул в низину и вот уже с ревом лезет на мой пригорок.

На мотоцикле — председатель колхоза Николай Дмитриевич Иванов. Он рослый, в кожаной куртке, кепка тоже кожаная, надвинута на глаза. Резко затормозив машину, легко вскочил на мой валун и, глянув на каравай за рекой, чему-то улыбнулся.

— Что женщины там делают?

Председатель облизнул обветренные губы.

— Сеют... Рядовой сев — четыре бабы в ряд идут...

Теперь и я понял: женщины размеренно взмахивали правой рукой. А председатель оправдывался: говорил, что на этих пригорках, засоренных камнями, невозможно применить современную тракторную сеялку с ее почти четырехметровым захватом: наскочило колесо на камень — семена окажутся на поверхности. Да и ломаются быстро. Здесь пошли бы сеялки с двухметровым захватом, но их нет.

Вот и соседствуют наш век техники и древнейшие приемы агротехники: гусеничный трактор, мотоцикл — и ручной сев, да еще не из лукошка (теперь лукошка не найдешь), а просто из мешка.

— Вообще-то они доярками работают, — заметил председатель. — Но больше некому...

Забегая вперед, скажу: летом я ходил на полосу, где сеяли женщины. И что же: овес вырос островками — где густо, где пусто. Как бросали семена горстями, так и выросло кустами. А в промежутках — раздолье сорнякам...

Пыжов делал уже третий круг. И теперь более отчетливо оставленные им островки с усами по обе стороны от валунов. Обнаружили себя и мелкие камни: они быстро подсыхали на солнце и хорошо видны на черной пахоте.

Председатель говорит, что и в целом по району чуть не половина полей засеивается еще вручную.

Ну, а как же убирать урожай?

— Камни и бугры сильно мешают, — вздыхает председатель. — Комбайны не везде пустишь... Для наших полей и комбайны нужны с узким захватом, да такие, чтобы на склонах могли работать. А тут того и гляди опрокинется с завора. Давненько еще читал я в газете, что выпускают комбайны для работы на склонах, только в нашем районе нет ни одного такого. А уж больше нашего склонов, наверное, нигде и нет.

— А как же насчет себестоимости?

— Только лен дает прибыль, а остальные культуры себе в убыток.

Председатель соскочил с валуна, зло давнул на стартер мотоцикла, тот затрещал, задымил, помчал дальше.

Я осмотрелся кругом. Красиво! А вот оденутся в свой наряд березки, сами поля покроются буйной зеленью, зацветут луга! Но вот... «четыре бабы в ряд сеют»... И все, кроме льна, «себе в убыток»? Это уже волновало по-другому, требовало раздумий.

И теперь я как бы другими глазами смотрел на окружающие красоты, словно бы с этого валуна более отчетливо стали видны беды этого края. Восхищаясь Сибирью, я и не подозревал даже, что сельское хозяйство Сибири так далеко оставило позади мои родные края.

Я снова обратился к цифрам.

В Омской области, например, центнер выращенного зерна стоит около четырех рублей. В передовых хозяйствах — два-три рубля. А вот в Удомельском и Вышневолоцком районах центнер зерна обходится колхозам почти в десять рублей. От каждого центнера ржи, проданной государству, колхозы терпят убыток больше четырех рублей.

Товарищи, с которыми я беседовал на эту тему, говорили: поднимем урожай, вот и снизится себестоимость. Это, конечно, резонно. Но вот беда-то: за последние годы не чувствуется заметного роста урожая зерна. Ни в названных районах, ни в целом по Калининской области. А в некоторых хозяйствах урожай даже снижаются.

Почему здесь так низок уровень механизации даже при производстве зерна? Может быть, много излишних рабочих рук? Нет, людей здесь маловато. Председатель колхоза «Великий Октябрь» привел любопытную справку: на каждого трудоспособного, занятого в полеводстве, приходится до сорока гектаров пашни. Это же очень много! Даже в Сибири не везде такая большая нагрузка. Но в Сибири в расчете на гектар техники больше и условия ее применения совершенно несравнимы — там ровные массивы в сотни и тысячи гектаров, ни единого камешка на полосе. А в том же «Великом Октябре» самый крупный массив пашни — двадцать гектаров, а большая часть участков по два-три гектара и меньше. В этих местах... далеко не везде можно применить такие прогрессивные приемы агротехники, как квадратно-гнездовой посев и обработка междурядий в двух направлениях.

И вот об урожаях...

Сколько колхоз сдает зерна государству? Оказывается, в последние годы сдача не превышала... двадцати тонн.

Бухгалтер колхоза, назвавший эту цифру, сделал важное дополнение: на корм скоту колхоз покупает у государства ежегодно до двухсот тонн зерна и комбикормов.

Может, это только в здешнем колхозе так? Нет, я уточнял в районных организациях: этот колхоз типично средний...

В чем же дело? Мне говорили: меньше стали сеять зерновых культур и вообще земли обрабатывается меньше, чем до войны.

Может ли это быть? Я заглянул к районному землеустроителю.

Зашифрованные земли

Районный землеустроитель, или просто райзем, как его зовут здесь, Михаил Семенович Войлоков, выслушав меня, поскреб в затылке, загадочно покрутил головой и молча шагнул от стола к большому шкафу, забитому папками и свитками карт. Порывшись в бумагах, заговорил как-то неуверенно, словно он тут первый месяц работает:

— Видите ли... Мы, конечно, проводили учет земельных угодий, экспликация их за послевоенные годы, конечно, изменилась, но...

Он развернул на столе извлеченные из шкафа бумаги. Оказалось, что многозначительно произнесенное «но» скрывало за собой много любопытного.

В целом по району земли остались, конечно, столько, сколько значилось и двадцать и тридцать лет назад. Но при проверке в позапрошлом году выяснилось: десятая часть пахотных земель превратилась в залежь... Стало быть, пашни в колхозах убавилось?

— Фактически да, — отозвался райзем. — Но надо учесть одно обстоятельство: при проверке мы обязаны были придерживаться неизменных рамок — те массивы, которые когда-то считались пашней, так и числятся пашней.

— Зачем же тогда делали проверку?

Михаил Семенович уклонился от прямого ответа.

— Кое-что все-таки уточнено, — промолвил он, доставая новую папку с бумагами, на этот раз из своего стола.

В этой-то папке и хранились «уточнения», так сказать, для служебного пользования. А уточнения очень важные. К примеру, восьмая часть пашни стала излишне увлажненной по той причине, что поля сильно заросли кустарниками — значит, начался процесс заболачивания. Нет надобности доказывать, что на излишне увлажненных полях урожаи резко снижаются, а иногда сводятся к нулю, обработка таких участков затруднена. Переувлажненные участки — первые кандидаты на переход из пашни в залежь, они быстро зарастают кустарником.

Вот еще одно уточнение: чуть не треть пашни в сильной степени засорена камнями.

У сибиряков или, скажем, у кубанцев эти слова могут вызвать улыбку. Там у них маленького камешка на поле не найдешь. А здесь...

Сразу вспомнился валун, с которого я обозревал поля родного колхоза. И другие валуны... Но валуны — это еще не самое страшное. Тракторист запросто объезжает их, правда, отдавая своеобразный откуп в виде клочков необработанной земли возле валуна. Эти клочки, по словам райзема, на некоторых полях занимают до пяти — семи процентов пашни! Но более мелкие камни, попросту булыжник, не позволяют в полной мере применить машины.

Камни эти — наследие ледникового периода. Крестьяне-единоличники по-своему справлялись с ними: мелкий булыжник собирали со своих полос и сносили на межи, тем самым создавая надежный заслон от полосок соседа..., а более крупные камни опускали в землю — выкапывали яму и опрокидывали в нее камень, засыпая его слоем земли в двенадцать — пятнадцать сантиметров, то есть на глубину захвата сохи или конного плуга.

Но вот появились тракторы. Они разворошили межи, растащили булыжник по полям. А камни, зарытые в землю, и до сих пор доставляют много хлопот трактористам — нет-нет да и наткнется плуг на зарытый когда-то камень, и тогда прощай лемех, а то и стойка плуга.

Ведется ли уборка камней с полей?

Михаил Семенович отрицательно покрутил головой:

— Почти нет. Механизмов подходящих нет, а руками немислимо. — Передохнув, добавил: — А камней на полях прибавляется...

Это понятно: колхозы оснащаются все более мощными тракторами, они пахут в два раза глубже, чем конные плуги, вот и вывернули на поверхность множество новых камней.

Как тут не пороптать на нашу промышленность? До сих пор не создано машин для уборки камней! А камни — беда не только этих районов. От них в не меньшей степени страдают поля многих областей Севера и Северо-Запада России, Белоруссии. Михаил Семенович говорит, что он когда-то читал об уборке камней машинами, кажется, в Белоруссии. Но сам он таких машин не видел.

Однако вернемся к земельным угодьям.

Удомельский район вот уже два года не выполняет планов весеннего сева. Причина? Не хватает земли. И в области хорошо знают, что здесь пахотной земли стало меньше, однако планы сева доводят по-старому, как говорят — по экспликации. Но если зарастает пашня, то что же делается на лугах и пастбищах?

К сожалению, учет этих земель проводится тоже «с привязкой к ранее числящимся площадям». Так что картина на бумаге не изменилась. Но опять же есть «некоторые уточнения»: более половины сенокосных угодий и восемьдесят процентов выгонов «закустарено и залесено».

— Многие луга и пастбища заросли уже не кустарником, а весьма приличными лесами, — говорит Михаил Семенович. — Ольха наступает со всех сторон, а мы даже не обороняемся.

В справедливости этих слов я вскоре убедился и сам.

Наступление ведет ольха

В один из летних дней я отправился по Удомельскому району.

Когда я поднялся на очередной холм, передо мной открылось небольшое озеро. Легкий и редкий туман медленно вздымался вверх, прятался в прибрежных кустарниках, окаймляющих все озеро. Дымок виден и на самой середине озера — там небольшое островок, заросший кустарниками. Самого островка не видно, он лишь угадывается за легким туманом.

А левее — темный лес с островерхими елями. Оттуда слышно многоголосое пение птиц. И в вышине проснулись жаворонки. В промежутке между лесом и озером голубела низина, вся заполненная цветущим льном.

Солнце пригревает все жарче и жарче. Я иду вдоль озера. Оно все уже и уже, вот перешло в неширокую протоку, с тем, однако, чтобы через сотню метров образовать новое небольшое озерко. А то в свою очередь переходит в реку, которая вьется среди цветущих лугов километра три, впадая затем в следующее озеро. А там уж и знаменитое озеро Удомля, вблизи которого жил и творил Левитан и другие художники.

Но все это еще вдалеке. А пока впереди показалась сосновая рощица. По соседству с ней, на самом берегу озера, была деревушка Вашурино. Помнится, еще в двадцатых годах несколько деревень создали кооперативное товарищество по постройке мельницы. Вот тут, в горловине между двух озер, и была сооружена плотина. Из города приезжал специалист, установил турбину. Она давала силу для размола зерна, для строгания дранки. Было тогда здесь и электричество.

Мельница эта действовала еще и после войны. Но теперь она совсем развалилась; рухнула и плотина.

Нет теперь мельницы, нет и деревни Вашурино, что и совсем уж странно. Тут бы животноводческую ферму соорудить — и всегда рядом, и лугов много, и лес. Однако жители почему-то переселились в другие деревни, совсем в сторону от озера.

Но вот и полотно железной дороги. Сильно дымя на крутом изгибе, прогромыхал паровоз с десятками вагонов на прицепе. Теперь до Удомли километра полтора. И вот тут-то пришел конец моим мечтам и раздумьям, некогда стало любоваться и красотами здешних мест.

Поднявшись на высокую насыпь, я оказался как бы на большой дороге. То и дело приходилось оборачиваться на звонки велосипедистов, на треск мотоциклов и мотороллеров. Скоро этот механизированный транспорт совсем вытеснил меня

с дорожки вдоль рельсов, загнал на шпалы. И вот тут-то я понял вдруг причины столь бурного наступления механизированного транспорта. Близко начало рабочего дня! Из окружающих деревень спешит в Удомлю местный рабочий класс — в промкомбинат, на мебельную фабрику, в мастерские сельхозтехники...

Я был единственным пешеходом. Десятки людей, мужчины и женщины, обгоняли меня, и все — на машинах!

Что ж, это отрадно. Только вот какие мысли лезли в голову: неужели в самом-то поселке не хватает людей для работы на небольших предприятиях местной промышленности? В послевоенные годы население Удомли увеличилось во много раз, сюда перебрались сотни семей, покинувших деревню. Не случайно же руководители многих колхозов вынуждены прибегать к услугам шабашников именно из Удомли. Они, шабашники, основные строители животноводческих помещений в колхозах, мостов, силосных сооружений.

Но вот и Удомля. Когда-то здесь бывал Антон Павлович Чехов. В то время небольшой поселок назывался Троицей, а Антон Павлович почему-то писал «Троица» — с «й» кратким. Это в его письме Н. А. Лейкину, оно датировано 5 июля 1895 года. Он писал: «Пришла телеграмма, и я очутился на берегу одного из озер в 70—90 верстах от ст. Бологое. Проживу здесь неделю или полторы и поеду назад в Лопасню». Антон Павлович приезжал тогда к Левитану.

Я решил двинуться от Удомли той же дорогой, по которой А. П. Чехов ехал на Островно, где находился тогда Левитан. С незапамятных времен дорога эта выложена булыжником и, как видно, давно не ремонтировалась. На ней много ям и ухабов. Почему бы булыжник не двинуть с полей, где он помеха всякому делу, на улучшение дорог?

Удомля сильно расплзлась во все стороны, соединилась уже с несколькими ближними деревнями, поглотила их. Вот и по дороге на Островно от бывшей Удомли больше километра застроено новыми домами, да и не в одну улицу! На берегу озера в большом сосновом бору раскинулся больничный поселок. А раньше тут была небольшая амбулатория и домик для всего медицинского персонала. Хочется рассказать об одном событии, связанном с этой больницей.

В 1960 году отмечалось ее сорокалетие. В газете выступила первая санитарка этого медицинского учреждения. Она напомнила, что уездные власти могли выделить средства лишь на содержание фельдшера и санитарки. А теперь здесь около сотни медицинских работников. Комитет, который руководил стройкой больницы (а возводилась она методом народной стройки), пригласил на работу опытного врача Раису Алексеевну Попову — жену изобретателя радио А. С. Попова. Жила Раиса Алексеевна километрах в пяти от больницы. Она согласилась работать врачом на внештатной должности, или, как выразилась бывшая санитарка, в порядке общественной помощи, то есть бесплатно.

Несмотря на преклонный возраст, Раиса Алексеевна в погожие дни приходила в больницу пешком, и лишь в ненастные дни за ней посылали больничную лошаденку.

Только что кончился больничный поселок, впереди завиднелась деревня Слободка. По обеим сторонам дороги очень уж много разрослось кустарника, редко-редко попадаются небольшие луга, но и на них множество кустов и кустиков: тут и ольха, и вереск, и бредняк. А хлебные поля все по холмикам и пригорочкам, вблизи деревень.

Ощущение такое, что здесь потеснее стало. А может, я и позабыл уже, как тут было. Только нет... Было просторнее, вдоль этого большака было много лугов. Их-то теперь райзем и величает «закустаренными».

Но вот на высоком бугре показалось Островно. В этих именно местах Левитан провел несколько лет, создал десятки своих замечательных картин, воспевающих красоты русской природы. Неподдалеку от Островно, с левой стороны от дороги, стоял большой барский дом с мезонином. Он принадлежал Турчанинову — крупному царскому сановнику. На лето сюда приезжала жена Турчанинова со своими двумя дочерьми. Место, где стоял их дом, называлось Горка. В Горку-

то и приезжал А. П. Чехов. И, как видно, отсюда именно увез он сюжет своего замечательного произведения «Дом с мезонином». Дом, описанный Чеховым, — копия дома Турчаниновых. История любви художника и Мисюль навеяна романом Левитана и младшей дочери Турчаниновых.

Я ищу сверток с большой дороги на деревню Ханино. Но где же он? Видно, все позабыл я за тридцать лет... Но вот же мостик через ручей, а сверток был рядом с мостиком, у самого ручейка.

Походив взад и вперед у мостика, я все же усмотрел дорожку. Вся она заросла высокой травой. Эта-то трава и обозначала бывшую дорогу. Я зашагал было по траве, но скоро уперся в непроходимые заросли ольхи. Пришлось возвращаться обратно. И тут-то повстречал знакомого человека — Алексея Егоровича Ключкова из деревни Дубровка. А их деревня близко от Ханина.

— Э-ка, вспомнил про Ханино, — усмехнулся Ключков. — Нету Ханина, давно уж нету. Мужики все в райцентр подались, а кое-кто и подале...

А ведь в Ханине было больше двадцати домов... Но в чем же дело? Пока я шагал сюда, то миновал несколько деревень — Стан, Доронино, Слободка... В них видны и новенькие дома, много новых крыш, крылечек.

— Эти деревни сохранились, — согласился собеседник. — Потому что на большаке стоят. А в Доронине была МТС, она кое-что настроила. А вот которые в стороне... В нашей Дубровке всего четыре дома осталось... В Андрейкове один, а в Пряслове ни одного.

— Но землю-то ханинскую кто обрабатывает?

— Наш колхоз. Половину-то, наверное, засевают, а покосы и выгона начисто заросли. Я вот охотник, а по старым дорожкам уж и не продрасть: ольха все начисто заплонила.

Алексей Егорович ушел в лес, а я стоял на большаке. Ну, Ханина нет, а ведь Андрейково и Пряслово сравнительно новые деревушки, создавались на моей памяти. И вот нет уже никакого Пряслова... Как бы добраться туда, взглянуть? Вспомнился вдруг Иван Иванович Кудрявцев — председатель колхоза имени Коминтерна. Человек еще молодой, энергичный, смелый. Так его аттестовали в райкоме, где я с ним и познакомился. Его колхоз в числе передовых. И Котлован — центр колхоза, недалеко отсюда. А от Котлована есть дорога и на Пряслово, я по ней когда-то хаживал.

Но Кудрявцева я не застал, он уехал в территориальное управление с жалобой: не принимают откормленных свиней... Беседовал с заместителем председателя (он же и парторг) Михаилом Егоровичем Молодцовым. Человек он уже немолодой, здешний старожил, до укрупнения был председателем одного из колхозов.

— Дела не особенно, — начал он, бросив на стол добела выгоревшую военного образца фуражку. — Большие надежды были на кукурузу, а она подвела... Ни гектара не выросло. А старания много вложено — лучшие земли, все удобрения под нее пошли.

— И как же нынче с силосом?

— Силоса-то у нас нынче намного больше прошлогоднего, — не без удовольствия произнес Молодцов. — Клевер выручил. По нынешней дождливой погоде здорово вымахал! Зеленой массы на силос собирали по двести да по двести пятьдесят центнеров с гектара. А теперь второй укос можно снимать. Так что силос у нас нынче почти весь клеверный, а это очень хорошо: белка достаточно.

Михаил Егорович переложил выгоревшую фуражку на другое место — на самый угол стола, раскрыл свою планшетку.

— Жалко вот, прогуливает земля... Так хозяйничать больше нельзя! Каждый год все труды задаром пропадают. И ведь никто не подскажет: что же мы неладно с кукурузой делаем? И поучиться негде — у соседей тоже плохо. Край у нас мокрый, лесной. Правда, в прошлом году лето было жаркое, гектаров тридцать кукурузы все же сохранилось, но все равно маловато она дала — по шестьдесят центнеров зеленой массы и никаких тебе початков. Центнер силоса-то обоше...

ся... — Он раскрыл планшетку, достал блокнотик. — Вот: центнер зеленой массы по рублю с четвертью, это на новые деньги. А центнер клеверного сена по семьдесят одной копейке. А нынче заставили удвоить кукурузу, в пять раз сахарную свеклу, а ничего не собрали... Нет, так хозяйничать больше нельзя, — снова повторил он.

Сходные суждения мне пришлось слышать и в других местах. И не только в этом году. Мой родной колхоз «Великий Октябрь» шесть лет садит кукурузу и по существу ни разу еще не снимал урожая, не закладывал кукурузного силоса. В прошлом году среди сорняков кое-где торчали чахлые растения кукурузы. Скосили все это на силос, и центнер зеленой массы обошелся в три рубля пятьдесят копеек.

Но вот что интересно: в некоторых хозяйствах на небольших участках иногда вырастает хорошая кукуруза — до трехсот и был случай и до пятисот центнеров массы с гектара. В абсолютном же большинстве хозяйств и Удомельского, и Вышневолоцкого, и Бологовского районов урожаи кукурузы очень низкие, большие площади ее гибнут совсем. В чем же секрет? Может быть, в семенах и сортах? Попали подходящие для местных условий — выросло хорошо. Или участки на легких песчаных почвах? Но нынче и на песчаных не выросла. Этого секрета никто мне не открыл. А ведь и в передовых хозяйствах кукуруза вырастает не каждый год. Значит, и там не все ясно с возделыванием этой культуры.

Казалось бы, что специалисты и научные работники обязаны были давно уже разобраться в причинах многолетних неудач, подсказать правильный путь. Но вместо этого идут директивы: увеличить площади под кукурузой! В этой зоне нынче они были почти удвоены, но урожаем убрали очень немногие.

Ладно ли все это делается? Вопрос этот замалчивать никак нельзя. Мне многие говорили: если бы попробовать оставить небольшие площади под этой культурой, тогда, может, и нашли бы секреты урожая, успевали бы вовремя все обработать, нашлись бы и более подходящие участки. Не это ли наиболее правильный путь в создавшихся условиях?

Но сейчас-то меня интересовало другое — земля-матушка!

— И у нас зарастает, — говорит Молодцов. — Особенно выгона и покосы. Мы, правда, принимаем меры. Нынче сельхозтехника помогла нам немного от кустарников очиститься, но заросло-то все равно больше. На очистку от кустарников надо бы побольше механических сил бросить!

Я зашагал в ту сторону, где когда-то стояло Пряслово, но спутал заросшие травой дорожки, заблудился. На подходе к незнакомой деревне остановился у распаханного поля. По всему видно, что пахалось оно весной и неважно: много пластов поставлено на ребро и не разборонено. Пласты эти подернулись зеленой травкой, кое-где виден клевер с крупными красными головками.

Почему же это поле запахали и бросили?

Первый попавшийся в деревне старик ответил:

— Так тут же клевер раньше рос! А весной наши начальники осерчали на него, взяли, да и напустили трактора. Всего-то, поди, близко к сотне гектаров распахали, да вот так и бросили! — Он махнул рукой и отвернулся от меня. Наверное, заподозрил во мне какого-нибудь уполномоченного.

Забегу вперед и скажу: я выяснил историю с этой пахотой. Поля эти принадлежат колхозу имени Мичурина, являются его чересполосным участком. Председатель там новый, из учителей. Ему-то и пришлось распахать клевера, хотя в колхозе не было семян, чтобы засеять эти участки. Вот ведь до чего иногда доходит дело! Объявлена борьба с травопольной системой земледелия, а тут с непопнятой энергией ринутся распахать клевера. Пусть прогуляет земля, лишь бы не дать вырасти клеверу...

Добрался я и до бывшего Пряслова. А здесь никто уже не пашет. Кое-где меж кустами стояли небольшие стожки сена. Старые пашни зарастают ольхой. И совершенно ясно: не вмешайся человек, ольха очень скоро вернет в доно дикой природы эти обильно политые мужицким потом земли.

С листьями, очень похожими на орешник (в этих местах есть и орешник), ольха растет в несколько раз быстрее, чем, например, береза. И именно за это ее превосходство над другими деревьями мужики всегда недолюбливали ольху. Не вырви появившийся на лугу побег ольхи, на другой год его уже и косой не срезать. Быстро он дает и новые побеги. Вот потому-то крестьяне не рубили побеги ольхи по окрайкам лугов и выгонов, а выдирали с корнем. А вот теперь для ольхи раздолье, пошла она подминать под себя и луга и выгоны, замахнулась и на пахотные земли.

Сколько же велико бедствие, нанесенное ольхой и ее сподвижниками?

Я опять заходил к райзему, и он повторил старое:

— Переучета земельных фондов не производилось. Уточнено лишь наличие пашни, и то с привязкой к ранее числящейся...

А это расшифровывается так: если, к примеру, до войны за колхозом значилось пахотной земли три тысячи гектаров, теперь обрабатывается две с половиной, а пятьсот заросли, то у райзема в бумагах это отразится так: пахотной земли три тысячи, но из них пятьсот гектаров стали залежью. Вот что такое привязка к ранее числящимся...

Знают ли о действительном наличии пригодной к обработке пашни руководители районов, области?

Я разговаривал с руководителями колхоза «Великий Октябрь». Между прочим, Пряслово и Андрейково — это земли этой артели. Агроном колхоза Елена Семенова прямо заявляет:

— Точно никто не знает. У нас не только Пряслово брошено, но и Учениково...

Да, я был на том месте, где стояла деревня Учениково. Деревня была порядочная, в недавнем прошлом и сельсовет назывался по имени этой деревни — Учениковским. Сейчас там нет ни одного дома. Зброшены и пашни — полторы сотни гектаров зарастают ольхой. Вот она, залежь-то!

— А пастбища у нас почти полностью вышли из строя, — продолжает агроном. — Только в двух деревнях еще можно пасти скот.

Но ведь все это — и заросшие луга, и пастбища, и залежь, — все числится как сельскохозяйственные угодья. Вся продукция, произведенная колхозом, рассчитывается на сотню гектаров угодий. И этим самым искусственно принижается труд людей, показатели их работы.

Я высказал эти мысли одному из руководителей района. Но он быстро нашелся:

— Зарастает-то во всех колхозах, так что показатели сравнимы.

Вот оно как! Но руководитель добавил, что и в большинстве других районов области положение сходное. А ведь Калининская область не самая отстающая среди нечерноземных областей России...

И вот тут-то я вспомнил: еще на январском Пленуме ЦК КПСС Д. С. Полянский сказал, что в нечерноземной полосе за последние шесть лет площади пашни уменьшились на сотни тысяч гектаров, а посевы зерновых культур сократились почти на три миллиона гектаров.

У нас в Сибири кое-где начали уже корчевать леса, осушать болота, чтобы увеличить площади пашни. А здесь, в центре России, готовые пашни забрасываются, отдаются во власть ольхи!..

И как-то сразу понятнее стали многие возникшие вопросы.

Вот хотя бы о выгонах. Мне и самому в детстве доводилось бывать в роли подпaska. Скот всей деревни весну и лето выпасался в обнесенном изгородью выгоне. Значит, тогда выгонов хватало. Хотя лошадей было раза в три больше, а ведь они кормились тоже в выгоне.

И вот нет уже тех выгонов, заросли ольхой. Думается, что потеря выгонов едва ли не первопричина многих других бед этой зоны. Посудите сами: выгоны заросли, поэтому скот стали пасти на сохранившихся еще участках сенокосов и потому скот не обеспечивается грубыми кормами на зиму. Теперь во многих хо-

зайствах скоту и летом-то не хватает уже зеленой травы, и потому большие площади пашни отводятся для выращивания зеленой массы на подкормку скоту летом. А в связи с этим сократились площади и под зерновыми культурами, снизилось и производство зерна.

А ведь в довоенные годы из того же Удомельского района в другие места отгружалось много сена, да и зерна порядочно. И скота тогда кормилось больше. В то время и пашня не расходовалась для выращивания зеленого корма скоту, хватало лугов и выгонов.

А если бы пустить в наступление кусторезы! Смахнуть кустарник с бывших лугов и пастбищ, сжечь его. А вслед пустить фрезы да подсеять клевера! Да и без подсева здесь нарастет хорошая трава, потому что в этой зоне за год выпадает больше семисот миллиметров осадков. Вот вам и кормовая база для животноводства. При этом почти дармовая!

Но кусторезов в районе нет.

И вот что хочется сказать после бесед с райземом: своеобразный учет земель «с привязкой к старым данным», о чем говорил Михаил Семенович, дело не такое уж безобидное. Эти самые «привязки» не что иное, как очковтирательство. Располагая этими данными, планирующие органы составляют расчеты по производству продукции на сто гектаров сельхозугодий. А угодий-то этих и нет, они давно уже в значительной части несельскохозяйственные. Планируется заготовка сена с не существующих уже сенокосов. Не потому ли Калининская область не выполняет и половины задания по заготовке сена? А результат? Полуголодные зимовки скота, низкая продуктивность животных. И не потому ли в конечном счете производство животноводческой продукции в большинстве колхозов области стало убыточным? И удои коров из года в год снижаются?

А ведь если бы новые территориальные управления провели учет фактически сохранившихся сельхозугодий и ознакомили с ними вышестоящие организации (да и себя тоже!), то ведь тогда наверняка была бы поднята тревога, начали бы искать средства и технику для восстановления сельхозугодий, временно оккупированных ольхой.

Думается, с этого и должны были бы начинать производственные управления — с точного учета наличной пашни, сенокосов и пастбищ. Тогда и перспективные планы строились бы не на мифических цифрах о наличии земли, а на реальной основе. Тогда, может быть, и обстановка для работы не была бы столь нервной, как теперь, когда всю зиму ЧП с кормами, весной не разместить плановых посевов, летом негде пасти скот.

В августе мне довелось присутствовать на первом совете Вышневолоцкого производственного управления. В числе других на совете обсуждался и вопрос «О мерах по повышению эффективности использования земли». Начальник управления Н. Д. Ардабьев в своем докладе привел прямо-таки убийственные цифры: по зоне не вовлечено в пашню более двадцати двух тысяч гектаров залежей (вот они — заросшие ольхой пашни!). Из ста двенадцати тысяч гектаров сенокосных угодий чистых от кустарников лишь около девяти тысяч. А чистых от кустарников выгонов осталось только пять процентов.

И еще одну только цифру: на пятьдесят одной тысяче гектаров камни не позволяют в полной мере применить технику. А ведь это больше трети всей пашни.

Слушал я эти цифры и думал: вот теперь будет нанесен удар по главной беде! Удомельские руководители (а они там молодые, недавно пришли к руководству) подали свой голос: землю надо считать правильно! Почему везде за нами числят несуществующие две тысячи гектаров пашни и десятки тысяч гектаров лугов и выгонов?

Подают голос и из Фировского района: в колхозе «Заря» числится чистых паров сто восемьдесят гектаров, а при проверке обнаружен только тридцать один. В районных организациях заставили недостающую пашню считать тарамии...

Час от часу не легче! Значит, и пары только на бумаге, ими прикрывают за-росшие пашни... А ведь продукция планируется и с занятых паров.

Начальник управления сказал, что снять с плана посева тысячи гектаров — дело непростое, решить это могут только высшие инстанции.

Я заметил: после его разъяснения никто из руководителей районов выступить не стал. Как говорится, вопрос остался открытым... Говорили в основном работники управления и представители сельхозтехники. Но последние — не о земле, а больше о машинах и запасных частях. И решение голосовалось без энтузиазма. В нем все больше общие фразы вроде такой: к шестьдесят пятому году очистить от камней всю пашню и начать уборку их с лугов и пастбищ. А вот чем убирать и как — вопрос тоже остался открытым.

После совета я беседовал с одним из руководителей Фировского района. Он новичок в районе и только руками разводит:

— Шумим о повышении выхода продукции на сто гектаров, а у нас в рай-оне незаросших выпасов осталось только два процента!

Два процента! А ведь в планах-то предусмотрен выход продукции и с осталь-ных девяноста восьми процентов.

Нет, не может быть, чтобы безобидная ольха вытеснила с полей человека вместе с его мощной техникой!

Доверие

В межрайонной газете «Ленинец» было помещено такое объявление: «Колхоз «Смычка» приглашает на работу косцов. Оплата 60 копеек за пуд сена».

Цена меня просто удивила! Шестьдесят копеек за пуд — это же три рубля шестьдесят копеек за центнер! Только за заготовку. А затем вывозка с поля плюс управленческие расходы. Вот и четыре с полтиной за центнер лугового сена. А я уже упоминал, что в Омской области центнер пшеницы обходится дешевле.

Я решил съездить в «Смычку». Тем более что в этом колхозе и моя родная деревня Филатиха. Рос я в другой деревне, но родился-то в Филатихе.

Богатково — так называется деревня, где центр колхоза «Смычка».

Дом правления стоял лицом к просторной площади, заросшей густой травой. Высокое крыльцо с перилами делило большой дом пополам. Дом добротный! Впрочем, кругом площади дома тоже хорошие. И что сразу бросается в глаза — есть совершенно новенькие. С высокого крыльца правления видны хозяйственные постройки и лесопильный завод, откуда доносится скрежет дерева и звон металла. В разгар уборки лес пилят — значит, строить здесь любят!

В правом крыле конторы — просторная комната, в ней пять столиков. За самым маленьким в углу комнаты сидел курчавый мужчина. Его кудри сильно тронуты сединой, а круглое большеносое лицо буро-красно от загара. На нем синяя гимнастерка, а в руках рулетка. Последнее обстоятельство заставило меня подумать, что этот мужчина либо фуражир, либо колхозный объездчик. Но я ошибся. Это был председатель колхоза Егор Филиппович Семенов. Возле сидели парторг колхоза и бухгалтер. Пока они вели свой деловой разговор, я присматри-вался к председателю. Вот он возразил бухгалтеру:

— Нет, братцы мои, начнем с девятой бригады... У меня, собственно, неко-торое подозрение есть, оттуда и начнем!

Слова «собственно» и «братцы мои» Егор Филиппович произносил довольно часто.

Руководители хозяйства собрались принимать сено в бригадах, проверить правильность учета кормов. Признаться, меня это приятно удивило: председатель и парторг сами обмеривают стога! Такое, к сожалению, встречается не очень часто.

Мне оставалось ждать их возвращения. Но я все же спросил про объявление в газете.

— Собственно, шестьдесят копеек — это не так чтобы дешево, — начал Егор Филиппович. — Это и мы понинмасм... А знаете, почем зимой сено покупают некоторые колхозы? Вот то-то и оно, братцы мои!

— Но ведь сено дороже зерна получается?

— Нынче год-то видите какой? Кукуруза подвела, свекла не уродила, бобов пока не сеяли, семян не дали нам. На что же надеяться-то, братцы мои? Все кусты надо обкосить! За любую цену!

Как выяснилось, на объявление в газете откликнулось несколько горожан, они уже приступили к работе.

В контору вошла молодая розовощекая девушка. Егор Филиппович воскликнул:

— Вот и хорошо, братцы мои! Это наш зоотехник Галя Семенова, она, собственно, и займется с вами.

Мы с Галей отправились на ферму, расположенную почти рядом, на берсгу живописного озера с высокими берегами, поросшими высоченными соснами.

Галя Семенова всего год в этом колхозе. Сама она из соседнего района, но когда училась в техникуме, то здесь была на практике. И вот по просьбе правления колхоза приехала на работу.

Постройки на ферме добротные — дворы типовые, деревянные, а летний лагерь для свиней на берегу озера просто чудесный. Площадка для кормежки свиней даже заасфальтирована. На асфальте несколько новеньких самокормушек. Но они что-то очень уж чистенькие и сухие, как будто для смотра приготовлены.

— В самокормушки класть нечего, — грустно улыбнулась Галя. — Свиней все лето кормим только клевером...

Галя заметила, что их свиноферма — самая крупная среди колхозов Вышневолоцкого района, но прибыли не дает, потому что всегда не хватает концентратов. Я было сказал, что концентраты надо выращивать свои, но сразу осекся, потому что Галя очень сердито глянула на меня. Нежное, розовощекое лицо ее сразу посуровело, и взгляд серых глаз говорил примерно такое: «Неужели не понимаете?»

— Наши концентраты сверх плана забрали! — бросила она. — Когда забирали, то обещали поддержать, только верно говорится: обещанного три года ждут...

Последние слова она произнесла совсем уж сурово. И мне стало как-то не по себе, словно это я забрал концентраты, а теперь поддразниваю — свои, мол, надо иметь.

При таком руководстве, говорила Галя, пропадает интерес к работе. Из-за недостатка кормов поросята нарождаются слабые, много их гибнет в первые же дни, а этим подрываются планы и будущего года.

Мы подошли к свинарнику, где содержалось откормочное поголовье. Женщины-свинарки разносили по кормушкам клеверную отаву, перемешанную с измельченным клеверным сеном. Галя сказала, что привес свиней на откорме в июне составил девяносто граммов в сутки, а в июле еще меньше — тридцать граммов вместо пятисот по плану. А оплата труда свинарок зависит от привеса...

Я подумал, что свинарки начнут сетовать на низкие заработки, но они говорили лишь о моральной стороне дела:

— Натрепались с высокими обязательствами на весь район, а теперь глазами хлопай, хотя нашей вины тут и нет.

И ни единого упрека в адрес председателя. Самая молоденькая свинарка Надя сказала:

— Егор Филиппович и так и этак с нами... «Сохраните, говорит, поголовье до осени, а там кормов всяких будет». И сегодня утром забежал, сказал, что денька через два ржи намелют. Рожь-то еще зеленая, а он приказал сушить и молоть... Он у нас заботливый, только... — Надя почему-то замолкла, виновато глянула на Галю, и та досказала за нее:

— Только не всегда дают ему по-правильному делать...

Одна из свинарок воскликнула:

— Теперь мученье наше кончилось!

Это-то чувство и читалось на лицах свиначок: худшее осталось позади! Лишь бы этот урок пошел впрок всем руководителям.

Обходя ферму, мы опять оказались на берегу озера. Приглушенным голосом Галя поведала, что в прошлом году в этом озере утонул сын председателя колхоза — уже взрослый, женатый.

В конторе, где Галя показала мне расчеты к перспективному плану на ближайшие годы, она опять досадовала:

— Прямо-таки обидно другой раз! Ну совсем ничего нам не доверяют. Корову на мясо выбраковать не имеем права.

Она сказала, что в колхозе подобные сетаования. Речь идет о доверии! Конечно, о взаимном доверии. Вот же: взяли в колхозе фураж сверх плана, обещали вернуть комбикормами. Тут ничего особенного нет. Предположим, району не хватает какого-то количества хлеба до плана — колхоз выручил. Одна сторона с полным доверием к другой. Так это и должно быть. Только так! Но другая несерьезно отнеслась к своему слову. И доверие нарушено. А это совсем уж плохо.

— Держим только для убытка, — нервничает Галя. — Неужели мы в колхозе не понимаем, какое животное надо держать, от какого избавиться? Как будто в Волочке или в Калининне это виднее.

Не впервые слышать мне подобные сетаования. Речь идет о доверии! Конечно, о взаимном доверии. Вот же: взяли в колхозе фураж сверх плана, обещали вернуть комбикормами. Тут ничего особенного нет. Предположим, району не хватает какого-то количества хлеба до плана — колхоз выручил. Одна сторона с полным доверием к другой. Так это и должно быть. Только так! Но другая несерьезно отнеслась к своему слову. И доверие нарушено. А это совсем уж плохо.

Во второй половине дня вернулся Егор Филиппович. Настроен бодро. Я подумал: «Наверное, обнаружили укрытое бригадами сено — значит, сводка по заготовке сена будет выглядеть повнушительней». Но все оказалось наоборот. В двух бригадах зависили вес кубометра сена, и теперь запасы его в сводках несколько убавятся.

— Что же, говорю, братцы мои, нарушаете инструкцию? А они свое: «Сено нынче хорошее, клеверное, а оно тяжело, мол, весит». А сами, собственно, не хотят понять: вдруг зимой нехватка сена! Скандал же!

Так вот почему у председателя настроение хорошее: теперь скандала зимой уже не будет.

Председательский газик мчит по низинке, с ревом взбирается на холм, скатывается опять в низину.

Егор Филиппович поделился вестями о жизни колхоза. Слушая его, я пытаюсь мысленно представить себе жизненный путь этого человека из народа. Жил в бедной семье, учиться в школе не довелось. Но он инициатор новой жизни, первый председатель колхоза. С каждым годом набирается практический опыт, крепнет колхоз, ширится слава о нем. Но вот война. Егор Филиппович прошел ее всю, насквозь. Вернулся домой, его опять ставят во главе артели. Началось укрупнение колхозов: к «Смычке» прибавили сначала два других, потом еще шесть. А теперь в укрупненной артели восемнадцать деревень — значит, восемнадцать бывших колхозов. И своим вожаком колхозники неизменно избирали Егора Филипповича. И сейчас колхоз «Смычка» не на плохом счету в районе.

В колхозе есть и электричество — в двенадцати деревнях. Председатель говорит, что от государственной сети обещают подключить еще несколько деревень. Между прочим, этого ждут и в колхозе «Великий Октябрь», и в десятках других. Не первый год обещают им электричество. Колхозы сами заготовили и наставили высоченные столбы. Многие из них уже и опрокинулись, а про свет что-то и говорить перестали...

Но вот что особенно заметно в этом колхозе — настроение у людей бодрое! Во второй бригаде женщины вязали рожь в снопы. Егор Филиппович сказал им:

— Вы, собственно, работаете хорошо, молодцы! Дневное задание уже за пояс заткнули. Только в третьей процент почему-то повыше, на поле пораньше выходят, что ли...

Сказал это, а сам скрутил вязки, набрал два снопа, поставил на попа, полюбавался ими:

— А рожь-то, братцы мои, вроде ничего!

— Хорошая, Егор Филиппович! Убраться бы вовремя...

И вроде бы живее задвигались руки женщин, вроде бы стремительней ложатся на стерню крученые вязки.

В третьей бригаде одна женщина спросила:

— Завтра, Егор Филиппович, срок авансу. Привезут ли?

— Раз срок, то привезут, как же иначе, братцы мои?

— Я насчет парней своих беспокоюсь; к школе кое-что надо им купить,— объяснила женщина.

— Могла бы и до срока зайти,— упрекнул председатель.— На такое дело деньги всегда найдутся.

В четвертой бригаде председатель обнаружил недостатки. Местами по краю полосы рожь не сжата, а примята к земле. Бригадиру, который сам и косил это поле, пришлось выслушать неприятные слова. Но говорились они ему одному, когда Егор Филиппович отвел его к этим самым огрехам. И ругань своеобразная:

— Что же это, братцы мои? С каких пор хлеб перестали беречь?

— Ночью-то дождик прошел, Егор Филиппович... А земля и так насосавши воды-то до бесконечности. С горы когда едешь на жнейке, колеса другой раз не крутятся вовсе, ползут себе, вот и не жнет, а только подминает. Рожь-то нынче высокая до бесконечности.

Сказал это, а сам отвел глаза от укоризненных председательских. Видно, бригадир не очень-то надеется на прочность своих доводов, склонил голову, готовясь принять наказание.

— Как же ты, Иван Анисимыч, можешь так рассуждать? Сам видишь, что неладно делаешь, хлеб подминаешь, и ничего?

Бригадир совсем смутился. Думается, если бы председатель накричал на него, ему было бы легче.

— Надо бы только с двух сторон косить,— тихо промолвил он.— Под гору надо бы на холостом ходу. На том поле,— показал он рукой на соседний каравай,— так и буду косить. А эти клочки руками выдержаем...

И бригадир оживился, словно стряхнул со своих плеч очень тяжелый груз. Заговорил о будущем. Для ускорения косовицы просил выделить ему из другой бригады гнедую кобылу, которая когда-то хорошо ходила в паре с их свободной сейчас лошастью. Тогда можно бы косить на подменных лошадях весь день без остановки. Примечательно: о подменном человеке на жнейку бригадир не говорил, только о лошадях, потому что при влажной почве они «не выдюживают» без отдыха.

Егор Филиппович пообещал гнедую кобылу. Приехав в соседнюю бригаду, сразу распорядился об этом.

Завез он меня и в деревню Филатиху. Отыскали мы дом, в котором я родился,— небольшой, в четыре окошечка, старенький уже... Неподалеку от деревни, на берегу озера, видна кукуруза. Только здесь она и сохранилась нынче, а это лишь третья часть посеянной. Но и здесь она явно задержалась в росте, о початках думать уже не приходится...

Является ли этот год исключительным по своим погодным условиям? В газете «Сельская жизнь» метеорологи писали, что такие условия погоды для этих мест не редкость. Но, думается, именно в трудные годы особенно отчетливо видны недостатки хозяйственного руководства и планирования. Вот и нынче: лето дождливое, холодное, кукуруза в большинстве хозяйств не удалась совсем. В территориальном управлении мне назвали такие цифры: из посеянных шестнадцати тысяч гектаров сохранилось к уборке не более пятисот гектаров. И те хозяйства, которые расчи-

тывали заготовить силос только за счет кукурузы, оказались в тяжелом положении.

Но дождливый год показал, что при таких условиях погоды особенно хорошо растет клевер. Таким образом, из печальной практики этого года сам по себе напрашивается вывод: в данной зоне кормовую базу нельзя строить на какой-то одной культуре — ни на клевере, как это было в последние годы, ни на кукурузе. А если сочетать то и другое, тогда можно избежать сокрушительных провалов с кормами.

Вот и Егор Филиппович говорит:

— Нынче клевера спасли. Собственно, если бы не клевера, то прямо не знаю, что пришлось бы делать со скотиной.

Он назвал некоторые цифры: клеверного сена колхоз собрал в среднем с гектара более сорока центнеров. А клеверной зеленой массы на силос — более двухсот центнеров. Но это за первый унос. А сейчас на тех массивах начали уже косить отаву. А кукурузной массы, как позднее сообщил мне Егор Филиппович, сняли по сто двадцать семь центнеров с гектара. И не единого початка.

И опять разговор о доверии. Район предложил колхозу «Смычка» распахать половину клеверов. Но уже весной стало ясно: клевера хорошо отрастают. Егор Филиппович едет в райком, просит первого секретаря взглянуть на клеверное поле, намеченное к распахке.

— Если запахивать его, то надо глаза себе завязывать, — сказал он.

Секретарь райкома осмотрел поле, согласился с председателем. Клевер сохранили. И сильно выиграли! И не только в кормах. В доверии! А это ведь куда дороже!

И когда разговор зашел о перспективах артели, Егор Филиппович начал так:

— Собственно, главное тут одно: надо, чтобы постановление партии и правительства насчет планирования посевов выполнялось всеми, чтобы нам самим доверили планировать свои хозяйства. Спускали бы нам только главные задачи: сколько хлеба продать, сколько молока, мяса.

Вот еще некоторые его мысли: когда планы спускаются сверху, то обычно они не увязываются с наличием сил и средств колхоза. Колхоз просил нынче запланировать им посевов льна двести гектаров, потому что наличие машин и людей не позволяло освоить большую площадь. Но заставили сеять двести пятьдесят. Колхоз просил занять сахарной свеклой шестнадцать гектаров. На эту площадь были подобраны и наиболее подходящие, хорошо удобренные участки. Да и сил на большее не хватает, потому что все работы на свекле пока что ведутся вручную. Но район заставил сеять в два раза больше. И что же в результате? Часть посевов не успели обработать, они погибли, а на сохранившихся урожае ожидается в три раза ниже намеченного.

Точно так и с кукурузой. Посев ее заставили удвоить, хотя в колхозе нет ни кукурузосажалки, ни единого культиватора для обработки междурядий. Своевременный посев и уход не обеспечили, а отсюда и результат.

Председатель привез меня в поле, что неподалеку от деревни Труфаныха. Поле большое — больше семидесяти гектаров. Этот каравай за последние четыре года отвоеван у лесов и кустарников. И камни подобраны — огромные кучи их лежат по краям поля. Здесь наступает человек!

Когда мы вернулись в Богатково, солнце, выглянувшее из-за туч, начало прятаться за сосновым бором. Егор Филиппович оставил меня в своем доме, а сам ушел в контору.

И тут я узнал еще об одной трагедии в семье председателя. Проводив в кино девочку и мальчика, хозяйка поведала мне, что девочка — это дочь утонувшего сына, ее мать живет с ними, работает дояркой. А мальчик — сын недавно умершей дочери...

Спать меня уложили в горнице на диване. Я слышал, когда поднялись хозяйева, как зашла в дом голосистая женщина. Говорила она торопливо и сбивчиво:

— Не иначе, как ворованное это сено, Егор Филиппович... А мой-то дурак обрадовался: дешево запросили. А его, может, из нашего колхоза и украли-то. Как

потом людям в глаза смотреть? Урезонь ты его, Егор Филиппович, опереди от позора. У нас ведь и так сена-то порядочно заработано...

Егор Филиппович что-то долго не отвечал, видно, раздумывал. Потом начал негромко:

— Вот дела-то, братцы мои... Ты, Лукерья, шуму не поднимай. Подожди-подожди... Сено пусть сгружают, а после я сам зайду.

— После?! — удивилась Лукерья. — Как же это, Егор Филиппович? Позор-то какой на нашу семью!

— Позора теперь нет. Ты же, собственно, сама доложила. А мне надо кое-что проверить. Так что иди спокойно, тебе на ферму пора.

Женщина ушла. А я думал: «Какое это великое дело — доверие!»

Позднее Егор Филиппович рассказал историю с сеном. Почти в центре колхозных владений есть поселок Овсище. Когда-то здесь был центр волости, а теперь тут сельский Совет, сельпо, большая больница. Поселок порядочный. И некоторые жители его частенько беспокоят колхоз — самовольно косят траву, травят своим скотом посевы, а иногда и воруют. Так и на этот раз. Председатель еще вчера, когда обмеривали стога, заметил подводу с сеном, погнался за ней на машине. Но, видно, приметили и председателя, быстро скрылись в лесу. Вечером в контору приходил учитель из соседней деревни, сказал, что ему предлагали купить воз сена, но он отказался.

— Я, собственно, ждал: удастся вору скрыть следы с помощью кого-нибудь из колхозников или сознательность победит? — говорил довольный Егор Филиппович. — И все же надеялся на сознательность...

Он не ошибся.

Чем же кончится это дело с сеном?

— Чем? Кончится все правильно... Я тут с двумя членами правления переговорил, с парторгом советовался... Порешим так: Лукерьян муж выдаст вора, а сено пусть у него и останется, засчитаем как дополнительную оплату — у них с женой заработано много. Ну, и на бригадном собрании пусть попотеет. Вот, собственно, и все для первого раза. А Лукерье благодарность объявим. На общем собрании. За высокую сознательность! И за доверие!

Когда мы пришли в контору, председателю сообщили новость: управление выделило в ссуду пять тонн семенной ржи.

— Тоже порадовали, — усмехнулся Егор Филиппович.

Старик, сидевший у порога, сказал внушительно:

— Ноне, Егор Филиппович, сеять-то надоть только прошлогодним зерном, а то никакого толку не будет.

Вот и еще проблема этих мест. Главная зерновая культура здесь — озимая рожь. Посеять ее надо в первой половине августа. Такой срок назван и в директивах управления. Но нынче даже в середине августа никто еще не начинал даже молотить рожь — запоздало ее созревание. А иметь переходящий фонд семян почему-то не принято. Нынешний год с холодным летом сразу и обнажил этот большой недостаток. Лучшие сроки сева ржи прошли, а по всей зоне не посеяно ни гектара! Все ведь знают: сеять рожь в сентябре и тем более в октябре — это заведомо недобирать половину урожая. В практике прошлых лет многочисленны факты полной гибели поздних посевов. И теперь ясно: урожай главной культуры в будущем году поставлен уже под серьезный удар. Половина возможного урожая потеряна наверняка. Но неужели и этот год ничему не научит?

Забегая вперед, скажу: нет, ничему не научил. Переходящих фондов семян озимой ржи опять почти ни у кого не засыпано. Не потому ли и сбор ржи в области скатился к шести-семи центнерам с гектара? Урожай сам-три... А кое-где и меньше. И не потому ли эта главная культура стала убыточной для колхозов?

А о больших возможностях этой культуры говорят многие факты. У того же Егора Филипповича на многих участках нынче намолотили до восемнадцати цент-

неров ржи с гектара! Это там, где вовремя было посеяно. Вот ведь какое богатство теряется...

Пока Егор Филиппович занимался со своими помощниками, я заглянул в бухгалтерский отчет за прошлый год.

В колхозе девяносто семь трудоспособных мужчин, и каждый из них отработал в колхозе в среднем триста тридцать дней. Это не трудодни, а выходы на работу. Каждая трудоспособная женщина отработала в среднем по триста сорок дней. Активно работают здесь и старики пенсионного возраста — на счету каждого из них почти по двести дней работы в колхозе.

Ничего не скажешь — трудолюбивый народ в «Смычке»!

Вот теперь более понятны мне и претензии председателя к планам, спускаемым сверху. Правы ли там, наверху, требуя удвоения посевов наиболее трудоемких культур? Цифры, только что приведенные, говорят сами за себя: в колхозе нет уже больших резервов рабочей силы. Значит, увеличенным планам должен соответствовать рост уровня механизации производства. А с этим-то как раз и неважно. За последние четыре года в колхозе не прибавилось ни одного трактора. О культиваторах и сажалках уже говорилось — их нет совершенно.

А вот к чему приводит несоответствие планов и технической вооруженности производства: центнер сахарной свеклы обошелся колхозу в восемь рублей сорок четыре копейки — почти равен стоимости зерна. Если этой свеклой кормить коров, то молоко получится баснословно дорого — по рублю за литр. И зеленая масса кукурузы обошлась колхозу дороже рубля за центнер. Удивляться тут не приходится: почти все работы с этими культурами, исключая пахоту, производятся вручную.

Как тут не задать вопрос: какие же были основания планировать удвоение посевов кукурузы и свеклы? Ведь техники-то почти не добавилось. Не сказывается ли здесь работа на сводку? Без души, без раздумий о последствиях, без какого-либо экономического анализа. И как тут не вспомнить высказывания В. И. Ленина об экономистах: «Деловой экономист, вместо пустяковых тезисов, засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш собственный практический опыт и скажет: ошибка там-то, исправлять ее надо так-то».

Можем ли мы похвастаться вот таким конкретным анализом цифр и фактов собственной практической работы применительно к зоне, о которой ведется разговор?

А вот таблица прибылей и убытков колхоза «Смычка».

Урожая зерна здесь в полтора раза выше, чем по зоне в среднем, а себестоимость его высоковата — десять рублей семьдесят копеек за центнер. Под нажимом района план сдачи зерна был перевыполнен почти вдвое. От каждого центнера, проданного государству, колхоз потерял убытка около четырех рублей...

И свиноводство убыточно. При названных уже летних привесах свиней иначе и быть не могло.

А вот молоко и говядина приносят колхозу большие доходы, эти отрасли здесь рентабельны. Высокодоходен и лен.

Не подсказывают ли цифры и факты о наиболее целесообразных путях развития этого хозяйства со своими сложившимися уже конкретными условиями?

Вот он какой — Евгений Петров

О колхозе «Молдино» и его председателе Евгении Александровиче Петрове писалось уже много. И в местной печати, и в литературных газетах, и особенно подробно в журнале «Огонек». Там высоки и урожай, и доходы, и оплата труда людей. Как-то я посоветовал молодому председателю колхоза «Великий Октябрь» съездить к Петрову за опытом. А Николай Дмитриевич, оказывается, бывал там, присматривался. Знает, что там ольха не отнимает землю, что и камней на полях поменьше — подобраны, значит, и для техники простора больше.

— А вы знаете, что у Петрова на каждой сотне гектаров людей работает чуть не в четыре раза больше, чем в нашем колхозе? — спросил он.

Я еще подумал: «Горячится молодой председатель, отстающие всегда излишне ревнивы к успехам передовиков, выискивают оправдания...» Но все же при первом походе в Удомлю заглянул в райплан, познакомился с материалами по колхозу «Молдино».

Показатели там высокие. Продукции на сотню гектаров дают в два-три раза больше, чем в среднем по району. Но и Николай Дмитриевич оказался прав: земли в «Молдине» поменьше, чем в «Великом Октябре», а трудоспособных колхозников чуть не в три раза больше.

Однако о чем это говорит? Об огромных резервах этих мест! На гектаре земли трудится в три раза больше людей, но всем хватает работы, и за свой труд каждый получает в несколько раз больше, чем в «Великом Октябре». Но и объем товарной продукции в «Молдине» в несколько раз выше. Вот они, резервы-то!

О Петрове как-то зашел разговор в производственном управлении. Начала его Фаина Ивановна Соломатина. Эту миловидную девушку совсем недавно назначили агрономом управления. За ее плечами три года агрономической работы, из них целый год в «Молдине» — у Петрова в качестве агронома районного опорного хозяйства. И вот Фаина Ивановна говорит:

— К Евгению Александровичу я пошла бы работать даже на пониженную зарплату. Только там и почувствовала себя агрономом!

Чем же покорила ее Петров? Только доверием! Как агроном она пользовалась полным доверием председателя. А его контроль умело сочетался с весьма доброжелательным отношением к труду агронома. Он выложил молодому специалисту все свои многолетние наблюдения над землей, — наблюдения, хорошо проверенные практической работой на этой самой земле. Это и есть доверие.

— Никогда, никогда не забуду я этой учебы! — воскликнула Фаина Ивановна. — Всем молодым специалистам я говорю: обязательно съездите к Евгению Александровичу. Вообще-то там надо бы особую школу открыть для повышения квалификации агрономов! — запальчиво заключила Фаина Ивановна. — Это же такая полезная была бы школа!

Много хорошего о Петрове слышал я и от других людей. И вдруг — это было уже в Удомле — мне говорят:

— Петров бунтует!

За этими словами скрывалась такая история: колхоз «Молдино» не был готов принять большую партию утят, как это намечалось планами района. И помещений не хватало, так как сильно перевыполнены планы по выходному поголовью других видов животных, не было в запасе и кормов. Поэтому Петров уведомил инкубаторную станцию, чтобы для их колхоза утят не выводили. А у станции свои планы, и там не уважили просьбу председателя. Появились утята на свет, их погрузили на свои машины и отправили в «Молдино». Петрова страшно возмутило такое неуважение к просьбе колхоза. Он грузит ящики с утятами на свои машины и отвозит их обратно на станцию.

Это было неслыханным самовольством. Председатель колхоза не уважил районную разнарядку! Инкубаторная станция снова везет эти ящики с утятами в колхоз, а Петров привозит их обратно. А когда эта операция повторилась и в третий раз, утята приказали долго жить...

Вот он каков — Евгений Александрович Петров.

А ведь и я знавал Петрова. Всякий раз, когда говорили о нем, у меня в памяти возникала фигура молодого статного парня с пышной шевелюрой, с задорными серыми глазами. Каков же он теперь? Ведь я-то знавал его не Евгением Александровичем, а просто Женей Петровым. Тогда Женя Петров был гордостью комсомольцев Удомельского района. Шутка сказать: комсомолец во главе коммуны «Молдино»! Это единственный случай на весь Тверской округ. В Жене Петрове мы, как говорится, души не чаяли. На одном собрании мне довелось сидеть рядом с-ним. Как же гордился я таким соседством!

И вот не Женя, а Евгений Александрович, не председатель маленькой коммуны, а руководитель большого укрупненного колхоза бунтует, часто доставляет заботы районному, а может быть, и областному начальству (он член обкома партии). Мне очень хотелось повидать его, поговорить с ним.

Члены совета производственного управления расселись на стульях. Мне хочется самому угадать: кто же из них Женя Петров? Смотрю, смотрю... Нет, я не узнал бы его. Я только догадался, потому что сидел он рядом с Файной Ивановной и о чем-то заговорщицки перешептывался с ней. Нет, ничего похожего! Мне он представлялся с той же пышной шевелюрой, может быть, покрытой изморозью, но буйной, как тогда, в молодости. Но шевелюра отсутствовала начисто, ее заменила большая лысина. Все же тридцать лет прошло... Файна Ивановна за месяц и то сильно изменилась. Никто теперь не скажет, что Файна Ивановна — сельский агроном...

В перерыве я подошел к Евгению Александровичу. Он все еще говорил с Файной Ивановной. Я не знал, с чего удобнее начать, и выпалил первое попавшее в голову:

— Файна Ивановна опять в колхоз просится?

Файна Ивановна грустно улыбнулась:

— Я уже горожанка. Квартиру дали — ванна, газовая плита...

И она нерешительно отошла в сторону.

«Вот и потерял еще один агроном», — подумал я. Видно, об этом думал и Петров. Он сказал:

— Настоящим агрономом могла бы быть Файна Ивановна. А теперь канцелярия быстро выветрит из нее все агрономическое.

Я все всматриваюсь в Петрова. И теперь начинаю угадывать некоторые знакомые черты, не стершиеся и за тридцать лет. Глаза почти такие же — молодые, шустры. И весь он такой же порывистый, словно перед взлетом. И говорит так же оживленно.

— Чем закончилась история с утятами? — спросил я.

Евгений Александрович усмехнулся:

— Недавно суд был. Убытков четыреста шесть рублей... Разделили пополам. Но мы были согласны и на все четыреста, потому что если бы взяли утят, убытков было бы в десять раз больше.

Мудрый, видать, судья в Удомле! Впрочем, я знаю его — он бывший редактор газеты, журналист. Молодец, одним словом!

Евгений Александрович рассказывает об урожае, и цифры — словно хорошая музыка: зерновых больше двадцати центнеров, клеверного сена — рекорд — больше шестидесяти центнеров с гектара! А зеленой клеверной массы, заложенной в силос, — почти по триста центнеров. Досадует: не удалась кукуруза, сохранилось только тринадцать гектаров, но зато бобы хороши. А силоса за счет клевера заложено больше, чем планировали.

Вот оно — разумное хозяйствование!

Уже звонок, а у меня еще один вопрос, правда, слишком большой, чтобы коротко на него ответить: в чем же секрет ваших успехов?

Но Евгений Александрович ответил очень коротко:

— Кое-что мы все же по-своему делаем...

Это значит — не шаблонно, а творчески, с учетом большого своего опыта. И потому всегда удачно! Файна Ивановна права: школу там надо бы открывать. И не только для агрономов... Вот ведь: если бы область достигла показателей колхоза «Молдино», то задания семилетки были бы перекрыты!

Я все ждал выступления Петрова. Но он не попросил слова. Почему?

— Не о чем было говорить, — задумчиво произносит Евгений Александрович. — Обсуждались же общие установки. А у нас у каждого — конкретное хозяйство, со своими особенностями. Даже одно поле никогда не похоже на соседнее,

каждое требует своего подхода.— Переждав немного, заключил:— Шаблонных рекомендаций много, а выход-то простой: надо побольше доверия нам оказать, мы же на земле живем, с душой можем дела делать...

И он, опытейший руководитель,— тоже о доверии. Разве не верно: главное-то решается на местах, на каждом отдельном поле!

Производственное, территориальное...

В печати много говорилось уже о первых удачных шагах новых производственных управлений. И я видел доброе начало некоторых управлений. Но здесь вот меня крайне удивило, что руководители колхоза «Великий Октябрь» даже в августе не могли назвать, кто же в их зоне инспектор-организатор. Главного агронома управления товарища Сорокина знали, он бывал в колхозе, а инспектора не знают... А ведь, по идее, инспектор-организатор — главная фигура!

Приехав в управление, я заговорил об этом с Иваном Николаевичем Сорокиным — главным агрономом. Надо сказать, что Иван Николаевич человек очень скромный, собеседник весьма приятный, говорит не утвердительно, а старается объяснить, доказать. И опыт у него большой...

— Как же они не знают своего инспектора? — удивился он.— Во время сева я приходил в этот колхоз вместе с инспектором товарищ Трегубовой. Молоденькая женщина...

Значит, меня обманули?.. Вернулся домой — сразу к председателю. Он помнит: с Сорокиным была какая-то женщина, но она не назвалась, ничего такого не говорила, и он думал, что она тоже из управления.

Но это было позднее. А сейчас-то Иван Николаевич начал выяснять: где же Трегубова? В отделе кадров сказали, что она в отпуске по беременности. Значит, восемь колхозов без инспектора?..

Понятно, конечно: каждый может заболеть, женщины должны рожать. Но надо же правде смотреть в глаза: может ли молодая мать с ребенком на руках организовывать производство в восьми укрупненных колхозах? Возникает вопрос: достаточно ли серьезно подбирали инспекторов? В колхозе «Смычка» своего инспектора Валентину Мионову (тоже совсем молодого зоотехника) видели только на посеве кукурузы. В межрайонной газете сообщалось, что колхоз «1 Мая» Бологовского района — самый отстающий по заготовке кормов, но инспектор товарищ Федорова не была в нем два месяца...

Названы три инспектора, и все они — женщины. Большинство других инспекторов здесь тоже женщины.

Я слышал такие высказывания: слишком велики зоны для инспекторов-организаторов. Это, пожалуй, верно. Есть установка — закрепляется определенная площадь земли. Но для данной зоны такая установка вряд ли верна. В Сибири, например, за инспектором закреплено чаще всего два-три хозяйства. Хозяйства большие, но все же два-три. А здесь на инспектора приходится восемь—десять хозяйств.

Есть тут еще одно «но»: все инспекторы живут в городах и райцентрах. Некоторым до своей зоны тридцать—сорок километров по местному бездорожью и при отсутствии транспорта. А ведь, наверное, инспектору надо бы жить в одном из хозяйств своей зоны, быть в гуще жизни. Тогда инспекторов знали бы в колхозах, да и сами инспекторы были бы в курсе главных задач и проблем. Тогда, наверное, и авторитет специалистов повысился бы.

Я высказал Ивану Николаевичу то, что мне говорили и в «Смычке», и в районных организациях — о повышении роли производственного управления. Иван Николаевич заговорил неторопливо:

— Мне кажется, есть у нас один большой недостаток: инспекторы-организаторы специалистам управления никак не подчинены, поэтому мы работаем как бы

врозь. Если бы они входили в наше подчинение, тогда и наша и их работа стала бы более конкретной, целеустремленной. А сейчас они с нами ничего не согласовывают, никаких вопросов перед нами не выдвигают, ни о чем не спрашивают. А ведь нас-то здесь, в управлении, немного — пять агрономов на пять районов. К тому же в трети колхозов совсем нет агрономов. На кого же нам опереться? Прежде всего на инспекторов! Это надо бы упорядочить. Все же в нашей зоне сто хозяйств: девять совхозов, остальное — колхозы.

Мне вспомнилось Черлакское управление в Омской области. В его зоне три района, земель намного больше, чем в Вышневолоцком управлении, но... хозяйств-то там десятка полтора, а штаты у обоих управлений одинаковы.

— Текучка начинает заедать!

Так сказал первый заместитель начальника управления Иван Васильевич Федосов. Он только что вернулся из поездки в институт — сдавал последние зачеты на агронома. Радости своей не скрывает — большой груз свалился с плеч...

— Надо нам приниматься за самое главное.— говорит Федосов.— А главное — это перспективы! Нужно хорошо проанализировать причины плохой работы многих хозяйств, причины низких доходов, высокой себестоимости продукции, а отсюда и специализации производства.

Да, вопросы себестоимости ждут своего решения. Вот несколько фактов: в колхозах Вышневолоцкого района себестоимость основной продукции — зерна, мяса, молока и яиц — пока что намного выше закупочных цен (даже после значительного повышения их). Такое же положение в Удомельском и других районах этой зоны. В большинстве колхозов прибыльны только лен и лишь кое-где картофель и молоко. Но вот что интересно: в Вышневолоцком районе есть совхоз имени XXII съезда партии. Он работает рентабельно. Себестоимость свинины и молока здесь значительно дешевле закупочных цен. Секрет в более высоком уровне механизации. А путь для механизации открылся при наличии крупных ферм в хозяйстве.

Это относится и к птицеводству. В совхозе «Пролетарий» этого же района — крупная птицеводческая ферма. Десяток яиц здесь обходится в семьдесят копеек. А в колхозах яйца в два с лишним раза дороже. Потому что колхозные птицефермы — это четыреста — пятьсот несушек...

Вывод отсюда ясен. Но сделан ли он?

Иван Васильевич говорит, что они выдвигали уже перед областью предложение об упразднении мелких птицеферм, о создании в зоне управления двух больших (может быть, межколхозных) ферм. Однако область не поддержала этого предложения. Все остается по-старому: мелкие птицефермы приносят колхозам крупные суммы убытков.

В колхозах района на производство центнера свинины затрачивается... 23 человеко-дня! А в совхозе имени XXII партсъезда — 4,8 человеко-дня. И это потому, что в совхозе свинины производится за год около четырех тысяч центнеров, а во всех двадцати четырех колхозах района — меньше трех тысяч.

Стоит, пожалуй, назвать и такую цифру: в колхозах района себестоимость центнера привеса свинины превышает двести рублей. Пожалуй, колхозам выгоднее покупать свинину на рынке и сдавать государству. Убытков во всяком случае будет меньше.

Так что вопросы специализации и укрупнения ферм настоятельно ждут своего решения. Убыточная продукция не может вызывать большого энтузиазма у ее производителей.

Иван Васильевич Федосов говорит, что нужно составить перспективный план, в котором были бы учтены конкретные особенности каждого хозяйства, с тем чтобы все отрасли были рентабельны.

А как же иначе! Новому управлению и следовало бы начинать работу не штыковой различных мелких прорех, а с решения главных вопросов производства.

Но тут опять встает вопрос о доверии. Теперь уже о доверии производственным управлениям решать на месте все основные вопросы производства.

Урожай и экономика

Не зря, видно, русские мужики заселяли эти места с незапамятных времен. Край-то очень красивый. И условия для хлебопашества хорошие: тепла хватает, влаги тоже. Все хорошо знают, что при правильной агротехнике здесь ежегодно можно снимать высокие урожаи. Даже очень высокие! Вот же колхоз «Молдино», где председателем Евгений Петров: стопудовый урожай зерновых стал обычным. А нынче взяли больше двадцати центнеров с гектара. Недавно мне прислал письмо Егор Филиппович Семенов, делится своей радостью: колхоз «Смычка» на многих участках собрал ржи по восемнадцать центнеров, а яровой пшеницы по двадцать три, клеверного сена по сорок пять центнеров с гектара!

Но почему же тогда средние-то урожаи зерновых и по зоне и по области остаются низкими? Они обычно не выходят из рамок семи-восьми центнеров с гектара, а бывают четыре и пять. Правда, один работник управления возразил мне:

— По видовой оценке у нас обычно бывает двенадцать центнеров!

Разговор этот велся в конторе колхоза. Когда говорили о причинах низких урожаев, старый колхозник задал представителю управления такой вопрос:

— Когда вы из Волочка поехали, то горячего полный бак заправили?

— Конечно, а как же иначе?

— А если бы залили четверть бака, то до каких пор доехали бы? А? Вот то-то и оно! И в нашем крестьянском деле тоже так! — заключил старый хлебороб. — У нас, к примеру, смело можно рассчитывать на урожай в восемь центнеров льносемян и столько же волокна с гектара, а мы не можем взять и по три центнера того и другого. А почему, спрошу я вас? — Переждав, ответил сам: — Что нужно, чтобы снять по восемь центнеров? Надо перво-наперво на этих полях нарастить клеверного сена центнеров по полсотни с гектара! А чтобы такой урожай клевера вырастить, надо, чтобы рожь прежде уродила не меньше двадцати центнеров. А чтобы рожь так уродила, надо землю под нее обработать как следует да удобрить подходяще. Вот дело-то в чем! Тут-то вот и ищите главный корень всему нашему делу!

Очень разумное рассуждение. Его можно было бы продолжить: чтобы хорошо удобрить поле под рожь, нужно держать побольше скота. А пока и имеющийся скот не в полной мере обеспечивается кормами...

Но все же: если бы и двенадцать центнеров зерна, как по видовой оценке. Но в закрома-то не попадает и восьми... И беда тут в низком уровне механизации. Уборка зерновых продолжается здесь, как правило, не меньше двух месяцев. Какая же культура устоит столько времени и не осыплет зерно? Да еще в зоне, где часты дожди. А ведь в абсолютном большинстве колхозов нет никаких механизированных сушилок. Нагрузка же на комбайн здесь даже выше, чем в Сибири, хотя условия использования комбайнов неизмеримо сложнее сибирских. Мне и самому приходилось наблюдать такую картину: в начале уборки намолачивают с гектара десять—двенадцать центнеров ржи, а в конце три-четыре, а бывает и меньше. Но ведь хорошо известно: первыми созревают для уборки не самые лучшие массивы. Наиболее урожайные хлеба дольше нежатся.

И вот печальный результат: производство зерна убыточно.

Так что же получается? Зерно большинству колхозов убыточно, продукция животноводства тоже. Как же они сводят концы с концами?

Лен! Вот кто выручает.

У льна в дело идут, так сказать, и верхки и корешки: в большой цене и соломка (или волокно) и льняное семя. Много еще надо сделать, чтобы полнее использовать урожай «корешков», но все же они и теперь дают хорошие доходы. А вот о «вершках» — о льносемени — нельзя не говорить. Очень смущают цифры из бухгалтерских отчетов: последние годы колхозы Удомельского и Вышневолоцкого районов льносемени получали с гектара не более двух центнеров...

Перед глазами встает поле, засеянное льном. Густо синее оно, когда лен в цвету. Затем появляется множество головок — на каждом стебле их по несколько, а в каждой головке обычно не менее восьми зернышек. А стебелек-то вырастает из

одного зернышка. Вот ведь какой урожай «вершков» может дать лен! На гектар высевают примерно сто тридцать килограммов — значит, урожай может быть... Страшно подумать, как много можно собрать! Однако фактически-то... Что такое два центнера льносемян с гектара? От каждых двух посеянных зернышек собрали только три новых. Когда я эту арифметику рассказал Егору Филипповичу, он как-то удивленно пожал плечами, шмыгнул носом, энергично затеребил свои побелевшие кудри.

— Как же так, братцы мои? Вроде и план по урожаю семян выполняем... Почему же мы этой арифметикой не занялись?— Строго глянул он на своих помощников. — Это же, братцы мои, дико получается... Собственно, ни одна культура не дает у нас такого низкого урожая. А это ведь лен! В одной головке столько зерен!

Тут мы опять занялись арифметикой. Агроном сказал, что у льна-долгунца на каждом стебле образуется не менее трех головок. Бригадир возразил: не меньше шести. Мы взяли минимальное — три головки. В каждой головке восемь зернышек. Значит, урожай может быть минимум сам-двадцать! А фактически максимум сам-два...

А теперь о другой стороне дела — о денежной. Посевы льна в этих местах в основном сортовые. За центнер сортовых семян государство платит около семи-десяти рублей. Себестоимость же их, даже при таких низких урожаях и при ручном труде, не более двадцати пяти — тридцати рублей. Значит, от каждого центнера чистая прибыль не менее сорока рублей. Если бы сбор семян увеличить хотя бы на три центнера с гектара, иначе говоря, собирать урожай сам-четыре, то денежные доходы колхозов Удомельского района (здесь льном занято около восьми тысяч гектаров) увеличились бы более чем на полтора миллиона рублей! В том числе чистой прибыли больше миллиона! Для большей наглядности приведем такое сравнение: денежные доходы всех колхозов района от продажи всей продукции свиноводства, овцеводства и птицеводства составляют около шестисот тысяч рублей.

Вот что такое два дополнительных зернышка!

Но, быть может, невозможно собрать по пять центнеров льносемян?

— Шутя можно! — решительно возражает Егор Филиппович. — И в прошлом году на некоторых полях брали по столько, хотя и там потери были большие, очень большие... Да и нынче больших потерь уже не избежать. Собственно, мы сознательно бросаем деньги на полосу. Сознательно!

Мы ездили на поле, где шла уборка льна. Женщины вязали в снопы выдерганную льнотеребилкой соломку. А соломка-то совсем еще зеленая, семечки в головках легко давятся, выпуская светлую водичку. Ясно: с этой полосы семян не возьмут. И если сколько-нибудь и намолотят, то на семена они непригодны и цена на них в два-три раза ниже.

Почему же так? Тут есть о чем пораздумать.

Почему колхоз просил план по посеву льна двести гектаров? Потому что никогда вовремя не успевали убрать больше. Но заставили сеять двести пятьдесят. И вот плоды: лен на многих массивах вырос хороший, но ждать, когда семена нормально созреют, нельзя: тогда не успеть убрать весь урожай, лен уйдет под снег. И выход остается только один: начинать уборку льна задолго до созревания семян, то есть сознательно отказаться от больших денежных доходов, чтобы спасти хоть «корешки». Но и в этом случае уборка льна затягивается до поздней осени, а на перестоявших посевах головки сами раскрываются и теряют семя на полосе.

В прошлом году я видел, как расправлялись с льносеменем в колхозе «Великий Октябрь». Лен, вытасканный с сорока гектаров, колотили палками в ненастную погоду прямо на полосе. Если ждать хорошей погоды, можно запоздать с расстилом соломки, тогда потеряешь доходы от «корешков». И все семена с сорока гектаров так и сгнили в поле. А кто виноват? Сказать трудно. Что было делать руководителям колхоза, если на десять бригад имелась всего одна льномолотилка?

Просто удивительно: большинство колхозов этих льносеющих районов очень плохо оснащено льноводческой техникой. Как же все-таки собирать выросшие уже

семена? Этот вопрос я задавал многим. Мне говорили так: сбор семян можно удвоить, если в каждой бригаде построить крытый ток с асфальтированной площадкой, чтобы лен молотить под крышей. Тогда сберегутся и выросшие головки, и намолоченное семя. Все единодушны в том, что эти затраты окупятся за один год.

А ведь и в самом деле: разве от излишка средств каждый крестьянин этих мест строил гумно и ригу? Теперь гумен и риг почти не осталось, но и взамен ничего подходящего не построено, не придумано. Случись ненастье (а без него ни одна уборка не проходит) — большая половина урожая льносемена гибнет, ухудшается и качество «корешков».

И, пожалуй, самое досадное: с огромными потерями льносемена смирились все — и районные и областные организации, и госплан республики. Теперь даже в планах, спускаемых сверху, сбор семян намечается по три центнера с гектара, планируется урожай сам-два... Но зато нажимают на увеличение посевов льна без соответствующего усиления механизации. А это дает совершенно неожиданные результаты — не увеличивает сбор продукции льна, а снижает его, не увеличивает денежные доходы колхозов, а снижает их. Слабый уровень механизации производства льна влечет огромные затраты ручного труда. Колхозы Вышневолоцкого района затрачивают на центнер полученного льносемена шесть человеко-дней, а на центнер волокна тринадцать дней. А если бы этим человеко-дням придать соответствующий комплекс машин!

Раздумья

В тот день, когда я вернулся в Удомлю, с самого утра непрерывно шел дождь. на улицах поселка грязь по колено. До нашей деревни восемь километров, а я в «городской одежде». Но мне повезло: колхозный грузовик привез молоко на маслозавод.

Что такое восемь километров на автомашине? Любой ответит: максимум пятнадцать минут езды. Но кто знает местные проселочные дороги, тот в такую грубую ошибку не впадет. Я, например, выделял на этот путь сорок пять минут. Даже водителю Василию Ниловичу сказал об этом.

— Загадывать не будем, — усмехнулся он.

Ударив каблуком по колесу машины, обмотанному цепями, Василий Нилович забрался в кабину, надавил на стартер.

От райцентра до первой деревни Каменка дорога вымощена булыжником, и потому эти четыре километра мы промчали за шесть минут. Но дальше пошел проселок с глубочайшими колеями в низинах, со скользкой глиной на холмах. И очередной километр преодолели за полчаса. Выбравшись на бугор, Василий Нилович остановил машину, снял кепку, рукавом рубахи вытер потный лоб. Тяжело передохнув, усмехнулся:

— Городской шофер тут и дня не продержался бы...

Это, видно, служит ему некоторым утешением.

Но что говорить о городских, если и свои-то не выдерживают. В колхозе пять грузовиков, а шоферов два. Только стойкие вроде Василия Ниловича и могут ездить по таким дорогам.

Машина наша поползла по лугу — в низине меж холмами. Именно ползла. Водителю много раз приходилось сдавать назад, чтобы с разгона выскочить из колеи. Но вот вырвались, покатали по свежему следу. А этот новый след от главной дороги, по которой года два совсем уже не ездят, метрах в полсотне. Эти-то вот метры и вызывали на раздумье...

А если бы пустить в дело булыжник! Он же рядом, на каждой полосе его сколько угодно. Но дорогами здесь занимаются плохо. Что же остается шоферам? Они делают свои дороги. Сначала проложили их вдоль старых, а когда и там колея стала глубокой, начали осваивать новую — по соседству с второй. И при этом всякий раз теснили или пашню, или луг. Вот и дорога, по которой тащился сейчас

наш грузовик, отняла от луга не меньше тридцати метров в ширину, а местами больше пятидесяти метров. Весь этот участок изрыт колеями, отнят от сельхозугодий. Сколько же тут пропадает хорошей земли?

Домой мы добрались за полчаса. И Василий Нилович доволен: все же нигде не засели, не понадобилось вызывать на помощь трактор. Здесь к этой мере приходится прибегать довольно часто. Но и не ездить нельзя. Три раза в день надо отвезти молоко, а назад — обрат для свиней и телят. В любую погоду!

Это путешествие вызвало и другие раздумья.

Всякий раз, видя на полях женщин — или на севе вручную, или на выдергивании льна, или на прополке кукурузы, — невольно задумываешься: а знают ли об этом товарищи из Госплана и других руководящих органов? Не может быть, чтобы не знали! Сюда частенько наведываются целые бригады уполномоченных, потому что эти края давно уже в глубоком прорыве. Но тогда как можно мириться с тем, что в большинстве хозяйств зоны основная продукция, кроме льна, приносит убыток? И разве можно надеяться на быстрый рост производства убыточной для колхозов продукции?

Я уже говорил о зарастающих землях. Но многие здешние товарищи, слушая эти мои рассуждения, улыбались. Да-да! Улыбались снисходительно. И говорили примерно так:

— И с оставшимися землями не управляемся!

Вот тут-то и скрывается самое тревожное. Не управляются! Мало машин.

Мне пришлось поехать по Сибири, бывать на Кубани, на Украине, в Казахстане. Скажу честно: нигде не наблюдал я такого низкого уровня механизации колхозного производства. А ведь что означает механизация основных процессов производства хотя бы до уровня, давно достигнутого в Сибири, не говоря уже о Кубани? Это же за очень короткий срок удвоить, утроить производство льнопродукции, зерна, кормов, а значит, и продукции животноводства.

Вот только один пример: в колхозе «Молдино» шестая бригада Михаила Комарова сумела механизировать большинство полевых работ. На выращивание гектара ржи затратила около пятнадцати трудодней, а гектара пшеницы — пять трудодней. Это, конечно, многовато. Передовые хозяйства Сибири и Кубани затрачивают на выращивание центнера зерна меньше часа рабочего времени. Но в соседней четвертой бригаде колхоза уровень механизации такой же, как и в большинстве других хозяйств. Потому-то на гектар ржи они затратили сорок два трудодня, а пшеницы — тридцать пять. Да и урожай в четвертой бригаде оказался в полтора раза ниже, чем в шестой.

Вот что такое механизация!

Ради справедливости надо сказать, что имеющаяся здесь техника используется недостаточно эффективно. Есть тут и уважительные причины, о них говорилось: холмистая, каменистая местность, мелкие массивы. Но главная-то причина — недостаток квалифицированных механизаторов. Сейчас в Российской Федерации началось движение за обучение сельских жителей механизаторским специальностям. Это очень полезное начинание. Оно даст большой эффект, особенно на Кубани, в Ставрополье, где в сельской местности проживает много людей. А вот здесь нет особенно больших оснований обобщаться перспективами. Во всех хозяйствах, где я бывал, руководители говорят:

— Молодежь не задерживается в колхозе...

К сожалению, это так. В колхозе «Великий Октябрь» ушло несколько механизаторов. Куда? Кто куда. И в райцентр, и на целину, и в Калининградскую область. Мы с председателем как-то начали считать, сколько в колхозе молодежи. Пальцев рук у нас хватило. Людей в возрасте до двадцати пяти — тридцати лет не набралось и двух десятков. В основном это женщины и девушки.

А вот Евгений Александрович Петров на свою молодежь не жалуется. И механизаторов у него достаточно. И, видимо, это потому, что здесь высокая оплата труда колхозников, есть электричество и культура вполне современная. И еще: все бригады на хозяйственном расчете и оплата строго по заслугам.

И об оплате надо сказать. Районные руководители довольны: большинство колхозов на денежной оплате.

Вообще-то это так. Но замечают ли они, что происходит на деле?

В течение года колхозникам выплачивают аванс в размере семидесяти—восемидесяти процентов от заработанного по установленным расценкам. Остальное должно выплачиваться «после отчетного года». Однако лишь в том случае, если доходы колхоза не ниже намеченных планом. Но в большинстве случаев эти планы не выдерживаются, и двадцать—тридцать процентов заработка колхозников пропадает. И не первый уже год. Такая система порождает у колхозников неуверенность в заработке, как это было и при трудоднях. Не потому ли в последние годы здесь весьма ощутителен отсев молодежи?

Я часто вспоминаю летнее утро, когда по дороге на Удомлю меня обгоняли велосипедисты и мотоциклисты. А ведь все они — бывшие колхозники. Вот где резерв механизаторов! Многие из них готовые уже механизаторы. Вот бы кого на машины!

Мне возражали:

— Да разве их вернешь в колхоз?

Однако что-то связывает их с родной деревней. Ездят на работу за пять—восемь километров. Культура райцентра пока не привлекла их. Я говорил с некоторыми из них. Вот хотя бы Григорий Сергеевич Семенов. В колхозе он работал с детских лет. После войны секретарь сельсовета, потом председатель. А когда его хотели выдвинуть на руководящую работу в колхозе, он отказался, ушел на производство. Здоровенный, молодой еще мужчина работает путевым обходчиком. И вот он сказал так:

— Да если бы я был уверен, что колхоз обеспечит твердый заработок, так на кой дьявол сдалось мне это производство?

Так примерно сказали и другие четверо или пятеро.

Но как сделать заработок «твердым», то есть устойчивым? Путь, думается, в специализации производства, в решительном укрупнении животноводческих ферм.

Так и хочется видеть на берегу озера животноводческий городок — большие корпуса, оборудованные по последнему слову техники. На эту фабрику с удовольствием пошли бы работать многие из жителей райцентра. Сейчас-то фермы имеются почти в каждой деревушке. Но что это за фермы! Сорок—пятьдесят коров, до сотни свиней, несколько сотен голов птицы. Правда, и здесь идут разговоры о «елочке» и даже о «карусели». Но ведь в редком колхозе есть фермы, где в одном месте размещалось бы сто—сто пятьдесят коров. А если бы дойное стадо каждого колхоза сконцентрировать в одном или двух местах, это позволило бы механизировать все работы. В равной мере это относится к свиноводческим и птицеводческим фермам.

Могут спросить: а куда людей, высвободившихся с ферм?

В полеводческие бригады! Тогда смело можно бы пойти на увеличение посевов льна, кормовых и зерновых культур. Тогда и доходы сильно возросли бы. Вот тогда можно было бы объявить настоящую войну и ольхе и камням, заросшие пашни и луга вновь поставить на службу людям.



В М И Р Е Н А У К И

Проф. А. ЧИЖЕВСКИЙ

★

«ЭФФЕКТ ЦИОЛКОВСКОГО»

*И в небе и в земле сокрыто больше,
Чем снится вашей мудрости, Гораццо.*

В. Шекспир.

Я много писал о Константине Эдуардовиче Циолковском. За долгие годы нашей дружбы немало было дел, которые мы вместе обсуждали, немало произошло памятных встреч и бесед: от студенческой скамьи до лаборатории ученого — дистанция огромного размера. Очерк, конечно, можно было бы расширить и дополнить. Но я решил, что из множества воспоминаний выберу сейчас одно — зато необычайно интересное именно в наши дни.

Вот оно, это воспоминание.

Тридцать пять — сорок лет назад многие деятели науки относились к Циолковскому свысока и пренебрежительно. Они, эти многие, считали, что Константин Эдуардович не может быть творцом больших научных идей, открывателем научных истин.

Кстати, о научных истинах. Немногие удерживаются в веках; постепенно бледнеют. Поэтому каждый ученый должен быть готов спокойно принять дополнение, изменение или даже опровержение сделанного им открытия. Это показатель движения науки вперед, и этому надо только радоваться. Бывает так, что работа ученых и даже целых поколений ученых зачеркивается взлетом гениальной мысли, все эти работы оказываются заблуждением, ошибкой. И ученый должен это стоически принять, ибо зачастую и заблуждение бывает необходимым этапом развития научной мысли. «На ошибках учимся» — как нельзя больше подходит это к эволюции научных идей. Не сердиться, не негодовать должен ученый, видя победоносный ход науки, а за счастье считать, что, отталкиваясь от его идей, наука сделала еще новый шаг вперед. Не досада, а именно такое чувство радости возникло у подлинных искателей научной истины.

Это чувство большой радости было свойственно Константину Эдуардовичу при виде успехов в той области науки, в которой он работал. Он всегда радовался даже малейшему движению вперед, малейшей искре, по-новому освещающей его работы.

Анатолий Васильевич Луначарский, человек больших горизонтов, неоднократно спрашивал меня о том, насколько К. Э. Циолковский заслуживает внимания как ученый, как исследователь. Мне неоднократно приходилось давать разъяснения.

— Отзывы наших специалистов-воздухоплателей о работах Циолковского отрицательны. — говорил мне Луначарский. — Они не признают за Циолковским какого-либо существенного вклада в эту область. Наоборот, специалисты считают,

что Циолковский мало разбирается в вопросе и слабо владеет математическим аппаратом.

Я убежденно отвечал:

— Специалисты забывают, что именно Циолковский дал математическую теорию реактивного движения. Он опередил техническую мысль на несколько десятилетий! Многие думают, что теория ракеты — дело пустое, а Константин Эдуардович уверен, что вся авиация будущего разовьется на основе его работ о реактивных двигателях. В этой области он идет впереди своего века. Ему надо помочь реально — средствами к жизни, изданием работ и хорошей лабораторией.

Анатолий Васильевич соглашался, собственноручно писал письма, но где-то в низших инстанциях его указания терялись и не доходили до Циолковского.

Несгибаемость Константина Эдуардовича и полная уверенность в своей правоте и в правильности избранного им пути явствуют из его отзывов о «специалистах». «Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя», — говорил Козьма Прутков, и Константин Эдуардович часто повторял это изречение. К специалистам он относился весьма осторожно, но в то же время и добродушно. Специалисты по большей части не понимали его; он же не признавал этой односторонней экспансии и считал, что они не способны увидеть другую сторону дела. Специалисты не признавали за К. Э. Циолковским какого-либо существенного вклада в авиацию. Они не видели никакого практического применения ракетного двигателя, в то время как Циолковский уже целые десятилетия с упорством учено-новатора неустанно работал в этой области.

Специалисты при всяком удобном и неудобном случае лягали Константина Эдуардовича, приговаривая: «Нечего тебе, школьный учитель, лезть в поднебесные области». А он, смеясь, отвечал: «Слепые и глухонемые дурни, вам бы в звериных шкурах ходить да каменный топор за поясом носить, а мне вот хочется полететь на Луну, а то и дальше».

Циолковский рьяно защищал свои идеи от поползновения «подмочить» их, подорвать к ним доверие общественности. Он понимал, что никто ему не даст денежных средств для продолжения его работ, для опытов, для публикации трудов, если недоверие к его работам одолеет его упорство. Тогда его сочтут за блаженного или маньяка. Эта нелепая возможность больше всего пугала и огорчала его. Она угрожала ему и в те годы, когда ему уже давно перевалило за шестьдесят. Эта мысль была пугалом для него даже тогда, когда его начали малопомалу признавать как на родине, так и за границей.

И пусть не думает читатель, что Циолковский был неправ в своих ожиданиях. Многие авторитеты, да и целые технические учреждения долгие годы писали опровержения на его выводы, саркастически осмеивали его взгляды и его «детски-наивные упражнения в математике», его металлические дирижабли и многоступенчатые ракеты. Учение о космизме поднималось на смех. Знаменитые профессора отказывались давать заключения о его работах: мол, работы эти недостойны их внимания. Его статьи годами залеживались в редакциях, потому что никто не давал этим статьям положительного отзыва. Мне лично приходилось, выполняя поручения Константина Эдуардовича, сдавать его статьи в редакции московских журналов, а затем через год-другой брать их обратно как «недостойные опубликования». Отзывы, которые все же иногда давали некоторые наши технические корифеи, были почти всегда крайне неблагоприятны и остро враждебны его идеям. И всегда выпукло определялись мотивы их враждебности: пресловутая недостаточная осведомленность Циолковского в рассматриваемом им вопросе!

Легко допустить, что при таком большом числе различных технических идей, которыми был так богат Константин Эдуардович, некоторые из них не могли быть доработаны до конца. Действительно, некоторые идеи оставались в форме чертежей или схем, а то и просто в виде одной фразы. Он истинно был богат этими

идеями и свободно мог бы снабжать ими целый институт в тысячу человек — ученых и инженеров. Допустимо, что некоторые из его идей вообще никогда не могли бы получить практического применения. Такой вариант был вполне возможен. Другие идеи могли вызвать негодование со стороны даже передовых ученых, настолько они были новы. Вот об одной из таких идей Константина Эдуардовича я и хочу рассказать. В изучении, экспериментах, отстаивании и защите этой идеи мне пришлось принимать деятельное участие.

Еще в середине 1924 года — точная дата, увы, стерлась в памяти — Константин Эдуардович говорил мне, что у него родилась мысль о бесколесном вездеходе, лежащем на воздушной подушке и движимом вперед реактивной тягой. Говорил с увлечением и показывал примитивный чертеж нового автомобиля.

Скажу откровенно, мне это показалось почти фантастическим. На приближенные вычисления я тогда не обратил внимания, счел их недостоверными, а сам не потрудился заняться проверкой. Нужно бы, конечно, самостоятельно произвести расчеты и вдохновить Константина Эдуардовича на полное решение задачи. Но этого не произошло, и идея его, никем не поддержанная, была предана забвению. Возможно, в этом виновен отчасти я, а может быть, и не виновен — сейчас трудно судить. Но Циолковский, как всегда, крепко верил в новую идею.

— Вот вы увидите, — сказал мне Константин Эдуардович, — что воздушные подушки заменят колеса! Вы еще доживете до этого времени. Это кажется теперь смешным — пусть! В будущем весь транспорт перейдет на мой способ — воздушные подушки и реактивная тяга.

Я с некоторым недоверием слушал Константина Эдуардовича и не мог наглядно представить себе такую машину.

— Надо бы поэкспериментировать, — сказал я.

— Надо-то надо, но как? Нужен небольшой компрессор или сильный вентилятор, а где их взять — вот вопрос! — ответил он.

Разговор с Константином Эдуардовичем я неоднократно передавал своим знакомым, рассказывал о задуманном опыте. Надо мною смеялись и считали идею Циолковского взбалмошной. А мне эта идея постепенно начинала казаться заманчивой.

Исполнить желание Константина Эдуардовича и поставить опыт в калужских условиях было трудно. Честно говоря, ни Константин Эдуардович, ни я не надеялись при тех обстоятельствах увидеть своими глазами эффект поднятия модельной платформы над столом, хотя вычисления подтверждали это. Нам и верилось в это, и не верилось. Кроме того, сама аппаратура могла быть несовершенной, и уже одно это грозило свести на нет научные результаты. Я стал наводить справки, где бы можно было провести опыт подобного рода. Однажды в конце 1924 года я разговорился с инженером Александром Константиновичем Сухоруковым, и тот, подумав с минуту, обещал разузнать о возможности организовать опыт в мастерских Сызрано-Вяземской железной дороги.

Желание Константина Эдуардовича было все-таки выполнено: месяца через два-три мне удалось вплотную заняться модельными опытами. Несмотря на повторные вычисления и подсчеты, Константина Эдуардовича преследовали сомнения: верно ли мы подсчитали и может ли воздушная подушка противостоять силе тяжести. Они были такими назойливыми, что им поддавался и я. Необходимо было осуществить самый простой опыт, чтоб убедиться в верности расчетов. Я был рад, что такая возможность открылась.

В упомянутых мастерских мы соорудили металлическую платформу в виде прямоугольника размером сорок на шестьдесят сантиметров с загнутыми слегка вниз краями и отверстием посередине для шланга от вентилятора. Когда включили ток и вентилятор заработал, платформа задрожала мелкой-мелкой дрожью. Она даже стучала краями по столу, но не поднималась. Я взялся за проверку расчета и убедился, что проект требовал некоторого исправления: плотность воздушной подушки была явно недостаточной. Платформу облегчили и подвели воздушную струю с помощью короткого гибкого шланга. Загудел вентилятор — и ви-

дели бы вы, как наша модель сразу же приподнялась примерно на сантиметр над столом! Элементарно, скажете? Да, с е й ч а с почти элементарно. А тогда... Словно зачарованный, смотрел я на волшебную платформу, висевшую в воздухе до тех пор, пока не выключили вентилятор.

Константин Эдуардович в это время болел гриппом и потому не мог прийти на опыт. Прямо из мастерских я отправился к нему и радостно объявил, что воздушная подушка «поднимает» металлическую платформу. Привез и расчеты. Он сразу же надел очки и достал свои выкладки. Наши данные не сошлись, и надо было найти причины расхождений. Тем не менее радости Константина Эдуардовича не было границ. Он крепко пожал мне руку.

Всю ночь я просидел над расчетами, а на другой день снова был у Циолковского. Я принес ему решение задачи. Удалось показать, что форма краев (степень их загнутости) влияет на устойчивость платформы в воздухе. Снова я поехал в мастерские, и платформа была немедленно исправлена согласно окончательному варианту расчета. Теперь она уже не дрожала и сразу же поднималась почти на три сантиметра. Победа!

Из мастерских снова поехал на извозчике к Циолковскому.

— Ну,— сказал Константин Эдуардович,— это просто здорово! Благодарю вас. Теперь эффект воздушной подушки установлен экспериментально. Если бесколесный поезд когда-либо отправится в путь, это будет большой победой нашей науки.

Итак, сам Константин Эдуардович назвал поднятие платформы над плоскостью стола «эффектом». Я еще тогда подумал, что это слово следует закрепить за его именем — «эффект Циолковского». Но жизнь все время ставила меня перед новыми задачами, новыми трудностями, и мысль Константина Эдуардовича оказалась растворенной в пространстве и времени. Многие забыли, что идея воздушной подушки безоговорочно принадлежит ему.

...После опытов можно было подумать о публикации. Константин Эдуардович написал на эту тему одну научную статью и одну популярную. Научную статью он решил опубликовать в Калуге, а популярную — в Москве, куда я возвращался после каникул. Я и должен был представить статью в редакцию одного из многочисленных в ту пору научно-популярных журналов.

Помню очень хорошо все обстоятельства этого посещения. Предварительно я подробно ознакомился с рукописью о бесколесных поездах, перелетающих по воздуху «через горы и реки», чтобы иметь возможность парировать удары при разговоре. Должен сознаться, статья Константина Эдуардовича показалась мне более чем смелой, но хорошо обоснованной, интересной и увлекательной в техническом отношении. Я сделал пояснительные рисунки к статье. Было видно, что воздух подается в двух основных направлениях: вниз, под кузов вездехода, для создания воздушной подушки, и назад — для получения реактивной тяги. Принцип этот, как мы видим, ни в чем существенном не дополнен нынешними конструкторами летающих машин. Мне кажется несправедливым, что уже в наши дни появляются статьи, авторы которых приписывают открытие принципа не К. Э. Циолковскому, который еще в двадцатых годах его обнаружил, а другим ученым или себе.

Перед тем, как идти тогда в редакцию, я произвел еще некоторые дополнительные расчеты, которые окончательно убедили меня в том, что мысль Константина Эдуардовича и технически вполне реальна — дело только за тем, чтобы создать мощные воздуходувки. Мне казалось, за этим дело не станет. Захватив статью и свой листок с расчетами, я шел в редакцию, предвкушая острый разговор. Там меня уже ждали. Редакция пригласила своего консультанта по техническим вопросам, известного в то время ученого.

Пока он читал статью, мы — редактор журнала и я — следили за выражением его лица. Он сперва добродушно улыбался. Затем стал серьезен, а к концу чтения лицо его покраснело. Я понял, что идея Циолковского ему не нравится. Дей-

ствительно, не дочитав последней страницы, он вскочил с кресла и сердито воскликнул:

— Я поражен, что в наш век люди могут серьезно писать такие вещи! Ведь это же нелепость, дичь, бред! Ну да, от гражданина Циолковского и ждать другого нельзя. Это человек, по-видимому, больной, он мыслит гиперболами! Статья не может быть опубликована. А вами, — он обратился ко мне, — я глубоко удивлен. Как вы можете возиться с Циолковским и выполнять его дикие поручения? Посоветуйте автору прибегать к услугам почты!

Я почтительно выслушал ученого и, как мог спокойнее, ответил:

— Константин Эдуардович Циолковский мой друг, и я занимаюсь устройством его дел по собственной воле. Считаю, вопреки вашему мнению, что эта идея не дичь, а гениальное предвидение.

И, не дав ему опомниться, положил на стол лист бумаги с расчетами.

— Не откажите в любезности просмотреть... При достаточно мощном напоре воздуха можно легко поднять вагон, а другой струей создать реактивную тягу.

Консультант просмотрел расчет и оттолкнул бумажку.

— Расчеты верны, но это ровно ничего не значит. Струя воздуха создаст такое плотное пылевое облако, что вы задохнетесь.

— Циолковский это предвидел и рекомендует для таких поездов прокладывать бетонированные дорожки, — возразил я.

— Такая струя воздуха разрушит и бетон, и самые твердые граниты... Нет, это безумие.

Спорить с таким видным ученым было безнадежно. Признавая возможность подъемного действия воздушной подушки, он категорически отрицал практическое применение этого способа.

— Вздор, вздор, вздор, — сердясь, говорил он. — Расчеты — это еще не практика! А где же здравый смысл у Циолковского и у вас, молодой человек? Вы понимаете: здравый смысл! Где? Вы хотите запылить весь мир! Неужели вам это не ясно?

Тут стало ясно одно: участь статьи Константина Эдуардовича решена, и решена отрицательно...

Нашлись, однако, такие журналы, которые сами запросили у Циолковского статьи с иллюстрациями о бесколесном поезде будущего. Это были журналы «Связь», «Наука и техника», «Огонек», «Экран» и многие другие. Мне приходилось ходить по редакциям, улаживать о размерах статей, договариваться об иллюстрациях. Одни статьи по поручению Константина Эдуардовича писал я, другие он сам. Вопреки академической науке многие редакции проявили интерес к бесколесным поездам. Это была новая идея. Некоторые статьи надо было иллюстрировать. Тут Константин Эдуардович писал мне — и я делал рисунки. Так, например, в сохранившемся у меня письме от 16 октября 1927 года он писал мне в Москву:

«...4. Бесколесный поезд будущего. Перелет через реку. Разрез. Можно изобразить перспективно: река, паромы, на берегах деревья, здания и проч. Пунктир означает путь, изменяемый, впрочем, крыльями и рулями, как у самолета. Но главную роль играет скорость движения. На поезд смотрим сверху».

К сожалению, и эти статьи стали достоянием журнальных архивов. Однако то, что «эффект воздушной подушки» открыт К. Э. Циолковским, — неоспоримо.

Вот что писал К. Э. Циолковский в 1927 году в своей брошюре, посвященной бесколесному поезду: «Трение поезда почти уничтожается избытком давления воздуха, находящегося между полом вагона и плотно прилегающим к нему железнодорожным полотном. Необходима работа для накачивания воздуха, который непрерывно утекает по краям щели между вагоном и путем. Она невелика; между тем, как подъемная сила поезда может быть громадна. Так, если сверхдавление в одну десятую атмосферы, то на каждый квадратный метр основания вагона придется подъемная сила в одну тонну. Это в пять раз больше, чем необходимо для легких пассажирских вагонов. Не нужно, конечно, колес и смазки. Тяга поддержи-

вается задним давлением вырывающегося из отверстия вагона воздуха. Работа накачивания тут также довольно умеренна (если вагон имеет хорошую, легко обтекаемую форму птицы или рыбы). Является возможность получать огромные скорости». И дальше: «...моторами накачивается воздух, который распространяется в узкой щели между вагоном и дорогой. Он поднимает поезд на несколько миллиметров и вырывается по краям основания вагона. Последний уже не трется о полотно, а висит на тонком слое воздуха и испытывает только совершенно незначительное воздушное трение, как летящий предмет»¹.

Как известно, несколько лет назад идея К. Э. Циолковского о бесколесном транспорте была экспериментально разрешена на больших действующих моделях. В 1953 году московский студент-выпускник Геннадий Туркин защитил диплом, темой которого был проект автомобиля без колес. Туркин сконструировал модель машины, которая могла подниматься над поверхностью земли на мощной струе воздуха и двигаться вперед. Большая модель машины Туркина прошла серьезные испытания. Модель во всем слушалась своего создателя. Это была большая и трудная победа.

Идея транспорта без колес взволновала инженеров во всех странах, взволновала с опозданием на не один десяток лет! Исследования по сооружению бесколесного транспорта интенсивно ведутся, например, в США. Фирма «Кэртис-Райт корпорейшн» сконструировала автомашину, названную «Эйркар». Первая экспериментальная модель этой машины успешно продвигалась над сушей и водой. Она имела мотор авиационного типа в восемьдесят пять лошадиных сил и компрессор, создававший под машиной воздушную подушку толщиной около десяти сантиметров. Новая модель машины «Эйркар» проектируется в расчете на скорость девяносто пять километров в час. Толщина ее воздушной подушки будет колебаться от пятнадцати до тридцати сантиметров. Проектируется также бесколесный поезд с воздушной подушкой в тридцать—шестьдесят сантиметров и скоростью пятьсот километров в час. Поезд предполагается пустить по бетонному пути (о чем говорил и писал К. Э. Циолковский).

В Англии по проекту инженера Коккерелла сооружена аналогичная машина. Она предназначена главным образом для путешествий над водой и названа «Ховеркрафт». Первый «Ховеркрафт», построенный фирмой «Соундерс Роу», удачно прошел испытания на воде и на земле. Машина рассчитана на двадцать пассажиров и весит около трех тысяч четырехсот килограммов. На ней стоит двигатель в четыреста тридцать пять лошадиных сил и осевой вентилятор с четырьмя лопатками. «Ховеркрафт» передвигался на воздушной подушке на расстоянии тридцать восемь сантиметров от поверхности земли со скоростью сорок — сорок пять километров в час. За сто двадцать пять минут «Ховеркрафт» преодолел пролив Ла-Манш — прибыл из Кале в Дувр. В Англии ставится даже вопрос о замене колес самолета устройством, приспособленным для получения воздушной подушки.

Опыты подобного рода ведутся и в других странах. В Швейцарии заканчивается подготовка аппарата инженера Вейланда к испытаниям на Цюрихском озере. Конструкция машины близка к устройству «Ховеркрафта». В Канаде также подготавливается к испытаниям автомобиль без колес, сконструированный одной авиационной компанией.

Наконец можно рассказать о применении «эффекта Циолковского»... в медицине. Институт ортопедии Лондонского университета начал «подвешивать» больных с тяжелыми ожогами над койкой. Воздушная подушка образуется при нагнетании двух тысяч кубических футов воздуха в минуту и поддерживает больного в висчем положении. Чтобы не простудить больного, воздух подается слегка нагретым.

В сентябре 1962 года мне довелось увидеть действующую модель советского вездехода на воздушной подушке. Эта красивая модель демонстрируется на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Говоря откровенно, зрелище это доставило мне большое удовлетворение. Я вспомнил наши первые опыты. Прошло

¹ К. Циолковский. Сопrotивление воздуха и скорый поезд. Калуга, 1927, стр. 24, 25.

тридцать восемь лет — и вот я вижу воплощенную в металл мысль Циолковского. Радостно это! Но все-таки немного грустно: машину вполне можно было построить если не в двадцатых, то в тридцатых годах...

Вот как писала «Правда» об испытаниях судна на воздушной подушке:

«Гул моторов становится все сильнее, и вот люди, окружившие испытательный стенд, видят: многотонное судно плавно поднимается в воздух и легко парит над железобетонной площадкой... Через несколько дней оно выйдет на речной простор. Ему будут ни о чем перекаты и мели. Опираясь на поток нагнетаемого под днище воздуха, судно легко преодолеет эти препятствия и помчится со скоростью 55—60 километров в час... Два мощных вентилятора отрывают судно от воды и как бы ставят его на воздушную подушку толщиной 50—100 миллиметров. Расположенный на корме авиационный мотор сообщает ему нужную скорость. Обслуживать парящий корабль будут два человека. Им поможет система дистанционного управления двигателями, механизмами и устройствами».

Лишь к концу своей жизни неутомимый исследователь, подвижник науки К. Э. Циолковский получил наконец признание. Такое невероятно долгое испытание вряд ли мог бы вынести обыкновенный человек. Обыкновенный, «средний» человек пал бы духом. Но не таков был Константин Эдуардович Циолковский. Вера в силы разума и в то, что он идет по верной тропе в науке, поддерживала его при всех чрезвычайных трудностях жизни и опасных поворотах судьбы.

«Эффект Циолковского» — одна из вех на долгом пути размышлений и предвидений этого замечательного русского человека.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СУРВИЛЛО

★

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

Утверждают, что художественное произведение целостно и едино. Сравнивают его с живым организмом, каждая клеточка которого питается соками целого и питает его своими. Сравнение развивают: подобно тому, как в живом организме болезнетворное начало пораженной клеточки разносится по всему организму и вредит ему, подобно этому несовершенство детали художественного произведения, того или иного конструктивного его узла, структурной единицы не проходит бесследно для целого и крайне редко носит ограниченный, локальный характер.

Утверждение о единстве и цельности художественного произведения признается незбылемым в теории. В повседневной критической практике часто обходятся без него. Часто общая положительная оценка произведения сопровождается обнаружением в нем таких недостатков, которые, если принять их на веру, разваливают произведение, как карточный домик. Похоже, что так именно случилось с оценкой романа Д. Гранина «Иду на грозу» в появившихся тотчас по его напечатании статьях. Это статьи «Право на риск» Г. Трефиловой и «Искатели? Бойцы?» Георгия Радова¹.

Автор первой статьи высоко оценивает образ главного героя романа. Характер героя является основной удачей романа, считает критик, но этой удаче писатель достигает лишь в одной сфере, в той, где изображаются научные творческие искания героя. А сфер в романе три: образно-художественная, затем проблемно-публицистическая и еще сфера собственно «романная», «интимная», то есть сфера любовных отношений. Во второй сфере, отведенной для проблем,

для лавины проблем, для идей «толстых и тонких, пространных и кратких, плоских и остроумных», автор выступает больше как публицист. Здесь персонажи перестают быть лицами самостоятельными, а становятся, за некоторым исключением, персонифицированными идеями, не живыми фигурами, а химерами. Здесь автор в полноте художественности проигрывает, хотя и выигрывает в злободневности.

Полная неудача постигает его в третьей сфере. Здесь царят безвкусица и пошлость, здесь приемы бульварной романистики, здесь скука и неинтересный ритуал, рассчитанный на вкусы непритязательного читателя.

Развалив, таким образом, произведение на сферы, критик все же почему-то называет его романом, хотя художественное значение придает только одной сфере — «повести творческих исканий».

Разве может так быть, чтобы эта самая повесть не пострадала от «сопряженности» со сферой, лишь частично удачной своей злободневностью, и со сферой вовсе неудачной, а озадачивающей своей безвкусицей? Разве образ героя может не иссохнуть в общении с фикциями и не исказиться под давлением пошлости? Романа как цельного художественного произведения во всяком случае нет.

Автор другой статьи жалеет, что его предшественница так расчленила роман, что его сердце и мозг выглядят частями раскромсанного организма, но сам тут же выступает как вивисектор, едва ли менее энергичный. Не оспаривая отношения автора первой статьи к сфере любовно-интимной, а лишь укоряя ее в некотором незначестве суждений, сам он изымает из романа «повесть творческих исканий»: не в электричестве тут дело, говорит он, называя электричеством, как легко догадаться, эти самые

¹ «Литературная газета», 27 октября и 17 ноября 1962 года.

творческие искания. Тем самым он изымает из произведения его тему, потому что темой здесь как раз и является научное творчество. Изымается и из сюжета львиная доля его состава. В романе, утверждает критик, показана особенность времени: бездарности не могут безнаказанно губить талант. Между тем центральным моментом развития сюжета является гибель талантливого юноши, загубленного человеком бездарным, и этот человек остается безнаказанным. Главного героя произведения критик считает человеком слабым, хотя самого беглого чтения достаточно, чтобы увидеть, что герой задуман как характер сильный. Он считает, что герой и не боролся и не победил, а всего лишь не покидал своего поста, хотя герой только то и делает, что покидает посты один за другим, а пост, от которого его отстраняют, возвращается в борьбе, потребовавшей колоссальных усилий. Автор статьи утверждает, что служители кривды (он перечисляет их) уходят из романа побежденными, хотя самое невнимательное чтение позволяет убедиться, что все перечисленные лица никуда из романа не уходят и ни один волос не падает с их голов. В чем же тогда держится душа произведения, которую автор статьи стремится охарактеризовать?

Роман, из которого тема удалена, а облик и судьба героев переименованы, рассыпается.

Чтобы разобраться в этих странностях, нужно произведение прочитать заново. Чтение это, будет ли оно повторным или первичным, теперь, после знакомства со статьями, будет, конечно, настроженным: не попасть бы впросак, не принять бы за поэзию пошлость, за тему — несущественную условность, слабость героя за силу. Тем внимательнее будет чтение. Может, отвычка от такого чтения и является в какой-то степени источником замеченных странностей. Будем же читать роман связно, не дробя его на «сферы», читать от главы к главе, от части к части.

1

Быть настороже... если удастся. Если не ослепит вас в первой же главе герой, шагающий по блистающей под весенним солнцем утренней Москве. Первое слово, которым начинается роман, — волшебник. Это о нем. Этого слова не хватает, подыскивается другое: маг. Третье: чародей. Потом еще будет: кудесник. Вот он шагает в людском потоке, он только что из самолета, этот загорелый

парень в модном пиджаке, и грандиозные желания завоевать Москву, восхищать, нравиться томят его. Он останавливается у витрины. За ее зеркальным стеклом девушка, он мысленно велит ей обернуться, она послушно оборачивается, улыбается ему: он нравится! Он разговаривает с девушкой из паркового павильона, шутит: он нравится! Он советует девушке убрать салфетки со столиков, сейчас будет дождь, он знает все — и звонкие капли ударяются о землю. Он отходит, поднимает руку, негромко командует: «Давай!» — и вспыхивает молния, включая грозу, и хлещет дождь. Он перебрасывается шутками и насмешками с двумя девушками, прячущимися от дождя в беседке, и серьезно уверяет, что это он вызвал грозу. Он угадывает — или подслушал — имя одной из них: «Женя», берет ее руку и торжественно провозглашает: «Пройдет год или около того, и вот такая рука, как ваша, свободно станет управлять всей этой грозной стихией. Я не прошу вас верить мне, я лишь хочу, чтобы вы запомнили сегодняшнюю грозу и наш разговор». И ни за что не угадать, что эта легкая по видимости болтовня — научная программа, что это вместе с тем сюжетная основа романа. И не узнать нипочем, что это не пижон, а небезызвестный ученый Олег Тулин.

Сюжет еще не начался, он только провозглашен. Развитие сюжета начнется с появления главного героя романа. Олег Тулин если и главный, то второй главный, а первый — это Сергей Крылов.

И вот он. Боже мой, какой контраст! Рассеянный, сонный, он появляется перед читателем в будничной обстановке лаборатории, явно отрешенный от всего, что в ней происходит, мучительно силящийся вспомнить какую-то фразу какой-то Наташи: «Лед сам недавно был волной, а теперь он душит ее»... нет, не душит, а гасит или что-то другое. А в лаборатории происходит событие, имеющее прямое отношение к нему. Оно ошеломило всех, и лишь он тупо воспринимает его и не сразу его осмысливает. Директор института Голицын предложил ему пост начальника лаборатории.

Ошеломило это всех потому, что тут же присутствует Агатов, научный сотрудник, до сих пор временно исполнявший обязанности начальника и гвердо рассчитывавший на эту должность. Снова резко контрастный мягкосердечному и деликатному герою образ: Агатов — коварный и подлый хищник. Вот

читательское впечатление: у хищника вырвали кость, он злобно клацает зубами, потом пригибается, ластиво заглядывает в глаза, прыжок — и зубы вливаются в горло противника. Именно так ведет себя Агатов с Крыловым: сначала оскорбляет его вопросом, как удалось ему окружить старика, потом унижительно молит его отказаться от должности, потом, в кабинете Голицына, грязно опорочивает его.

Здесь нужна настроенность. Сейчас, у самого истока сюжета, тесно сплетутся мотивы научно-исследовательские, отнесенные, как мы помним, к сфере образно-художественной, и мотивы административные, из сферы публицистической, — не упустить бы расчленив их.

Любопытно сложились обстоятельства. Сергей Крылов и Олег Тулин — друзья, работают они в смежных областях науки, но в разных городах и институтах. Тулин прилетел в Москву, чтобы добиться в управлении генерала Южина разрешения на полеты, необходимые для практической проверки его метода определения центра грозы и воздействия на него. До встречи с Южиным он забежал в лабораторию к Крылову поглядеть с другом. В обыденную обстановку лаборатории он ворвался, как ракета, нашумел, наострил, вдоволь наиздевался над рутинными методами лаборатории, больно кольнул Агатова, влюбил в себя восторженного аспиранта Ричарда и исчез, ни словом не обмолвившись с Крыловым о цели приезда в Москву.

Ни он, ни Крылов не подозревали, как сомкнутся вскоре их судьбы. Они не подозревали, что Южин запросил мнение Голицына о программе Тулина, что заключение уже составлено, что автором его был Агатов, что сейчас новому начальнику лаборатории Крылову нужно будет ехать к Южину передать и объяснить, если понадобится, это самое заключение. Оно характеризовало программу как авантюру.

Крылов был знаком с работами Тулина по литературе, он видел в них некоторые недостатки, но считал направление работ прогрессивным. Ознакомившись с заключением, он был поражен и его тоном и содержанием. Он понимал, что программа Тулина резко расходится со взглядами Голицына, одного из основателей науки об атмосферном электричестве, но закрывать путь прогрессивному методу, решать научные споры запретом — это было абсолютно неприемле-

мо для него. Все эти соображения он выложил Голицыну. В их принципиальный спор влез Агатов и внес свою, агатовскую, мутную струю; он «раскрыл глаза» Голицыну: сказал, что Тулин и Крылов друзья, Тулин только что был здесь. Это потрясло старика. Тут же Агатов, извратив свой разговор с Крыловым, выставил его низким интриганом, роящим подкоп против Голицына. Вся эта драматическая сцена кончилась тем, что Крылов порвал с Голицыным, ушел не только с поста начальника лаборатории, но и с должности научного сотрудника. Разрыв был полный.

Все, что случилось сейчас, имеет настолько серьезное значение, что дважды вслед за этим тщательно обдумывается и осмысливается.

В первый раз — в размышлениях Голицына. Из этих размышлений читатель узнает, что два года назад Голицын разыскал Крылова, бывшего тогда в какой-то беде, в отчаянном положении, взял его к себе и предоставил ему полную свободу в работе. За работой Крылова он наблюдал с двойственным чувством: с одной стороны, он видел его большую талантливость, своеобразный и бесстрашный ход его мысли, с другой — понимал, что работы Крылова неспровергают созданную им теорию грозы, вошедшую во все учебники, но теперь устаревшую. Голицын болезненно ощущал робость собственной мысли. Не прошли для него бесследно те времена, когда приходилось помалкивать, когда исход дискуссий предreshался неким указанием, когда в строгой научной формуле могли усмотреть идеализм. Страх пропитал его мозг, и он завидовал Крылову, свободному от всего этого, завидовал широте его мысли. Для него, Голицына, нынешнее время пришло слишком поздно.

Вторично разрыв героя с Голицыным обсуждается Тулиным и Крыловым в ресторане Дома ученых, когда они соединили воедино концы событий, в которых участвовали порознь. Агатов был у Южина, он провалил дело Тулина, но после его отъезда напористый, тонкий, дипломатичный и дерзкий Тулин все же вырвал у Южина разрешение на полеты. Правда, с условием: полеты будет курировать Голицын. Не сам, конечно, а через своих сотрудников. Можно себе представить ярость Тулина, когда он узнал, что Крылов, на помощь которого как заведующего голицынской лабораторией он рассчитывал, соглашаясь на требование

Женщина, оказывается, ушел с поста и тем самым расчистил место Агатову! Посмотрите на этого идиота, кричит он, на этот образец человеческой тупости, на юродивого, на лунатика! «Ах, какой рыцарь, он шел на все ради меня! А мне не нужно. Не нужна мне твоя жертва...» — «Я это сделал не ради тебя». — «Значит, для себя?» Крылов молчит.

Жертва Крылова действительно была огромной. Он оставил работу, которой отдал два года жизни, и именно тогда, когда работа была в разгаре, когда в ней только-только что-то «проклеивалось». Тулин бьет его беспощадно. Принципы оценивают по результатам, говорит он, а не по намерениям. «Кому помогает твое донкихотство? Ты всем только мешаешь и портишь». Крылов, настаивает он, должен вернуться к Голицыну, старик обрадуется, он обожает Крылова. «Не могу», — отвечает Крылов. Тулин неистовствует. Крылов виновато улыбается: «Нет, не могу». Он не защищается, он покорно принимает удары Тулина, но с виноватой улыбкой стоит на своем, как бы извиняясь за то, что Тулина снова и снова приходится бить его. Мужество, которое прячет себя. Свинец в глубине характера, с которым Тулин сталкивался и прежде. «Как же мне идти к Голицыну, если я не согласен с ним, и ты, Олег, с ним не согласен? От тебя отказаться? Но тут не только ты, тут мне и от самого себя надо отказаться. Раз у меня есть убеждения, я должен отстаивать их, а если не сумел, то уж тогда лучше уйти, чем в сделку вступать... Иначе нельзя, ведь только через себя мы можем для всех...» Он запутался.

Конфликт у героя, следовательно, не только с Голицыным и Агатовым, но и с Тулиным. Но с Тулиным дело не доходит до разрыва. В конфликте с Голицыным Крылов проявляет безусловную бескомпромиссность, но когда его позиция бескомпромиссности сталкивается с противоположной, с убеждением, что компромиссы необходимы, он, не уступая, все же как бы мирится с этой позицией, дружба его с Тулиным непоколебима.

Бескомпромиссность Крылова имеет и другую сторону: она расчищает дорогу подлости. Агатов не творческий человек. Он не талантлив. Его ущемленность этим, его уязвленное самолюбие находит выход в стремлении к административной власти в науке. Бездарность — «это опасно, как гангрена», — говорят об этом Крылову. Он со-

гласен: к руководству нельзя допускать бездарных. Но он... допускает.

В этот же вечер Тулин, поуспокоившись, находит выход для Крылова, оказавшегося не у дел: он возьмет Крылова в свою экспедицию.

Но прежде чем дать согласие, Крылов уезжает из Москвы — к той женщине, к Наташе, мысль о которой мучила его весь день. И не только весь день, а, оказывается, уже несколько месяцев — с тех пор, как он вернулся из командировки, где познакомился и работал с этой женщиной. В драматических событиях этого дня он не раз впадал в странную, отрешенную от всего задумчивость. В его воображении вставала ее доверчивая улыбка, ее доверчивое восхищение. Он вспоминает о начале их любви, о том, как он хотел, чтоб их неожиданная связь осталась приятным случаем, не более. И последняя ее фраза при расставании: «Зачем мы расстанемся?.. Я все понимаю, но что мы делаем?»

Поездка в прошлое. Он не встретился с ней, он узнал, что она покинула мужа и уехала с сыном неизвестно куда. Ее муж, художник, показал ему написанный им ее портрет. Глаза «невероятно велики, два серых клубящихся облака». Крылов понял, что портрет этот написан совсем недавно, когда Наташа уже знала, что уйдет, и, может быть, даже знала, что он придет, она уже все знала, до самого конца, она не осуждала и не прощала, в ней была отрешенность, и непримиримость, и мудрость, не нуждающиеся в изношенных надеждах. Такой он ее никогда не видел, и он понял, что он потерял.

Полный тоски и отчаяния, Крылов бродит по прошлому. Он отыскал людей, знавших ее и не знавших его, и он услышал о себе и о ней легенду: «У них такой роман был!» Будто бы он приехал к ней на черной «волге» и увез. Все было не так. Было так, что он сел в поезд и уехал, а она осталась. Он встретил женщину, которая знала ее и его. Женщина обрадовалась, спросила, почему не приехала с ним Наташа: наверно, от счастья все позабыла. «Как она тут маялась без вас». А он писал ей из Москвы пустые письма о чем угодно, но не было в них одного — он не звал ее.

Из воспоминаний Крылова читатель узнает, что она в любви к нему, в работе с ним нашла самое себя. Он как-то похвалил ее самостоятельность в новой для нее совмест-

ной с ним работе. «Значит, я сама могу», — сказала она изумленно. В детстве она, старшая в семье, нянчилась с маленькими и мечтала стать самостоятельной, потом своя семья, ребенок, и ей было не до себя. Рядом с мужем, известным художником, она научилась в совершенстве быть незаметной. «Ей казалось, что она куда-то пропала, ее нет, кто-то вместо нее ходит, говорит, а ее самой не существует». Только с Сергеем она нашла себя.

А Крылов — как потерянный. Никак не отделаться от впечатления, что он потерял себя. И вспоминается, что, раздумывая о том, брать ли ему должность начальника, он боялся в этой должности потерять себя. Потом говорил Тулину, что вернуться к Голицыну значило бы отказаться от себя. Теперь он как потерянный.

Крылов решает принять предложение Тулина работать с ним. Первая часть романа кончается.

Кто же заинтересовал больше — Тулин или Крылов? С Тулиным будет интересно. Но вряд ли этот интерес — интерес к новому в его характере. Интересно, как этот уже, видимо, полностью узнанный характер будет проявлять себя в разных обстоятельствах, будет очаровывать, блистать, побеждать. Но от характера его новизны не ждешь.

Не то с Крыловым. Он непонятен. Он очень добр и очень искренен, он деликатен и мягок в разговоре с Агатовым, но резко порывает с Голицыным. Он видит, как подло поступает с ним Агатов, и уступает ему дорогу. Он бросает работу и ни на минуту не задумывается о своей дальнейшей судьбе. И эта виноватая улыбка в разговоре с Тулиным. И глубокая задумчивость, приводящая его в состояние, близкое к каталепсии. И вот еще странность. Он любит Наташу, тоскует по ней, непрерывно о ней думает. В ресторане вместе с ним и Тулиным девушка, которая относится к нему как-то по-особому («Когда-нибудь ты поймешь, что никто к тебе не относился так, как я»). Это Ада, она ослепительно красива. Он не виделся с ней два года. Когда им удастся перемолвиться друг с другом, их слова значительны и нежны. И вот он, тоскующий, любящий другую, говорит этой: «Хочешь, я женюсь на тебе?» И говорит это совершенно искренно. Согласилась она, казалось ему, и он, не раздумывая, женился бы на ней. «Хоть одному человеку была бы от него радость». Самоотречение? Он поступает

нелепо и своим поведением больно обижает девушку: «За что ты меня так не любишь?» И не только в этом случае, но и во всех остальных он ведет себя так, что люди здравого смысла именуют его не раз и не два идиотом. Так его называет Тулин. Да он и сам себя так называет. Это делается с такой настойчивостью, что невольно в бытовой бранной кличке начинает сквозить какой-то наводящий смысл. Идиот? Уж не... Нет, этого не может быть.

2

Вышло так, что ваш интерес к характеру Крылова острее, неотложнее, чем к событиям, в центре которых, вероятно, будет стоять Тулин. С этим интересом вы и входите в прошлое героя, о котором рассказывает вторая часть романа.

Не следовало ли писателю позаботиться о том, чтобы этот обрыв сюжетного развития, переход в прошлое был незаметным? Для читателя предпочтительнее, однако, отдавать себе отчет, что после чего происходит, заметность перехода ему нужна. Но не отстраняет ли читателя заметность такого перехода в прошлое от непосредственного участия в событиях, в которые он уже вовлечен, не ослабляется ли его контакт с произведением? Нет, вы втянетесь и в прошлое и в прошлом будете чувствовать себя совершенно как в настоящем. Нужно лишь, чтобы при этом не приостанавливалось, не свертывалось, а шло вперед развитие идеи произведения и углублялось постижение характеров, интерес к которым уже разгорелся. Без этих условий части романа нужно поменять местами и рассказывать о прошлом прежде, чем о настоящем.

Странное дело: незаконно явившаяся тень князя Мышкина за спиной героя не исчезает при первом ознакомлении с его прошлым во второй части. Больше, чем прежде, проявляются в характере героя и очаровывают вас его искренность, простота, бескорыстие, непрактичность, наивность, прямотуше. Входило ли в замыслы автора такое сближение героя с литературным образом «положительно прекрасного человека»? Если не входило, сделайте сопоставление сами. Это бесполезно. В дальнейшем вы обнаружите, что все эти черты — еще не самый характер Сергея Крылова, а скорее «солнечная корона» характера, но наложные образы друг на друга поможет с осо-

бенной отчетливостью увидеть, что суть характера героя прямо прогнуположна тому принципу, какой должен был утвердить Лев Мышкин. Не смирение, хотя Крылов и бывает временами смиренен, не самоуничтожение, хотя и в него впадает иногда Крылов, не отказ от своей личности, хотя и мелькнуло нечто подобное уже в его разговоре с Адой, а самоутверждение — вот что развертывается в характере героя в событиях второй части романа.

В истории его исклочения с третьего курса института проявляются черты детскости, прямодушия, обаятельной наивности, но проступит при этом и незаурядная сила воли. Затем читателя все больше привлекает и захватывает его талантливость и всепоглощающая страсть к науке. Она увела его с завода, где его окружала забота главного конструктора, оценившего его исключительную одаренность, любовь и опека беломраморной Ады, чувства которой к себе он так и не разгадал, общее признание и успех.

В настойчивости, в способе, каким он добился лаборантской должности в Институте Академии наук, уже проступает эта черта самоутверждения — не как усвоенного принципа, а как органического свойства природы. Она еще резче проявляется в конфликте его с великолепным ученым и блестящим экспериментатором Аникеевым. Самостоятельность мысли Крылова, прорвавшейся сквозь все преграды, поставленные перед ним Аникеевым, вызвала уважение к нему ученого. Уважение и любовь были взаимными; несмотря на это, ученик покинул учителя. Непреодолимое влечение к теории увело его от экспериментатора к теоретику Данкевичу, Дану, — всемирно известному физику, перед гением которого Крылов преклонялся. Но работал он у Данкевича до тех пор, пока не пришла к нему своя собственная тема. Тогда ни восхищение, ни преклонение перед гением не могли его удержать, он изменил великому Дану.

Страницы, изображающие его лабораторную работу, его научные поиски, и здесь и в дальнейшем доставляют такое читательское удовольствие, столько в них электричества, что, конечно, никакое самое авторитетное мнение, будто «не в электричестве тут дело», не способно наше увлечение умалить.

Есть в этой части дальнейшее развитие и углубление конфликта между бескомпромиссностью и готовностью к компромиссам — углубление и развитие, хотя расска-

занное здесь предшествует спору между Крыловым и Тулиным в первой части.

Дан решил выступить против академика Денисова, разработавшего способ уничтожения грозы. Этот способ, превознесенный газетами, лишен научных оснований. Денисов вводил в заблуждение, это была авантюра, и Дан выступил против него, несмотря на все предостережения, что Денисов непобедим, что выступление против него лишь укрепит его позиции. Так и случилось. На совещании по программе Денисова Дан потерпел полное поражение. Тулин, работавший также над проблемой воздействия на грозу, особенно горячо предостерегал Дана от выступления: победа Денисова угрожала и его институту, его теме. Когда Денисов восторжествовал и его сторонники стали занимать посты в институтах и ученых советах, когда и к Дану был назначен заместителем ставленник Денисова, доцент Лагунов, Тулин решил пойти на самый страшный компромисс: несмотря на свои научные убеждения, он решил сдаться на милость победителя, переменить на его сторону, только бы сохранить тему, только бы спасти работу — «хоть черту душу заложить, лишь бы дело делать». Вспыхнул горячий спор между Тулиным и Крыловым. Он закончился тем, что Крылов с детской нежностью умолял Тулина: «Не ходи к Денисову. Я не верю, что ты к нему пойдешь».

Тулину не пришлось идти к Денисову: Денисов не предъявил к нему унижительных требований, не потревожил его темы. Но у Дана возникли осложнения. На ученом совете при обсуждении работы группы Данкевича, на котором присутствовало много любопытных, он вновь потерпел поражение. «Вскинув огромную голову с седеющей шевелюрой, он нетерпеливо и презрительно пофыркивал, напоминая загнанного оденя, сильный и в то же время беспомощный, как рыцарь в лагах перед пулеметом».

Так как в критике было высказано мнение о слабости и бессилии положительных героев романа в их борьбе с кривдой, следует всмотреться, в чем же причины поражения Дана.

Несомненно, Дан — очень сильный характер, но некоторые особенности этого «окаянного», как его называли, характера отчасти и явились причиной его поражения. Защищая против демагога, спекулирующего на связи науки с производством, право ученого заниматься теоретическими проблемами,

требуемыми многими лет трудов и не обещающими быстрых результатов, он внес в свою защиту прямую неправду: на вопрос о практическом значении его исследований он заявил, что никаких полезных применений тема не имеет. Между тем его исследования имели ценность и для радиотехники, и для навигации, и для атмосферного электричества. Его амбиция, его демонстративное пренебрежение к «посторонним» («У нас здесь не цирк»), сложность его научных доводов, преподносимых в форме, доступной для двух-трех специалистов,— все это в сочетании с излишним полемическим задором и было одной из причин его поражения.

Другой и главной причиной была все же не эта слабость сильного характера, а трусость тех, кто видел его правоту. Ни член-корреспондент Академии наук Голицын, ни профессор Чистяков, шеф Тулина, ни Тулин не выступили против Денисова. Они были уверены в разгроме Дана, они знали: «Съедят его». После поражений Дана им казалось, что Дана с треском снимут. Они еще были во власти страхов, порожденных периодом культа личности.

Их опасения оказались необоснованными. Ничего не могли поделать денисовцы с Даном. Не те пришли времена.

Когда в связи с помехами, какие все же Дан начал испытывать в своей работе, взволнованный этим Крылов сказал: «В наше время так не бывает. Может быть, надо пойти куда-то рассказать, я пойду», Тулин ответил ему: «Уже ходили и говорили. Не такие, как ты, ходили. А им — пожалуйста, вот решение совещания».

«Такая чертовщина, обалдеть можно», — восклицает Тулин. Призыва самим решать свои дела, призыва к активности, к общественной самодеятельности ни он, ни Крылов не услышали.

Но именно в этом, а не в обнажении слабости Дана смысл и урок его борьбы и его поражений.

Есть в этой части романа и любовь. Крылов полюбил курносую, скуластую, очень живую, очень славную девушку. На его большую любовь Лена ответила своей веселой любовной дружбой, смешливой, милой игрой без прошлого и будущего. «Лена, мы должны быть вместе». — «Зачем ты торопишься? Не связывай себя...» — «Я не могу без тебя». — «Так я с тобой. Считаю, что я твоя жена». Она могла исчезнуть в любую

минуту. Оставаясь один, он мысленно звал ее и в своих мечтах, в воображении вел с ней задушевные беседы, открывал свою душу, делясь с ней охватывавшим его смятением в работе, своей болью и муками.

Была ли она пустоцветом? Например, любила ли она свою специальность? И да и нет. Она была помощником кинооператора. Когда художник, с горечью говорила она, делает превосходные макеты, а сценарий дрянной и режиссер слабый, как бы она ни тянула, никакой самой хорошей съемкой картину не спасешь, и все идет впустую. Провал картины она воспринимала всем сердцем, и тогда все, и прошлое и будущее, меркло для нее, и безысходная печаль охватывала ее. Здесь где-то ключ к ее характеру, и недаром в такие минуты Сергей, обняв ее, говорил решительно и быстро: «Я тебя люблю. Ты слышишь?»

Разрыв с Даном был для Крылова тяжелой драмой. В последнем разговоре с ним Крылов, рвавшийся к своей теме, к захватившей его проблеме атмосферного электричества, измученный тем, что он должен был жить лишь идеей Дана, запальчиво сказал ему: «Вы не считаетесь с нами... Все равно у нас ничего не выйдет». Дан был разъярен. Неверие в свое дело он не мог простить.

Лагунов уговорил Крылова поехать в научную экспедицию за границу. Крылов уехал. Когда через восемь месяцев он вернулся, Дана уже не было в живых. Но незадолго перед его кончиной на международном конгрессе был прочитан доклад Дана о новой теории электрического поля. Все его гипотезы оправдались, и его работа имела огромное практическое значение для ряда областей науки и техники. Когда Крылов был за границей, французские ученые, узнав, что он работал у Данкевича, кричали ему «виват!» и подымали тост за страну, которая имеет такого ученого, как Дан.

Сойдя на берег, Крылов тут же, из Ленинградского порта, позвонил Лене. Лена быстро проговорила: «Я тебе написала, у тебя дома лежит письмо. Я выхожу замуж». Доверчиво и восторженно она шепнула: «Сереженька, я его ужасно люблю!»

Пришли черные дни неизбывной тоски по Лене и мучительных угрызений, казни себя за измену Дану. Прежде были и Лена, и Дан, и работа — теперь ничего не осталось. В эту пору Крыловым, подавленным, инертным, все больше завладевал внимательный и дружелюбный Лагунов. Он выдвинул его

представителем в какой-то международный комитет, возил с одного совещания на другое, свалил на него приемы иностранцев. Крылов жил в какой-то дремоте. «Действовал кто-то другой, а он наблюдал и ждал, чем это все кончится».

Перед новым годом приехал в Ленинград Голицын. Он позвонил Крылову, пригласил его к себе в гостиницу. Голицын ознакомил его с письмом Дана о нем, Крылове. В письме были наброски плана работ и заметки по задуманной Крыловым теме о механизме грозы, о шаровой молнии, о центре грозы, о том, что было для Крылова своим. Дан просил Голицына связаться с Крыловым. Дан говорил ему, что Крылов ничем другим заниматься не сможет.

Стремление героя к своей теме, к своему делу, к самому себе, к самоутверждению получило признание. Дан думал о нем, помнил о нем, это был настоящий человек. Крылов тоже станет настоящим человеком. Он шел от Голицына и улыбался. Он был счастлив. «Он вдруг почувствовал себя самим собой».

Дальнейшее известно читателю. Известно, что работа у Голицына кончилась новым разрывом, новым крушением. Известно, что и новая любовь его принесла ему новую муку. Можно догадаться, что источником разлады во второй любви этого нескладного человека было его недоверие к своему чувству, его слепота, его ослепленность горем, пережитым ранее: «Лед сам недавно был волной, а теперь он душит ее».

3

Самолет экспедиции Тулина в воздухе.

Мощное грозное облако. Самолет перед ним словно крохотный мотылек, летящий на скалу. Войти в облако? Это запрещено, это смертельно опасно, и здесь Агатов, который следит за тем, чтобы запрет строго соблюдался. У него власть: вот последствие безрассудства Крылова.

И все же самолет входит в облако. Умение Тулина влиять на людей слишком велико, чтобы летчик смог ему противиться. Входит чуть-чуть, по самую кромку — и словно тяжелый молот обрушивается на самолет, его швыряет из стороны в сторону... Всего сорок секунд был самолет в облаке, но какие это были секунды, сколько в эти мгновения было схвачено, перечувствовано, обдумано! Когда люди оторвались от щитов, от

стендов с десятками приборов, их лица горели пережитым азартом. «Жить бы всегда так полно, всеми чувствами сразу, как эти сорок секунд, какой огромной стала бы жизнь!»

Пилот разворачивает самолет для второго захода. Но подымается бледный от страха Агатов и запрещает входить в облако. Тщетны настояния Тулина. В глазах Агатова торжество: у него власть.

Другой полет. Он предпринят не для измерений, а для опыта воздействия на облака сухим измельченным льдом. Это было прекрасное зрелище: купол облака съеживается, оно тает, разрывается, превращается в мглистые полосы. Замечательная удача, предположения Тулина оправдались, все ликуют, кричат «ура». Никто не обратил внимания на Крылова. Он сидел с другого борта и внимательно следил за облаками. На аэродроме Тулина качают. Подходит Крылов и конфузливо сообщает, что, наблюдая за облаками, не подвергавшимися воздействию, он обнаружил, что три из них разрушились точно так же и в то же время. Опыт, к сожалению, нельзя считать достоверным. Тулин в ярости кричит, что Крылов действует на руку Агатову, что у Крылова нет доказательств. Крылов стоит на своем. Подбегает Алеша Микулин, в его руках мокрые фотографии облаков, заснятых Крыловым: Крылов прав.

За спиной Тулина Агатов плетет интриги, стремится завербовать на свою сторону аспиранта Ричарда. Он встречает отпор. Ричард от Тулина никогда не отступится. Тулин настоящий ученый, это не Денисов. И тогда Агатов выхватывает гнуснейшее оружие. При этом впервые в романе читатель узнает фамилию Ричарда. Это придает впечатлению от внезапного подлого удара Агатова повышенную остроту: «Значит, Денисов — вредная догма? Не нравится вам русский ученый, товарищ Гольдин?»

Агатов решает отослать Ричарда из экспедиции. Он может это сделать: Ричард, аспирант Голицына, произвольно изменил согласованную с Голицыным тему диссертации, перейдя на сторону его противников, Крылова и Тулина. А для Ричарда уход из экспедиции — тягчайший удар не только из-за научных интересов. Здесь Женя Кузьменко, которую он давно любит. Женя Кузьменко — это та девушка, которой Тулин сулил во время случайной встречи в московском парке власть над грозой.

Отослать Ричарда Агатову не удалось. Ричард был в полной уверенности, что его спас Тулин. На самом же деле Тулин уступил домогательствам Агатова. Воспротивился этому Крылов.

Новый полет. На этот раз научной экспедицией руководил Крылов. Тулину пришлось уехать для неотложной встречи с крупным хозяйственным руководителем, от которого он рассчитывал получить финансовую помощь для дальнейших работ. Тулин взял с собой и Женю.

Полет кончился трагически. Самолет разбился. Погиб Ричард. Его гибель не была несчастным случаем. Он был жертвой преступления. Но преступление это никогда не будет раскрыто.

Перед самым отлетом Агатов постарался «открыть глаза» Ричарду: он сказал, что Тулин согласился на устранение Ричарда. Ричард, намекнул он, как все влюбленные, слеп, он не видит, что происходит между Женей и Тулиным.

Провокатору удалась его игра. Ричард потрясен вероломством человека, перед которым преклонялся.

В этом полете не предполагалось заходить в грозовые облака. Сводка погоды была благоприятной, гроза была по сводке в сотне километров отсюда. Но когда пилот вывел самолет из облюбованного для обследования кучевого облака, выяснилось, что незаметно их настигла гроза. Вскоре самолет оказался в адском месиве. Самое страшное было попасть в центр грозы, ее «святая святых и тайное тайных». Если бы действовал созданный Тулиным и смонтированный в пульт пилота указатель центра грозы, это помогло бы ориентироваться. Но стрелка указателя оставалась неподвижной.

Его выключил Агатов. Выключил для того, чтобы подключить питание к своему прибору. Он не верил в грозоуказатель Тулина, да и все равно в грозу заходить было запрещено. Лишь в момент наивысшей опасности мысль о том, что указатель мог бы выручить, пришла ему в голову и толкнула было к тому, чтобы бежать и включить прибор, но тотчас же другая мысль — об ответственности там, на земле, если узнают, кто виновник, приковала его к месту. Случилось так, что, когда уже все выпрыгнули или были сброшены с парашютами на землю, в салоне оставались на какое-то мгновение Агатов и Ричард, и в это мгновение Ричард увидел разъем и догадался обо всем. Он схва-

тил ползущего по проходу Агатова и крикнул: «Так это вы!» Агатов, вырываясь, ударил его ногой и добрался до люка. Ричард потерял сознание. Очнувшись, он не мог шевельнуться. Пилот, выбежавший из кабины к люку, не заметил его и спрыгнул.

Таково еще одно страшное последствие бескомпромиссности Крылова, расчистившего своим уходом место Агатову.

Об этом уходе думал Ричард в начале полета. «Крылов поступил глупо, освободил место Агатову, из-за этого страдает дело, страдает лаборатория, но Крылов ушел, а Тулин не ушел бы».

Ричард не знал всего. Он не знал, что Крылов пошел на прямую сделку с Агатовым, чтобы сохранить его, Ричарда, в экспедиции. «Оставьте Ричарда в покое», — сказал Крылов Агатову, — «... вы мой должник. Помните, тогда у Голицына вы наговорили на меня?.. Вы мне окажете эту услугу — и тогда будем квиты».

Комиссию по расследованию катастрофы возглавлял Лагунов, тот самый, из ласковых объятий которого выскользнул в свое время Крылов. Членом комиссии был Голицын, с которым так неблагодарно Крылов порвал. В нее входил также генерал Южин, разрешивший полеты.

Тулин понял, что защищаться бесполезно, отстаивать тему нелепо, смешно, ее закроют. Тулин смешным быть не желал. Рушилось все, рушилось будущее и все достигнутое, с таким блеском начатое, он был унижен, как никогда. Но он ни слова не произнес в защиту своей темы.

За аварию он не нес ответственности, тут ему ничто не угрожало. Другое дело Крылов. Его могли отдать под суд. Что же Крылов?

Его нелепое поведение раздражает комиссию. Вопреки всему он твердит свое: наступил решающий этап исследований, мы на верном пути. Значит, он предлагает продолжать полеты? Несмотря ни на что? «Да, да, да». Но это же догматическая позиция прежних времен! Это раньше продолжали бы полеты, и никого не интересовало бы, десять ли, сто человек погибло. А Крылов, яростный, взбудораженный, стоит на своем: «При чем тут герои, жертвы?.. Это ж просто несчастный случай, и ничего больше. Нет, вы дадите по существу, про нашу тему».

Он вызывал на бой. И Голицын принял бой. Бесстрастно он ставит вопрос за во-

просом по существу, как добивался Крылов, по теме. Логика его безукоризненна. Крылов загнан в тупик. Ирония судьбы заключалась в том, что вопросы Голицына — это те самые вопросы, которые в процессе работы ставил и которыми донимал Тулина сам Крылов. А Голицын читает уже заключительную часть своего убийственного разбора. Крылов пытается что-то возразить, что-то сообразить, но это уже агония. Крылов с надеждой смотрит на Тулина, он ждет его поддержки. Выступает Тулин: никакого права настаивать на теме нет. Кто скрывает свои ошибки, тот хочет совершать новые. Он не хочет.

Крылов в полном одиночестве. «Как Ричард там, в самолете. Будь Ричард жив, они стояли бы сейчас вдвоем. Но там, где должен был стоять Ричард, было пусто и дуло холодом».

Спротивление бессмысленно, Крылов это понимает, но ничего не может поделать с собой. Он мог уступать, но не мог отступать. Общее осуждение усиливается.

Вдруг что-то происходит с ним. Только что загнанный в тупик, осмеянный, бесильный найти выход, он выступает снова и говорит новым голосом, спокойным и уверенным: тему они могут закрыть, но им будет стыдно, принцип работ правилен, ошибки, найденные Голицыным, не зачеркивают работу, а ставят вопросы, на которые нужно ответить. Все равно кто-то должен на них ответить. «Казалось, он говорил им из будущего, где уже было точно известно, что из всего этого прорастет. Он не чувствовал себя одиноким. Наоборот, он был необходимостью, а все остальное случайностью».

Вот слова, подводящие итог его душевному состоянию: «Он остался один, но зато он мог делать то, что хотел».

Этот мотив звучит в романе не в первый раз. «Я хочу... я хочу того, чего я хочу», — бормотал он однажды, но тогда это можно было отнести за счет опьянения.

А в другой раз его учитель, великий Дан, сказал так: «Надо делать то, что необходимо тебе самому, тогда не страшны никакие ошибки или неудачи».

Не здесь ли где-то главная мысль произведения?

«Мысль, мысль, а вот когда мысль еще не выражена словами, когда она форми-

руется, в самом истоке, где клубятся смутные ощущения...»

Что же случилось с «железным парнем», с блестящим, энергичным, победоносным Тулиным? Почему катастрофа, к которой он непричастен, которая не ставится ему в вину, надломилась, сломила его характер?

Чтобы постичь тайну этого характера, нужно обратиться к сфере, о которой критиком было сделано предупреждение. что в ней все пустое, придумки, — к сфере любовных отношений.

В этой, третьей, части романа, как и прежде, крах Крылова в науке сопровождается крахом в любви. Отыскалась Наташа. Она звонила к Крылову. Она встревожилась, когда до нее дошли слухи об аварии. Но она звонила только для того, чтобы узнать, что с ним. Встретиться с ним она отказалась.

Эта история, хотя и не совсем, но почти закончилась, и зачем она в романе, чему она учит, все еще неясно. Может, и впрямь пустая романистика.

Но вот еще любовная история: Ричард и Женя. Ричард любил Женю благоговейно и восторженно. Ее чувства были ей самой неясны. Она позволяла ему целовать себя, но говорила: «Только не торопи меня».

Помните? «Зачем ты торопишься?» — спрашивала Лена у Сергея. Очень похоже: и там и здесь он пылко любит, она, вероятно, нет. Там полдень любовных отношений, и нет осторожной оглядки, здесь — заря любви. Только совершенно невозможно представить себе Лену, испытывающую радость от робкой покорности Сергея и сознания своей власти над ним. У Жени именно в этом была ее радость, это ей льстит. В отношениях Лены и Сергея была прелесть и поэзия, их недолгая связь чиста. «Сереженька, я его ужасно люблю!» Она сказала правду, когда узнала другую, настоящую любовь. Женя же вступила в некрасивую двойную игру с Тулиным.

А Тулин был подлинный мастер любовной игры, он вел ее уверенно, тонко, дерзко и неотразимо. Он даже думал, и ему приятно было так думать, что с ним происходит на этот раз что-то совсем непохожее на прежние увлечения. Что, если, спрашивает он Женю, все это по-настоящему?

Тогда, говорит он, я бы мог «быть перед тобой слабым, и плохим, и грустным. Я никогда этого себе не разрешаю. Разве уж совсем припрет, то перед Крыловым, но это совсем не то. Быть самим собою. Не бояться открыться, не думать о том, чтобы тебе понравиться».

При этих словах Женя вспомнила, как Ричард говорил ей, что, если она будет с ним, он станет сильным, станет великим.

Быть самим собой. Это мотив Крылова. Он боялся потерять самого себя на административной работе. Ричард в последние мгновения перед гибелью думал, что ему, может быть, не надо было стараться вынуть кассету с пленкой, а бежать к люку и прыгать. «Может быть, еще раньше тебе не нужно было думать о Жене и Тулине? Или вообще ехать сюда? Но тогда это был бы не ты. Это был бы другой. А если другой, значит, тебя нет, наверное, это хуже, чем смерть».

Крылов в работе всегда был самим собой. Всегда был самим собой Ричард. А Тулин ищет мгновений, чтобы стать самим собой. Значит, он был не самим собой? Значит, его не было?

Но кончилась третья часть.

Нужно лишь отметить в этих любовных историях одну сторону. Ричард был покорен Жене во всем, но никогда не мог примириться с ее равнодушием к своей специальности. Он жил надеждой, что интерес к ней у нее пробудится. Наташа в работе с Сергеем выпрямилась, нашла себя. Когда Сергей почувствовал, какую боль причиняет Лене неудача в работе, к нему прихлынула особая к ней нежность. В каждой такой точке произведения прощупывается зерно натуры человека. Эти точки в повествовании являются как бы его периферическими нервными узелками, от которых тянутся нити к центру, они вибрируют, шлют туда свои сигналы и получают оттуда импульсы. Это не омертвевшие части живого организма, как нас предупреждали, они живут.

4

Последняя часть, завершение. Теперь время оглянуться на пройденный путь, оглядеть весь достаточно уже выявившийся строй произведения, его склад, его композицию.

Есть в четвертой части строчки, которые, пусть нечаянно, указывают на прин-

цип, положенный в основу композиции романа. Это то место, где рассказывается, как Крылов воспринимал музыку Баха. В торжественной суровости произведения он слышал одну и ту же тему, которая, повторяясь, раскрывалась с каждым разом все глубже.

Похоже, что тот же принцип повторности положен и в основу построения самого романа. Повторяется одна и та же сюжетная ситуация: крах, крушение главного героя, причем крах в научной деятельности всегда сопровождается крушением в делах сердечных. Из части в часть переходит один и тот же конфликт между героями: столкновение бескомпромиссности и готовности идти на любые уступки. Из части в часть переносится проблема, неуклонное повторение которой как раз и зовет разглядеть в ней значительность, а без этого она, возможно, и не привлекла бы особого внимания вследствие своего по внешности невзрачного административно-служебного характера; но в каждой части герой ставится к ней вплотную: либо, соглашаясь на организационную работу, тотчас же от нее уходит, либо вырывается из ее пут, либо, вынужденный принять ее, приходит к катастрофе.

И каждый раз в новом и новом повторении сюжетных ситуаций, тем, мотивов все яснее, все отчетливее проступает главная мысль.

Теперь, когда единый образ произведения пусть не окончательно, но в общих своих контурах сформировался, можно цепи этих повторностей, уже сложившиеся и выявившиеся, рассматривать порознь. Это не будет расчленением единства, это будет рассмотрением разных сторон этого единства.

Встреча Крылова с Наташей состоялась. Крылов услышал от нее: «Я все делала, чтобы забыть тебя, и забыла».

Она рассказала, как покинула мужа. Сначала вспоминала она, пыталась притворяться, хотела сохранить семью. Потом все рассказала мужу, и он стал притворяться, только чтобы сохранить семью — ради ребенка. Но однажды она убедилась, что их маленький сын все понимает. Придет время, и он тоже научится притворяться ради семьи. Она ушла от мужа, потому что то, что они делали ради ребенка, уродовало его. Слушая этот рассказ, Крылов вспоминал, как сам он перед расставанием

с нею тоже что-то внушал ей о семье, врал себе и ей.

Что же теперь? Теперь они совсем чужие. Красивая мечта о встрече с Наташей исчезла. «Чинить такие вещи нельзя», — сказала она. Бережно и осторожно перебирали они свое прошлое. Помнилось только хорошее. Наташа поцеловала его в щеку, и они расстались.

Это история короткой, трудной и несчастливой любви. А вот любовь счастливая и долгая, вероятно, на всю жизнь.

Когда Женя почувствовала, что между нею и Олегом постоянно стоит тень Ричарда, что это мучает Олега, она все сделала, чтобы успокоить его. Она убеждала его, что во всем виновата только она, что она отвечает за все целиком и полностью. Своими ласками она успокоила Тулина. Так она нашла свое призвание утешительницы. Подруга говорила ей: «Ты присмотришь: ему никто не нужен, и ты в том числе...» И Жене скоро стало ясно, что для него не существует никого, ни ее самой, ни ее любви. Правда, он в ласках говорил ей: настоящее только это. Он говорил: выше этого ничего нет, она — единственное, что ему нужно. Тогда она верила.

В разговорах с Женей Тулин глумился над своей работой. Он издевался над тем, что до сих пор был рабом науки, всего лишь приспособлением к своему мозгу. Хватит, к черту! Это машины оценивают мощностью, производительностью.

В такие минуты Жене казалось, что он отрывает от себя то, что составляло его душу, его самого. Она, вероятно, забыла, как он говорил о счастье быть с нею самим собой.

Переубедить его, уговорить продолжать работу над темой она не могла. И уйти от него не могла. Когда-то она «верила, что у нее будет все не так, как у других. До чего ж пошлая получилась история!» В романе это пошлость разоблачаемая. Критик ее принял за пошлость насаждаемую.

Перед отъездом в Москву с Тулиным Женя зашла к Крылову попроситься. Ей тогда пришла в голову странная мысль: «Как славно могло быть, если бы она полюбила Крылова!» Но она не могла полюбить Крылова, таковы законы «в стране любви, куда она попала». Она полюбила Тулина, она уедет с ним. Она презирала себя за то, что уезжает, что не может без Тулина. В этой любви были и презре-

ние и озлобление. Как-то Тулин спросил, о чем она думает. «О тебе, конечно, о тебе, о ком же еще можно думать? — со злостью сказала Женя. — Ты единственная цель».

Так говорит ограбленная Женя, в которой когда-то Ричард видел «что-то нераскрытое, как обещание». И это нераскрытое было в ней, оно шевельнулось в ней при расставании с Крыловым, оно сказалось в зависти к нему, обреченному и несчастливому чудаку, как о нем стали говорить, к тому, что он остается с той работой, которой занимались и Ричард, и Тулин, и она.

Две истории любви: короткой, несчастливой, но такой, в которой Наташа, несмотря на огромное горе, на разрыв с семьей, нашла себя, и другой, счастливой, в которой опустошенная Женя потеряла себя, потеряла уважение и к себе и к любимому. Эта любовь надолго. Женя не покинет Тулина, не покинет ее и Тулин: ведь он с ней может быть с самим собой.

Когда-то Богдановский, тот хозяйственник, к которому уехал Тулин перед аварией, после разговора с Тулиным раздумывал: «Хотел бы я знать, в чем ты уверен, — в себе ты уверен или в деле своем уверен?»

В этом ключ к натуре Тулина. Он — разъемный, он размыкается на дело и на самого себя. Что же в нем самом после вычитания дела остается?

Его детище, его тема перестала его интересовать не потому, что он убедился в ошибочности направления своих поисков. Она перестала интересовать его потому, что она скомпрометирована. «И что бы ты ни доказал, — говорит он, — тебе всегда покажут на могилу Ричарда». Крылов призывает его заняться возражениями Голицына. Тулин не может этим заняться: «Я все представляю себе, как разнесется по Москве...» Ему надо сейчас найти что-то быстрое, эффективное, что-то такое, что принесет успех, который заставит забыть о катастрофе. Крылова мучает мысль, почему произошла катастрофа, почему не сработал указатель. Тулина гложет мысль, что он потерял... Ведь если бы указатель сработал, он сидел бы сейчас в Москве в номере «люкс» и готовил бы доклад. Потом конференц-зал, стенографистки, корреспонденты. Приемы, банкеты... Это то, к чему вожделем паразитирующий на науке сладо-

страстику администрирования Агатов. Между талантливым Тулиным и бездарным Агатовым возникает мост. По этому мосту движение всегда одностороннее: не бездарность идет к таланту, а талант к бездарности. И все размышления Тулина о том, что выигрывают всегда агатовы и лагуновы, что нужно жить без всякого смысла,— это распад личности, это то, что остается от самого себя, когда от «самого себя» оторвано дело, служение общему.

Крылов неотрывно думает об указателе, о возражениях Голицына. «Слушай,— спрашивает у него Тулин,— а зачем тебе все это надо?» Крылов отвечает: «Так это ж все несправедливо... и потом — дело. Мне самому интересно...»

Дело и он сам — вот их уж никак не разделить. Он мог тысячекратно заявлять: делаю, что хочу,— и не только заявлять, а неуклонно и неутомимо, через крушения и катастрофы идти к этому, но совершенно невозможно подступить к нему с обвинением в индивидуализме. Потому что хотел он того, что нужно всем — обществу, человечеству. Для него служение науке была потребностью, для Тулина наука была служением потребности в самовозвеличении.

Идея творчества в романе развивается и утверждается не в борьбе таланта с бездарностью, а в борьбе таланта с талантом. Талант, отданный служению делу, служению всем, ведет к росту личности. Талант, затраченный на службу собственной личности, ведет к ее распаду. Тулин покидает свое дело, так блестяще начатое, он в науке захожий. Крылов в ней у себя.

В самоутверждении героя воплощена идея свободы научного творчества. Ни на какие компромиссы не идет Крылов в борьбе с теми, кто на эту свободу посягал, как Голицын в деле Тулина. Даже с Даном он порвал, когда в работе с ним почувствовал пути для собственного творчества. Но он шел на компромисс, если считал, что компромиссом он поможет таланту, его творчеству. Ради Ричарда он пошел на сделку с Агатовым. Это противоречие в себе он видел. После своего резкого заявления Тулину в последних спорах: «Зато я не иду на компромисс», он думал о том, что шел на компромиссы, он думал о долгих компромиссах с Тулиным. Пути их разошлись окончательно тогда, когда Тулин изменил творчеству.

В критике отмечалась насыщенность романа духом современности. «...Писатель, верный духу современности, затрагивает самое трудное, «человековедческое» дело наших дней — борьбу с последствиями культа личности в сознании и поведении советского человека»¹. Затрагивает — не точное, робкое слово. Критик сузил смысл своего суждения, обойдя воплощенную в романе идею свободы научного творчества. Борьба с пережитками культа личности разворачивается в романе в первую очередь как борьба за подлинную свободу творческого мышления.

Идея творчества как назначения человека, как его сущности является сутью, душой, сердцем произведения. Большой силы выражения эта идея достигает в том высочайшем подвиге, какой герой совершает, в решении научной проблемы. Решение ее потребовало от него гигантских физических усилий, усилий ума, он прошел через муки, отчаяние, падения, взлеты, в этих муках, отчаянии, падениях, взлетах было его счастье, его высокое наслаждение. «Да, человек может много, если у него есть правда, он может черт знает что...»

Наступил день, когда он смог отнестись наконец папку с результатами своих исканий Голицыну. «Эх, люди, люди, если бы вы только догадывались, какая радость вас ожидает!»

Он победил Голицына. Голицын в своем поражении нашел свое возрождение. Нашел его и Южин, встав на сторону Крылова.

А Лагунов, а Агатов? Культа нет, но служители его еще остались. Агатов и Лагунов здесь, рядом. Да нет, не рядом, они над, они на руководящей работе. Агатов достиг высокого поста, он расцвел.

Разве это можно простить герою? Разве тень загубленного Агатовым Ричарда не будет ему вечным укором?

Скорее она будет ему вечным призывом. Она взывает, эта тень. Но к чему?

Не бескомпромиссность героя расчистила путь Агатову. Ему открыло дорогу и развязало руки другое. Вот это:

«Что ты думаешь обо всей этой истории?» — спросил Крылов у Песецкого, научного сотрудника лаборатории Голицына, готчас же после разрыва с Голицыным. «Ничего,— сердито сказал Песецкий.—

¹ Георгий Радов. Искатели? Бойцы? «Литературная газета», 17 ноября 1962 года.

Ничего не думаю. Не желаю вмешиваться... Все это не имеет никакого отношения к физике».

А когда Крылов рассказал о своем уходе другому сотруднику лаборатории, Бочкареву, тот пришел в ужас, он хотел бежать к Голицыну. Но Крылов ему запретил это. И он послушался.

Вот это, а не бескомпромиссность расчистило путь Агатову. И это же расчистило путь Лагунову тогда, после поражения Дана. То, к чему взывает гибель Ричарда, тот урок, которому она учит, — вот он: не может получить простор творческая активность вне активности общественной. Мало быть творцом науки — надо быть ее хозяином.

Перед отъездом в Москву Тулин, возбужденный приглашением его на работу по спутнику («Ребята за него шуруют, обеспечат»), слышит от Крылова: «Я тебя предупреждаю... То есть хочу, чтобы ты знал. Если ты уедешь, то я не возьму тебя назад...»

Тулин сначала ничего не понял, а когда понял, расхохотался. Это заявление было сделано вскоре после катастрофы, когда Крылов был оставлен всеми и всеми осмеян, когда никакой надежды на возобновление темы не было. Это было нелепое, смешное, фантастическое заявление. Вместе с тем оно исполнено глубокого смысла, и этот смысл не только в том, что так кончается конфликт между Крыловым и Тулиным: Крылов отрешает Тулина. Он и в том, что обозначился перелом в самом Крылове. Тот самый Крылов, которому всегда претил работа организаторская, административная, теперь совершенно самостоятельно, без всякого понуждения, без всякого данного ему сверху права распоряжается, чувствует себя хозяином. Он как бы принял административный пост и сделал это инстинктивно: произошел сдвиг в натуре человека. И это определило его дальнейший жизненный путь. Вот теперь он действительно «у себя».

Организаторского опыта у него, конечно, никакого, он это сознает и поэтому нет-нет да будет еще упираться. Это промелькнуло в переговорах с Богдановским о большой работе, имеющей практическое, хозяйственное значение. Богдановский говорит: «Но я наблюдал за вами — руководитель вы никакой». Крылов с готовностью соглашается. «Что ж вы собираетесь? Участвовать?» Крылов говорит, что он еще вообще не ре-

шил. «Решите... Вам деваться некуда. От себя не уйдешь».

Когда-то Крылов уходил от поста организатора, боясь потерять себя. Теперь он уйдет от себя, если не примет его.

В конце романа появляется Ада — та, которая ждала его преданней и беззаветней, чем он Наташу. Она стала еще более красивой, но в ней что-то смягчилось, она уже не поучала, не наставляла, она была просто нежной и участливой. Вот они с Крыловым в Третьяковской галерее, остановились у «Девочки с персиками». Девочка на картине задумчиво смотрела на Крылова, «как смотрела до него на миллионы людей, прошедших перед ней, щедро наделяя каждого чистотой и силой своей доброты. Солнце переходило в сочную сладость плодов. Он ощущал вкус солнца, сахарную свежесть света. Девочка, юность ее, была как воспоминание о мечте, которую упустил. А может, не воспоминание, а напоминание... Он думал о том, какой неодолимой силой может обладать доброта». Почувствовав на себе взгляд Ады, он очнулся. «Да, — сказал он, — ничего не поделаешь...»

Ада не поняла, что означали эти слова. А читатель?

Перед этим Крылов говорил о новом ощущении себя в работе. Раньше он всегда мог порвать, уйти, когда хотел, теперь сложнее. «Но если ты опять уйдешь, — говорит Ада, — кто же займется твоим делом? Без тебя оно захиреет». Это кое-что разъясняет, связывает с напоминанием о мечте. Но не все. «Ничего не поделаешь» разъясняется полностью в разговоре с Аникеевым на последующей странице. В ответ на какие-то слова Аникеева Ада говорит ему: «Вы злой». Аникеев отвечает: «Я слишком умен, чтобы быть добрым. А злые — это полезно. Злые двигают прогресс. Злые ниспровергают авторитеты. Сережа, вам не хватает злости». — «Исправлюсь», — отвечает Крылов.

Он расстается с прекраснодушным.

На последней странице романа в последний раз возникает тень Ричарда. Крылов, вступая в новую полосу жизни, чувствует Ричарда рядом с собой. А пылкий Ричард в одном из последних разговоров с ним говорил ему: «Ненавижу бездарности. От них все зло; их надо давить. Их нельзя подпускать к науке. Их надо травить, высмеивать».

Теперь Крылов и Ричард рядом.

Роман завершен. Сколько было волнений, и радости, и огорчений, и тревог! Вы шли, вовлеченные в поток событий, рядом с героем, почувствовав к нему с первых же страниц живейшую симпатию. Это чувство росло, все более притягивала его человечность, чистота его натуры, его моральных принципов, восхищала его талантливость, интенсивность творческих устремлений, неутомимость его исканий. Но вместе с этими чувствами жило и беспокойство. Оно возникло тоже на самых первых страницах романа, и оно тоже нарастало, беспокойство переходило в тревогу, тревога в боль, боль в протест. И долго эти чувства были бесспорны: читатель не мог вмешаться, а вмешаться действительно хотелось, не мог открыть глаза слепому герою, который не снисходил к борьбе против тех, кто подтачивал его дело, против убийц таланта; всю свою страсть он вложил в искания научной истины, а наука была бессильна защитить самое себя. Прозрение к герою пришло все же: защищая свое дело, он сначала инстинктивно, потом все более осознанно кончает с инертностью общественной.

Пусть тревога еще не вполне утолена, пусть сила тревоги еще превышает силу перелома, происшедшего в герое, и твердость его первых шагов. Но герой уже в новом походе. «Иду на грозу» — это ведь девиз похода.

Тревога читателя обернулась идеей произведения, нигде ни разу не высказанной, но им рожденной, — идеей общественной активности, гражданской самостоятельности. Идея родилась как настойчивый, властный призыв.

Если, подводя итоги, попытаться выразить идею произведения общими формулами, то вряд ли найдешь исчерпывающее определение. Это мысль о творчестве как прекрасной, неистребимой, извечной человеческой силе. Это идея свободы творческого мышления. Это идея гуманизма, человечности, высокой моральной чистоты. Идея гражданственности. Бескомпромиссности, непримиримости в отстаивании и утверждении идеалов. Но все эти формулы — лишь попытка назвать отдельные проявления жизни образа, созданного всем строем произведения, единого и цельного, образа нашего времени, и то, что мы назвали идеями — это зовы времени, его требования, его повеления.

* * *

Ну, а недостатки? Их нет? Увы, как ни хочется от этого уклониться, приходится сказать и о тех помехах художественному восприятию, какие при чтении время от времени возникали.

В романе рассказано, как его герои в студенческие годы занимались лабораторными работами по электрическому разряду. Они при этом то обмакивали электроды в чернила, то погружали разрядник в снег, в молоко, в водяные пары, пока не произошел взрыв, расщепивший одному из них подбородок.

При чтении некоторых сцен романа, причем вовсе не изображающих научные искания, так и кажется, что автор идет по пути своих героев. Он словно бы ставит эксперимент: что получится, если, скажем, Крылова и Тулина с их страстью к науке привести в контакт со стяжателем, у которого единственный стимул в работе — это «примазин», принцип материальной заинтересованности. С этой целью вводится в повествование специальный персонаж, некий Петруша Фоминых. При соприкосновении с ним Тулина едва не происходит взрыв, но срабатывает компенсатор в виде Крылова, и дальнейшая реакция протекает спокойно. По завершении эксперимента Фоминых убирается навсегда.

Полезен ли эксперимент? Да: показано, и это пригодится в дальнейшем, что побуждения Тулина ничего общего не имеют с грубой корыстью и стремлениями к материальному благоденствию, что дело здесь обстоит тоньше.

В этом опыте Фоминых не вполне лабораторный прибор. В этом «нежно-розовом толстячке, похожем на облупленную сардельку», есть известная живость, темперамент, характерность, но тем не менее в замысле этой сцены чувствуется рационализм, искусственность.

Затем вновь возникает в воображении читателя автор, как бы задумывающийся: а что, если взять Крылова в момент крайней депрессии, когда возникает опасность его отпадения от науки, и привести его в контакт с подлинным, хотя и кающимся приспособленцем? Возникнет, даже и в условиях падения героя, эффект различения природы двух характеров. С этой целью в роман вводится новый персонаж — научный работник Савушкин. Он конъюнктурщик и

признает это: «Видишь, если бы у меня в отделе был такой порядок, чтобы выгодно было быть хорошим, я был бы самым принципиальным, распрекрасным. Но поскольку обстоятельства иные, приходится быть сукиным сыном».

Опыт удался. Заряд снят. Можно повторить опыт, заменив пластины. Пусть это будут на этот раз Тулин и Возницын. В ответ на изобличение Тулина Возницын заявляет: «С Лагуновым воевать? Извините. Дайте мне расписку, что со мной ничего не сделают, и го подумаю».

Поскольку в этом эксперименте Тулин сам уже не боец и воевать отказывается, но еще не утратил позы благородства, цель

у опыта иная, чем в предыдущем случае: не различение, а сближение характеров.

Эти сцены также не лишены известного артистизма, но это скорее артистичность постановки лабораторного опыта, чем артистизм искусства.

Что же, эти недостатки сокрушают, разваливают произведение, оно перестает быть живым и цельным? Нет, но полноте художественного восприятия они иногда мешают.

Роман завершен. При всех его недостатках это живой организм, единый и цельный, и жизнь его доставляет подлинно эстетическое удовлетворение. Это немало, это очень много.

А говорили: сферы...



НАТАЛИЯ ИЛЬИНА

★

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВЕ В ЖАНРЕ «ДАМСКОЙ ПОВЕСТИ»

(Опыт литературоведческого анализа)

§ 1. ТРАДИЦИИ

Некая Маня, героиня нашумевшего романа дореволюционной писательницы А. Вербицкой «Ключи счастья», восклицает: «О, мое тело прекрасно! Я это знаю... Как часто я изучала его линии перед зеркалом!»

Прошли годы. Но склонность героинь изучать линии своего тела тем же способом уцелела до наших дней. И в современных романах мы читаем:

«Она повернула голову и увидела себя в большом зеркале, вделанном в шкаф. Обнаженные руки прижаты к груди... У нее красивые руки — тонкие у кисти, льющаяся от плеча упругая линия».

«...перед большим зеркалом платяного шкафа в спальне Денисовых, в которое едва вместились ее рослая, ничем не прикрытая красивая фигура, она минут пятнадцать рассматривала себя со всех сторон, обдумывала каждое движение».

Она «мельком взглянула в зеркало и не узнала себя: так блестели светлые глаза на смугловатом лице, так легко лежали задумчивые брови. «Красивая! Как хорошо, что я такая!»

«Варя провела ладонями по бокам, изогнувшись, посмотрела на себя со спины: тоненькая в черном, рукава на четверть выше запястья, крохотные часики на узкой браслетке».

«В раскрытой внутренней раме окна Елена увидела свое отражение. Она провела руками по волосам, поправила воротничок белой шелковой кофточки. Она сегодня

была в новом синем костюме, делавшем ее тоненькой, похожей на девушку».

Сходство двух последних цитат говорит, видимо, о стремлении современных авторов создать свои традиции для описания героини перед зеркалом.

Упомянутой Мане (и о Мане) восхищенные окружающие говорят: «Очаровательное дитя!», «Очаровательная маленькая женщина», «Если б я был художником, я бы написал с нее картину, полную движения!»

Эти дореволюционные комплименты мелькают и в современных романах: «Какой у вас прелестный нос! С таким носом я бы завоевала мир! Вы вообще очаровательны, Елена!», «Если бы я была художником, я бы написала с вас Ниобею...»

Нездешняя красота героини производит сильное впечатление на окружающих:

«Когда она вошла во Дворец культуры, ей стало неловко: разговоры затихали при ее приближении и головы поворачивались ей вслед. Она шла, почти испуганная могуществом своей красоты».

«Когда она лежала однажды в больнице... вошла дежурная сестра и, увидев ее руки, вытянутые поверх одеяла, точно обо что-то загнувшись, остановилась: «Что такое? — растерянно спросила себя вслух сестра и торопливо себе ответила: — Да... руки очень красивые».

В этом же романе прохожий, встретив героиню на улице, «проводил долгим, задумчивым взглядом удаляющуюся Елену... о чем-то вздохнул и пошел своей дорогой, буднично размахивая букетом».

Почему же люди запинаятся, пугаются, вздыхают? Почему при виде героини все меркнет, кажется будничным и постылым? Объяснение следует искать в романе г-жи Вербицкой. Там произошел аналогичный случай: люди на станции заметили в окне проходящего поезда лицо куда-то мчащейся Мани. И это зрелище надолго выбило их из равновесия. «Они рыдали, быть может,— говорит Мане барон Штейнбах,— грызли подушки. Ваше личико... разбудило их мечты. И жгучая зависть к недоступному и далекому отравила надолго их душу».

Не только внешность, но и взгляды на жизнь объединяют дореволюционную Маню с некоторыми современными героинями.

«Я не хочу учиться!» — сорвалось у Мани. «Чего ж ты хочешь?» — «Я хочу... жить».

«Вы учитесь, ну и учитесь себе на здоровье!.. Я, например, хочу жить вольной птицей, делать, что душа желает!» — срывается у героини современного романа по имени Кена.

«Что может быть лучше свободы?» — восклицает та же Маня.

«Только в молодости и попользоваться свободой!» — ворит Кена.

Героиня, поименованная Кеной, заставляет юношу лезть через забор, хотя калитка открыта. Почему же? Кена отвечает: «Через калитку вы будете с Лизой ходить».

А могла бы ответить словами Мани: «Неужели вы не видите, как я жажду всего... необычайного?»

Интересно также отметить сходные реакции героинь, прежних и теперешних, на закаты.

Маня пишет подруге: «О, как дивен был закат вчера!.. Я была одна наверху... Я точно опьянела... Я широко раскрыла руки... Эта ширь, эта даль, пронизанная огнистым золотом... И я закричала. Что? Не знаю... Это был такой стихийный взрыв радости...»

В современном романе: «Оранжевый закат бушевал в небе, лучи ударили прямо в окно. Елена подставила лицо жаркому свету и зажмурилась. И вдруг огромная, непопятная радость затопила ее горячей волной... «Как прекрасно! Какое счастье! Какое огромное счастье»,— тихо сказала она, протягивая руки к оранжевому куполу неба».

Это бросающееся в глаза сходство говорит, разумеется, не о сознательном подражании г-же Вербицкой. Сходство объясняется проще: мы имеем дело с авторами, работающими в одном жанре.

Определенная манера трактовки семейно-любовной темы сложилась в жанр, названный критиками «жанром дамской повести». Отметив существование жанра, критика не исследовала, однако, всесторонне его литературного генезиса. А напрасно. Жанр заслуживает внимания. Не претендуя на открытия в области литературоведения, мы попытаемся, однако, внести свой скромный вклад в изучение этого наболевшего вопроса.

Говоря об истоках жанра, нельзя не упомянуть князя П. Шаликова, редактора нашумевшего в начале XIX века «Дамского журнала». Имена других зачинателей жанра до нас, увы, не дошли. Сохранились лишь названия произведений. Так, М. Горький в пьесе «На дне» упоминает роман «Роковая любовь», которым зачитывалась девица Настя. В дореволюционных газетах печатались романы с продолжениями: «Мертвец-отомститель», «Три любовницы кассира» и другие.

Но окончательно сформировала жанр славная плеяда дам, деятельность которой падает на годы, предшествовавшие первой мировой войне: г-жи Нагродская, Лаппо-Данилевская, Вербицкая и другие. Мы не ошибемся, если главой этого направления назовем г-жу Вербицкую. Трудно переоценить популярность ее творчества, влияние которого не преодолено и нашими современниками.

Необходимо оговориться: если некоторые из выше цитированных современных авторов трудятся именно и исключительно в рамках данного жанра, то в произведениях других мы встречаемся лишь с элементами жанра, с некоторыми его традиционными мотивами, с его, так сказать, остаточными явлениями.

А теперь, продолжая разговор о традициях, перейдем к портрету героя.

Портрет героя: «Гордый профиль... тонкое породистое лицо с маленькой русой бородкой, высокий лоб. Он кажется ярко-белым от загара, покрывшего худые щеки...» «Этот простой костюм странно идет к его тонким чертам...» «Лицо ангела с неумолимым взглядом...» «Жесты маленьких породистых рук...» «Изящный рот с твердым рисунком губ...» («Ключи счастья»).

Две из перечисленных примет героя, а именно: сходство с ангелом, породистость лица, рук и других частей тела — стали архаизмами. Остальные же (твердость губ, смуглость щек, тонкость черт, эпитеты «гор-

дый» и «русый») дожили до наших дней. В одном романе мы встречаем у героя «тонкие черты лица», в другом — «в твердой складке губ выражение мужественности», а в третьем — весь набор: «твердый извилистый рот», «русые брови», «щеки смуглые», «Кто этот молодой человек с гордым лицом?»

Характерный эпитет «жестокий» тоже сохранился: «Он смотрит ей прямо в глаза, жестокий и полный желаний» («Ключи счастья»). «То детская растерянность, то это упрямство, жестокость» (современный роман).

Герой грубоват в обращении с дамами. Его объятия пугают героиню.

«Он целует ее молча, жадно, хищно, как дикарь... Она смята этими бурными, грубыми... ласками. Что-то бессильно кричит и протестует в ее душе. Ей кажется... что это даже не любовь, а какая-то слепая ненависть» («Ключи счастья»).

«Она увидела перед собой серое, точно посыпанное пеплом, лицо с крепко закрытыми веками, как у мертвеца. Каждая черта этого лица казалась резкой, безобразной, жестокой. «Это — любовь?» «Пустите меня», — с негодованием отстранив его от себя, сказала Елена» (современный роман).

Он к тому же не знает истинной любви.

«Но знал ли он когда-нибудь, что такое любовь?... Как дикарь, любил он в ней (в Мане.— *Н. И.*) свои ласки и желания» («Ключи счастья»).

Он «знал в любви только чередование наслаждений, не оставлявших никакого следа в его душе» (современный роман).

Мало всего этого! Жестокий юноша еще топчет женские души!

«Самым красивым цветком в таинственном саду этой души была любовь. Этот цветок растоптан» («Ключи счастья»).

Традиционный мотив «топанья цветка» находим и в современном романе: «Решетов грубо захлопнул открывшуюся перед ним дверь во внутренний мир близкого ему человека...» И затем: «...вспоминая, как он затоптал цветок... Решетов испытывал душевную неловкость».

В рассматриваемом жанре есть свои, испытанные традиции для обрисовки первой встречи героев, зарождения роковой любви.

«Тщетно силится Нелидов овладеть собой. Как хорошо, что дядюшка встрепенулся, наконец, и что-то черпает из колодца своих воспоминаний... Теперь можно молчать... Что это случилось сейчас? Отчего так сту-

чит сердце? До боли... Но кто же она? Эта девушка с глазами, как звезды?» («Ключи счастья»).

«Что с тобой?» — спросила Кена себя, как постороннего человека, читаем мы в современном романе. — Ей было не по себе и отчего-то хотелось плакать. Но она не опускала головы, смотрела и смотрела на Бориса». А тот, как и Нелидов, не слышит задаваемых вопросов... «Кто ты? Откуда такая?» — спрашивал он вглядом. «Пожалуйста к столу, просим», — позвала бабушка. И от ее спокойного, обыденного голоса что-то разрушилось, что-то прервалось».

Роль чурбана-дядюшки, не понимающего, при каком важном моменте ему довелось присутствовать, в современном романе играет, как видим, бабушка.

Жанр диктует свои традиции для описания душевного состояния героев, которыми овладела роковая любовь.

«Любовь ли это? Наваждение? Не все ли равно?» «Он никогда не был так безволен, так ничтожен перед своим желанием...» «Страшное безволие...» «Откуда это наваждение?» «Темный вихрь взмывает со дна его души» («Ключи счастья»).

«Поднявшееся в ней смятение почти лишило ее сил...» «У меня нет воли». «Воля... Да, воля... Никакая воля не способна убить чувство...» «Одна только мысль снова увидеть смешала все, лишила власти над собой...» «Боже мой! Наверное, я схожу с ума». «Елена очнулась... Или она уже сходит с ума?» (современный роман).

Маня у Вербицкой смотрит на вещи так: «Но пусть! Если он даже задушит ее, она не двинет пальцем».

На тех же позициях стоит героиня современного романа: «Ей показалось, что он может ударить ее, но она не пошевелилась!»

Безволие и наваждение имеют свои результаты.

«Она порывисто берет его за плечи. И, закрыв глаза, прижимается лицом к его губам» («Ключи счастья»).

«Теперь уже поздно... Теперь ничего нельзя изменить», — быстро подумала Елена... беря в свои ладони его побледневшее от страсти лицо с закрытыми глазами» (современный роман).

Не вникнув в душу героини, герой, естественно, понять этой души не может. И тогда происходит тяжелое объяснение.

Нелидов говорит Мане: «Я так безумно любил вас... Но вы этого чувства не оце-

нили. Вы — кокетка. Это открытие я сделал вчера. Хорошо, что не поздно! Я не хочу быть одураченным».

В современном романе Борис говорит Кене: «Хватит! Если нет веры, как можно уважать человека?.. Нет, дорогая, нет!.. Не хочу, чтобы меня дураком считали».

Нелидов интересуется: отдавалась ли Маня Штейнбаху? «Да! — твердо перебивает она. И лицо ее вспыхивает. — ...Жалкий человек! Зачем ты меня отталкиваешь?.. Разве я стала другой?.. Неужели я должна была солгать?»

Кена не вспыхивает. Она, напротив, бледнеет: «Да, я целовалась с ним. Ну и что? И с другими целовалась. И буду целоваться сколько захочу, тебя спрашивать не стану! Тебе-то что, жалко?»

Мысль та же, но в начале века выражалась изысканней. Всего изысканней эти традиционные соображения изложены в романе г-жи Лаппо-Данилевской «В тумане жизни» (СПб. 1916). Героиня Ирина, изменив возлюбленному с рядом титулованных лиц, объясняет затем свое поведение так: «Да, Рауль, я не бываю вольна над своим телом, но дух мой силен и смел... Если ты не можешь любить меня такою, как я есть, то... я расправлю крылья и улечу с попутным ветром».

Герои не могут, и героини приводят угроз в исполнение. Расправив крылья, улечает Ирина. За ней следует Маня. Туда же летит и Кена.

Особенности языка и стиля. Эти особенности, выработанные еще безымянными авторами «Роковой любви», преломившись в творчестве Вербицкой, дожили до наших дней. Герои, впрочем, уже значительно реже сверкают глазами и трепещут ноздрями, реже пылают их щеки и ложится на последние тень от ресниц. Но все же...

«...сверкнув глазами, воскликнула Елена...» «Ноздри ее тонкого носа трепетали...» «Нежная тень ресниц легла на ее пылающие щеки».

Сравнение страдающей героини с опавшими листьями следует, видимо, считать традиционным для рассматриваемого жанра:

«Душа Мани похожа теперь на эти деревья. Ветки сломаны. Листья опали и умирают на земле» («Ключи счастья»).

«На поворотах, слегка касаясь рукою железных перил, Елена кружила, кружила по ступенькам, точно падающий с дерева лист» (современный роман).

Вот еще примеры:

«Доводы рассудка, осторожность, резвость — все исчезло в вихре, поднявшемся внезапно» («Ключи счастья»).

«Нежность, страх, нетерпение увидеть его — все спуталось в беспорядочном вихре» (современный роман).

«Подходит знакомая цветочница. Штейнбах покупает у нее всю корзину. Маня ликует, хохочет... Это целый дождь цветов» («Ключи счастья»).

«...прямо над головой Елены заколыхался целый лес белых лилий. «О! Смотрите! Цветы! Цветы! — крикнул чей-то ликующий голос» (современный роман).

С п е ц и ф и к а ж а н р а. Герои Вербицкой говорят так: «Люблю его душу... Люблю его радость... А он любит только мое тело».

Те же наблюдения высказывают героини современных романов: «Я ему нужна только как женщина... — прошептала Изабелла. — Я так любила свое тело — после этого оно мне стало противно».

Герои Вербицкой говорят и так: «Ренан и Ницше, Наполеон и Тэн, Бодлер и Ламартин...» «Спенсер и Гексли...» «Маркс делает натяжки...» «Что же касается Дарвина...» «Ломброзо утверждает...» «Шарко и Крафт-Эбинг...» «Я видела своими глазами мрамор Праксителя» («Ключи счастья»).

Похожее находим и в современном романе: Мах и Фихте, Фейербах и Юм, Беркли и Ланжевен, Лафарг и Гераклит Ефесский, «любопытна статья де Бройля...» «Почитай-те Канта...» «Как утверждает Вижье...» «Карнап, Дьюи...» «Вы пугаете Фидия с Праксителем...»

Эта причудливая смесь, придающая жанру свой особый аромат, не случайна. Она призвана убедить читателя, что герои интересуются не исключительно телом, но и идеями своего времени. Таким образом, имена Ренана, Канта и Праксителя, разбросанные среди наваждений и бездн, следует считать специфическим признаком жанра.

§ 2. НОВАТОРСТВО

Но было бы неправильно полагать, что современные авторы, возрождающие жанр, лишь повторяют г-жу Вербицкую. Это не так! На примере одного современного романа мы покажем, как много нового внесено в жанр.

Эволюция портрета героя. Жесткий молодой человек с русой бородкой, гордым профилем, твердым рисунком рта и загорелыми щеками назван в романе Вербицкой Николаем Нелидовым. Жесткий молодой человек с русыми бровями, гордым лицом, твердым извилистым ртом и смуглыми щеками назван в современном романе Артемием Решетовым. Но разница не только в этом! Нелидов нигде не работает, эксплуатирует крестьян и любит прихвастнуть тем, что он рюрикович, внук князя Галицкого. Решетов же работает в институте, занимается химией и хвастается совсем другим: «Я у этого Ионы в подпасках был. Батрачонок... Житышко».

Соблазнив женщину, Нелидов ее же в этом обвиняет: «Если б вчера Маня не обняла его шею руками и не ответила на его ищущий поцелуй... разве он мог бы потерять самообладание? Да, да! Она одна во всем виновата!»

Соблазнив женщину, Решетов тоже ее в этом обвиняет, но взгляните, как построено обвинение! Решетов умеет и обобщать, и опираться на авторитеты: «Запомните, Елена Владимировна: всегда виновата женщина. Такова народная мудрость. Здесь ваша вина».

И если Нелидов недалеко ушел от Раулей-Гастонов, то современный герой заметно эволюционировал.

Эволюция языка и стиля. Модные в начале века «лица обрамленные» и «лица окаймленные» часто встречались, разумеется, у г-жи Вербицкой: «Иссиня-черные волосы... окаймляют строгий овал матово-белых щек».

Сегодня лиц уже не обрамляют. С лицами поступают иначе: «У нее было узкое и печальное лицо, втиснутое в рамку густых кудрей, похожих на черные гроздья винограда».

Г-жа Вербицкая любила писать так: «Как Неизбежному, взглянула она в его остановившиеся зрачки...» «Завтра поезд пойдет рано. Понесет ее к Неведомому...» «В душе у обоих тихонько плачет тоска о Невозможном...»

Современный автор начисто отверг эту мистику. Борься за приближение языка к сегодняшнему дню, он пишет так: «Решетов вполне отдал себе отчет, на каком низком уровне построена его жизнь с женой...» «Последние, как он считал, месяцы жизни с Клавдией Решетов отдал на самотек...» «Я сейчас оглашу стихи...» «В нем всегда жила

паническая боязнь услышать низкую оценку себя».

Эти выражения, почерпнутые из гуши жизни (милицейские протоколы, бухгалтерские отчеты), сочетаемые с «рамками кудрей» и «вихрями волнений», — чрезвычайно оживляют современную «дамокую повесть».

Углубление специфики жанра. В романе «Ключи счастья» Маня восклицает: «О, Марк... Говори мне о Египте, о халдеях, о Востоке... Давайте читать каждый вечер!» И герои на девятнадцати страницах беседуют об искусстве.

Этот прием жанра сильно развит в современном романе. Тут дано сто двенадцать страниц философской дискуссии. Этого г-жа Вербицкая не могла. Девятнадцать страниц был ее потолок. На 20-й читаем: «Каждый день они в музее, а вечерами читают «Историю искусств»... Маня безумно увлечена». Заметна авторская скороговорка. Видно нетерпение автора скорее вернуть героев к их основным занятиям. И действительно, уже через две страницы: «Я крадусь к нему каждую ночь...» А современный автор стойко выдерживает свои сто двенадцать страниц. И еще десять не дает возлюбленным свидеться.

В романе «Ключи счастья» лекцию об искусстве читает некий Марк, он же барон Штейнбах. Место действия — палатца барона с фресками и мозаикой. Слушатели: Маня и друг дома некая фрау Кеслер.

В современном романе лекцию на философские темы читает некий Николай Максимович, он же профессор Прокофьев. Место действия — кабинет профессора с ватиканскими креслами и тяжелыми порттьерами. Слушатели: Елена и друг дома Фоменко.

Ситуации схожи. И в обоих случаях соблюдено требование жанра: лекции имеют к сюжету самое отдаленное отношение. Но взгляните, какая разница в авторском мастерстве! Вербицкая вписывает все сведения, преподносимые читателю, в уста одного персонажа, который и несет всю нагрузку по цитированию. Цитаты кое-как утеплены репликами слушателей: «Ах, Марк! Говори скорей, как интересно!» «Боже мой!» — срывается у Мани...» «Савонарола?» — вскрикивает Маня...» «Рим!» — мечтательно шепчет Маня». «Как страшно!» — говорит фрау Кеслер, бросая вязанье».

Форма «вопрос — ответ» применена всего раз, и как беспомощно! «Кто водит Данта в подземном мире?» — «Виргилий», — шепчет

Маня». А в современном романе все разыграно как по нотам. «Открытием квантовой теории Планк сбил замок со многих тайн мироздания», — произносит профессор, и тут же вступает Фоменко: «Планк это открыл. Припоминаю... Есть об этом в «Материализме и эмпириокритицизме».

Или: «А ты вычитай-ка, вычитай. Я позабыл, как там эта «принципиальная координация» растолкована», — требовательно сказал Фоменко». Профессор тут же «вычитывает».

Умело разработана форма «вопрос — ответ». Бойко вычитывающий профессор вдруг перебивает себя, обращаясь к Елене: «Помните?» — «Это в статье «К вопросу о диалектике». Помню, конечно», — окутанная грустью от громадности всех этих мыслей, ответила Елена».

Окутать грустью Маню Вербицкая и не догадалась! Топорная работа, где «бросать вязанье» — это предел авторской выдумки!

Относительно идеи. Скромным авторам «Трех любовниц кассира» не приходило в голову, что в произведении непременно нужна идея. Г-же Вербицкой это в голову пришло. Одного из Маниных возлюбленных она назвала «революционером», другого «социал-демократом» и еще ввела в роман «рабочего». Маня обнимается с «революционером», падает в бездну с «социал-демократом» и туда же пытается увлечь «рабочего», приговаривая: «Бедный рабочий! Может быть, в жизни его нет красок и солнца? И он теперь будет мечтать обо мне».

Оказывается, деятельность Мани глубоко идейна. Это просто ее способ бороться за раскрепощение женщины, как время от времени разъясняют читателю упомянутые персонажи. Но беспомощность автора бросается в глаза: «социал-демократом» поименован... барон Штейнбах с его палаткой и миллионами, а так называемые «революционер» и «рабочий» изъясняются слогом Раулей и Гастонов: «Когда эта девушка рядом со мною, вся моя душа вибрирует...» «У меня брызнули слезы. Кровь загорелась... Из груди рвались крики».

В наше время работают гораздо тщательней.

Резонерами в современных произведениях разбираемого жанра выступают чаще всего пожилые, много повидавшие на своем веку женщины. Говорят они тем былинно-распевным — «ох ты, гой-еси» — слогом, ко-

торым в произведениях этого жанра и должны они говорить. Например: «Такую женщину... душевную, умницу-разумницу, душевную нашу, загубил!» Или (в другом романе): «Видишь, я не могу... без этих вот бабонек-подружек».

В одном современном романе мы легко обнаружили традиционную идею жанра — раскрепощение женщины. Идея дана несколько в лоб. Работница обмоточного цеха Мария Петровна, которую окружающие любовно клочут «Марпет», так прямо и заявляет: «Нет, бабоньки, в наше время стыдно в рабыни записываться».

В другом романе мы не сразу обнаружили идею. Пришлось привлечь добавочные материалы в виде тематического плана массовых переизданий издательства «Советский писатель» на 1963 год. Прочитав там, что интересующий нас роман «ставит острые вопросы советской морали и раскрывает духовный мир наших современников», мы вновь перелистали произведение. И нашли наконец место, где автор борется за мораль. Этим местом следует, видимо, считать беседу персонажа, названного «уборщицей Феней», с персонажем, поименованным «профессором Прокофьевым».

Нам сразу не бросилось в глаза, что именно Феня является носителем идеи, ибо образ Фени куда сложнее образа бесхитростной «Марпет» с ее бабоньками-подружками.

Вот как раскрывается Феня поначалу: «Так просто спрашиваю, из интереса, — я сызмальства интересная, до всего охота дознаться...» Фене необходимо знать: а что поделявают по ночам в лаборатории герои романа? «Заявляюсь один раз с видом уборки. Ничего, работают серьезно... Мне даже стало вроде некрасиво за ними наблюдение вести».

Эта глубокая заинтересованность в поведении окружающих дает свои плоды: «Жена... и в уме не держит за ним послезиживать. А за таким надо!» «Я все вызнала!.. Так-кой кобель!.. одна тоже у него была, из административного персонала... После студенточку одну взялся заарканивать».

Симпатии Феня не внушает. Ее чрезмерная осведомленность как-то не радует. Но вот замечаем, что Феня все чаще сбивается на местоимение «мы»: «Вы ее не виноватые, мы вам не дадим». «Хотя и провинилась она, мы прощаем» — и Феня истово перекрестилась».

И когда «суровая набожность» на лице крестящейся Фени напоминает «профессору» «темные от времени иконы», читатель вздрагивает, улавливая мысль автора.

«Возьмите хоть меня, хоть Глебыча-гарибальди, или наших дворников... народ, словом, простой народ, все до точки знаем: как кто живет... семья там, вообще по домашности... Находим нужным знать!» «За семейную жизнь русский народ горой, ставлю вас в известность».

Деятельность Фени, оказывается, весьма серьезна. Не вульгарное любопытство толкает ее «заявляться с видом уборки», нарушая tête-à-tête героев. Нет! Этим способом Феня борется за моральную чистоту, за устои, за очаги. И требования Фени, подкрепленные вовремя внесенными автором иконами, приобретают характер императивности: за мужьями — следить, изменивших — судить, за всеми остальными — вести наблюдение на случай, если кто живет не с тем, с кем положено!

«А вы — это голос народа, Феня», — объявляет персонаж, поименованный «профессором». «Вы, Феня, выступили здесь у меня в кабинете от лица самых широких слоев

советского народа. Не так ли?» — «Во всяком случае, от всех баб и в защиту женщин», — сурово отвечает Феня.

Этот прием следует отнести к новаторским чертам разбираемого жанра. Жанр эволюционирует. Куда он пойдет дальше — пока неизвестно.

* * *

Как цитаты из романа А. Вербицкой, так и цитаты, почерпнутые из современных романов, разумеется, подлинные. Мы не называем имен авторов, так как нас интересовали не столько отдельные лица, сколько закономерности этого неумирающего жанра. От упоминания имен авторов нас удержало еще и опасение обидеть неназванных. Ведь полностью охватить тему нам не удалось. Часть авторов, работающих в рамках жанра (и среди них немало мужчин!), а также авторы, в произведениях которых встречаются остаточные явления жанра, остались за пределами нашей статьи. К чему же называя одних, обходить молчанием других? Это было бы несправедливо.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА ЛЬВА ТОЛСТОГО

Эти неопубликованные письма великого писателя обнаружены мною совершенно случайно.

Подготавливая к печати отдельное издание моих воспоминаний «На чужбине», я во избежание неточностей просмотрел еще раз составленное моим покойным отцом Д. Н. Любимовым обширное «Собрание автографов и портретов государственных и общественных деятелей». Об этой коллекции я уже писал на страницах «Нового мира» (№ 2, 1957). В основу ее лег архив моего деда профессора физики Московского университета Николая Алексеевича Любимова (1830—1897), редактировавшего издававшийся М. Катковым журнал «Русский вестник», где печатались многие виднейшие писатели того времени. Отец мой пополнил коллекцию из своего архива, а также документами, приобретенными путем обмена. Покидая родину в 1919 году, отец оставил собрание на хранение в Академии наук. Ныне оно находится (в том самом виде, как оно было составлено отцом) в рукописном отделе Пушкинского дома в Ленинграде (фонд 160).

В том, что касается русской литературы XIX века, это собрание включает письма, рукописи, корректуры Гоголя, Жуковского, Льва Толстого, Достоевского, Тургенева, Островского, А. К. Толстого, Аксаковых, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Мельникова-Печерского, Григоровича, Майкова, Полонского, Апухтина, Чехова. Многие имеющиеся в нем документы (в частности, все тридцать четыре письма Достоевского) ныне опубликованы.

Просматривая четыре альбома, из которых состоит собрание, я заинтересовался письмом Л. Толстого к моему деду с пометкой рукой отца: «Письмо гр. Л. Н. Толстого к Н. А. Любимову (от 17 дек. 1896 г.) по

поводу получения книги «История физики».

В полном собрании сочинений Л. Толстого (Юбилейное издание) помещены все его письма, где-либо обнаруженные (составители издания обращались в государственные хранилища и к частным лицам, у которых они могли бы оказаться, причем не только в СССР, но и во всем мире). А те письма Толстого, которые были обнаружены уже после выхода в свет заключительного тома Юбилейного издания, вошли в публикацию «Литературного наследства» (т. 69, кн. 1).

Но, оказывается, ни одно из четырех писем Л. Толстого, хранящихся в собрании Д. Н. Любимова в Пушкинском доме, не было до сих пор опубликовано.

Единственная ссылка на переписку Толстого с моим дедом имеется в шестьдесят втором томе Юбилейного издания. В письме Каткову от октября 1875 года Толстой пишет: «Я пользуюсь случаем повторить то, что писал Любимову». А в примечании указано, что это письмо к Любимову неизвестно.

Из обнаруженных мною таким образом неопубликованных писем Толстого три адресованы моему деду и одно Каткову. Как явствует из сопоставления дат и из текста, одно из писем деду (по поводу печатания в «Русском вестнике» «Анны Карениной») и есть то самое, которое обозначено в Юбилейном издании как неизвестное.

Все четыре письма — автографы.

В письме Толстого по поводу книги «История физики» речь идет о трехтомном труде Н. А. Любимова «История физики. Опыт изучения логики открытий в их истории» (часть I, СПб. 1892; часть II, СПб. 1894; часть III, СПб. 1896). Все три тома сохранились в библиотеке Льва Толстого в Ясной Поляне. Привожу отзыв советского ученого профессора З. А. Цейлина об этой работе: «Любимову, как известно, принадлежит единственная на русском языке оригинальная обширная «История физики», основанная на первоисточниках. При всех недостатках этого труда он во многом выше некоторых западноевропейских сочинений того же рода» («Очерки по истории физики в России», Учпедгиз, 1949, стр. 76).

Л. Любимов.

1

Милостивый Государь Николай Алексеевич.

Посылаю поправленные корректуры. Они не могут составить отдела для 3-й книжки. К ним нужно прибавить еще гранки две — прощание Кутузова с Багратионом, которые и прошу покорно потрудиться прислать [поскорее]. Сражение составит 3-й отдел. Во всяком случае прошу вас покорно распорядиться присылкою ко мне рукописи. — Рукопись мне особенно необходима для последующего — весьма запутанного.

В № газеты присылать несколько рискованно, так как часто случается, что мне приносят чужие №-а и обратно.

Будьте так добры, не забудьте прислать рукопись, она мне необходима.

С совершенным почтением. Имею честь быть покорный слуга.

Гр. Л. Толстой.

18 марта [1866 г. Ясная Поляна].

Первое публикуемое письмо Л. Н. Толстого к Н. А. Любимову относится ко времени печатания в «Русском вестнике» первой и второй частей «Войны и мира». Они опубликованы в № 1—2 за 1865 год и № 2—4 за 1866 год под заглавием «1805 год». Именно с Н. А. Любимовым Толстой вел переговоры об условиях печатания. Любимову же 27 ноября 1864 года была передана рукопись, содержащая почти всю первую часть романа; и когда Любимов «понес рукописи», Толстому «стало грустно» оттого, что «нельзя больше переправлять». Известно, что и в начале декабря Толстой встречался с Любимовым, уточнял деловые вопросы печатания. Письмо же Толстого к Любимову не было известно.

Документов о ходе публикации «1805 года» очень мало. Корректур журнальной публикации в архиве Толстого нет. Поэтому каждое новое свидетельство представляет немалый интерес.

В третьей книжке «Русского вестника» за 1866 год, о которой пишет Толстой, печатались главы IX—XIII (по последним изданиям) второй части, то есть текст от описания боя под Кремсом до отправления Багратиона в Голлабрун; содержание этой последней главы Толстой называет в письме «прощание Кутузова с Багратионом». Третья книжка вышла 14 апреля 1866 года. На этом основании датируется письмо.

2

Милостивый Государь Николай Алексеевич!

Получив ваше письмо, я хотел тотчас же отвечать. Самый простой и для меня приятный ответ состоял бы в том, чтобы прислать в Редакцию рукопись; но вот уже 3-ю неделю бьюсь и не могу попасть в прежнюю колею работы.

Я могу повторить только то, что я говорил, что я желаю продолжать печатание в Русском Вестнике и как можно скорее, но что я не обещал и не обещаю этого и ни к какому сроку. Сколько мне помнится (у меня нет печатных листов Р. В.), напечатанное не составляет 20 листов, и я еще в долгу у Редакции.— Если бы другая работа, нездоровье или просто решение печатать отдельно помешали бы мне печатать в Рус[ском] Вест[нике] в нынешнем году, то я извещу об этом Редакцию и заплачу то, что должен. Теперь же я только одного желаю, поскорее окончить те главы, которые меня задерживают, и прислать рукопись.

С истинным уважением имею честь быть Ваш покорный слуга.

Граф Л. Толстой.

12 сентября [1875 г. Ясная Поляна].

Следующее письмо, также до сего времени оставшееся неизвестным, написано через девять лет, когда в том же журнале печаталась «Анна Каренина».

По договоренности с М. Н. Катковым (ноябрь 1874 года), Толстой должен был передать в «Русский вестник» первые двадцать листов «Анны Карениной», оставив за собою право печатать окончание романа в следующем году либо отдельным изданием, либо в том же журнале. В первых четырех книжках за 1875 год напечатаны первая, вторая и десять глав третьей части. С осени 1875 года Толстой работал над третьей частью романа и неоднократно в письмах к близким сетовал на то, что «не берет». Очевидно, длительный перерыв в присылке продолжения романа вызвал в редакции тревогу, будет ли Толстой продолжать печатание романа в «Русском вестнике».

С января 1876 года возобновилось в «Русском вестнике» печатание «Анны Карениной». Третья—седьмая части печатались с перерывами в 1876—1877 годах. Из-за идейных расхождений Толстого с Катковым восьмая часть «Анны Карениной» не печаталась в журнале, а вышла отдельным изданием в 1877 году.

3

[1876 г. апреля середина.]

Многоуважаемый Михаил Никифорович!

Посылаю просмотренные и исправленные корректуры. Оттого ли, что меня искушала свобода марать в гранках, или что я был так расположен, или, что вернее всего, оттого, что многое было не отделано и нехорошо, я многое перемарал. Боюсь, что в типографии переврут многое. Будьте так добры, прикажите повнимательнее просмотреть корректуры. Как вам это не должно было уже наскучить, я не могу удержаться от того, чтобы не благодарить вас за то, что вы сами держите эти корректуры.

Весь ваш Л. Толстой.

К тому же периоду журнальной публикации «Анны Карениной» относится письмо к М. Н. Каткову. Известно четырнадцать писем Толстого к Каткову за семидесятые годы. Впервые публикуемое пятнадцатое дополняет эту серию. Корректуры «Анны Карениной» держал сам Катков, что Толстой неоднократно с благодарностью отмечал в письмах к нему. Можно предположить, что речь идет о корректурах для апрельской книжки «Русского вестника» за 1876 год. Толстой пишет о своей работе в таком же тоне, как и в письме к Н. Н. Страхову от 8—9 апреля 1876 года: «Мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Все в них скверно, и все надо переделать и переделать: все, что напечатано, и все перемарать».

Апрельская книжка «Русского вестника», содержащая главы VII—XIX пятой части «Анны Карениной», вышла 30 апреля 1876 года. На этом основании датируется письмо.

4

17 декабря 1896, Москва.

Уважаемый Николай Алексеевич.

Очень благодарен за присылку мне вашего прекрасного труда, я говорю прекрасного, [потому] ч[то] слегка заглянул в него и знаю по прежним вашим сочинениям ваше мастерство ясного и точного изложения. Предмет же вашей книги самый интересный в области вашей науки, [потому] ч[то] история науки есть сама наука plus история деятельности ума человечества в известном направлении. С соображениями же вашими о том, что цель жизни человечества есть расширение знания со всеми вытекающими из него (практическими, как, я полагаю, вы понимаете)¹, я никак не могу согласиться. Физические знания, в особенности если для приобретения их не требуется затраты лучших сил своей и чужих жизней, составляют безвредное, приятное и могущее быть полезным занятие, но цель жизни заключается, по моему мнению, не в расширении этих знаний, а в нравственном совершенствовании, индивидуальном и общественном, в установлении Царства Божия и в своем сердце и на земле. Расширение же знаний и вытекающие из них последствия совершенно независимы от нравствен[ного] совершенствования и нравств[енное] совершенствование от физических знаний; они могут совпадать, но могут и быть в противоречии друг с другом.

Вы вызываете меня на высказывание моего мнения о значении физических и вообще естественных наук, и потому я позволю себе высказать его. Мне кажется, что никакая отдельная наука, ни наука вообще не должна предъявлять своих прав на высшее и исключительное значение; что такое предъявление прав в высшей степени не научно, [потому] ч[то] не имеет никаких оснований, кроме желания людей, занимающихся науками, думать, что они занимаются самым важным на свете делом

¹ Очевидно, пропущено слово «последствиями».

и что поэтому они свободны от требований, предъявляемых действительно высшим делом жизни, исполнением воли Бога — религией. Поэтому, наука для того, чтобы законно занимать подобающее ей и достойно уважения место, должна помнить, что она есть безразличное занятие, вроде всякого ремесла (хотя одно из самых утонченных ремесел), которое само в себе не представляет никакого достоинства и может быть употреблено на пользу и на вред и тогда оно есть хорошее препровождение времени, как и всякий труд. Но как только наука заявляет права на высшее значение, становится на то место, на котором может стоять только нравственность, как это часто делается в последнее время и как вы это высказываете в вашем письме, так она становится уже не хорошее, а очень вредное препровождение времени. — Повторяя свою благодарность за присылку книги и доброе письмо ваше, остаюсь

с истинным уважением Лев Толстой.

Последнее письмо к Н. А. Любимову не связано с журналом «Русский вестник»; оно представляет самостоятельный интерес — в нем затронуто отношение Толстого к физике и к науке вообще.

Точные науки, в том числе физика, более других областей интересовали Толстого. В шестидесятые годы Толстой преподавал физику в своей яснополянской школе для крестьянских детей.

В библиотеке Толстого сохранились руководства по физике и учебники, которые он изучал в то время, некоторые из них содержат различные записи и пометы Толстого. В семидесятые годы Толстой был поглощен работой над учебной книгой, создавалась его «Азбука», для которой ему были «нужны все естественные науки, астрономия, физика». Работа над «Азбукой» явилась побудительной причиной для углубленного изучения физики в объеме, далеко превосходящем потребности начальной школы. Записные книжки Толстого за январь—март 1872 года в большой части посвящены физике. Имеющиеся в них ссылки на работы Джоуля и Тиндалля, а также заметки, относящиеся к новым в то время открытиям, как, например, разложение спектра на тепловые, световые и ультрафиолетовые лучи, упоминания о законах излучения, о законе пропорциональности теплопроводности и электропроводности, — убеждают в том, что Толстой был знаком с достижениями современной ему физики. Имея же, по его собственному признанию, «дерзость обсуживать все явления и ничего не принимать на слово», Толстой углублялся в сущность различных проблем физической науки. Для «Азбуки» Толстой написал свыше тридцати рассказов, или «статей», как он их называл, по физике: о тепле, о сырости, о магнетизме, о кристаллах и другие; все они в самом лучшем смысле научно-популярные рассказы: они дают точные сведения, написаны ясно, просто и занимательно.

Имеются свидетельства, что и в последующие годы Толстой интересовался достижениями физики. В 1896 году он присутствовал на лекции профессора П. В. Преображенского «Различные опыты с рентгеновскими невидимыми лучами». А в 1898 году П. В. Преображенский в доме Толстых в Москве читал лекцию о световых и цветowych иллюзиях. В начале 1900 года Толстого заинтересовал вопрос о жидком воздухе, и физик А. В. Цингер показывал в доме Толстого опыты с жидким воздухом, по просьбе Толстого объяснял различные подробности. Толстой, «оживленный, внимательный», следил за всеми явлениями, и все ему было, как он говорил, любопытно. Рассказывая о скрытой теплоте, А. В. Цингер вспомнил, что впервые он «начал понимать «скрытую теплоту» по толстовским «Книгам для чтения».

Известно, что в силу религиозного мировоззрения Толстого его взгляды на науку были противоречивы, что и отразилось, в частности, в публикуемом письме. Однако в его суждениях о роли науки в обществе есть много важного и ценного.

Изучению точных наук, в том числе, разумеется, физики, Толстой всегда придавал первостепенное значение, относил их к роду «настоящих наук», которые «доступны всем людям и удовлетворяют критерию братства людей». Не раз Толстой высказывал убеждение, что «науки и искусства (по образному выражению Толстого, «наука и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце». — Э. З.) — это то, что двигает людей вперед, дает им возможность бесконечного развития». Он заявлял: «Я не только не враг науки и искусства, но считаю, что науки и искусства составляют самую важную человеческую деятельность, без которой человек был бы животным, а не человеком».

Но Толстой не мог признать за наукой права оставаться «наукой для науки», так же точно, как он осуждал теорию искусства для искусства. Он считал, что дело науки служить людям, причем всем людям, а не привилегированным классам, и «для того, чтобы признать известные знания важными», необходимо «показать, что знания эти, называемые наукой, действительно важны, т. е. нужны для блага человечества».

В ту именно пору, когда Толстой напряженно работал над изложением своих взглядов на значение науки и искусства, он получил книгу Н. А. Любимова «История физики» и обширное письмо автора, в котором он, изложив свой взгляд на значение науки, полемизировал с взглядами Толстого. Он писал, что «бесконечное расширение знания, со всеми его преобразующими мир последствиями, есть истинная задача земного бытия... В знании центр, цель, смысл нашего пребывания на пылинке, именуемой Землей. Все мечтания относительно человеческих обществ и их устройства, все будущие утопии и новые Атлантиды в этой идее должны иметь свой исходный пункт... История науки дает нам в руки яркий факел, освещающий на этом пути. При таком значении науки, она, думается мне, должна обретаться в большем авантаже, чем в каком обретается в Ваших философских соображениях» (письмо Н. А. Любимова от 26 ноября 1896 года хранится в Музее Толстого в Москве).

На это письмо и отвечает Толстой.

Примечания Э. Зайденшур.

ЗАБЫТОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ

Сравнительно недавно на русском языке были опубликованы отрывки из писем Романа Роллана другу семьи Герцена Мальвиде фон Мейзенбург. В письме от 2 июля 1890 года Роман Роллан писал, между прочим: «...Читали ли вы интервью с Толстым относительно Вильгельма II и Бисмарка? Толстой не без сочувствия смотрит на реформы, предпринятые императором, но Бисмарка презирает от всего сердца». Приведя далее слова Толстого о Бисмарке, Р. Роллан с иронией замечает: «Наполеону I в «Войне и мире» досталось несколько меньше. Ему была оставлена по крайней мере видимость величия» («Дружба народов», № 11, 1960, стр. 241).

Что же это за интервью с Толстым, в свое время так заинтересовавшее Р. Роллана, а ныне совершенно забытое и оставленное без внимания комментаторами и биографами писателя?

Как удалось установить, во французских газетах был перепечатан текст интервью, опубликованного суворинским «Новым временем» 7 (19) июня 1890 года (№ 5125). Личность интервьюера — автора статьи «В Ясной Поляне» — достаточно хорошо известна. Это беллетрист и журналист Александр Николаевич Молчанов (1847 — ?) — бойкий и довольно популярный корреспондент «Нового времени».

Нельзя сказать, чтобы его посещение доставило большое удовольствие Толстому — он вообще старался избегать встреч с представителями столичной прессы, да к тому же в этот день находился в раздраженном, подавленном настроении. Во всяком случае в дневнике Толстого 1 июня 1890 года осталась такая запись: «Корреспондент Молчанов — пустой, и Тульский Баташев и доктор — еще хуже... Я очень не в духе» (т. 51, стр. 47).

Но как бы там ни было, несмотря на то, что Молчанов попал к Толстому не в добрый час и сам не возбудил в нем симпатии, его корреспонденция содержала ряд любопытных сообщений о писателе. Толстой говорил о своих ближайших литературных

планах, об ответственности таланта, о рабочем вопросе на Западе и т. д.

Язвительная характеристика Толстым Бисмарка как «гения-нахала» показывает, что ему не совсем чужда была политическая злоба дня. Что же касается более мягкого и благожелательного отношения к Вильгельму, то тут мы должны учесть позднейшую поправку Толстого. Беседа 2 августа 1905 года с венгерским журналистом Августом Шереньи, Толстой на его настойчивый вопрос, считает ли он императора Вильгельма гениальным человеком, без обиняков ответил: «Он большой дурак и очень наглый». Велико было презрение Толстого к идеологам прусской военщины, политикам-дельцам.

Из других тем, затронутых Толстым в беседе с Молчановым, следует выделить разговор о неизвестном сюжете обширного романа, к мысли о котором Толстой не раз возвращался по крайней мере на протяжении пятнадцати лет. Следы этого замысла встречались в дневнике писателя, но до сих пор они не поддавались расшифровке.

Четырнадцатого сентября 1896 года Толстой отметил в дневнике два «прекрасных» сюжета, один из которых — «подмена ребенка в воспитательном доме». 13 декабря 1897 года в числе тринадцати сюжетов, которые «стоит и можно обработать, как должно», опять находим: «8) Подмененный ребенок». Еще через семь лет — 6 февраля 1905 года — среди двадцати восьми сюжетов записан сюжет «Кормилицы». Наконец 10 и 11 августа 1905 года вновь встречаются записи замысла «Подмененного ребенка». Комментаторы полного собрания сочинений Толстого (Юбилейное издание) затруднились определить, что тут имел в виду писатель. Ныне благодаря интервью Молчанова мы узнаем суть замысла, столь долго тревожившего творческое воображение Толстого.

Задуманный в 1890 году роман был бы, вероятно, написан Толстым, если бы не захвативший его вскоре замысел «Воскресения», в котором, кстати сказать, были использованы некоторые мотивы «Подмененного ребенка».

Статья А. Молчанова публикуется по тексту газеты «Новое время» с незначительными сокращениями.

В. Л.

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Посетив вчера графа Л. Н. Толстого, я могу сообщить приятную весть: напугавшие всех жестокие приступы его старой болезни печени прошли и здоровье маститого писателя, видимо, поправляется... Косить, жать и вообще всякий утомительный физический труд ему запрещен строго-настрога, и достаточно взгляда на аскетическую фигуру Л. Н., чтобы полностью оправдать этот запрет. Но так как в этом больном теле дух жив и велик, то даже докторский режим не осмелился наложить veto на умственную работу графа. И граф пишет усердно: он уже кончил и отдал в печать «Послесловие к «Крейцеровой сонате». Самая соната, как объяснил он мне, написана им уже давно. «К сожалению,— прибавил он,— очень многие из моих произведений появляются у нас в литографиях, а за границей в переводе в таком искаженном виде, что я сам не узнаю своего труда... Эта «Соната», например, изданная на немецком языке, бог знает что такое... Пока только один английский перевод ее сделан Диллоном по точному оригиналу».

— Каким же образом уберечься от подобных фальсификаций,— спросил я,— когда вы сами не печатаете ваших произведений?

— В Москве есть мой приятель, Чертков,— вы не знаете его?— ответил Л. Н.,— он прекрасный библиофил... у него все подлинники моих произведений.

Затем граф также в последнее время написал предисловие к книге д-ра Алексеева о пьянстве. Этот труд передан им профессору Гольцеву и выйдет в свет отдельной книжкой. Читая рукопись г. Алексеева с богатым материалом и обдумывая предисловие к ней, граф — по его собственному выражению — увлекся и начал теперь обширный труд, пробуя дать первый ответ на вопрос: почему человечество начало употреблять наркомы — вино, водку, курение etc.— и где причина, что страсть к этому опьянению сохраняется так крепко и поныне во всех слоях общества всех стран?

— Не знаю,— прибавил он к рассказу об этой теме,— не знаю и сомневаюсь, можно ли будет напечатать этот труд. Впрочем,— заметил он как бы конфузясь,— я глубоко убежден, что и вредно и нехорошо, когда произведения печатаются при жизни их авторов.

— Отчего же, граф?— удивился я.

— Во-первых, когда произведения публикуются еще при жизни автора, он, когда пишет, не свободен, он непременно будет думать, что скажут о его труде, как его встретят и пр. и пр. Все это не хорошо, очень не хорошо... А потом пережить, знаете, свою славу — дело та...кое трудное, которое не всякому и удается... Вот Николай Успенский... был. несомненно, талантливым человек, гораздо талантливее Глеба — не вынес этой тяжести... Начали его хвалить, приглашать, голова закружилась, стал невнимателен к труду, все отвернулись, и человек погиб... Даже Тургенев, и тот не вполне совладал с этим крестом... Начинается баловство, хочется опять выходить на сцену, пишут просто для того, чтобы снова слышать рукоплескания... Нет, я решительно убежден, что все произведения должны появляться в свет только после смерти их авторов...

Слушая это, в моей голове было готово много возражений против такой идеи графа, но, с одной стороны, его болезненное состояние, с другой — естественное желание слушать его речи как в этом случае, так и в последующих беседах удерживали меня от продолжительных возражений.

А беседа наша была долгая: почти три часа мы провели в ней, сидя на террасе. в саду, и гуляя по тенистым аллеям яснополянского парка. «Я разошелся»,— говорил мне граф, улыбаясь, и с той искренностью и простотой, которые суть знамена больших людей, высказывал мне свои мысли общие и в частности относящиеся лично к моей деятельности.

— Как жаль,— говорил граф,— что вы живете литературным трудом. Получать деньги за него — вещь не... не подходящая. Не следовало бы... Надо бы как-нибудь иначе устраиваться, чтобы писания свои не продавать...

Я, кроме объяснений реального свойства, сказал Л. Н., что труд журналиста имеет крупные особенности — мы, руководствуясь действительной жизнью и вопросами дня, чувствуем себя более свободными от гнета авторского самолюбия — искренне и ясно

сообщить читателю мои сегодняшние впечатления и думы с верой, что правдивость такого сообщения всегда приносит пользу,— вот почти единственный стимул и мотив нашего труда.

— Да,— ответил граф,— вы действительно правы, что ваши условия труда, как более непосредственные, и более свободны. Мне это интересно... Я давно уже задумал написать сочинение об искусстве и о разных видах его... Яблоко упало — и пришла идея о притяжении земли... Человеку нова эта идея, он бросается к людям, спрашивает их — они отрицают; а он все-таки думает — земля притягивает. Бьется, пишет, находит доказательства и просто ради одного самоудовлетворения пишет и публикует... Это выходит вполне искренне и полезно... Только тут необходимо, чтоб это было непременно ново для меня и мое собственное, тогда только оно может быть сделано свободно и искренне.

Говоря о крупных издательских фирмах России, Л. Н. выразил крайнее сожаление, что у нас до сих пор нет сжатого экстре из классиков всемирной литературы.

— Подобное издание было бы в высшей степени важно для самообразования русского общества,— говорил он.— Как можно не знать, что сказали, суть того, что сказали великие умы. Да, по-моему, даже средние и маленькие писатели не должны быть забыты в таком издании: даже у самых маленьких найдутся такие мысли, которые человечество не должно забывать. Я убежден, что подобное издание принесло бы у нас огромную пользу; у нас уже есть люди, которые могли бы сделать хорошее экстре, и просто удивительно, что до сих пор такое издание даже никем не задумано.

Тарелка бульона — единственное кушанье, составляющее весь обед графа,— не прерывала нашей беседы. Все вопросы дня и мира интересуют Л. Н. Таким образом, мы незаметно от литературных вопросов перешли и к политике. Темой к тому послужил разговор моего сотоварища с князем Бисмарком.

— Удивляюсь,— заметил граф, пожимая плечами,— к чему это он стал так посягать свою прошлую политику... Просто не понимаю.

— А не напомнил он вам,— спросил я, смеясь,— отставного фельдфебеля, когда заговорил о рабочем движении?

— О, я никогда-никогда не признавал Бисмарка великим человеком,— с живостью возразил граф,— пришло историческое время для объединения немцев; в этот момент стояли во главе Вильгельм и Бисмарк, вот и будут повторять эти два имени... Я пережил интересную эпоху Наполеона III; его ведь тоже признавали гением. Все держится известных привычек, известных приличий; вдруг среди их является нахал, ничего не признает, и при успехе его немедленно провозглашают великим... Так всегда делается, нередко и в частной жизни появляются такие же гении-нахалы...

— А как, граф, вы относитесь к затеям молодого Вильгельма? — спросил я.

— С большим интересом.

— И с симпатией?

— Да, и с симпатией... Я всегда доказывал, что у каждого времени есть своя забота. В этом состоит смысл истории и человеческого прогресса. В наше время была такой заботой крестьянская реформа, теперь на Западе на очереди рабочий вопрос. Игнорировать его — такая чепуха. Да, в сущности, это вовсе не рабочий вопрос, а гораздо больше — предстоит вполне очевидно крупнейшие экономические перемены. Жаль только, что молодой император не с того начинает. Ограничение, например, часов рабочего времени... Разве это возможно? У нас, например, в Московском округе, я знаю, запретили детям... работать — пошли работать матери... Не то нужно, нужно, чтобы самому рабочему не было необходимости закабалить себя на четырнадцатичасовой труд или отдавать на фабрику детей. Без такого коренного дела все попытки исправить настоящее положение не дадут доброго результата.

После своего скромного обеда и долго тщетных уговоров графини и моих отправиться на обычный полуденный отдых, граф на прощанье сообщил мне в кратких словах тему, на которую он желал бы написать роман.

— Это факт — действительность и такая, какую ни за что не выдумаешь. Купеческая дочка заразилась революционизмом. Остриглась, начала курить и т. д. Явился у нее ребенок, богатые родители выгнали ее из дому, ей некогда было заниматься ребенком, и она отдала его в воспитательный дом. Одна кормилица этого дома полу-

чила этого ребенка к себе на дом, а ее собственный ребенок достался другой кормилице. В приемной она, однако, успела выменять ребенка — унесла домой своего, а номер-то у нее был на купеческое дитя. Купчиха с супругом часто навещали этого ребенка, признавая его за своего, привозили лакомства, ласкали его и любили. Затем настоящее купеческое дитя умерло, а у купчихи все революционные идеи вылетели из головы вместе с дымом папиросок, она примирилась с родителями и стала опять богата. Незачем, значит, оставлять ребенка у кормилицы. Хочет взять его — кормилица не дает, предлагает деньги, крупные деньги — не берет... И вот совершился новый сомонов суд перед директором воспитательного дома — настоящий сомонов суд, и ребенок достается, конечно, настоящей матери его — кормилице...

А. Молчанов.

2 июня [1890 г.]
Село Селиваново.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Н. Коржавин. Лирика Маршака.— **М. Рошин.** В испытанном жанре.— **З. Паперный.** Устная книга.— **В. Лакшин.** Две биографии.— **Александр Дейч.** Об эстетике А. В. Луначарского.— **Т. Мотылева.** Перечитывая Бехера.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Смолянский, кандидат экономических наук. Соревнование и сосуществование.— **П. Горностаев.** Большая жизнь.— **Д. Горин.** Малополезный сборник.— **В. Твардовская.** Петрашевский и петрашевцы.— **К. Майданик,** кандидат исторических наук. Мемуары дипломата.— **Эр. Ханпира.** Книга, нужная всем.— **И. Ермашев,** Джентльмены с «Золотого Олимпа».

Литература и искусство

ЛИРИКА МАРШАКА

С. Маршак. Избранная лирика. Гослитиздат. М. 1962. 151 стр.

Часть стихов, составивших эту книгу, уже должна быть известна читателю: они опубликованы в собраниях сочинений автора, а некоторые и в периодических изданиях. И все-таки до сих пор если произнести имя «Маршак», то в сознании большинства читателей всплывут знакомые с детства стихи «Почта» и «Багаж», полубившиеся с юности переводы из Берса и Шекспира, наконец точные по художественному мышлению критические статьи. Мало для кого это имя будет ассоциироваться с лирикой, с собственными стихами, написанными для взрослых. Если вы заявите во всеуслышание, что считаете Маршака большим русским советским поэтом, с вами охотно согласятся, но опять-таки не принимая во внимание лирику. Он и без этой лирики дает все основания считать себя таковым.

И тем не менее нам кажется, что, если бы у Маршака не было лирики, у него не было бы главного. Были бы все районы прекрасного города, но центр, вокруг которого строился город, только бы подразумевался. В самом деле, было бы странно, если бы поэт, с такой силой выразившийся в том,

что он умел выбирать и «присваивать» у других, или в том, что он умел, как бы играя, давать детям, в конце концов не заговорил от своего имени и с полной серьезностью. Его лирика с предельной ясностью открывает, что истоки его творчества даже тогда, когда он писал только для детей или занимался в основном переводами, были вполне «взрослыми» и вполне самостоятельными.

И все-таки... Все-таки пока, думая о Маршаке, чаще вспоминают его переводы и детские стихи.

Такой неуверенности восприятия способствовало и то, что его лирические стихи ничего не ниспровергали, а только утверждали, что на первых порах куда менее впечатляет. Они говорили о предметах общих, прямого отношения к злобе дня, казалось бы, не имеющих; бури страстей вокруг себя не поднимали. Но при всем том у них было одно неоспоримое достоинство: они уже существовали. Существовали даже в тех, кто прочел их мельком и не осознал их значения, как, например, автор этой рецензии. А потом оказалось, что они вошли в плоть и кровь, что их нельзя забыть.

Многим кажется, что самое трудное — это осмелиться сказать правду. Что ж! В иных обстоятельствах это действительно так. Но и при этом самое трудное для человека, желающего сказать правду, — это ее знать. И еще, пожалуй, уметь ее сказать так, чтобы она и на бумаге не перестала быть правдой. С любого расстояния, в любом ракурсе, с любой стороны. В искусстве правда объемна и имеет четкие очертания — форму. Кроме того, человек, ее говорящий, должен чувствовать не только окружающую жизнь, но и ее движение из прошлого в будущее, уметь видеть в современном вечное. Иначе произведение умрет, как только исчезнут обстоятельства, его породившие.

Хотя при этом думать о вечном необязательно. И вряд ли Маршак думал о нем, когда писал свой «Плакат 1941-го года»:

Ты каждый раз, ложась в постель,
Смотри во тьму окна
И помни, что метет метель
И что идет война.

Во время войны было выпущено много плакатов. Тексты ко многим из них написал Маршак. Это были хорошие тексты, и они честно отслужили свою службу, некоторые из его стихотворных подписей к карикатурам смешны и сейчас. Есть у Маршака и плакаты, относящиеся к более позднему времени. Он вообще превосходный мастер политического плаката.

И все-таки в сборник лирических стихотворений включен только этот плакат. Он не «умер, как рядовой», а стал лирическим стихотворением. Почему это произошло? Вероятно, потому, что это стихотворение с самого начала было лирическим, то есть в его основе лежало выношенное чувство, которое только искало повода, чтоб выразиться. Это по-маршакowski конкретно и ошутливо: за темным окном метель, и в эту метельную ночь — война. А тебе, ложась в постель среди этой метельной военной ночи, преступно забывать о тех, кто сейчас умирает за тебя, даже если ты не виноват в том, что находишься здесь, а не там: болен, стар или тебя не отпускает завод.

И стихотворение не только напоминает — оно само помнит об этом: постель кажется холодной оттого, что где-то метет метель. Этот холод не остужает душу, ибо в нем связь между людьми, высокое чувство

ответственности за свое поведение — то, что имеет отношение не только к войне. Хотя и к войне это имеет прямое отношение, и даже к той конкретной задаче — агитации за сбор теплых вещей для фронта, — которую ставил себе плакат.

Но, конечно, не все лирические стихи Маршака имеют такие точные указания на обстоятельства, из которых они родились.

Как призрачно мое существованье!
А дальше что? А дальше — ничего...
Забудет тело имя и прозвание,—
Не существо, а только вещество.

Пусть будет так.
Не жаль мне плоти тленной,
Хотя она седьмой десяток лет
Бессменно служит зеркалом вселенной,
Свидетелем, что существует свет.

Мне жаль моей любви, моих любимых.
Ваш краткий век, ушедшие друзья,
Исчезнет без следа в неисчислимых,
Несознанных веках небытия.

Вам все равно — взойдет ли вновь
светило,

Рождая жизнь бурливую вдали,
Иль наше солнце навсегда остыло
И жизни нет и нет самой земли...

Здесь, на земле, вы прожили так мало,
Но в глубине открытых ваших глаз
Цвела земля, и небо расцветало,
И звездный мир сиял в зрачках у вас.

За краткий век страданий и усилий,
Тревог, печалей, радостей и дум
Вселенную вы сердцем отразили
И в музыку преобразили шум.

Почему-то иногда под словом «жизнь», если речь идет о поэзии, подразумевается конкретный факт или конкретный человек, конкретная проблема. Между тем жизнь — это не только непосредственные впечатления, а и то, к чему сводится вся сумма впечатлений. — короче говоря, общее эмоциональное представление, образ. Это бесспорно. И поэтому жизнь — это не только каждый твой день и каждое переживание этого дня, но и все твои дни и все переживания. А так как ты живешь не на необитаемом острове и твоё отношение к жизни формируется под воздействием различных факторов, то жизнь — это еще все люди, вся страна, весь мир, все времена. Это то, как относишься к жизни (что в ней ищешь, что находишь, что о ней думаешь) ты и твои современники — люди, которые живут рядом с тобой или далеко от тебя, — и то,

как относились к жизни, что в ней искали, что находили и чего не находили люди, жившие задолго до тебя в твоей стране и за ее пределами. Когда человек все это почувствует, осознает, воспримет (а это значит почувствовать себя частицей человеческой истории и культуры), такие слова, как жизнь, народ, история, дух, время и т. д., становятся для него не абстрактными терминами, а названиями привычных предметов обихода, правда душевного и духовного.

Можно, конечно, назвать эти стихи философской лирикой и успокоиться. Но это название ничего не объясняет. Может быть, оно даже ложно. Как ни мудри, а философия все-таки не лирика, а лирика не философия. И кроме того, стихи не звучат философски. Они не рассуждают и не доказывают. Они утверждают.

Несмотря на то, что в стихотворении так много отвлеченных понятий, ценности, которые оно утверждает, не выведены логически, а запечатлены как чувство, как естественная реакция на жизнь, на размышления о ней. Точно человек думал-думал, а потом вздохнул: «Как призрачно мое существование!» И это послужило толчком для того, чтобы выразить все накопленное в душе, вызвавшее это восклицание или вздох. За этим, конечно, ощущается воздействие самой жизни, хотя зримых ее черт в стихотворении как будто нет.

Конкретность этого стихотворения — в конкретности чувства, его вызвавшего, в конкретности образа лирического героя, для которого выражение такого чувства в такой интонации, с такой лексикой, в таком его развитии естественно и оправданно.

«Как призрачно мое существование!» Конечно, эту мысль можно было бы выразить более предметно и менее «научно». Но тогда это противоречило бы чувству и замыслу автора. Ибо сейчас (в момент создания этого стихотворения, как и в момент создания плаката) автор занят не собой, не своей судьбой, не мыслью о том, что с ним будет дальше, или сожалениями о краткости своей жизни. Все это в стихотворении присутствует, конечно, все это важно, хоть и невесело. Но занят он сейчас совсем не этим, а — в связи с этим — самой жизнью, тем, из-за чего так обидно с ней расставаться. Сам поэт как бы несколько при этом устраняется (отсюда и некоторая «абстрактность» фразеологии, когда речь идет прямо

о нем), но устраняется перед прелестью и смыслом жизни, перед тем, что он сам больше всего любит. Поэтому, устраняясь, он только ярче подчеркивает свою творческую индивидуальность, свой характер, свою скромность. Эта скромность происходит не от благовоспитанности, а от точного ощущения шкалы ценностей, от правильного отношения к жизни — он просто не желает себя обкрадывать. Во всем этом ощущаются черты реального характера, характера поэта, который это говорит, которому свойственно говорить такое. Поэтому мы ему верим.

И мы приобщаемся к душевному опыту, создавшему этот характер, и тоже понимаем — вернее, вспоминаем сердцем, что жизнь хотя и коротка, но она еще и прекрасна, и очень вместительна. Что в наших глазах расцветает небо, цветет земля и сияет «звездный мир». И что человеческое сердце может отражать целую вселенную, а творческая деятельность человека — шум превращать в музыку. Это стихотворение, как будто бы написанное о смерти, на самом деле гимн человеку и его высокому назначению.

Оно очень важно для понимания всего творчества Маршака. Не то чтобы оно походило на другие его стихи. Просто в нем он раскрывается наиболее полно и прямо. В этом стихотворении выражено главное не только для Маршака-лирика, но и Маршака-переводчика и Маршака — детского писателя.

Жизнь для Маршака — ценность не только сама по себе, это для него еще самая высокая духовная и культурная ценность. Культура же для него не какая-то специфическая область жизни, а общий уровень отношения к себе и к миру, отношения к любви, к долгу, к природе, ибо все это имеет прямое отношение к человеку, связано с его внутренним миром, формирует его и формируется им.

Все то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человеческое.

Например, этот зимний пейзаж, хотя он и пейзаж без человека:

Как поработала зима!
Какая ровная кайма.
Не нарушая очертаний,
Легла на кровли стройных зданий.

Вокруг белеющих прудов —
Кусты в пушистых полушубках.

И проволока проводов
Таится в белоснежных трубах.

Снежинки падали с небес
В таком случайном беспорядке,
А улеглись постелью гладкой
И строго окаймили лес.

Пейзаж этот действительно пейзаж без человека, но, как всякий пейзаж в искусстве, это пейзаж, увиденный глазами человека. По всему, что этому человеку дорого, что он считает нужным отметить, легко догадаться, что это трудовой человек. Все, даже этот пейзаж, для него результат осмысленного и разумного труда. Только здесь, над этим пейзажем, работал не человек, а природа — сама зима. Но работала она как мастер, в полном согласии с тем, что сделали люди.

Снег ложится на сооруженные человеком здания, не нарушая их очертаний, красит в белое выкопанные человеком пруды, одевает высаженные им кусты в белые полшубки. Даже проволоку проводов он обволакивает, окружает, помещает в «белоснежные трубки». Природе свойственно то же стремление к гармонии, что и человеку, несмотря на все ее стихии. (А может быть, наше представление о гармонии — от природы.) Снежинки падают с небес стихийно, хаотично, но потом все равно, подчиняясь законам природы, они «улеглись постелью гладкой и строго окаймили (слово-то какое, наводящее порядок) лес».

Разумеется, это стихотворение не исчерпывает возможности природы, не всегда ее стихии бывают столь мирными, но дело не в природе, а в представлении о красоте. Собственно говоря, могли быть стихи о метели, о хаосе, беспорядке, в котором падали снежинки, а не о порядке, который настал после этого, — кто что любит. Но надо все-таки сказать, что любовь к порядку не всегда прозаична, а любовь к стихиям не всегда поэзия. Гармония — это не обожествление стихии, это ее преодоление, трансформация, превращение шума в музыку. Но все-таки она должна присутствовать в стихотворении. Снежинки улягутся, но падают они в случайном беспорядке, и это должно ощущаться, иначе наступит идиллия, которой никто не обрадуется, — не будет ощущения победы, радости.

У Маршака очень точное, живое представление о гармонии. Это тоже входит в дух культуры, который всегда был главным

в этом поэте. И был им даже осознан как главное.

«Когда я писал стихи для детей, то не только с целью развлечь их, — сказал он однажды, — я старался им нести культуру в слове. Ведь в слове тоже воплощена культура, и можно заставить звучать его так, что оно ее будет нести и проявлять». Когда мы читали эти стихи в детстве, мы, конечно, не отдавали себе отчета в том, каковы стремления автора, но то чувство, которое у нас навсегда осталось к его стихам, говорит о том, что его старания увенчались успехом. Слово в его стихах приобщало нас к миру и самим своим звучанием учило, что этот мир должен быть живым и добрым. Это же делал Маршак в переводах, таким же остается он и в своей лирике.

Всех, кто утром выйдет на простор,
Сто ворот зовут в сосновый бор.

Меж высоких и прямых стволов
Сто ворот зовут под хвойный кров...

Этот лес полвека мне знаком,
Был ребенком, стал я стариком.

И теперь брожу, как по следам,
По своим мальчишеским годам.

Но, как прежде, для меня свои —
Иглы, шишки, белки, муравьи.

И меня, как в детстве, до сих пор
Сто ворот зовут в сосновый бор.

Это правда. Таким же пристальным остается его интерес к миру, то же уважение к жизни в строках его стихов. Ничто не может заслонить мира, все обращает поэта к нему, даже личное горе:

Сколько раз пытался я ускорить
Время, что несло меня вперед,
Подхлестнуть, вспугнуть его, пришпорить,
Чтобы слышать, как оно идет.

А теперь неторопливо еду,
Но зато я слышу каждый шаг,
Слышу, как дубы ведут беседу,
Как лесной ручей бежит в овраг.

Жизнь идет не медленной, но тише,
Потому что лес вечерний тих,
И прощальный шум ветвей я слышу
Без тебя — один за нас двоих.

Это о личном горе, о старости и в то же время о мудрости, о возрастающем внимании к окружающему — все неразрывно и умиротворенно. Умиротворенность совсем не идиллия, а просто вошедшее в кровь и в плоть сознание, что, как бы то ни было,

жизнь есть жизнь. Она трудна, иногда печальна, но все-таки она жизнь.

Взгляд на нее как на легкое занятие Маршаку не свойствен совсем.

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А все хорошее, друзья,
Дается нам недешево! —

писал он в стихотворении «Пожелания друзьям», обращенном к детям. Добрый ум и умное сердце — это как раз и есть то хорошее, что можно пожелать людям, это и есть счастье, которое дается недешево, которое живет в каждом стихотворении Маршака.

Но с этим счастьем неразрывно связана и ответственность за жизнь, за ее качество. Может, именно поэтому оно дается недешево.

Ты много ли видел на свете берез?
Быть может, всего только две,—
Когда опушил их впервые мороз
Иль в первой весенней листве.

А может быть, летом домой ты пришел,
И солнцем наполнен твой дом,
И светится чистый березовый ствол
В саду за открытым окном.

А много ль рассветов ты встретил в лесу?
Не больше, чем два или три,
Когда, на былинках тревожа росу,
Без цели бродил до зари.

А часто ли видел ты близких своих?
Всего только несколько раз,—
Когда твой досуг был просторен и тих
И пристален взгляд твоих глаз.

Вот что значит «видеть», а следовательно, как часто мы проходим, «не видя», то есть не воспринимаем. Короче говоря, «не живя». Эти стихи просты и неопровержимы. Кажется, что мы давно все это знаем и даже эти стихи существуют давно. Так происходит потому, что у жизни подсмотрено нечто неотрывное, очень существенное и простое, имеющее отношение к каждому и каждому что-то открывающее в нем самом и в том, что его окружает.

Впрочем, это черта не только данного стихотворения Маршака, а тенденция всей его лирики и вообще всего его творчества. Стремление к гармонии, к гармоничному человеку, берущему от жизни все, что она может дать, и все ей отдающему, — вот поэтическая программа Маршака.

И этому совсем не противоречат такие строки, которые — пусть несколько иначе — тоже учат пристальному вниманию к жизни:

Быстро дни недели пролетели,
Протекли меж пальцев, как вода,
Потому что есть среди недели
Хитрое колесико — Среда.

Понедельник, Вторник очень много
Нам сулят,— неделя молода.
А в Четверг она уж у порога.
Поворотный день ее — Среда.

Есть колеса дня, колеса ночи.
Потому и годы так летят.
Помни же, что путь у нас короче
Тех путей, что намечает взгляд.

Стихотворение написано предельно просто. С той наглядностью, с которой надо писать стихи для детей. И это не случайно. Ведь мысль о том, что жизнь уходит быстро — не успеешь оглянуться, — не нова. Известна она была и Маршаку. Он, вероятно, и слышал и читал об этом. И все-таки он стал об этом писать. Потому, что это его потрясло, как потрясает оно людей во все времена. Каждого в свой срок и каждого по-своему потрясло, что это так просто, почти игрушечно. В понедельник и вторник — неделя впереди, в четверг — уже позади. Шутка, а за этим многое. И чем полней жизнь, тем быстрее летят годы. Это вечная тема; но вечные темы не страшны настоящим поэтам. Надо только уметь слышать то, что ты чувствуешь, и отделять это от того, что чувствовали и говорили по этому поводу другие. Если ты это умеешь, банальных тем нет, ибо нельзя дважды вступить в один и тот же поток.

Лирика Маршака — прямой ответ на современные споры о традиции и новаторстве, о простоте и сложности. Мир Маршака — это мир много думавшего, много знающего человека. Но человека очень цельного не только по мировоззрению, но и по мироощущению. Это произошло потому, что он никогда не забывал, что основа жизни — простота. При необычайной широте кругозора он не утратил того точного ощущения новой жизни и ценностей, которое свойственно простому человеку. В этом истоки не нуждающегося в доказательствах демократизма творчества Маршака, демократизма по духу и по форме. То, что народ — носитель культуры, не простая фраза для Маршака.

В этом и во многом другом он прямой наследник духа русской культуры, русской поэзии, которая все сложное умела понимать и выражать так, что становилась ясной его

простая сущность. Это началось с Пушкина и по существу никогда не кончалось.

С. Я. Маршаку сейчас больше семидесяти пяти лет. Это, как он пишет в своих воспоминаниях, немалый срок не только в жизни человека, но и в истории страны. Тем более в наше время. Семьдесят пять лет назад еще не было ни большевистской партии, ни русско-японской войны, ни трех революций, ни мировой войны, ни победы над фашизмом, ни Хиросимы, ни угрозы ядерной смерти, ни многого другого, что с тех пор произошло или достигнуто, с чем пришлось столкнуться человеку, которому сейчас семьдесят пять лет, даже если этот человек жил в стороне от событий и веяний века, а не так, как Маршак, все время находившийся на гребне его культуры. Одних только ложных увлечений в искусстве за это время сколько было.

Но Маршака ни одно из них не обмануло. Он всегда знал главное, знал ценность жизни и знал, что такое культура. И сквозь все кризисы культуры начала века (а это вещь совсем не академическая, суть не в том, что люди не знают, как писать, — они не знают, как жить) он пронес и принес в наши дни спокойную уверенность в человеческом разуме, в ценности человеческой личности и ее общественных связей.

Страна, в которой он жил, немало этому способствовала. Дух культуры — это дух общества, народа, но это, конечно, не отменяет его личной заслуги, личной мудрости, личного умения понимать и чувствовать этот дух. Стихи очень современны потому, что напоминают о людях, о тех ценностях, которым угрожает ядерная смерть. Они как бы говорят человеку: «Оглянись вокруг себя, посмотри, как ценна каждая подробность твоей жизни и все, что тебя окружает, и

будь бдителен». Они учат тому, что надо хранить и за что надо бороться — поэзии, культуре, гражданственности.

Настоящее искусство всегда современно. Несмотря на то, что Маршак чувствует различные эпохи истории человечества так, словно он жил во все известные эпохи, несмотря на то, что у него много стихов на «вечные» темы, он не большой поклонник «служения вечности».

Не знает вечность ни родства, ни племени.
Чужда ей боль рождений и страстей,
А у меньшей сестры ее — у времени —
Бесчисленное множество детей.

Столетия разрешаются от бремени.
Плоды приносят год, и день, и час,
Пока в руках у нас частица времени,
Пускай оно работает для нас!

Пусть мерит нам стихи стопою четкою,
Работу, пляску, плаванье, полет
И — долгое оно или короткое —
Пусть вместе с нами что-то создает.

Бегущая минута незаметная
Рождает миру подвиг или стих.
Глядишь — и вечность, старая, бездетная,
Усыновит племянников своих.

Он слишком любит жизнь, а жизнь всегда современна. А вне жизни, вне забот о ней нет ничего — ни честности, ни открытий, ни самой вечности.

К сожалению, здесь нет возможности процитировать многие другие стихи, входящие в этот сборник, или хотя бы их коснуться, тем более что многие ни тематически, ни по исполнению не похожи на те, о которых шла речь. Но читатель имеет возможность познакомиться с ними самостоятельно.

Выход этой книги — серьезное событие. Она принадлежит к той области поэзии, которая как-то особенно близка духу русской культуры.

Н. КОРЖАВИН.



В ИСПЫТАННОМ ЖАНРЕ

Лев Овалов. Секретное оружие. Роман. «Молодая гвардия», № 10—11, 1962.

Книжки журнала, где печатался этот роман, видимо, не залеживались на полках. За ними записывались в очередь в библиотеках, ждали продолжения. Посмотрите на них: лохматые, с захватанными страницами, они заметно выделяются в стопке годового комплекта. Видно, что они прошли через десятки, даже сотни рук. Все это по-

нятно. Читатель любит, что называется, отвлечься, любит крепко «закрученный», таковой, чтобы «не оторваться», сюжет.

Вообще спорить о том, нужен ли детективный жанр или не нужен, — дело пустое. Он есть, этот жанр, он существует. На него большой спрос. Впрочем, никто, кажется, никогда и не заносил меча над приключенче-

ской литературой как таковой. Просто речь всегда шла о том, что за детектив перед нами, какой именно детектив — хороший или плохой. Ведь сплошь и рядом бывает так: сначала-то книжка с таинственным заголовком нарасхват, а, глядишь, прочитали ее и говорят: нет, не то...

Дойдя до последних страниц нового романа Льва Овалова и вспоминая, что же было в нем, я почему-то представил себе лишь отдельные детали, как бы клочки, быстрое их мелькание... Москва, уютная квартира, тихий семейный ужин. «Мария Сергеевна выжала кусочек лимона на остатки наваги и...» — почти тут же раздался роковой телефонный звонок. Потом: «Ночь. Тьма. Джергер камнем полетел в черную бездну... Шелковый купол, смутно белеющий в темноте...» А дальше — дачи, автомобили, мотоциклы, погоня, синие фуражки в кустах, хлороформ, чемодан, пистолет, игла с ядом, «держи его!» — и, наконец, скромно-победоносная и усталая улыбка генерала Пронина.

Может быть, такое впечатление случайно, не показательное, ведь все вышеперечисленные подробности можно, пожалуй, найти в любом «среднем» детективе? Может быть, что-то очень существенное пропадает при чересчур сокращенном, по необходимости, пересказе? Обратимся к самой истории, послужившей сюжетом романа.

Видного научного работника Марию Сергеевну Ковригину в один прекрасный день американские разведчики, нагло пробравшиеся в Советский Союз, выманивают из дома и крадут. Они не в силах проникнуть к секретным документам и решают, что легче и спокойнее похитить живого человека, видного советского ученого, подкупить его или силой заставить выдать необходимые им секреты. Ковригину держат в подземелье, в подвале дачи под Москвой. Ее провощируют, говорят, что она уже за океаном, что деваться ей некуда. Мария Сергеевна не сдастся. Тогда ее засовывают в большой чемодан и пытаются самолетом отправить в Америку. Чтобы все было шито-крыто, шпионы Джергер, Харбери и Барнс инсценируют смерть Ковригиной. Делается это очень просто: в морге присматривается подходящий труп женщины, быстро фабрикуются документы, по которым можно «получить» мертвое тело, на улице останавливают шофера-левака, за хорошие деньги готового перевезти труп из морга «домой». «Дома» труп переодевают в платье только что похищен-

ной Ковригиной, везут ночью на железную дорогу и бросают в «ров некошеный».

Дочь Ковригиной Леночка по слепой наивности и доверчивости помогает сначала матерому шпиону Джергеру, назвавшемуся представителем органов госбезопасности. Но вскоре она понимает, что втянута в грязное дело. Силою случая проникнув во вражье логово, на дачу, Леночка вытаскивает усыпленную маму из чемодана и сама ложится туда вместо нее, хотя в общем в этом нет особой необходимости, потому что машина с настоящими чекистами уже стоит у ворот. «В самых трудных и сложных обстоятельствах Елена Викторовна не теряла головы...» — говорит потом генерал-майор Пронин. — «Каждый из нас может быть чекистом. Елену Викторовну я с удовольствием взял на постоянную работу...» И трудно понять, шутит генерал или говорит серьезно.

Наши контрразведчики побеждают, и, надо сказать, довольно легко, потому что «навязывают противнику свой план, заставляют его принять бой там, где ему невыгодно». Американские же шпионы, при всем том, что им «нельзя отказать в способностях» и что «они даже методологически сильны», оказываются, мягко говоря, полными дураками (а это потому, как объясняет автор, что «широко осмыслить и обобщить свой опыт в соответствии с законами жизни им не дано»).

Скажем прямо: история кажется нам несколько фантастической, но детектив есть детектив, мы не против какого угодно вымысла, игры фантазии и тому подобного. Тем более что, как признается автор, вводя нас в свою творческую лабораторию, «о подобном случае сообщали газеты. Один дипломат пытался нелегально вывезти какого-то человека за пределы Советского Союза». Мало ли что бывает!

Хотелось бы, собственно, одного: чтобы герои в столь исключительных обстоятельствах были более или менее похожи на людей, чтобы их характеристики, слова, поступки были более мотивированы, чтобы люди все-таки несколько отличались от плоских мишеней, по которым автор ведет беглый огонь.

Вернемся еще раз к Леночке Ковригиной, к ее знакомству с Джергером-Королевым.

«В первое мгновение он не понравился Леночке. Она всех людей делила на круглых и квадратных, это было ее особое, личное определение. Придумала она его еще в

детстве. Круглые были хорошие...» (Автор ошибается: подобное определение впервые придумала Наташа Ростова, а в роман Овлова оно залетело, видимо, как неосознанная и искаженная памятью реминисценция из «Войны и мира».) Продолжим, однако, прерванную цитату: «Сперва появившийся перед ней человек показался ей квадратным, но через минуту она поняла, что он круглый...» Еще через две минуты «Леночка искоса рассматривала своего спутника. «Красивый парень: открытый лоб, строгие серые глаза, волевые губы...» Потом Леночка осторожно разглядывает его костюм, ботинки, «бордовые тонкие носки и такого же цвета галстук! «Парень со вкусом...» — заключила Леночка».

Джергер, назвавшийся капитаном госбезопасности Королевым, показывает удостоверение, Леночка, разумеется, верит ему без всякого документа и тут же соглашается следить за всеми, кто приходит к ним в дом, и докладывать Королеву. Это ведь ради безопасности мамы! «Вы просто должны сообщать обо всем, что произошло у вас за день. А это уж наше дело разобраться, что в вашем сообщении заслуживает внимания, а что нет», — безапелляционно говорит Джергер-Королев Леночке, и Леночка, не моргнув глазом, соглашается.

После этого эпизода, как ни старается автор сделать Леночку обаятельной и умной, она нам все равно, по ее собственному определению, кажется неисправимо круглой...

На первых же страницах автор уверяет нас, что Леночку и Марию Сергеевну «связывали не только родственные отношения, но и дружба, сблизило душевное целомудрие, одинаковые взгляды на жизнь». Вот почему Мария Сергеевна после анонимного телефонного звонка (говоривший утверждал, что Леночка отправилась на дачу к некоему композитору Федосееву и там на даче оргия) забеспокоилась о «душевном целомудрии» дочери и стремглав, на ночь глядя, бросилась на пресловутую дачу, где ее уже поджидали злодеи с хлороформом наготове...

Находясь в своем таинственном, но довольно комфортабельном заключении, не зная толком ничего ни о себе, ни о дочери, «Мария Сергеевна с наслаждением читала стихи, и они помогали ей сохранять твердость духа». Она вообще держалась бодро: «вскрывала банку и принималась за сосиски. Грызла галеты, пила кофе. Накладывала

больше сахара. Противника следовало встретить во всеоружии. А у нее единственным оружием был ее негнбаемый дух. «В здоровом теле — здоровый дух», — вспоминала она с улыбкой любимое выражение Леночки. В здоровом теле — здоровый дух. Сосиски, печенье, кофе, сахар...»

В здоровом теле, конечно, здоровый дух, это ясно, но зачем же и Марию Сергеевну Ковригину, видного ученого, представлять нам до такой степени недалекой? Хоть бы разочек вспомнить ей о своей работе, что ли, об институте, хоть бы поискать выхода, кричать, требовать, объявить пусть не голодовку (это, конечно, трудно, учитывая ее мысли насчет здорового духа), но хотя бы бойкот.

Однако события развиваются своим чередом.

Вот шпион Джергер приезжает за Леночкой. Это их последнее свидание. «Джергер приехал за Леночкой для того, чтобы ее убить», — без обиняков пишет автор. «Джергер еще не знал, где и как он это сделает. Он решил, что, во всяком случае, надо отъехать подальше от Москвы и там, в каком-нибудь глухом лесу или у реки... Там можно хорошо запрятать труп...»

Но наши уже начеку: вишневая «волга» неотступно идет за машиной Джергера. Жених Леночки Павлик (фигура полуюмористическая, развлекательная), тоже не растерялся: он мчится за невестой на мотоцикле. Джергер в панике. Он не знает, что делать. И не может придумать ничего лучшего, как ехать на ту самую дачу, арендованную иностранцами, где спрятана Мария Сергеевна Ковригина. «Единственно правильное решение!» — восклицает матерый шпион, даже не подозревая при этом, что и ребенку такое решение показалось бы смешным. Но автору некогда, ему не до логики.

Джергер не только сам приезжает на дачу к шпиону Харбери, но привозит с собой Леночку, и Павлика, и вишневую «волгу». А в вишневой-то «волге» находится товарищ Ткачев, первый помощник генерал-майора Пронина, который уж, конечно, «отлично знал, чем занимается мистер Харбери и де-юре и де-факто». От Ткачева не уйдешь! Он — «с умным и волевым лицом, на котором бросались в глаза громадный лоб и курносый мальчишеский нос».

Все в конце концов раскручивается и приходит к счастливому концу. Даже никого не убили на протяжении семнадцати глав

Только «Леночка после своего путешествия в чемодане болела неврастением ровно три дня», — с улыбкой рассказывал Пронин».

Вот и все.

Критикой до сих пор дебатруется старый вопрос: искать ли в детективных романах одного лишь развлечения или можно говорить о их пользе?

Прочитав «Секретное оружие», мы склоняемся к тому, что польза есть. Читателям рано или поздно надоедают книги, как две капли воды похожие одна на другую, полные нелепостей и дурного вкуса, и в конце концов они испытывают желание прочесть что-нибудь серьезное.

М. РОЩИН.

★

УСТНАЯ КНИГА

Ираклий Андроников. Я хочу рассказать вам... Рассказы, портреты, очерки, статьи. «Советский писатель». М. 1962. 528 стр.

В тяжелое положение попадает тот, кто рецензирует книгу рассказов, портретов, очерков и статей Ираклия Андроникова «Я хочу рассказать вам...». Привычные определения отскакивают от нее — это и книга, и беседа, и концерт. Каждый, кому посчастливилось быть на вечерах Андроникова, читая уже первые строки его книги: «На мою долю выпала однажды сложная и необыкновенно увлекательная задача» — не просто читает, но одновременно слышит голос автора. Можно сказать, что в каком-то смысле перед нами «переводная» работа: на язык письменности переложена живая и многоголосая речь мастера-рассказчика.

Сам Андроников не обычный артист, не чтец, не простой рассказчик и не только исследователь. Обидно читать о нем в справочнике Союза писателей: «Прозаик, литературовед». Андроников — понятие многохарактерное. Это, если хотите, целое творческое объединение, «председателем» которого является И. Л. Андроников.

Его лицо многолико. Вот уж действительно «ряд волшебных изменений...». Он выходит на сцену, окруженный неуловимым облаком пока еще бесплотных образов друзей — спутников его жизни. Начинает рассказывать об одном из них. Говорит своим естественным голосом. Он еще никого не изображает. Но уж началось нечто странное. Плечи подтянулись. Он стал выше. Голос вдруг зазвучал хриловатым тенором. Речь сделалась напряженнее, одновременно и сбивчивее и целеустремленнее. Он отбрасывает волосы назад, и вы вдруг видите, что они причесаны не так, как вы видите. И вообще начинаете созерцать невидимое «внутренними глазами», памятью, воображением. Да, это Фадеев, его осанка, жест, голос, манера.

И только теперь, став тем, кого он изображает, рассказчик начинает говорить от его имени, от его лица. Он не «цитирует», не воспроизводит чужую речь — он говорит так, как мог бы сказать, как должен был бы сказать человек, в которого он превратился. А сам он как будто растворился на чисто. Он сочиняет эту речь, но в ней нет ни одного «сочиненного» слова.

Андроников не натягивает на лицо маску. В его перевоплощении нет ничего ментального. Никакого фокуса. Образ набегаёт, как волна, приближается, слышатся первые всплески. И уходит образ тоже не сразу. «Фадеев» уже кончил говорить, опять рассказывает Андроников, но словно нехотя расстается он с портретом писателя. Не «стирает» маску с лица мгновенным движением, а трудно высвобождается. И в его голосе все глуше уходящие фадеевские ноты.

Здесь уже не обойдешься школьным представлением о прямой и косвенной речи. Граница между ними извилиста, как линия норвежских берегов, часто она и вовсе пропадает.

Идет рассказ о том, как ленинградские друзья молодого Андроникова совещаются: стоит ли ему ехать с первыми выступлениями в Москву. «Тынянов сказал, что нечего становиться эстрадником — на эстраде, между прочим, двигают ушами, а у него высшее образование». В сущности, это даже не рассказывается, а одновременно и показывается. Здесь нет прямой демонстрации образа Тынянова — он лишь слегка скользнул по авторской речи. Мы видим, что речь эта не одноголоса: перед нами своего рода передача сразу по нескольким «каналам», не отдельным, а соединенным друг с другом. Слушая Андроникова, на-

слаждаешься не только достоверностью изображаемого человека, но и неуловимостью переходов.

И вот теперь этот человек, его как будто перестраивающиеся черты лица, свободно меняющийся, разнотембровый голос, жест, естественный, не сделанный, как будто самодвижущийся,— все это сложное многообразии стало книгой, немими печатными знаками.

Когда вы перелистываете последнюю страницу, вы не просто вспоминаете прочитанное. Перед вами проходят живые лица. Алексей Толстой — в очках, с трубкой, сначала серьезный, а потом по-детски всему удивляющийся, с коротким, быстрым, как будто жадным смешком. Артист Остужев — с его празднично-театральной, но ненаигранно-искренней речью. Расул Гамзатов — с хитрой улыбкой, лукавой скромностью, талантом, замешанным на лирике и юморе. Шаляпин — с его божественным горлом, глоткой без «лишней детали».

Не будем кривить душой и утверждать, что эта говорящая книга доносит до нас всю неповторимость и обаяние ее автора. Нет, многое не передано, а может быть, и передается.

Но прежде всего думаешь о том, что удалось. Пожалуй, главное достоинство в том, что получилась свободная, увлекательная устная книга.

Один садится за перо потому, что много знает. Другой — потому, что много видел. Третий — придумал увлекательный сюжет. А здесь в начале всего — желание рассказать об удивительных людях и историях, и так рассказать, чтобы самому оборотиться этими людьми, чтобы голос шел прямо к собеседнику, к аудитории.

Я не знаю, как пишет Андроников. Но уверен, что сначала он произносит слово, а уж потом кладет на бумагу.

Вспоминается: в 1952 году торжественно отмечалось столетие со дня смерти Гоголя. Редакция «Литературной газеты» (где я тогда работал) получила статьи видных писателей, деятелей культуры. Андроников свою статью не сдал. До выхода юбилейного номера оставались считанные дни. А потом уже счет пошел на часы. Я приехал к нему домой, он был болен, плохо себя чувствовал. Едва я увидел его закутанного в теплую шаль, я понял, что статья, на которую редакция возлагала большие надежды, погорела. Было даже

неудобно уговаривать человека в таком состоянии садиться за стол, напрягаться, работать. Мы поговорили, об этом было обидно, что статья не состоялась, я уже оделся, как Андроников сказал: «Да, очень жаль, что я так и не смог написать. А можно было! Взять, например... Ну хотя бы... Одну только первую страницу «Мертвых душ»! Ведь там уже начинается почти все — и Чичиков, и дорога, и мужики, и знаменитая бричка, которая проезжает сквозь всю поэму и в конце первой же части подвозит нас к строкам о птице-тройке, несущейся вперед, мимо всего, что ни есть на земле...»

Я слушал, слушал, а потом вдруг не выдержал: «Так у вас же готовая статья!» На следующий день она была написана. Может быть, точнее, записана. А сейчас это одна из лучших статей сборника «Я хочу рассказать вам...». И большинство портретов, очерков, статей, подобно «Одной странице», родились не на бумаге, не за столом, а в разговорах, беседах, выступлениях, рассказах и показах.

В «Загадке Н. Ф. И.», «Портрете», «Подписи под рисунком», «Тагильской находке», «Личной собственности», «О собирателях редкостей» — в этом своеобразном цикле о поисках редких и важных художественных документов — интересен и сюжет, и перипетии разысканий, и, конечно, сам этот документ, как будто играющий с разыскателем в прятки. Но не только это! Каждое новое лицо, вводимое в художественно-«приключенческий» сюжет, — именно лицо, а не очередное сюжетное звено.

Автор рассказывает, как в погоне за разгадкой тайны Н. Ф. И. он пришел к одному человеку, у которого жила обладательница старинного архива.

«И вот навстречу мне танцующей походкой выходит очень высокий человек лет пятидесяти. Лицо чисто выбрито, и вокруг губ все время гуляет небольшая улыбка. Встряхнув мою руку, он рекомендуется: — Фокин.

Я вручил ему записку... которую он пробежал, извинившись. Сунув ее в карман, он снисходительно склонил голову:

— Чем могу служить?

И театральным широким жестом пригласил в комнату».

Вот она, характерная андрониковская речь, не отделяемая от жеста, передающая «танцующую» походку, «гуляющую» улыбку

ку, вежливую снисходительность, широкие театральные движения, делающая читателя зрителем и слушателем.

В каком-то смысле это особенность всякого художественного повествования. Алексей Толстой, например, как мы читаем в этой книге, «считал, что предмет, о котором пишешь, нужно непременно видеть в движении, придавал большое значение жесту, говорил: «Пока не вижу жеста — не слышу слова». И кстати, школа Алексея Толстого не прошла для Андроникова бесследно. Но здесь идет речь о некоей индивидуальности речи — она у Андроникова всегда «устная», даже если она напечатана.

Он умудряется порой так рассказывать, так строить фразу, чтобы мы слышали акцент, манеру произношения.

В «Подписи под рисунком» жители грузинского селения помогают автору (он же «герой») найти оригинал лермонтовского пейзажа. Одна женщина говорит о церкви и крепости, от которых остались только камни. Другие, смеясь, шумят: «Камнями угостить его хочет! Человек не за этим приехал. А если камнями интересуется, зачем ему так далеко ехать! Старая башня и там вся упала — в ущелье, и там — на горе. Туда пусть пойдет...»

Эта живая характерная грузинская речь как будто записана не на бумагу, а на магнитную пленку, и мы, читая, буквально «воспроизводим звучание».

«Я хочу рассказать вам...» — это значит не просто: я буду рассказывать, а вы слушайте; но прежде всего: я хочу, чтобы вы увидели то, что видел я, что неотступно стоит перед моими глазами и требует воссоздания, второго рождения.

В том же очерке колхозник отбивается от собак: «Мохнатые, короткотелье, с обрезанными ушами, с черными, словно сажой намазанными, физиономиями, с мелкими, как у щук, зубами, с кривыми, как ятаганы, клыками, они хрипели, кидались, метались, в глотках их kloкотало. Оскорбительно было слышать этот сиплый, надсадный лай».

В лучших рассказах книги фраза плотная, осязаемо-предметная, резко и рельефно очерчивает картину. Слово как бы несет в себе движение, звучание, жест. А иной раз, став печатным, вянет, сохнет, теряет свои цвета и оттенки.

Помню, на концерте Андроников, рассказывая о музыковед Иване Ивановиче

Соллертинском, воскликнул: «Непостижимый человек!» И так взволнованно воскликнул, даже чуть присел, развел руками и как будто в бессилии покачал головой: не могу, мол, даже передать вам, какой непостижимый, — что все вдруг почувствовали: видно, действительно человек и знаток был замечательный.

А в книге читаем: «Разнообразие и масштабы его дарований казались непостижимыми». «Непостижимыми» — и все.

Или — об одной репинской записи: «Как передать здесь то внезапное удивление, которое испугало, обожгло, укололо, потом возликовало во мне, возбудило нетерпеливое желание куда-то бежать, чтобы немедленно обнаружить еще что-нибудь, а затем снова вернуло к этой поразительной записи».

Определений много, но нагнетание — «испугало, обожгло, укололо» — не испугает, не обожжет, не уколет читателя, потому что здесь нет той сгущенной индивидуальности, в которой сила автора и его книги.

А в очерке об Илье Чавчавадзе повествование порой еще более сбивается на риторику: «Какое поразительное начало! Какая зрелость мысли и формы! Какое гражданское мужество...» Превосходные степени — вообще вещь опасная, тем более в таком повествовании, где все слито с живым, громким, но не форсированным голосом.

И. Л. Андроников рассказывает о людях самых разных устремлений и манер. Довженко, Расул Гамзатов, Алексей Толстой, Шаляпин, Остужев, Яхонтов, Михоэлс, Соллертинский — никакую «группу» из этих разнохарактернейших художников не составишь. Но, может быть, здесь разгадка их притягательной силы для автора — в резкой отличительности таланта, в одержимости творчеством, в буйной и щедрой смелости.

И тут нам открывается важная грань книги: уступая устному рассказу-показу в непосредственной изобразительности повествования, она дала исследователю новые, «письменные» средства. В рассказе-статье он смог пойти дальше в раскрытии образов разных художников, чем в выступлении со сцены.

Прочитайте с этой точки зрения, например, статью «Владимир Яхонтов». Автор стремится воссоздать облик артиста, рассказать о его голосе. Но ведь не только же в этом его задача! К Андроникову-рассказчику незаметно присоединяется Андроников-

исследователь, и вот уже мы входим в лабораторию творчества Яхонтова, знакомимся с его монтажами, с их неожиданными переходами от классики к сегодняшнему дню, веселыми, ироническими ассоциациями, переборами, со всем тем, что дает автору право сказать не только о чтении Яхонтова, но и о его своеобразной драматургии.

Вот почему никак нельзя отнести к этой книге лишь как к записи устных рассказов — они получают здесь новое измерение, идут вглубь, становятся аналитическими.

Страницы о Лермонтове, о его юношеской любви, о его путевых рисунках, о судьбе его портрета читаются с неотрывным интересом, но в них нет никакой беллетристической облегченности; это рассказы-исследования, рассказы-открытия.

В «Советском писателе» любовно отнеслись к этой книге, дали ей необычный широкий формат, щедро снабдили иллюстрациями — редкими, уникальными. Но все-таки у полиграфии ограниченные возможности.

Эта оригинальная книга наталкивает на мысль о новой книге Ираклия Андроникова, в которой еще смелее будет проявлена ее «концертная» природа. Пусть это будут очерки с записями на пленку или с пластинками. Живая, говорящая, долгоиграющая книга, которую читают, смотрят, слушают.

Наше время научилось уважать межграничные области знаний, наук, искусств. Ираклий Андроников расположился со своим ни на что другое не похожим театром там, где «не положено». Он сумел доказать свою правоту, глубокую естественность своей оригинальности.

Андроников чаще всего рассказывает о прошлом. Но сам он — глубоко сегодняшняя фигура, ему хорошо, привольно, удобно на концерте, на телеэкране, в кинокадре. А может быть, андрониковский жанр, который кому-то покажется «промежуточным», несет в себе нечто от непривычно нового искусства?

3. ПАПЕРНЫЙ.



ДВЕ БИОГРАФИИ

Стефан Цвейг. Бальзак. Перевод с немецкого А. Голембы. Изд. 2-е. «Молодая гвардия». М. 1962. 494 стр.

М. Булгаков. Жизнь господина де Мольера. «Молодая гвардия». М. 1962. 240 стр.

Зачем, в самом деле, один писатель берет-ся писать о жизни другого? Как будто у великих деятелей культуры прошлого мало своих биографов, истолкователей, которые знают о них все, что можно знать, тщательно описывают и проверяют все даты, факты, документы и вежливо спорят между собой по поводу возможных разночтений... А все-таки что-то побуждает иной раз известного прозаика или драматурга, оторвавшись от собственных тем, наблюдений и картин, окунуться в жизнь своего давно умершего собрата по перу, пережить вместе с ним муки и откровения его труда, мятрства его судьбы.

Что это, профессиональный интерес? Человеческое любопытство? Уважение к литературному преданию? Кажется, что-то большее.

Вот две биографии великих французов — Бальзака и Мольера, одна из которых написана австрийским новеллистом и романистом, другая — русским драматургом. Читая их, видишь, какое личное, человеческое отношение сохраняют авторы к героям

своих книг; точно перешагнув через рознь эпох, национальностей, среды, они чувствуют с этими людьми кровную близость; вспоминая о них, решают какие-то важнейшие для себя, глубоко сокровенные вопросы жизни и искусства.

Книга Цвейга о Бальзаке не похожа на идиллическое житие, хотя автор — это видно по любой странице — восхищен, захвачен стихийной мощью гения Бальзака и его подвижнического труда. Цвейг обрушивает на нас каскады остроумных сопоставлений, блестящих характеристик, ловко отобранных и сцепленных цитат, из-за которых сначала, как в дымке, возникает неуклюжая, рано расплывшаяся, но подвижная фигура Бальзака, одетого неопрятно, безвкусно и, однако, с плебейской претензией на роскошь; дымка рассеивается — и вот он перед нами въявь, со своим неумеренным раблезианским аппетитом к жизни и трудовым аскетизмом, с дьявольским темпераментом и упрямой волей, которые суть половина его гения.

Цвейг не был бы Цвейгом, если бы био

графья Бальзака под его пером не обрела бы вид романа, если бы автор, иначе сказать, не использовал бы в жизни своего героя все, что давало возможность построить книгу как роман. Сам Бальзак мало помог ему в этом. Он не участвовал в морских сражениях, как Сервантес, не сражался за свободу чужой страны, как Байрон, не был королевским министром, как Гёте, не водил дружбу с лучшими умами Европы, как Вольтер. Вся жизнь его — вечная унизительная зависимость от нужды, счета, неоплаченные векселя, попытки скрыться от кредиторов, отчаянная погоня за деньгами — и каторжный, изматывающий труд, в пятьдесят лет загнавший его в могилу.

Бальзак — данник искусства, вечный его раб, и другой судьбы у него нет. Временами, точно спохватываясь, что годы уходят, что дни его поделены между прозаическими расчетами и иллюзорным миром творчества, он пытается создать из своей жизни некую обдуманную композицию, внести в нее хотя бы элементы романтики, свободы, поэзии. Женщины, которых он любит, наполовину плод его легко воспламеняющейся фантазии, так как отношения с ними поддерживаются обычно с помощью заочной переписки. Фантазия и его знаменитая трость с бирюзой, и какие-то необыкновенные пуговицы на фраке, которые должны ему помочь завоевать парижские салоны. Точно так же, как фантазия — необыкновенно заманчивый, но абсолютно нереальный проект словолитни, или намерение эксплуатировать серебряные рудники в Сардинии, или мечта выращивать ананасы в Жарди. При всей изощренной обдуманности его затей, Бальзака губит как раз его фантазерство, прямо-таки ребяческая непрактичность: гений искусства и «гений приобретаемости» несовместимы.

И как венчает эту тему призрачности самоутешений Бальзака, его пустых надежд на богатство и личное счастье одна подробность, на этот раз как нарочно придуманная для романа — романа его жизни! Уже где-то на последних страницах книги Цвейг рассказывает, как, вырвав, казалось, у судьбы ее последнюю милость, измученный и постаревший Бальзак подъезжает к своему дому на Рю Фортюне с госпожой Ганской, ставшей наконец его женой, — мгновение, о котором он так долго мечтал и которое так тщательно готовил, — но дом,

согласно его приказанию роскошно убранный и сияющий огнями, не впускает его. Двери наглухо заперты, а слуга Франсуа, который по ритуалу, заранее обдуманному Бальзаком, должен встретить супругов на пороге, держа в руках шандал, увитый цветами, — этот Франсуа буйствует в запертых комнатах: он сошел с ума. Не надо быть суеверным, чтобы увидеть в этой трагической подробности некое поэтическое предзнаменование близкой гибели героя, лишний раз убедившегося в тщете своей погони за личным благополучием и успехом.

Может быть, педантичный критик найдет в книге Цвейга излишества психоанализа, укажет на недостаточно широкое социальное объяснение творчества Бальзака — и будет, вероятно, прав. Но читатель, я уверен в этом, окажется менее строг к автору, которому удастся внушить нам живое чувство уважения к поразительной силе и мощи жизнедеятельности героя, заразить нас его обаянием.

Одно из самых ярких мест в книге — описание рабочего дня Бальзака или, лучше сказать, его рабочей ночи, потому что Бальзак, больше всего дороживший тишиной, непрерывностью и абсолютной сосредоточенностью своего труда, садился писать в полночь, поднимаясь из-за стола лишь когда совсем рассветало и сквозь ставни начинал пробиваться уличный шум. Давно ставший литературной легендой фантастический, маниакальный труд Бальзака при свечах, с запертыми дверьми, с этим подхлестыванием себя крепчайшим кофе Цвейг выводит из рамок бытового анекдота и заставляет задуматься о писателе как о великом подвижнике искусства.

Мы готовы простить Бальзаку его бездарность в роли светского льва, ненасытный снобизм, побудивший его без всяких на то оснований присовокупить к своему имени частицу «де», его бесплодные аферы, его немного смешные, хоть чем-то и трогающие романы с пожилыми, отвешающими женщинами, его вдохновенные обманы и легкие заблуждения. Мы готовы простить ему все это за одержимость творческим трудом, приносившим ему единственно необманное счастье.

В работе Бальзака есть что-то стихийное. Двадцать, тридцать, сорок страниц в день — это еще мало. Рассказы, написанные за одну ночь, романы, создававшиеся в считанные недели, а потом — мука типографских

наборщиков — гранки Бальзака, имевшего обыкновение держать по пять, десять и даже пятнадцать корректур одной вещи.

«Галерный каторжник» работы, он, спеша на свидание к возлюбленной, заставляет ее считаться с привычками и ритмом своего трудового дня. Угодив в тюрьму за отказ исполнять воинскую повинность, он и там пристраивается марать свои корректуры.

Как будто сама природа порождает этот феноменальный труд, это сумасшедшее извержение планов, затей, эту чудовищную работоспособность и щедрость замыслов, порой граничащую с неразборчивой расточительностью.

Трудно представить себе, как это один человек мог дерзнуть замыслить «Человеческую комедию», эту всеобъемлющую картину жизни буржуазного общества, и не только замыслить, а в значительной части исполнить свой план в семидесяти четырех романах, многочисленных рассказах и очерках — шедеврах, медленно созревающих в суете, толчее, на торжище, и оттого, по внешней видимости, так легко рождавшихся в ночном безмолвии пустой комнаты с глухо задернутыми шторами.

Работа для Бальзака — его надежда, его гордость, если угодно — его тщеславие, и в этом выразилась черта глубоко демократическая. Не зря Цвейгу кажется, что стоит подвизать его герою широкий хозяйский фартук — и его легко будет представить себе за стойкой любого кабака на Юге Франции. «Как пахарь за плугом, как водонос на мостовой, как сборщик налогов, как матрос в марсельском притоне, — продолжает свою мысль Цвейг, — Бальзак всюду производил бы естественное впечатление. Естествен и натурален Бальзак с засученными рукавами, небрежно одетый, как крестьянин или пролетарий, как народ, частица которого он есть».

Без всякого преувеличения, без всякой натяжки труд Бальзака может быть приравнен к самым тяжелым видам физического труда — к труду пахаря, каменотеса, землекопа. Не только сознание своего духовного могущества, но и эта добровольная каторга труда рождает у художника высокое чувство собственного достоинства.

Своим рассказом о Бальзаке Цвейг подбывает меланхолическое, обывательское отношение к художнику как к дармоеду, гуляке праздному, сидящему на шее трудового

народа. А вместе с тем он заставляет вспомнить с презрением о бездельном, дилетантском легкомыслии людей, паразитирующих на искусстве.

Надо было много раздумывать обо всем этом и о своей писательской судьбе в частности, чтобы, как это сделал Цвейг, со свежестью нового открытия понять старую-старую истину: творческий труд — не легкое и приятное занятие, а призвание и подвижничество; это такой вид человеческой деятельности, который не менее ответствен и важен, чем добывание хлеба и одежды.

Если у Цвейга жизнеописание Бальзака по форме напоминает психологический роман, то булгаковский «Мольер» походит скорее на театральный сценарий, искусно разыгранный спектакль в костюмах и с мизансценами XVII столетия. Это и неудивительно, потому что в сжатой, выверенной прозе Булгакова всегда чувствуешь его талант драматурга. Да к тому же почти одновременно с повестью Булгаковым была написана пьеса о Мольере, и эти две работы писателя связаны между собою очень тесно.

Читая книгу, точно видишь театральные выходы, обдуманно распланированные автором. «И вот тут, при овете моих свечей, в открывшейся двери появляется передо мною...» — так частенько «вводит» Булгаков на сцену действия новых лиц.

Непринужденная беседа автора в «Прологе» повести с акушеркой, держащей на руках младенца Поклена, настраивает читателя на особый лад. В стиле Булгакова ирония разрушает возвышенный или сентиментальный тон, в который рискует впасть биограф, поклоняющийся своему герою. Сдвиги времени, легко переносящие автора повести, облаченного в старинный кафтан и вооружившегося гусиным пером, в XVII век и, напротив, как бы воскрешающие Мольера в XX столетии, напоминают условные приемы современного театра и тоже несут заряд внутренней иронии.

Булгаков-художник вступает в короткие отношения со стародавней эпохой. В бытовых жанровых картинах поры царствования короля-Солнца есть та подвижность, красочность, живая конкретность, которая далека и от музейно-антикварной статичности, и от бойкой поверхностной модернизации и которую приносит лишь настоящее худо-

жественное прозрение в прошлое. Обзор кочующих по дорогам Франции лицедеев или «оплеванная голубая гостиная» изображены у Булгакова на том «уровне реальности», когда чувствуешь себя соучастником бесконечно далеких по времени событий. О парижском театре на Болоте или о знаменитой ярмарке у Нового моста автор рассуждает с такой непосредственностью воображения, будто сам только что явился оттуда.

Булгаков — биограф и историк не так безупречен.

Если взглянуть на повесть о Мольере просто как на биографию драматурга, в ней, вероятно, легко обнаружить пропуски, неточности, односторонние толкования. Во всяком случае профессор Г. Бояджиев вынужден не однажды корректировать в примечаниях исторические просчеты и ошибки нашего автора.

Булгаков почти не посвящает нас в процесс творчества своего героя. Это таинство свершается вне поля зрения читателя, точно за кулисами, а на страницы книги, как на авансцену театра, Мольер выходит обычно с готовой рукописью в руках. Можно подумать даже, что Булгакову не слишком интересно рассказывать о самих сочинениях драматурга: он почти не цитирует его комедий, а пересказывает их сухо, бегло. Едва ли не больше занимают его затянувшиеся в сложный узел отношения в семье Мольера: тайна, окружавшая его близость с двумя женщинами — Мадленой Бежар и юной Армандой, в которой недобрая молва признавала его дочь; а позже интрижка приемного сына Мишеля Барона с молодой женой Мольера, драма ревнивой старости, досада на тающие силы. По поверхностному чтению книга может показаться мелодрамой из жизни порочного века — не больше.

Попробуем подойти к повести Булгакова иначе. Не будем выговаривать ему за невольные промахи и увлечения, попытаемся понять суть его замысла.

В отличие от Цвейга, воспевшего в книге о Бальзаке стихийную силу таланта, достоинство художника, покупаемое подвижническим трудом, Булгаков принимает все это за нечто безусловное, вынесенное за скобки его повествования о Мольере. Он весь сосредоточен на другом: как проби-вал себе дорогу талант, в какое взаимо-

действие вступало уже созданное художником произведение с публикой, властью, обществом.

В самом характере Мольера, каким его рисует Булгаков, есть черты, мало к нему располагающие: он часто тяжел, неприятен, то крайне самолюбив и заносчив, то слаб и нерешителен — нелегко, видно, для странствующего комедианта груз собственного гения. Но одно неизменно привлекает в нем — его полная одержимость театром, вера в свое призвание, самозабвенная и трогательная жертвенность во всем, что касается спектакля, труппы, актеров. Пережив катастрофический провал первого созданного им театра, наивно названного Блестящим, гонимый заимодавцами и ростовщиками, Мольер покидает столицу и долгие годы мыкается со всей труппой по провинции, прежде чем ему вновь удастся завоевать Париж.

У Булгакова вехами в истории мольеровского театра служат столько же новшества в репертуаре, сколько перемены его покровителей, капризы в их настроении. Первым увлекся мольеровской труппой принц де Конти, который пригласил ее в свой замок, щедро наградив комедиантов и не оставляя их своим попечением до тех пор, пока из фазы увлечения театром не перешел в фазу изучения религиозно-нравственных вопросов. Какой-то священник посоветовал ему оставить театральные забавы, и принц охладел к Мольеру. Позднее Мольеру удалось добиться покровительства Филиппа, герцога Орлеанского, и наконец посчастливилось привлечь внимание короля.

Увы, Мольер нуждался в высоком покровительстве не только из-за денег. Он должен был заботиться о самозащите, потому что вовсе небезопасным для драматурга делом было посмеяться над лицемерием Тартюфа, лжеученостью философов Аристотелевой школы или даже над бессильной в ту пору медициной. Всегда находились доброхоты, готовые уличить Мольера в том, что он искажил образ французского врача, показал теневые стороны версальской жизни. С комедиантами церемонились не слишком, и оскорбленные вельможи поступали в согласии с патриархальной простотой нравов: задетый чем-то герцог де ла Фейяд в кровь разодрал Мольеру лицо алмазными пуговицами камзола, делая вид, что сжимает его в объ-

тиях, а герцог де Монтозье сулил избить его палкой. К этому стоит прибавить, что многие зрители партера, даже не принимая насмешек на свой личный счет, все-таки считали себя отчасти уязвленными. Это происходило потому, что парижане того времени, как объясняет Булгаков, «желали видеть мощных героев в латах, героев громогласных, а не таких скромных людей, какими сами были парижане в жизни». Мольер обижал их своей верностью натуре.

Вот почему драматург вынужден был заранее добиваться сочувственных рецензий от короля и кардиналов. Вот почему посылал свои комедии во дворец с письмами, приправленными довольно грубой лестью.

В предисловии к книге Г. Бояджиев упрекает Булгакова за то, что тот показал «сервиллизм» Мольера, его жалкую зависимость от власти имущих. Сам он считает, что Мольер «вовсе не был так уж озабочен успехом у сильных мира сего, ибо для этого художника решающим был успех у массы зрителей, заполняющих просторы партера». Аргументация сомнительная, потому что просторы партера королевского театра заполняло тоже, наверное, не простонародье. Но чувство, внушившее исследователю желание поспорить с Булгаковым, психологически понятно. Трудно смириться с мыслью, что самое ничтожное, самое по существу непрочное — внешний успех или неуспех, и успех не столько у театральной залы, сколько у королевской ложи, — вот от чего зависела судьба Мольера-драматурга. В самом предположении, что гению нужен был высокий покровитель, есть нечто унижающее наше человеческое чувство.

И все-таки Булгаков имел святое право показать Мольера без прикрас, с тем внутренним драматизмом, который неизбежно создавала его зависимость от верхушки общества и деспотической власти. Г. Бояджиев беспокоится, не наносит ли это ущерб признанию народности Мольера. Но народность тоже не субстанция, безотносительная к условиям времени. Да, Мольеру, чтобы быть услышанным народом, приходилось искать благорасположения короля. И тут, если рассудить, гораздо меньше стыдного для самого художника, чем для тех понятый, какие сложились в обществе.

Что может быть больше для автора, чем видеть свой труд напрасным, слово свое не

дошедшим до тех, к кому оно обращено? Может быть, особенно верно это для драматурга, пьеса которого и живет лишь на сцене, в прямом общении с публикой. Вот почему под пером Булгакова трагический смысл приобретает история отношений Мольера с королем, церковью и придворными, история за прещ е н и я его комедий и редких успехов лести, открывавших им дорогу на сцену.

Нельзя сказать, чтобы покровительство короля дешево стоило Мольеру. Король-Солнце, принимавший за чистую монету похвалы своему художественному вкусу, считавший непогрешимыми свои суждения об искусстве, заставлял драматурга безжалостно кромсать его пьесы.

Король самозабвенно любил балет — и Мольер вынужден был портить свои комедии, вставляя танцевальные номера. Король ссорился с турками — и Мольер должен был мобилизовать всю свою изобретательность, чтобы в пьесе, которая никакого отношения к Турции не имела, мимоходом высмеять турок. И это было бы еще полбеды. Чтобы не навлечь на себя ненароком гнев короля и вельмож, Мольеру приходилось прибегать иной раз к тому крайнему средству самозащиты, о котором с великой горечью пишет Булгаков: «Способ этот издавна известен драматургам и заключается в том, что автор под давлением силы прибегает к умышленному искалению своего произведения. Крайний способ! Так поступают ящерицы, которые, будучи схвачены за хвост, отламывают его и удирают. Потому что всякой ящерице понятно, что лучше жить без хвоста, чем вовсе лишиться жизни». Именно так пришлось поступить Мольеру со «Смешными драгоценными» и «Тартюфом».

В своей повести Булгаков верен художественной и психологической правде, помогающей ему понять правду историческую. Ему чужда плоская аллегоричность.

И все-таки возникает ощущение, что жизнь господина де Мольера имеет большее отношение к жизни гражданина Булгакова, чем это может сначала показаться.

Когда, повествуя о злоключениях «Тартюфа», Булгаков спрашивает: «Кто осветит извилистые пути комедиантской жизни? Кто объяснит мне, почему пьесе, которую нельзя было играть в 1664 и 1667 годах, стало возможным играть в 1669-м?» — мы невольно

думаем о нем самом, о его «Беге» и о его «Мольере». Теперь мы знаем, почему талантливая пьеса «Бег», снятая с репертуара в 1928 году и грубо, безосновательно названная Сталиным в его письме к В. Билль-Белоцерковскому «антисоветским явлением», появилась на сцене лишь в 1957 году. Знаем и то, почему биография Мольера, о которой мы говорим, законченная еще в 1933 году, могла увидеть свет лишь в 1962-м.

Нельзя забывать, конечно, что путь Булгакова в советской литературе был не прям и не прост. Безупречно честный, талантливый и любящий свою родину художник не избегал в своем творчестве отдельных заблуждений и неудач. Но, оценивая его подлинное место в нашем искусстве, приходится лишь сожалеть, что, со временем все глубже сознававший гражданскую ответственность своего таланта перед народом и обществом, Булгаков-драматург столкнулся с произво-

лом личного вкуса, грубым субъективизмом навязываемых ему решений.

Так «мольеровская тема» у Булгакова поворачивается к нам еще одной своей гранью.

Можно, вероятно, написать биографию Мольера, куда более полную и точную, но такую книгу, какую написал Булгаков, никто, кроме него, не мог бы написать, также как никто не рассказал бы о Бальзаке так, как рассказал о нем С. Цвейг.

Кто лучше самого художника может знать о празднике и муках его труда, о том, как рождается произведение и как оно находит дорогу к тем, для кого оно создано?

Вот почему читатель с доверием и признательностью остановит свой взгляд на биографиях Мольера и Бальзака, написанных пером людей, горячо преданных искусству.

В. ЛАКШИН.



ОБ ЭСТЕТИКЕ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

А. А. Лебедев. Эстетические взгляды А. В. Луначарского. Очерки. «Искусство». М. 1962. 248 стр.

Знаменательно, что в последние годы возрастает интерес к творчеству соратников и учеников В. И. Ленина — А. Луначарского, В. Воровского, М. Ольминского, С. Шаумяна. В их многогранных работах по теории и истории литературы, критических статьях и рецензиях, насыщенных боевым духом революционной идеологии, современные работники культурного фронта находят плодотворную традицию, помогающую глубже подходить к коренным проблемам сегодняшнего дня.

Отметим, что до последнего времени не было обобщающего труда, посвященного эстетическим воззрениям Луначарского. Вышедшая в 1939 году книга А. Кривошеевой «Эстетические взгляды А. В. Луначарского», где был собран довольно богатый и разнообразный материал, в значительной мере устарела, и поэтому радостно отметить появление книги А. Лебедева.

В предисловии автор указывает, что «цель данной книги — познакомить читателя хотя бы в самых общих чертах с наиболее важными положениями эстетики Луначарского,

с наиболее характерными чертами его художественно-критического метода, указав при этом на основные этапы творческой эволюции этого оригинального мыслителя». Осуществлена ли задача, поставленная перед собой автором? Несомненно. Читатель может составить достаточно полное представление о движении творческой мысли А. В. Луначарского от дооктябрьского периода до начала тридцатых годов.

Первая глава книги «Годы странствий» посвящена творчеству Луначарского как эстетика и критика в дореволюционные годы. А. Лебедев подробно останавливается на анализе эстетических и критических взглядов молодого Луначарского и особенно тщательно разбирает «Основы позитивной эстетики» — работу, опубликованную в 1904 году в махистском сборнике «Очерки реалистического мировоззрения» и переизданную спустя два десятилетия. А. Лебедев справедливо критикует философско-политическую непоследовательность раннего Луначарского, сводящего эстетику к биологическим факторам, имеющего в виду как

бы некоего абстрактного человека вне классовых признаков.

К числу бесспорных заслуг А. Лебедева надо отнести оригинальную и правильную постановку вопроса о «ниществе» молодого Луначарского. До сих пор исследователи мало касались этой проблемы, видя в ней лишь случайность, а между тем в некоторых ранних работах Луначарского есть следы мечты Ницше о сильном «сверхчеловеке». Разумеется, это не значит, что Луначарский принимал расистские теории немецкого философа. А. Лебедев вполне основательно связывает абстрактно-биологический характер «позитивной эстетики» Луначарского с восприятием нищезанского героя как жизнелюбивого, смелого, незнающего преград человека, как «мост, ведущий к высокой цели». Проследив эволюцию взглядов Луначарского на Ницше, А. Лебедев определяет, какие черты учения немецкого философа он интерпретировал «в духе своего собственного революционно-романтического идеала».

А. Лебедев ограничил свое исследование эстетики Луначарского в дооктябрьский период разбором лишь литературно-критических и философских его работ, утверждая, что работы Луначарского «по вопросам изобразительного искусства и музыки эпизодичны и не всегда профессиональны». Сознательное ограничение материала оправдано, так как деятельность Луначарского отличалась необычайной многогранностью, но нельзя объяснять это ограничение «непрофессиональностью» Луначарского как художественного и музыкального критика. Недаром же сам автор называет блистательными образцами художественно-критического стиля «Философские поэмы в красках и мраморе» (1909), не говоря уже о цикле «Парижских писем» (1913) и работе «Культурное значение музыки Шопена» (1910). Своеобразие таланта А. Луначарского выражается, между прочим, и в том, что он во всех областях литературы и искусства черпал материал для своих художественно-эстетических воззрений.

Коренной вопрос деятельности Луначарского в советский период — это вопрос о связи новой, пролетарской культуры с традициями прошлого и, стало быть, вопрос о привлечении на сторону пролетариата лучшей части старой интеллигенции. Темы «интеллигенция и народ», «интеллигенция и революция», «интеллигенция и партия» — веду-

щие в творчестве Луначарского. «Те партийные принципы, на которых Луначарский стремился строить новые отношения с интеллигенцией, непосредственно связаны с политическими основами борьбы за создание новой культуры и нового искусства — борьбы, в которой Луначарский видит смысл всей своей деятельности и своего творчества», — пишет А. Лебедев. Он дает характеристику различных слоев старой интеллигенции, показывает, какими путями Луначарский завоевывает ее авторитет, уважение и любовь. Благодаря своим личным качествам — широкой эрудиции, большой выдержке и тактичности, внимательности и чуткости — А. Луначарский сумел расположить к себе и привлечь на сторону советской власти даже наиболее нерешительных и колеблющихся людей литературного и артистического мира.

А. Лебедев правильно трактует взгляды Луначарского на Пролеткульт, отмечая их некоторую непоследовательность, как это имело место в известном эпизоде на съезде Пролеткульта в октябре 1920 года, когда Луначарский в своем выступлении отошел от указаний Ленина и поддержал притязания Пролеткульта на «автономию». Об этом эпизоде А. Лебедев рассказывает, пользуясь новыми материалами, учитывая последние исследования в этой области.

Шаг за шагом А. Лебедев подводит читателя к всестороннему пониманию теории художественной критики, как ее трактовал Луначарский. Однако при исследовании генезиса художественной критики автор порой преувеличивает влияние Плеханова на методологию Луначарского, что вызвало, между прочим, упрек А. Лебедеву в статье «Об отношении к литературному наследию А. В. Луначарского» («Коммунист», № 10, 1962). Ради справедливости скажем, что упрек этот относится больше к статье А. Лебедева, опубликованной в журнале «Вопросы литературы» (№ 12, 1958), а в рецензируемой книге степень влияния Плеханова на Луначарского показана точнее, без лишних преувеличений. А. Лебедев отмечает, что «к теоретико-эстетическим и художественно-критическим взглядам Плеханова Луначарский стремится подойти с точки зрения конкретно-исторической», что он «менее всего склонен догматизировать плехановскую концепцию».

Существенная для марксистской эстетики проблема отношения художника к действи-

тельности определяет содержание главы «О богатстве реализма». Здесь автор анализирует взгляды Луначарского на природу реализма и его историческое развитие вплоть до возникновения социалистического реализма.

Изучение эстетических взглядов Луначарского приводит А. Лебедева к наблюдениям над методом его как критика. Автор говорит о борьбе, которую Луначарский-критик вел в двух направлениях. С одной стороны, ему приходилось выступать против формально-эстетической критики, основанной на проповеди «общественно незантересованного» отношения к целям искусства и к самому искусству как таковому; с другой стороны, Луначарский видел большую опасность в вульгарно-социологическом уклоне критики, когда игнорировалась художественная специфика искусства. Сам Луначарский в течение многих лет создавал блестящие образцы критики, как бы уравнивающей эстетический и социологический критерий.

А. Лебедев напоминает мысль Луначарского о том, что критик неизбежно должен быть художником, не только дающим свою оценку разбираемым произведениям, но как

бы вторично воссоздающим образы автора. Отсюда — прямой переход к анализу особенностей критического творчества Луначарского. На живых примерах автор книги показывает, что Луначарский был именно таким критиком-художником, который умел воссоздавать творческий мир того или иного деятеля искусства, будь это писатель, живописец или композитор.

Жаль, что из поля зрения исследователя выпали литературные произведения Луначарского, в частности его пьесы. А ведь в них разбросано немало суждений критического и эстетического характера, только не в публицистической, а в художественной форме. Кстати, литературный материал, привлеченный к исследованию, мог бы подкрепить суждение А. Лебедева о творческой манере Луначарского, о своеобразном сочетании в его художественных произведениях приподнятого романтического тона с реализмом содержания.

При отдельных недочетах, содержательная книга А. Лебедева восполняет существовавший до сего времени пробел в изучении творчества Луначарского — эстетика и критика.

Александр ДЕЙЧ.



ПЕРЕЧИТЫВАЯ БЕХЕРА

Иоганнес Р. Бехер. Избранные сочинения. Перевод с немецкого. Под редакцией Н. Вильмонта. Составитель Л. Гинзбург. Предисловие И. Фрадкина. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 806 стр.

Шеститомное собрание сочинений Иоганнеса Бехера, вышедшее в ГДР в 1952 году, за шесть лет до смерти поэта, открывается сонетом «Мы — граждане твои, Двадцатый век!». Это стихотворение поставлено и в начале нового советского однотомика как своего рода эпиграф ко всему изданию. Оно завершается так:

Дивясь, гляжу на твой бурливый бег,
Мой грозный век!.. И если б дали право
Из всех веков себе избрать любой,
Я все равно остался бы с тобой,
Чтоб вновь поднять свой голос величаво:
— Мы — граждане твои, Двадцатый век!

(Перевел С. Северцев)

«Поднять свой голос величаво» — это сказано переводчиком не слишком удачно. Но о переводах речь впереди. Важно, что

стихотворение о бурливом двадцатом веке осознавалось самим автором как программное.

Автобиографический роман Бехера «Прощание» начинается с многозначительной сцены. Маленький Ганс Гастль встречает с родителями новый, 1900 год. Мальчик полон ожиданий: он слышал от старших, что наступает не просто новый год, но и новый век. Должно произойти что-то неожиданное и необычайно важное: землетрясение? конец света? Ганс подхватывает отцовский тост: «Да здравствует двадцатый век! Ура!» Но, оказывается, ничего не произошло: свечи на елке мирно догорают, дедушкин портрет по-прежнему висит в столовой над сервантом и за новогодним завтраком Ганс слышит обычные родительские наставления: ешь осторожно, не за-

пачкай чистую скатерть... Ребячьи мечтания о великих потрясениях и переменях сталиваются с рутинной благопристойного немецко-бюргерского бытия. Ничто не меняется. И так и не изменится?..

Поиски смысла двадцатого века совпадают для Ганса с поисками смысла собственной жизни. Его юность протекает в томительно-тревожном ожидании великих событий. Много раз в повествовании возникает мотив, знакомый нам по бехеровской поэзии: все должно стать по-иному... В начале войны Ганс, не желающий сражаться за кайзера, прощается навсегда и с родительским домом, и со всем старым бюргерским миром — таков исход спора. И таков исходный пункт развития писателя-революционера. В книге «В защиту поэзии» Бехер вспоминает о том, как трудно ему было уяснить себе «загадку века». Помогла Октябрьская революция в России, помог Ленин. «Для того, кто не знает трудов Ленина, загадка нашего века остается неразгаданной».

Перечитывая роман «Прощание» вперемежку со стихами Бехера разных лет, мы яснее видим преимущества новой книги по сравнению с прежними советскими изданиями произведений писателя. Дело не только в том, что тут впервые публикуется много стихотворений, раньше у нас не переводившихся, и напечатана драма «Зимняя битва (Битва за Москву)», написанная в 1941 году и ставившаяся после войны Бертольтом Брехтом в его театре. Пожалуй, еще важнее, что мы впервые так отчетливо ощущаем единство творческого облика Бехера, запечатлевшееся в разных жанрах.

Роман «Прощание» вобрал в себя многие характерные темы и мотивы поэзии Бехера. Воспоминания о детстве, о скучном уюте зажиточного дома, о недобром отце и тупых учителях, заставлявших зубрить «священный хлам» (цикл «Детство, ты стало легендой», «Рифмованная автобиография»); фольклорный мотив «Искателя счастья», давший название одному из стихотворных сборников периода эмиграции; образ родного города Мюнхена с его картинными галереями, пышными церковными зданиями и мансардами артистической богемы, где зарождались первые стихотворные «тезисы-проклятия» («Мюнхен в моем творчестве»), а главное, ненависть к немецкой военщине и ее идеологам, сквозная тема поэзии Бехера на протяжении почти полу-

века,— все это оживает, обретает новые краски и оттенки на страницах «Прощания».

Связь романа Бехера с его поэзией сказывается не только в содержании, но и в самой фактуре прозы. Роман этот по-своему подтверждает справедливость замечаний, которые делали по разным поводам и Томас Манн и Хемингуэй, о влиянии музыки на современную прозу. Весь роман пронизан словами-лейтмотивами, которые обозначают разные стороны и этапы духовного развития героя. Повышенная впечатлительность ребенка придает своеобразную эмоциональную окраску всем явлениям окружающего мира. «Родители молчали. Лицо у мамы было заплаканное. «Видно, и руки ее плакали»,— подумал я,— такие они были красные; вязальные спицы ворочались в них, как в ране. За столом все сидели в полном безмолвии. Ножи и вилки скрещивались в воздухе. Тарелки, казалось, были из воздуха. Стулья парили в воздухе. Молчание проникло и в кухню. Христина молчала... Что бы я ни вытворял, я наткнулся на молчание. Я до крови расшибался о молчание, расшибался до крови и молчал».

«Прощание» вызывает ассоциации не только с поэзией Бехера, но и с романом «Люизит», вышедшим на пятнадцать лет ранее. Понятно, почему «Люизит», написанный под сильным влиянием экспрессионизма, давно не переиздавался и не вошел в «Избранные сочинения»: эту книгу трудно читать, многое в ней кажется незрелым и устаревшим. Современному читателю утомила бы и взвинченность тона, и абстрактность многих характеристик, и обилие желовесных публицистических отступлений. Но в свое время роман этот привлек к себе большое внимание, вышел по-русски в трех разных переводах и помимо этого — на пяти языках народов СССР. А. М. Горький, не читавший стихов Бехера в оригинале, оценил талантливость писателя именно по роману «Люизит». «Люизит» явился в свое время, пожалуй, первой книгой, где западный революционный писатель постарался согласно ленинскому завету проникнуть в тайну рождения войны; при всей своей художественной плакатности и схематизме, это была вещь проныцательная и смелая. Любопытно, что отдельные страницы «Люизита» (особенно эпизоды домашней жизни молодого интеллигента Петера Фридьонга, становящегося коммунистом), предвосхища-

ют роман «Прощание» вплоть до прямого совпадения эпизодов и деталей.

Однако там, где молодой Бехер прибегал к «устрашающим» эффектам, к лобовым приемам выражения идеи, зрелый Бехер сумел достичь той же цели гораздо более тонкими и совершенными художественными средствами. В раннем романе писатель искал новую форму повествования, которая отразила бы своеобразие эпохи: до предела насыщал сюжет техникой и политикой, переводил рассказ о современности то в документальный, то в фантастико-утопический план. В «Прощании» осмысление эпохи глубже; взят, казалось бы, более узкий отрезок действительности, классовые конфликты не показаны прямо, а преломлены через сознание юного героя романа, но образы бехеровской прозы обрели здесь художественную пластичность, ранее им не свойственную. В «Люнзите» Бехер прямо перекидывает мост от настоящего к будущему, завершая повествование победой пролетарской революции на Западе. «Прощание» строится как рассказ о прошлом, однако освещение фактов, их морально-эстетическая оценка дается под углом зрения проблем и перспектив великой революционной эпохи: роман-воспоминание по сути дела обращен к социалистическому будущему и оригинальными художественными средствами борется за это будущее.

Сопоставление двух романов Бехера любопытно не только для тех, кто специально изучает творчество немецкого писателя-коммуниста. В развитии Бехера по-своему отразились пути революционной литературы Запада в послеоктябрьскую эпоху, становление метода социалистического реализма, принимавшее в каждой стране национально-своеобразные черты. Бехер, как и другие немецкие писатели его поколения, в молодости был экспрессионистом. Следы экспрессионизма есть и в «Прощании». В зрелой прозе Бехера отчасти сохранилась издавна ей присущая приподнятость интонаций, склонность к резким изобразительным приемам, незаметные переходы от реальности к видению, наваждению, кошмару. Отдельные эпизоды «Прощания» — например, финал, когда образы детства и юности Ганса обступают его, словно призраки, в момент ухода из родительского дома — могут даже показаться небезупречными с точки зрения строгой художествен-

ной меры. Но и без них не поймешь природу стиля Бехера.

Экспрессионизм был для Бехера не просто заблуждением или грехом молодости, а немаловажной фазой его писательской биографии.

Нет оснований придирается к составителю и редактору однотомника из-за того, что они почти оставили без внимания раннюю поэзию Бехера (за исключением разве только бунтарского стихотворения «Долой!»), — они следовали тем принципам отбора, которые приняты в немецком собрании сочинений 1952 года. Бехер в ту пору сам был необычайно строг к своему собственному прошлому. Но стоит отметить, что в 1961 году в ГДР вышла книга избранных стихов Бехера «От распада к торжеству», подготовленная Архивом Бехера при участии таких авторитетных писателей, как Эрнст Фишер, Стефан Хермлин, Виланд Герцфельде. Примерно треть этого сборника составляют стихи Бехера до 1924 года, в большинстве своем забытые, давно не переиздававшиеся. Хорошо, что друзья поэта вернули их немецким читателям. В этой части сборника много интересных поэтических произведений, проникнутых искренним мятежным пафосом и заслуживающих перевода на русский язык.

Очень важен для понимания творческой личности Бехера сонет «Партия», написанный в эмиграции:

Кем стать я мог бы, если б ты меня
Своим не воспитала верным сыном?
Взбесившимся, крикливым мещанином,
Что, все на свете в ярости кляня,

Себя терзает, водкой одурманен,
И, расточая звон роскошных строф,
В угоду тем, кто жизнью сам изранен,
Поет про горестный закат миров.

И, осознав, что никому не нужен
Мой крик недужный, мой натужный стих,
Давно бы я смирился и затих,
Давно висел бы, петлею задушен...

Но, от бесцельной гибели храня,
Ты воспитала, Партия, меня.

(Перевел С. Северцев)

Тут есть некоторые излишества самобичевания, но не в них суть дела. Поэт был глубоко искренен, утверждая, что именно причастность к революционной борьбе спасла его от пессимизма и одиночества, убергла от угрозы моральной и творческой

гибели, дала ему цель в жизни и вложила подлинно человеческий смысл в его поэзию.

Разумеется, Бехер никогда не был пассивным объектом воспитания. Он сам своими творческими поисками помогал закладывать эстетические основы передового, подлинно партийного искусства нашего времени. Он принял метод социалистического реализма не как директиву извне — он сам, живя в тридцатые годы в СССР, участвовал в выработке его коренных принципов. Теоретические работы, изданные Бехером в ГДР, — немалый самостоятельный вклад в эстетику социалистического реализма, а бехеровское художественное творчество (включая не только бесспорные успехи, но и эксперименты, пробы, поиски) — немалый вклад в его практику. Думается, что не стоит отыскивать дату, когда именно Бехер «перешел на позиции» социалистического реализма: важно, что он шел к этим позициям издавна, начиная с мятежной своей молодости. Однако именно в годы эмиграции Бехер, как не раз подтверждал он сам, пережил свое творческое «второе рождение», поднялся на новую ступень реалистического мастерства. Образ «человека нашего времени», гражданина двадцатого столетия в зрелой лирике Бехера, не утратив напора революционных сил, обогатился жизненной мудростью, новой широкой интеллектуальной интересов, новой теплотой душевной жизни.

Об этом переломе в поэзии Бехера времен эмиграции наша критика не раз уже говорила; о нем говорит И. Фрадкин в содержательной вступительной статье к одному тому. Перелом этот затронул, естественно, не только идейно-тематическую область — он сильно сказался и на художественных средствах. Поэтические признания самого Бехера помогают понять логику перехода от экспрессионистски беспорядочного словесного изобилия первых стихотворных сборников, от аскетически суровой агитационной поэзии двадцатых годов — к классической ритмике и строфике. Тут не просто возврат к традиции, а нечто более сложное. Стоит привести сонет, верно, с хорошим вкусом переведенный К. Богатыревым:

Когда поэзии грозит разгром,
И образы над пропастью повисли,
И тщетно бьешься над порожняком
Летающих строф, пренебрегая мыслью,

Когда в переизбытке впечатлений
Теряет остроту усталый взгляд
И в судорогах смерти и рождений
Меняет мир привычный свой уклад.

Когда не знает форма чувства меры
И выпирает, затрепав по швам,
Когда поэзия сошла на нет,

Тогда со строгою своей манерой,
Как символ стойкости являясь нам,
Выходит из забвения сонет.

Мы не можем согласиться с Бехером, когда он в книге «Поэтический принцип» рассматривает сонет чуть ли не как основной жанр современной поэзии. Но примечательно, что он на самом деле возродил к новой жизни эту традиционную, казалось бы, отжившую поэтическую форму. Творческая практика Бехера подтверждает то, что не раз писал он сам (наперекор собственному «Учению о сонете»): новое содержание может быть воплощено очень различными художественными средствами и приемами. Бехер выступал гражданином двадцатого столетия и тогда, когда он изливал свой протест против фашистских палачей в горьких, гневных стихах, не боясь надрывных интонаций, жестоких слов и резких перебоев ритма («Человек, который молчал», «Испанская инквизиция»), и тогда, когда он облакал свою мысль в классически уравновешенные строфы о Гёте и Бахе, о родной Швабии и о своем творческом труде.

Зрелая поэзия Бехера отличается большой шириной интернациональных интересов: тут и мотивы античности, и Париж, и Леонардо да Винчи, и война в Испании, и Есенин, и Маяковский... Совершенно понятно, что судьбы Германии, ее национальный позор и горе занимали в его поэтическом сознании особое место. Советские литераторы, знавшие Бехера лично, помнят, как отмечалось его пятидесятилетие в конце мая 1941 года в Москве. Поэту было невесело праздновать такую дату вдали от родины, находившейся под властью гитлеровских преступников, — мы все чувствовали это. На юбилейном вечере Бехер впервые прочитал известные стихотворения, где поразному раскрывался драматизм его судьбы: «Я — немец!», «Благодарность друзьям в Советском Союзе» и очень интересное, к сожалению, до сих пор не переведенное стихотворение о величии писательского призвания — «Großes, Großes ward mir aufgetragen». Во время Отечественной войны

Бехер очень много работал. За короткий срок возник большой цикл «Священная война», драма «Зимняя битва», много стихов-листовок, до сих пор как следует не изученных и не собранных. Этот период деятельности поэта отражен в новом однотомнике (как, впрочем, и в немецких изданиях) далеко не полностью.

В дневнике за 1950 год Бехер откровенно говорит о творческом кризисе, пережитом им после возвращения в Германию. Восстановить контакт с немецкими читателями, утраченный за годы изгнания, было не так-то легко. Образ послевоенной Германии, тема строительства новой жизни подчас приобретали у Бехера декларативный характер, стихам 1947—1952 годов иной раз не хватало жизненной конкретности — мы это чувствуем и по публикуемым в однотомнике переводам. Свои старые вещи Бехер порой подвергал жестокой переработке для новых изданий. Вряд ли стоило в советском сборнике избранных его сочинений всюду педантически следовать за «последней авторской волей». Стихотворения «Он мир от спячки пробудил — Ленин» и «Долог путь», в свое время хорошо переведенные В. Нейштадтом, лучше было бы дать в первоначальном варианте, сохранив их прежние революционные концовки. Кстати, и в немецком сборнике 1961 года стихотворение о Ленине напечатано в несокращенном виде.

В последние годы жизни тяжело больной Бехер пережил новый творческий взлет. Очень отраднo, что в однотомнике довольно широко представлена книга «Шаг середины века», вышедшая незадолго до кончины поэта, в 1958 году. Это книга смелой мысли и напряженного лиризма. Предчувствие близкой смерти, о которой говорится многократно, мужественно и прямо, не ослабляло связей художника с окружающей действительностью, не мешало ему радоваться успехам советских людей в освоении космоса («Вселенский манифест») и задумываться над тайнами поэтического слова («Мы — стихи — таим в себе загадку...»).

В ночь, когда тысячелетье —
Средь пожатий рук —
Неизведанное, третье
Встретит дружный круг,—

Предуказано в тиши мне
Вечность коротать,

Но мой голос в общем гимне
Прозвучит опять.

(Перевела О. Берг)

Бехера у нас переводят давно — как правило, с большим старанием и любовью. Новый однотомник — своего рода итог деятельности нескольких поколений поэтов-переводчиков, от покойного В. Нейштадта, который был первым пропагандистом поэзии Бехера у нас в стране, до молодых — О. Берг и К. Богатырева. В «Избранные сочинения» вошел ряд превосходно переведенных стихотворений, уже известных читателю. В их числе «Лютер» (Б. Пастернак), «Деревянный домик» (Н. Вильмонт), «Рименштейдер» (В. Левик), стихотворение из цикла «Шаг середины века» — «К семи уже темнеет...» (Л. Гинзбург). В книге немало удачных новых работ — отметим переводы М. Алигер, в частности философское стихотворение «Время», и роман в стихах «Возвращение неизвестного солдата», очень живо звучащий в переводе Е. Эткинды.

Но есть и не только удачи. Переводить Бехера вообще-то очень трудно. Это был поэт немецкой традиции, поэт интеллектуального, даже несколько рационалистического склада. Сила его лучших стихов не в метафоричности, не в изобразительной красочности, а в глубине мысли, облеченной в строгую, отточенную словесную форму. В лучших его стихотворениях слова работают с предельной нагрузкой, повторяются и варьируются в разных оттенках значений: на этом держится и смысловая и звуковая организация стиха. В произведениях малоудачных (бывали у Бехера и такие) логика переходит в риторику. Обидно, когда переводы не передают достоинств подлинника, но зато чутко улавливают и углубляют его недостатки! Переводя Бехера, важно иметь в виду, что он и в области формы был «человеком нашего времени». У поэтического языка двадцатого века есть свои особенности — это не обязательно «телеграфный стиль» и не обязательно цепь ассоциативных связей — у разных поэтов язык двадцатого века звучит очень по-разному. Но общая черта поэзии нашего века в ее лучших образцах — отвращение к штампу. Бывает досадно, когда штамп, который тщательно изгонялся автором, влетает обратно — через окно перевода.

Примеры? Их можно привести много. Да-

же многоопытные переводчики тут не безгрешны.

Стихотворение «Песнь о судьбе Германии», очень искреннее по тону, не безупречно по мастерству, растянуто. Но в подлиннике нет ничего похожего на то пустословие, какое мы находим в переводе:

Высокие дела считаю все,
Попытки к свету обратить свой взор,
Все образы, созвучья в их красе,
Все голоса, входившие в тот хор,
Что к возрожденью звал нас с давних пор...

В разных разделах книги попадают шаблонные образы, вялые строки, стертые общие слова:

Всей душой впитать тебя, большую,
Тщился я, восторга не тая,—
Облик твой с тех пор в груди ношу я,
Край родной, Германия моя!

Или:

Пойте песни нам о новой жизни,
Провода, звените громче лир!
Снова свет горит у нас в отчизне,
Наши руки изменяют мир!

Переводы, печатающиеся повторно, для данного издания пересматривались, под-

час дорабатывались. Но всегда ли к лучшему? В «Балладе о троих» (из драмы «Зимняя битва») первая строчка раньше печаталась так: «Эсэсовец взревел: «Зарыть жиды!» В исправленном виде она звучит: «Эсэсовец взревел: «Еврей, умри! Да, да!» Зачем приглаживать речь эсэсовца? Омерзительное слово «жид» в устах фашиста вполне естественно.

Есть в одном томике один раздел, который в целом мало удался,— «Любовь не знает покоя». Бехеровские стихи о любви, как вся его поэзия, несколько рационалистичны. Но в них есть своя человеческая непосредственность и сила страсти. В переводах эти стихи не производят впечатления.

«Избранные сочинения» — результат серьезной коллективной работы по изучению текстов Бехера и их поэтическому истолкованию. Но эту работу нельзя считать законченной. Наследие Иоганнеса Бехера — большое, увлекательное поле деятельности и для поэтов-переводчиков, и для исследователей.

Т. МОТЫЛЕВА.

★

Политика и наука

СОРЕВНОВАНИЕ И СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

В. М. Шамберг. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем (Критический очерк). Соцгиз. М. 1962. 192 стр.

Фриц Бааде. Соревнование к 2000 году. Наше будущее: рай на земле или самоуничтожение человечества. Сокращенный перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 260 стр.

Каким будет мир ближайших десятилетий? Что принесет человечеству соревнование двух систем — мирное сосуществование или всеобщую термоядерную катастрофу? Эти вопросы не сходят со страниц мировой прессы. Оно и понятно: соревнование и сосуществование — лейтмотив активных действий в защиту мира и социального прогресса. Эти проблемы стали также предметом исследования противников коммунизма. Не только темой их идеологических бестселлеров, но и солидных научных трактатов, выпускаемых многочисленными институтами и кафедрами «по изучению Восточной Европы», «советского блока» в Соединенных Штатах, Западной Европе, Японии.

Вот почему жанр советской научной лите-

ратуры, посвященной критике наших критиков, за последние годы стал одним из наиболее актуальных. Недавно такая литература пополнилась новой книгой кандидата экономических наук В. Шамберга «О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем». Она издана вскоре после выхода в свет сокращенного перевода книги западногерманского профессора, социал-демократа Фрица Бааде «Соревнование к 2000 году. Наше будущее: рай на земле или самоуничтожение человечества». С немецким профессором можно и нужно спорить по ряду тезисов о ходе и исходе великого соревнования двух миров, о роли атомной энергии и исследований космоса, о будущем человечества и по другим вопросам. Но характерно другое: и советский и

западногерманский авторы приходят к одному и тому же выводу — надо исключить войну из жизни общества, необходимо всеобщее и полное разоружение.

«Мир 2000 года,— пишет Бааде,— может стать вонистину прекрасным, чудесным миром. Голод может быть побежден, и ни один из обитателей Земли не будет тогда голодать. Все люди получают не только достаточное количество риса, кукурузы или пшеницы, но такое количество молока, мяса, рыбы, котрое необходимо им для полного сохранения здоровья и работоспособности... Каждая семья получит достойное человека жилище, по крайней мере с электричеством и водопроводом, а также с центральным отоплением в тех районах мира, где это необходимо... 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями в конце семидневки — цель, вполне достижимая для всех трудящихся мира, не говоря уже об одном, а то и двух продолжительных отпусках в год».

Такую идиллическую картину мира 2000 года рисует Бааде. Но ведь куда более обстоятельными и реальными штрихами нарисовано наше будущее в генеральной перспективе советской страны 1980 года — Программе КПСС.

Бааде вспоминает об утопическом романе американца Эдуарда Беллами «Год 2000. Ретроспективный взгляд на год 1887», в котором будущее изображалось умозрительно, через призму ретроспективного взгляда на современный писателю мир. Автор справедливо замечает, что в наше время нет нужды облекать исследование в форму утопического романа. Современные экономисты рассматривают будущее отнюдь не как отдаленное, а наоборот, как очень близкое. И если сегодня где-нибудь в мире закладывается новый рудник, строится электростанция, порт или крупный завод, то целесообразность создания этих сооружений будет доказана лишь в том случае, если в основу проекта кладется перспективное планирование, скажем, не только до 1975, но и до 2000 года.

Как же выглядит в представлении экономистов будущее — далекое и близкое? Конечно, нельзя принимать на веру различные буржуазные прогнозы темпов перспективного экономического развития в США и других капиталистических странах, которыми часто пользуется Бааде. Это лишь более или менее квалифицированные догадки.

«Бизнес уик» с горечью признает: «Единственно, что можно точно сказать о любых долгосрочных прогнозах экономического развития — это то, что они не оправдываются». Абсолютно беспочвенны также и ходячие на Западе концепции о «неэффективности», «затухании темпов», «буржуазной эволюции» советской экономики. Несостоятельность их убедительно раскрывает В. Шамберг.

Особое внимание он уделяет критике той буржуазной концепции, по которой советская экономика изображается в виде гигантского концерна, охватывающего все хозяйство страны. За «правление» этого концерна выдается правительство, которое якобы является неограниченным собственником всех предприятий страны и самовластно распоряжается ими. «Коммунистический концерн» свободен от каких бы то ни было объективных законов развития экономики, заявляют апологеты капитализма.

Идеологи буржуазии приписывают советской экономике отношения, ей не только не свойственные, но глубоко чуждые, противоположные действительным основам советской экономической системы. В действительности основа социалистической экономики — общественная собственность на средства производства. Крупное машинное производство, охватывающее все отрасли народного хозяйства, необходимо требует перехода от частной собственности на средства производства, тормозящей дальнейшее развитие выросших производительных сил, к общественной.

«Но это обобществление,— пишет В. Шамберг,— не есть переход от нескольких тысяч крупных корпораций к одной крупнейшей, объединяющей в себе все ранее существовавшие корпорации и всех мелких производителей. Обобществление не создает сверхмонополии, которая владеет всем и развивается по тем же законам, по которым развиваются монополии вообще. Это обобществление есть революционный переворот, коренным образом меняющий отношения собственности, отношения людей в производстве, закономерности развития экономики».

Автор показывает преимущества социализма в экономическом соревновании двух систем. За сорок четыре года (1918—1961) среднегодовые темпы прироста промышленной продукции в СССР составили 10,1 процента, а в США — 3,3; а в 1961 году соответ-

ственно — 9,2 и один процент. В начавшемся двадцатилетии среднегодовой прирост промышленной продукции составит в Советском Союзе по плану не менее 9—10 процентов.

Сравните наш хозяйственный рост с экономической динамикой США. Скотт Ниринг в брошюре «Экономический кризис в Соединенных Штатах» заявляет, что после второй мировой войны экономика США вообще находится в застойном состоянии. Американский капитализм прошел эру мощного роста и расширения и вступил в период «сжатия и застоя» — вот к чему сводятся выводы Ниринга.

Действительно, застой преобладает в течение по крайней мере последних восьми лет. И даже радужные перспективные цифры экономических советников Кеннеди ограничивают ежегодный прирост промышленной продукции лишь немногим более двух процентов.

В книге Бааде делается попытка определить основные тенденции в развитии мирового промышленного производства. Он пишет, что в 2000 году в мире ежегодно будет расходоваться 2,8 миллиарда тонн стали, что почти в одиннадцать раз превышает нынешний уровень мирового потребления стали. Автор приходит к выводу, что «не более одной трети из этого количества придется на долю стран, в которых промышленное производство вообще и производство стали в частности основывается на частной собственности на средства производства».

Мы не собираемся навязывать кому-либо свои взгляды. За нас красноречиво говорят и цифры, приводимые в книге В. Шамберга. Они свидетельствуют, в частности, о том, что к 1970 году реальные доходы населения СССР сравниваются с современным уровнем доходов трудящихся США, а в 1980 году превзойдут этот уровень примерно на семьдесят пять процентов.

Бааде приходит к выводу, что «на целом ряде этапов гонки к 2000 году Восток, бесспорно, обгоняет Запад», что численность

населения коммунистических стран в 2000 году будет вдвое превышать численность населения капиталистического мира. Особенно страшит его, что к количественному превосходству экономического потенциала Востока (так он именует социалистические страны) добавится и качественное превосходство в науке. В его книге содержится ряд тезисов, основанных на трактовке современного капитализма как «народного», «организованного», способного омолодиться на путях «бескризисного развития» и т. д. «Если мы не хотим безнадежно отстать в гонке на приз 2000 года,— пишет Бааде,— нам надо не только встряхнуться и засучить рукава, но и отказаться от целого ряда привычек, а подчас и милых нашему сердцу представлений, выбросив их за борт, как ненужный балласт».

Чтобы стать на реальную почву, добавим мы, надо прежде всего отказаться от буржуазных и реформистских представлений о характере соревнующихся систем. Это становится очевидным при чтении книги В. Шамберга.

И вместе с тем — в этом советский и западногерманский авторы сходятся — надо вести последовательную борьбу за мирное сосуществование двух систем. Ибо преимущества того или иного строя доказываются не силой оружия, а силой примера, методами убеждения и полемики.

Бааде доказывает читателям, что «предложение Советского Союза о полном разоружении всех стран заслуживает полного доверия. Оно соответствует как интересам СССР, так и жизненным интересам всего человечества». В этих словах заключена великая правда, ибо, перефразируя Бааде, можно сказать: людей следовало бы считать безумцами, если бы они вместо пути к обществу мирного изобилия избрали путь коллективного самоубийства. Могучая жизнеутверждающая идея мира вселяет оптимизм в читателей обеих рецензируемых книг.

В. СМОЛЯНСКИЙ,
кандидат экономических наук.

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ

С. М. Левидова, С. А. Павлоцкая. Надежда Константиновна Крупская.
Лениздат. 1962. 300 стр.

Всю свою замечательную жизнь, все свои незаурядные способности Надежда Константиновна Крупская отдала людям — современникам и будущим поколениям. Она была выдающимся деятелем Коммунистической партии и Советского государства, крупнейшим теоретиком марксистской педагогики, замечательным организатором просвещения.

В период культа личности Сталина не вышло ни одной книги, сколько-нибудь полно освещающей жизнь Н. К. Крупской, особенно старательно замалчивалась ее партийная и государственная работа. В нескольких журнальных статьях и двух-трех брошюрах затрагивалась лишь педагогическая деятельность Надежды Константиновны.

После XX съезда КПСС исследователи получили возможность широко использовать архивные материалы. Было опубликовано большое количество ранее неизвестных документов Н. К. Крупской, свидетельствующих о ее большой партийной работе до Октябрьской революции, о ее борьбе за осуществление трудового воспитания и политехнического образования, за связь школьного обучения с жизнью. В настоящее время Академией педагогических наук РСФСР завершается одиннадцатитомное издание педагогических сочинений Н. К. Крупской. Это далеко еще не полное, но самое фундаментальное из всех изданий ее педагогических трудов. В нем содержится значительное количество малоизвестных, а также впервые публикуемых работ.

Перед нами обстоятельная биография Н. К. Крупской. Авторы этой книги изучили огромное количество архивных и печатных источников, на которых и построили описание жизни и деятельности Надежды Константиновны. Свидетельства современников, работы Н. К. Крупской, заметки, написанные ее рукой, и другие документы, постоянно привлекаемые в книге, убеждают нас в точности и достоверности всего того, о чем в ней рассказывается. При этом обилие цитат и выписок из архивов не утомляет, не снижает интереса к чтению книги. Читатель обогащается новыми мыслями, идеями, представлениями, и нередко у него возникает желание познакомиться с самим источником.

Данную работу уместно сравнить с вышедшей в 1958 году книгой В. С. Дридзе, которая в течение двадцати лет работала личным секретарем Н. К. Крупской. В. С. Дридзе написала книгу не только на основе документов, но большей частью по личным впечатлениям, полученным от постоянных встреч с Надеждой Константиновной. Возможно, поэтому ее рассказ получился более задушевным, живым. Однако рецензируемая книга полнее характеризует Н. К. Крупскую.

Авторы правдиво показывают, как девочка, стыскивающая правду жизни, постепенно превращается в девушку-марксистку. На формирование мировоззрения Нади оказало большое влияние революционное настроение ее отца, К. И. Крупского, и близких знакомых семьи, часто общавшихся с Крупскими. Особую роль в формировании морального облика девушки сыграли произведения Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, революционно-демократическая поэзия шестидесятых и семидесятых годов.

Глубокий след в ее душе оставили произведения Л. Н. Толстого. Гениальный писатель, мастерски показавший социальную несправедливость тогдашнего общества, учил понимать жизнь, призывал служить народу. Думается, однако, что авторам не следовало ограничиваться ничем не дополненным замечанием: «Под влиянием Л. Н. Толстого Надежда Константиновна полюбила физический труд». Разумеется, это произошло не только и даже не столько под влиянием Л. Н. Толстого. Тут уместно было бы рассказать, как девочка получала правильное трудовое воспитание в семье под руководством ее матери Е. В. Крупской.

Окончательно жизненный путь Н. К. Крупской определился, когда она познакомилась с марксистской литературой, особенно с «Капиталом» Маркса, который Надежда Константиновна читала, «точно живую воду пила».

Из последующих глав читатель узнает, как Надежда Константиновна трудилась рука об руку с В. И. Лениным.

Являясь неутомимым постоянным помощником В. И. Ленина, Надежда Константиновна в то же время, по справедливому за-

мечанию Клары Цеткин, была деятельным самостоятельным работником.

Не так давно были опубликованы некоторые архивные материалы, свидетельствующие о том, какую большую творческую партийную работу вела Надежда Константиновна за границей. Н. К. Крупская была секретарем партийных газет — «Искры», «Вперед», «Пролетария», работала в «Правде».

Она создавала корреспондентскую сеть, организовывала переправку газет и партийной литературы через русскую границу, устанавливала конспиративные связи с партийными организациями в России, изобретательно придумывала пароли, шифры, устраивала явки, вела работу по подготовке партийных кадров, налаживала информацию о политической жизни в России, оформляла и рассылала протоколы партийных съездов. Эта громадная и кропотливая работа Надежды Константиновны нашла отражение в книге.

Очень ценно, что жизнь и деятельность Н. К. Крупской показана в первой части книги на фоне политической жизни страны, в связи с деятельностью русской революционной социал-демократии и большевистской партии.

Думается, что следовало подробнее рассказать о разработке Н. К. Крупской вопросов педагогической теории до Октябрьской революции. Известно, что Надежда Константиновна в то время много сделала для подготовки «фронта просвещения» нового общества. Несколько десятков педагогических статей было опубликовано ею в легальных журналах. По отзыву А. В. Луначарского, Надежда Константиновна еще до Октябрьской революции «была всем известна по целому ряду педагогических сочинений, которые и легли потом вместе с немногими заветами Маркса в основу нашей школьной революции». Написанная ею в то время книга «Народное образование и демократия» и сейчас является ценным спорным для педагогов. Особенно полезна она при разработке вопросов связи школы с жизнью, соединения обучения с производительным трудом. К сожалению, авторы дали очень бледный анализ этой замечательной книги.

Хорошо написаны три последние главы. Здесь удачно использованы интересные письма детей и трудящихся Надежде Константиновне.

Автору этих строк приходилось работать

с архивами Н. К. Крупской. Особенно глубоко трогают хранящиеся там письма трудящихся, а таких писем десятки тысяч, и в них многообразно отразилась героическая жизнь нашего народа. Эти письма — богатейший материал для историка и художника, стремящегося воссоздать эпоху двадцатых и тридцатых годов нашей Родины.

Во второй части книги в отличие от первой недостаточно показана обстановка в стране и в партии, а также состояние школьного дела и педагогической науки в то время. Поэтому читателю не всегда ясно, почему Надежда Константиновна поступала так или иначе, почему выдвигала и решала те или иные вопросы, что отстаивала и против чего боролась.

Авторы обошли вопрос о том, как Надежда Константиновна в своих выступлениях и статьях отстаивала ленинские нормы партийной жизни, боролась за демократизацию всех сторон общественной жизни, за проведение в жизнь марксистско-ленинского учения о роли трудящихся масс в истории, за повышение роли Советов как общенародных органов.

При чтении книги может иной раз показаться, что жизнь Надежды Константиновны катилась, как по гладкому паркету, без сучков и задоринок, без всяких волнений. Так ли это? Разве мало было на ее пути препятствий, трудностей? Правда, письменные материалы об этом скудны, так как она не жаловалась на личные невзгоды. Однако в архивах Н. К. Крупской находим, например, такие короткие, но много говорящие записи: «О-во пед. марксистов — тяж. отношения. Дикая склока. Запрещается писать. Не дают выступить на общих собраниях...»¹

Заместитель Н. К. Крупской по Главполитпросвету, а потом редактор журнала «Школа взрослых» А. Г. Кравченко, комментируя переданные ею в архив документы, писала, что Надежда Константиновна в тридцатых годах в целях улучшения работы школ взрослых «выдвигала свои предложения, обосновывала, доказывала их, но постоянно получалось как-то так, что с ее высказываниями соглашались, а делалось по-иному»². Такое же отношение к предложениям Н. К. Крупской было и по некоторым другим вопросам.

¹ Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма. ф. 12, оп. 3, ед. хр. 45, л. 942.

² Там же, ф. 12, оп. 3, ед. хр. 29, л. 35.

В книге этому уделено лишь десяток строк. Там мы читаем: «Мучительно переживала Надежда Константиновна положение в партии, сложившееся в период культуры личности Сталина. Долгое время она была лишена нормальных условий для своей деятельности». Это справедливое замечание следовало бы раскрыть полнее на конкретных фактах.

Наконец хотелось бы сделать два замечания по поводу неточностей. Первое: постановление «О всеобщей статистике рабочего

класса» принято не на Лондонской конференции Первого Интернационала в 1871 году, а на Женевском конгрессе Первого Интернационала в 1866 году. Второе: Надежда Константиновна составила лишь план «Педагогического словаря», а не самый словарь.

В целом же хочется еще раз отметить, что это ценная и нужная книга, и выразить признательность ее авторам.

П. ГОРНОСТАЕВ.

★

МАЛОПОЛЕЗНЫЙ СБОРНИК

Резервы и пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве СССР. Редакционная коллегия: Е. С. Карнаухова, М. И. Козлов, В. И. Гаврилов, К. П. Оболенский. Экономиздат. М. 1962. 490 стр.

Перед нами книга объемом почти в тридцать печатных листов: «Резервы и пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве СССР». История этого труда такова. В октябре 1960 года состоялось совещание по вопросам выявления резервов и путей повышения производительности труда в сельском хозяйстве. На совещании были представлены научные работники многих научно-исследовательских учреждений. Рецензируемый труд — переработанные для печати выступления ораторов на этом совещании.

Какова же задача сборника? На этот вопрос доктор экономических наук Е. С. Карнаухова отвечает так: «Основная задача настоящего сборника заключается в том, чтобы подвести итоги, обобщить опыт научной разработки этой проблемы (проблемы повышения производительности труда в сельском хозяйстве.— Д. Г.), обсудить рекомендации по изысканию путей и резервов дальнейшего быстрого роста производительности труда в социалистическом сельском хозяйстве».

Труд издан в 1962 году, но большинство авторов оперирует данными за 1958 год. Вполне понятно, что часть обобщений на основе этих данных запоздала и не отражает действительного положения дел в сельскохозяйственном производстве.

И еще одно соображение: между тем, что рекомендуется внедрять в производство, и самим производством, как правило, «дистанция огромного размера». Желающих писать, рекомендовать и просто призывать

у нас немало, организаторов же продвижения в производство написанного и рекомендуемого иногда нет. В результате груды рекомендаций, статей, предложений зачастую лежат «мертвым капиталом». Как это ни странно, многие экономисты и не считают нужным продвигать в производство ими же написанные рекомендации. Вот почему нам кажется, что было бы вполне разумно обсудить на упомянутом совещании главный вопрос — о связи науки с производством, поделить опытом продвижения уже имеющихся в области экономики достижений в колхозы и совхозы.

В заглавной статье сборника — «Повышение производительности труда — коренная задача развития колхозного и совхозного производства» — Е. С. Карнаухова излагает важнейшие вопросы роста производительности труда. Но вызывает недоумение приводимый ею иллюстративный материал. Так, на странице 8 она пишет: «По сахарной свекле, картофелю и льну затраты труда на 1 га снизились в колхозах по сравнению с дореволюционным периодом лишь на 20—22%, а намечаемая комплексная механизация позволит снизить затраты труда по свекле в 3 раза, по картофелю в 5,4 раза, по льну — в 6 раз». Между тем в учебниках по экономике сельского хозяйства приводятся данные, показывающие, что затраты труда по сахарной свекле по сравнению с дореволюционным периодом снизились вдвое. Еще менее убедительно утверждение о возможности снижения затрат труда при комп-

лексной механизации только в три раза. Вообще на этот счет авторы сборника никак не могут прийти к единому мнению. Если Е. С. Карнаухова считает, что комплексная механизация позволит снизить затраты труда по сахарной свекле в три раза, то А. И. Тулупников утверждает, что снижение будет в четыре—четыре с половиной раза (стр. 46), а К. П. Оболенский идет еще дальше—в девять с половиной раз (стр. 69).

Если уж вести такие подсчеты, то не вернее ли было бы исходить, скажем, из опыта В. А. Светличного, который на производство одного центнера сахарной свеклы затрачивает немногим более тринадцати минут. Тогда получилось бы, что затраты сократятся в тринадцать—восемнадцать раз.

Говоря о повышении производительности труда, Е. С. Карнаухова отмечает важность субъективного фактора—квалификации работника, его сознательности, дисциплины, организаторских способностей. Все это, конечно, правильно. Но почему в статье нет ни слова о роли в этом деле руководителей колхозов и совхозов? Не говорят об этом и некоторые другие экономисты.

Кому не известны такие факты: два соседних колхоза или совхоза, при всех прочих одинаковых условиях, имеют разные результаты работы, разную производительность труда. И как показывает опыт, в большинстве случаев это зависит от организаторских способностей руководителя, от культуры руководства хозяйством. К сожалению, это не нашло должного освещения в рецензируемой книге.

Очевидно, какие-то повторения в подобных сборниках неизбежны. Но здесь это уж очень бросается в глаза. Вот один из примеров. В статье Е. С. Карнауховой есть раздел: «Технический прогресс и рост производительности труда в социалистическом сельском хозяйстве». Этой же теме посвящена статья академика С. Г. Колеснева. Первый автор говорит о некоторых факторах в общем виде, а второй конкретизирует их в зависимости от марок машин и технологии производства. К чему такое разделение? Не целесообразнее ли было рассмотреть эти вопросы во взаимосвязи?

Коль скоро речь зашла о статье С. Г. Колеснева, не могу не обратить внимания на

такое его утверждение: «Крайне несовершенны машины, предназначенные для квадратно-гнездового способа посева. Это несовершенство определяется большим количеством людей для их обслуживания и крайне ограниченной маневренностью, обусловленной малой длиной мерной проволоки» (стр. 33). Видимо, автор давно не наблюдал квадратно-гнездового посева. Было время, когда действительно приходилось привлекать большое количество людей для переноса мерной проволоки. Но вот уже лет пять-шесть применяется механический диагональный способ перенесения мерной проволоки, и здесь заняты всего два человека—тракторист и прицепщик.

Далее С. Г. Колеснев «открывает» такие истины: «При уборке сахарной свеклы современной системой машин такая трудоемкая операция, как очистка корней, отнимает почти 80% всех трудовых затрат на уборке». Следовало бы написать не «современной», а «существовавшей ранее системой машин», потому что при современных машинах и современных правилах приемки корней надобность в очистке их можно миновать.

Совершенно нельзя согласиться с утверждением А. И. Тулупникова о том, что «характерной особенностью оплаты труда в колхозах в отличие от совхозов является отсутствие заработной платы» (стр. 53). Года три-четыре назад гарантированная денежная оплата труда колхозников действительно была редкостью, но сейчас колхозов с такой оплатой труда очень много.

Устаревшие данные содержатся и в статье И. А. Бородина «Специализация как фактор роста производительности труда в сельском хозяйстве».

А что нового узнает читатель из статьи К. П. Оболенского «Планирование производительности труда в сельском хозяйстве и выявление резервов ее повышения»? То, о чем он пишет, можно прочитать в любом учебнике по экономике сельского хозяйства, где материал, кстати говоря, изложен более систематизированно.

Трудно согласиться с рекомендацией М. И. Тихомирова поэлементно нормировать труд. В практике эта работа теряет всякий смысл. Зачем, например, при воспитании телят подсосным способом нормировать и уход за матерями-кормилицами, и уход за телятами, и работу по доставке кормов, и т. д.? В практике делается проще:

телятница знает только одну норму — дать определенный привес телят за сутки. Сюда входит весь цикл работ по воспитанию телят.

Далее, возьмем район, где пятнадцать колхозов. Поскольку у них есть какие-то различия в условиях труда, то не исключено, что будет пятнадцать различных норм выработки на одну и ту же работу. Это внесет путаницу и вызовет бесконечные дискуссии. Хозяйства, имеющие возможность хорошо оплачивать труд колхозников, будут повышать нормы выработки, и наоборот — при низкой оплате труда колхозы стараются заинтересовать колхозников низкими нормами выработки с тем, чтобы они больше получили трудодней при низких расценках. Разумеется, нормы выработки нуждаются в упорядочении, но при этом, как нам кажется, в ряде случаев это выразится не в дифференцировании их, а наоборот, в унификации.

В статье «О сопоставлении производительности труда в сельском хозяйстве СССР и США» академик С. Г. Струмилин приводит цифры, свидетельствующие о том, что производительность труда в нашем сельском хозяйстве ниже, чем в США. Хотелось бы, однако, и в этой и в других статьях сборника найти больше практических советов о том, как нам скорее преодолеть это отставание, что перенять у американских фермеров.

Думается, что уместно в связи с этим напомнить такое высказывание Н. С. Хрущева на мартовском Пленуме ЦК КПСС: «Обнажая противоречия капиталистического способа производства в сельском хозяйстве, мы должны видеть вместе с тем то ценное, что накоплено наукой и практикой такой развитой страны, как Соединенные Штаты Америки. Нам надо реально учитывать, что мы по уровню производства сельскохозяйственных продуктов все еще значительно отстаем от США. Между тем некоторые наши товарищи считают, что нам будто бы нечему учиться у капиталистов в организации сельскохозяйственного производства».

Наиболее обстоятельны, пожалуй, в сборнике статьи по животноводству (авторы: Г. Г. Котов, Н. М. Бурлаков, Е. С. Оглоблин, П. П. Пасечник и другие). В них довольно подробно изложены факторы, сни-

жающие затраты труда на единицу продукции и себестоимость. Однако и тут не со всем можно согласиться. Едва ли вызовет восторг у практиков утверждение Н. М. Бурлакова о том, что «массовый отел коров можно с успехом проводить в коровниках. Телят до 15—20-дневного возраста содержать там же». Передовые хозяйства не допускают растела коров в коровниках, это делается только в отстающих хозяйствах, где нет родильных помещений. Что же касается содержания телят до 15—20-дневного возраста в коровниках, то это по меньшей мере зоотехнически неграмотно. В передовых хозяйствах телята сразу же после рождения поступают в профилакторий, где содержатся до пятидневного возраста, и затем передаются на групповой подсос.

Едва ли Е. С. Оглоблину и некоторым другим авторам следовало усилительно ратовать за использование концентратов для кормления свиней. Разве не известно, что рацион свиней в большей части должен состоять из сочных кормов и особенно из сахарной свеклы?

Не повезло в сборнике и кукурузе. О ней сказано очень мало и невразумительно.

Чем объяснить, что в таком солидном сборнике так много недостатков? Прежде всего тем, что в значительной степени в нем использованы материалы не сегодняшнего, а вчерашнего дня. И они, конечно, не могут звать вперед.

Не могу не сказать и о самом главном — почему перед изданием той или иной работы издатели и авторы не задают себе вопроса: кому нужна эта книга?

Чего ждут от ученых руководители колхозов и совхозов, да и не только они, а все труженики деревни? Прежде всего обстоятельного экономического анализа новых агротехнических, организационных и зоотехнических приемов производства продуктов растениеводства и животноводства, — анализа, сделанного на местных материалах, просто и доходчиво. Разумеется, тут не исключены и теоретические исследования, но и они должны быть не общими, а целеустремленными, применительно к отдельным зонам, районы которых сходны не только по метеорологическим условиям, но и по характеру почв, выращиваемым культурам, рациону кормления скота и т. п. Не нужно бояться писать и о трудностях

в новом деле — это поможет скорее преодолеть их.

Хочется надеяться, что экономисты будут писать для низовых работников сельскохозяйственного производства более полезные книги. И что наряду с рассмотрением путей повышения производительности труда они

исследуют главный показатель сельскохозяйственного производства — его рентабельность.

Д. ГОРИН,

*председатель колхоза «Подгорное»
Семилуцкого района, Воронежской области.*

★

ПЕТРАШЕВСКИЙ И ПЕТРАШЕВЦЫ

В. Прокофьев, Петрашевский. «Молодая гвардия». М. 1962. 336 стр.

Нельзя сказать, что книга о М. В. Бу-ташевиче-Петрашевском — в строгом смысле слова биография именно этого замечательного человека. Рядом с Петрашевским — выдающимся революционным деятелем сороковых годов прошлого столетия — как равноправные герои действуют другие члены созданного им кружка: петрашевцы Н. А. Спешнев, Ф. М. Достоевский, Н. А. Момбелли, А. В. Ханьков, А. П. Бала-согло, братья А. Н. и В. Н. Майковы, Д. Д. Ахшарумов и многие другие. Автор правильно понял, что сложный тип русского революционера, который, говоря словами А. И. Герцена, «развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и... до появления Чернышевского», не может быть раскрыт на материале биографии одной личности, даже если это такая выдающаяся личность, как Петрашевский.

Книга В. Прокофьева заставляет задуматься об идеологии, тактике, организационных формах, морально-этических проблемах общественного движения сороковых годов XIX века в России. На некоторых вопросах хотелось бы остановиться. Как верно замечает автор, петрашевцы представляли собой движение «зарождавшегося, но еще не созревшего революционного демократизма». В их взглядах и деятельности наряду с признаками нового, разночинского этапа русского освободительного движения еще многое унаследовано от их предшественников — дворянских революционеров-декабристов. Отсюда определенные противоречия в их деятельности: «они еще метались между признанием необходимости реформ и надеждами на крестьянскую революцию». Однако эти правильные положения, высказанные В. Прокофьевым в общей форме, не воплощены в самом повествовании, в характерах действующих лиц. В обрисовке биографа М. В. Петрашевский — вполне сло-

жившийся революционер-демократ, решительный противник самодержавно-крепостнического строя. Причем единственным путем борьбы с этим строем он считает народное восстание. И он не только безоговорочно отрицает такое средство общественного переворота, как заговор (поскольку ясно понимает уроки восстания декабристов), но и является последовательным противником всякого реформизма, всяких надежд на мирный исход общественной борьбы. «Крепостное право падет только в результате революционного натиска на царизм...» Таково, по словам автора, твердое убеждение Петрашевского.

В книге Петрашевский последовательно держит курс на подготовку крестьянского восстания, на создание с этой целью тайного революционного общества. Разногласия между Петрашевским и другими представителями революционного ядра его кружка — Спешневым, Момбелли, Головинским — автор сводит к вопросам тактики. По его мнению, и тот и другие были последовательными сторонниками крестьянской революции. Однако в отличие от своих соратников, которые считали возможным немедленно организовать крестьянское восстание, Петрашевский будто бы выступал как революционер, сознающий беспочвенность таких планов, понимающий, что «бунт обречен на неудачу, провал, если его не подготовить». Петрашевский, как показывает автор, считал, что «крестьяне еще не поняли, что главный их враг не сосед-помещик, а царизм». А потому «нужна пропаганда и пропаганда».

Выходит, что Петрашевский не только на голову выше его соратников — революционеров сороковых годов, но и возвышается над большинством революционеров-семидесятников, шедших в народ, чтобы поднять его на революцию. Так ли это? Ведь рево-

люционно-демократическое мировоззрение Петрашевского, как и многих других членов кружка, только складывалось. Кружок петрашевцев еще не выработал, да и не мог в тех исторических условиях выработать того типа последовательного революционера-демократа, который появился в России в шестидесятых годах прошлого века.

Петрашевский иногда колебался, надеялся на мирное решение общественных конфликтов. Его проекты по крестьянскому вопросу прямо рассчитаны на реформаторскую деятельность правительства. О том же свидетельствует и его стремление к проведению в первую очередь судебной реформы.

Как только в кружке петрашевцев остро встала проблема народного восстания, неустойчивость революционной позиции Петрашевского проявилась особенно отчетливо. Во время переговоров между ним, Н. А. Спешневым и Р. А. Черносвитовым о создании тайного революционного общества Петрашевский правильно подметил слабость аргументации Спешнева, убежденного в возможности поднять четыреста тысяч уральских крестьян на победоносное восстание. В то же время он обнаружил либеральные колебания, боязнь восстания как «бунта черни», «столкновения сословий», которое, «будучи бедственнее уже само по себе, может быть еще бедственнее, породив военный деспотизм или, что еще хуже, деспотизм духовный».

Либеральные колебания Петрашевского, как и ряда других революционеров сороковых годов, были в идейном отношении результатом незрелости революционно-демократической идеологии, порождались слабостью крестьянского движения в стране. Зачем же упрощать исторический процесс развития революционной демократии в русском освободительном движении!

Переходный характер кружка петрашевцев, действовавшего на рубеже дворянского и разночинского периода русского революционного движения, автор видит в его идейной и организационной неопределенности, в пестроты состава (тут и либералы и революционеры). Все это так. Но В. Прокофьев не учел более сложного и симптоматичного для этого периода явления: наличия в самой идеологии революционеров противоречий, связанных с характером данного революционного этапа — сосуществования в их мировоззрении одновременно революционной и

либеральной тенденций, еще не отмежевавшихся одна от другой.

Вспомним характерные в этом отношении стихи А. Плещеева «Вперед, без страха и сомненья...», известные как «гимн» петрашевцев. В них говорится о «борьбе кровавой», о необходимости повести «на битву рать» и в то же время утверждается:

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам
И за него снесем гоненье,
Против безумным палачам...

Петрашевцы называли себя фурьеристами — последователями великого французского социалиста Шарля Фурье, «пропагандистами» его учения. Думается, что, характеризуя в книге их мировоззрение, следовало обстоятельно показать особенности раннего русского утопического социализма.

Уже самые первые страницы настаивают предвзятостью, предубежденностью автора в отношении одного из великих утопистов. В описании В. Прокофьева Шарль Фурье выглядит смешным и жалким. Снисходительно-ироническим тоном повествуется об его «открытиях» (кавычки принадлежат автору), мечтах о будущем человечества как о некоей прекраснодушной маниловщине. Автор, очевидно, полагает, что это должно помочь ему резче подчеркнуть отличия русского утопического социализма от западноевропейского, превосходство первого над последним. С первых строк, характеризующих Петрашевского, он представляет его читателю как человека, которому «чужда» и даже «противна» всякая мечтательность. По словам автора, русские революционеры в отличие от своих учителей социалистов-утопистов «не прекраснодушествовали, а готовились к революции».

Такое изображение Фурье по меньшей мере странно. Неужели автору не известно, что фурьеризм в числе других течений французского утопического социализма явился одним из идейных источников марксизма? Как же можно тоном насмешки говорить о мечте Фурье о социализме, — мечте, в то время несбыточной, но соответствовавшей стремлениям и потребностям общественного развития? Утопизм великих социалистов XIX века, разлад их мечты с действительностью состоял в том, что они своей мечтой опережали эту действительность, но в то же время, по словам Ленина, они «смотрели в ту же сторону, куда шло и действительное

использованы и все до одной рекомендованы читателю, то работы советских исследователей А. С. Нифонтова, И. А. Федосова и других даже не внесены в список литературы о петрашевцах, предлагаемой читателю.

Книга заканчивается словами А. И. Герцена о Петрашевском: «Да сохранит потомство память человека, погибшего ради русской свободы, жертвой правительственных гонений...» Этой задаче, несомненно, служат

литературное наследство самих петрашевцев, три изданных тома их следственных дел, а также специальные, не обращенные к широкому читателю исследования советских историков. Эту же цель преследует издание первой научно-художественной биографии Петрашевского. Тем досадней обнаружившиеся в ней ошибки и пробелы.

В. ТВАРДОВСКАЯ.



МЕМУАРЫ ДИПЛОМАТА

Академик И. М. Майский. Испанские тетради. Воениздат. М. 1962. 198 стр.
Академик И. М. Майский. Кто помогал Гитлеру (Из воспоминаний советского посла). Издательство ИМО. М. 1962. 198 стр.

Редкая проблема новейшей истории пользуется таким вниманием буржуазных фальсификаторов, как проблема внешней политики СССР накануне второй мировой войны.

Толстые тома дипломатических публикаций, пухлые труды солидных историков, художочные «боевики» желтых публицистов настойчиво, многообразно и бесстыдно проповедают идею «о решающей ответственности СССР за возникновение мировой войны». При этом всячески обеляется политика «западных демократий», а подчас даже действия фашистских государств.

Подобная позиция буржуазной историографии вполне понятна. Развязывание второй мировой войны, унесшей десятки миллионов человеческих жизней, явилось, пожалуй, самым тяжким из преступлений империализма против человечества, убедительнейшим доводом за необходимость скорейшего уничтожения капиталистического строя. Уяснение широчайшими массами истинных причин мировых войн оказало бы огромную помощь сегодняшней борьбе народов за предотвращение гретьей мировой войны.

В строй работ, разоблачающих истинных виновников второй мировой войны, вскрывающих, как и кем готовилась и развязывалась она, вступили недавно новые книги академика И. М. Майского «Испанские тетради» и «Кто помогал Гитлеру». Это мемуары видного советского дипломата, бывшего посла нашей страны в Англии, воспроизводящие сложную картину дипломатической — и не только дипломатической —

борьбы предвоенных лет. В обеих книгах удачно сочетаются достоверность исторического исследования со страстностью коммуниста — участника событий, острый взгляд тонкого наблюдателя с аналитичностью и широтой исторического кругозора учено-марксиста.

Тревожные события осени 1962 года придали особую актуальность «Испанским тетрадям» — книге о деятельности пресловутого «Комитета по невмешательству», представителем СССР в котором И. М. Майский был в 1936—1939 годах.

С известными оговорками можно сказать, что революционная Куба занимает в сегодняшнем мире то место, которое занимала в нем республиканская Испания в тридцатых годах. И во многом схожи сущность и направления международных конфликтов, возникших вокруг этих двух революций.

Все это придает еще больший интерес рассказу И. М. Майского о событиях двадцатипятилетней давности. Его записки показывают, как в исключительно сложных условиях тех лет боролась наша страна против экспорта контрреволюции и развязывания мировой войны, в защиту свободы и независимости Испании, за сохранение мира.

Основываясь на личных наблюдениях и привлекая богатый документальный материал, автор подробно воспроизводит деятельность «Комитета по невмешательству» неделю за неделей, месяц за месяцем. Перипетии сложной дипломатической борьбы, происходившей в комитете, раскрываются

на фоне общего развития международной обстановки 1936—1939 годов. Рассказ о них переплетается с повествованием о развертывавшейся одновременно героической борьбе испанского народа — подлинного героя этой книги. Мы слышим, как врываются в затхлую атмосферу «Комитета по невмешательству» отзвуки сражений за Пиренеями, — сражений, в которых революционная Испания, истекая кровью, защищала не только свою свободу и независимость, но и мир в Европе, покой и независимость тех самых стран, чьи представители составляли большинство в комитете.

Почти трехлетнее героическое сопротивление испанского народа фашистской агрессии было в значительной мере обусловлено военно-политической помощью СССР, о которой много говорится на страницах книги.

Главная задача советских дипломатов в «Комитете по невмешательству» заключалась именно в том, чтобы помочь испанскому народу в его неравной борьбе. СССР использовал свое пребывание в комитете для того, чтобы бдительно следить за каждым шагом врагов испанской демократии и разоблачать их интриги, чтобы противодействовать любым международным акциям, направленным к ухудшению положения Испанской республики. Об этом и рассказывает И. М. Майский.

В книге убедительно показано, как упорно, гибко, терпеливо, в течение десятков месяцев пытался СССР открыть западным державам глаза на самоубийственный характер их политики, заставить их встать на путь коллективного сопротивления агрессору. Характерно, что документы фашистских держав по испанскому вопросу, ставшие известными уже после 1945 года, подтвердили правильность оценок и прогнозов, данных советскими дипломатами в 1936—1939 годах.

Однако правительства Англии и Франции, а также представители поддерживавших их малых стран Европы оставались глухи к предупреждениям СССР, к урокам истории. Ослепленные антикоммунизмом и ненавистью к испанской революции, они топили в бесконечных бюрократических процедурах каждое предложение, направленное на прекращение интервенции, способствуя тем самым удушению Испанской республики. Попустительствуя агрессорам, англо-французская дипломатия одновременно исподволь закладывала основы антисоветской

коалиции, пытаясь направить основной удар фашистских держав на Восток. Так готовилась вторая мировая война.

Привлекает внимание галерея портретов буржуазных дипломатов. Лорд Плимут, импозантный и беспомощный, — идеальное олицетворение английской политической посредственности». Умный, блестящий, красноречивый циник Гранди. Невежественный, надменный Риббентроп, приветствующий английского короля фашистским салютом. Бельгийский посол Картье, мирно спящий на заседаниях комитета и больше всего боящийся, что от него потребуют высказать собственное мнение. Шведский посол Пальмшерн — колеблющийся, возмущающийся, жмуший советскому представителю руку... «под столом» — и уволенный за спиритическую связь с «потусторонним миром»...

Книга завершается одной из самых трагических страниц истории Европы — событиями весны 1939 года, рассказом о гибели испанской революции.

Исторический подвиг испанского народа не оказался напрасным. На несколько лет была отсрочена вторая мировая война. Армия страны социализма и отряды антифашистского Сопротивления достойно приняли эстафету вооруженной борьбы с фашизмом, начавшейся за Пиренеями. Не падение Мадрида, а падение Берлина раскрыло до конца перед всем миром исторический смысл беспримерного мужества и великих жертв испанских трудящихся. И все-таки мучительно сжимается сердце советского человека при воспоминании о гибели Испанской республики, неизменно горька мысль о том, что «все-таки — не смогли»...

Но сейчас другое время. Многократно выросли силы и возможности нашей страны, силы международной социалистической революции. И закрывая книгу И. М. Майского, вновь вспоминаешь о Кубе. Схожи друзья и враги, развитие, дух, язык двух резолюций. Но изменилась обстановка в мире и различны судьбы этих революций. С той же настойчивостью, как и четверть века назад, ведет наша страна борьбу за мир, свободу и независимость народов, но гораздо действеннее стала эта борьба. «Они не прошли» на Плайя-Хирон. Снята блокада революционного острова. Наследники Гитлера и Муссолини из Пентагона не смогли на этот раз использовать географическую отдаленность революционной страны от главных сил мирового социализма, что-

бы в потоках крови потопить свершения и надежды ее народа. Победоносное знамя социалистической революции гордо реет сегодня на западном берегу Атлантики — в центре капиталистического мира.

Книга «Кто помогал Гитлеру» и тематически и хронологически непосредственно примыкает к «Испанским тетрадам», в известной мере является их продолжением. В основной части своей это рассказ о событиях последних месяцев перед войной, о последних — и безуспешных — попытках Советского Союза предотвратить войну, остановить фашистскую агрессию. Эта книга целиком посвящена политической борьбе, дипломатическим поединкам. Пушки замолкли за Пиренеями и еще не заговорили в Польше. Круг ассоциаций, которые вызывают воспоминания И. М. Майского о 1939 году, во многом отличен от тех, что связаны с событиями в Испании. И все же главная тема книги — та же тема упорной и гибкой борьбы нашей страны за мир.

«Кто помогал Гитлеру» — в еще большей мере, чем «Испанские тетради», произведение открыто полемическое. Автор ведет дискуссии смело: приводя доводы наших противников, разбирая и — впервые в советской литературе — обильно цитируя документы, на которые они ссылаются, не боясь высказать самостоятельное мнение по той или иной проблеме, дать свое решение сложных вопросов. Не сильные эпитеты, штампованные схемы и дежурные цитаты, а конкретные факты, самостоятельность суждений — таково оружие, с которым И. М. Майский ведет борьбу с антикоммунистическими фальсификаторами.

Первая часть книги («До 1939 года») рассказывает о развитии советско-английских отношений в 1932—1938 годах, о рождении и утверждении пресловутой политики «западной безопасности» — политики «умиротворения» фашистского агрессора и науськивания его на СССР, политики «невмешательства» и Мюнхена. Ядро же книги — рассказ об англо-франко-советских переговорах, начавшихся в марте 1939 года.

И. М. Майский убедительно опровергает версии о «слабостях», «ошибках», нерешительности и непоследовательности при «искреннем стремлении мира», которые якобы определяли политику правительства Чемберлена. Он неоспоримо доказывает состоятельность политики Чемберлена и К° — сле-

пой антикоммунизм, неизменно руководивший всеми их действиями.

Чередуя личные воспоминания тех лет и анализ документов, ставших известными лишь сейчас, автор убедительно показывает, как с первого и до последнего дня переговоров они саботировались правительством Чемберлена. Непрерывные проволочки, затягивание каждого этапа тройных переговоров, беспринципный, «базарный» торг вокруг каждого пункта, предложения, ставящие СССР в невыгодное и неравноправное положение, — и все это в обстановке, когда каждый день и час бездействия приближали мир к катастрофе... Воспроизводилась — лишь на более высоком уровне — практика «Комитета по невмешательству».

И тем не менее — и это тоже отлично показано в книге — Советский Союз на каждом этапе переговоров неизменно проводит свою линию борьбы за предотвращение войны, за скорейшее и действенное объединение антигитлеровских сил. Лишь этой целью был продиктован каждый шаг, каждое предложение, каждый документ Советского правительства.

Опровергая ходячую ложь буржуазной историографии, И. М. Майский показывает, как в мае, июне, июле 1939 года Советское правительство отвергало все зондажи и негласные предложения об «улучшении отношений», на которые не скупилась правящие круги Германии. В начале августа они делают новые предложения СССР. И вновь вопреки, казалось бы, совершенно ясным урокам предыдущих месяцев Москва не вступает в переговоры с Гитлером, не теряя надежды, что правительства Англии и Франции хотя бы за пять минут до катастрофы одумаются. А высокопоставленные чины правительства Великобритании в это самое время вели тайные переговоры с гитлеровскими эмиссарами о разделе сфер влияния в Европе и мире.

Все напряженной и опасней становилась обстановка (в книге хорошо передана эта предгрозовая атмосфера лета 1939 года).

И. М. Майский убедительно говорит о причинах и мотивах, заставивших СССР подписать пакт о ненападении с гитлеровской Германией, пойти на тяжелый, горький, но ставший неизбежным — во имя коренных интересов социализма — компромисс со злейшим врагом.

Реальная возможность предотвратить мировую войну существовала и в 1936—

1938 годах и даже еще летом 1939 года. За столами переговоров в международных организациях, на испанских плоскогорьях Советский Союз сделал все от него зависящее, чтобы превратить эту возможность в действительность, надеть на фашистских агрессоров смирительную рубашку коллективной безопасности. Но, основанная на слепом антикоммунизме, политика правящих классов Франции и особенно Англии парализовала все усилия СССР, погубила Испанию, Чехословакию, Австрию, открыла фашизму дорогу агрессии и войны. Поэтому для СССР не оставалось в конечном счете выхода, кроме заключения пакта о ненападении с Германией.

Именно правители Англии, Франции в надежде сокрушить первую страну социализма выпустили «из бутылки» фашистского джина. Но они попали в положение волшебника из сказки: первой жертвой фашистского чудовища стали их собственные страны.

Таковы те выводы, которые доказаны в книгах И. М. Майского и с которыми — нам кажется — не может не согласиться каждый непредубежденный читатель у нас и за рубежами нашей страны.

К. МАЙДАНИК,

кандидат исторических наук.



КНИГА, НУЖНАЯ ВСЕМ

Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления. Опыт словаря-справочника. Под редакцией С. Ожегова. Издательство Академии наук СССР. 1962. 184 стр.

Выпущенная совсем недавно большим тиражом (120 тысяч экземпляров), эта книжка уже ушла из столичных магазинов. Ее название объясняет эту быстроту: «Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления».

Читатель получил словарь-справочник. Объяснено правильное употребление около четырехсот слов и словосочетаний. Из тех, что вызывают споры, вопросы. В общем, «трудные случаи»... Однако составители озабочены не только тем, чтобы сказать: «Это правильно, а это нет». Иногда они предостерегают: «Это правильно, но уж слишком часто употребляется, это стало штампом, заслоняет другие, синонимичные слова. Не будьте уныло-однообразными! Не обкрадывайте себя!» И это тоже хорошо.

Около четырехсот слов — около четырехсот статей. Некоторые из них написаны глубоко и не без изящества (например, о словах «дебют», «единственный»). Это маленькие научные исследования. Большинство статей дает верные советы.

Мне приходилось слышать протесты против выражения «первый дебют»: «Как же так «первый»? Ведь «дебют» и значит «первое выступление!» «Первый дебют» — первое первое выступление! Это же нонсенс!» И можно себе представить, как потешались эти «знатоки» над старой актрисой Бережковой из комедии Д. Угрюмова «Кре-

сло № 16». Бережкова-то, подумать только, поет песню о первом дебюте. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Оказывается, у Бережковой были предшественники: С. Аксаков, В. Белинский, П. Лажечников. Так говорила и В. А. Мичурина-Самойлова, отдавшая шестьдесят лет жизни искусству. Так говорил и Геннадий Несчастливцев в «Лесе» Островского. И мне, рецензенту, хочется сказать каждому из авторов книги словами Несчастливцева: «Руку, товарищ!»

Молодые языковеды Л. Крысин и Л. Скворцов при участии Н. Тарабасовой вместе с редактором профессором С. Ожевым проделали немалую работу. Словаря такого типа не было еще в истории советского языкознания. И отрадно, что блин хоть и первый, но не комом.

Кома нет, но есть некая комковатость. И вот о ней сейчас пойдет речь.

Первое возражение — общего порядка. Не могу согласиться со взглядом составителей на авторскую речь в художественной литературе. По их мнению, она «литературная и нормализованная» (кстати, литературная — это и есть нормализованная).

И вот почти всякий раз, увидев просторечное или устарелое слово в авторской речи, составители говорят: «Это противоречит литературной норме, это в художественном произведении допустимо лишь в языке

персонажей, а в авторском даже в целях стилизации недопустимо». Противоречит литературной норме... Ну, конечно, противоречит. Потому и называется просторечным, или устарелым, или диалектным. Противоречит... Ну и пусть противоречит. Где доказано, что авторская речь должна быть сплошь выдержана в полном, трогательном согласии с нормами литературного языка? Где? И как быть в такой оказии с авторской речью Шолохова? Или с авторской речью Пушкина? А Некрасова и Толстого? А Маяковского и Леонова? И как можно не видеть, что авторская речь в художественном произведении — это не просто отрезок текста, написанный литературным языком и потому находящийся под его юрисдикцией, а неотъемлемая, кровная, тысячами животрепещущих нервов связанная с целым частью?! И считают ли составители верным получивший широкое признание тезис «просторечие — резерв литературного языка»? Если да, то как использовать писателю этот резерв? Какова роль писателя в переводе слов из просторечного резерва в строй литературного языка?

На мой взгляд, составители допустили нормализаторский перехлест. Они недоучли специфики языка художественной литературы. Такой перехлест писателю не помог. Он на руку тому редактору-вульгаризатору, о котором с болью и гневом писала Л. Чуковская в своей книге.

А теперь остановлюсь на отдельных словах. Мне однажды уже выпала честь вступить за слово «ихний» («Вопросы литературы», № 7, 1962) и отстаивать его право быть в авторской речи. Я ссылаясь на Писемского, Маяковского, Луначарского, Леонова. Составители словаря-справочника указывают на Н. Асеева («Маяковский начинается»), В. Солоухина («О скворцах»), Б. Слуцкого («Когда убили Белояниса») и осуждают поэтов. Но «ихний» есть и в новых вещах Н. Асеева (например, «Старинные муж и жена», «Сверстники»). И тоже в авторской речи. Значит, оно свойственно языку этого поэта, которого, разумеется, не остановит строчка из словаря. И редактор не посмеет ему перечить. Ну а молодым поэтам придется здесь туго.

Большой ученый, литературовед и лексикограф, профессор Б. Томашевский по-другому относился к этому слову (см. его книгу «Стилистика и стихосложение»).

«Извиняюсь». Авторы говорят, что эта форма просторечная и в образцовой литературной речи ее употреблять не рекомендуется. А устойчивое сочетание «извиняюсь за выражение» — неправильно. Цитируется А. Куприн, толковавший «извиняюсь» как «извиняю себя». Сообщается, что А. Толстой связывал распространение этой формы с юго-западным русским употреблением. Составители не возражают ни против толкования А. Куприна, ни против наблюдения А. Толстого.

Начнем с толкования. Оно очень старое. И очень неверное. Куприн был большим писателем, но языковедом он не был. А языковеды должны знать, что частица -ся может придавать глаголам до пятнадцати значений. «Умываться» — это «умывать себя». А вот «целоваться» — это «целовать друг друга». Или «ругаться». Разве это «ругать себя»? А значение -ся в «ругаться» такое же, как и в «извиняться с я». «Извиняться» — это не значит «извинять себя».

Составители считают допустимым в литературном языке «извиняюсь перед кем-нибудь в чем-нибудь», а также все формы «извиняться», кроме формы первого лица единственного числа («извиняюсь»), то есть можно: он извиняется, мы извиняемся и т. д. Но если «извиняюсь» — это «извиняю себя», то тогда «извиняется» — «извиняет себя», «извиняемся» — «извиняем себя» и прочее, а «извиняюсь перед вами» — «извиняю себя перед вами». Надо же быть последовательными!

Известный языковед Г. Винокур еще в 1925 году в книге «Культура языка» говорил, что пуристы дрожат перед словом «извиняюсь», как московская купчиха перед «металлом» и «жупелом». Он цитировал из письма Гончарова Достоевскому: «Опять тысячу раз извиняюсь, что сбиваюсь с прямой дороги в сторону». Он цитировал Достоевского («Дневник писателя»): «Извиняюсь, что не ответил никому до сих пор». И писал: «Пуристы, правда, скажут, что между «извиняюсь» и «извините» существенная разница состоит в том, что в первом случае человек как бы сам себя извиняет, а во втором только просит его извинить... Но вряд ли нужно доказывать, что мы имеем здесь дело с чистой грамматической иллюзией... И что сказать о Гончарове, который «тысячу раз извиняется»? Или и он

тоже лишь тысячекратно декларирует, извиняет сам себя? «Извиняюсь» — морфологически прозрачно и законно».

Позволю себе добавить два примера с «извиняюсь»: «Вообще же П. Б. очень «льстил» (извиняюсь за выражение)...» (В. И. Ленин, «Как чуть не потухла «Искра»?»); «Очень извиняюсь, дорогой Владимир Ильич, что принужден обратиться к Вам с жалобой...» (М. Горький, письмо В. И. Ленину, январь 1920 года).

Словарь-справочник считает неправильным выражение «поднять тост». Составители полагают, что устами Дины из романа С. Сартакова «Не отдавай королеву» «тонко подчеркивается неправильность такого употребления» (Кошич говорит: «Я поднимаю этот тост», а Дина шепчет: «Бокал»). Однако толковые словари русского языка снисходительнее к этому выражению и не возражают против поднятия тостов. А Дину хочется спросить: «Может бокал шипеть и пениться?» У Пушкина может: «Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой». И сколько раз в неделю сама Дина говорит «чайник вскипел»? Маяковского не смущали поднятые

тосты. У него они аж вздымались: «Вздымать на банкетах шампанский тост» («Явление Христа»).

За недостатком места я не коснусь еще некоторых, на мой взгляд, спорных статей в словаре-справочнике (например, «Аншлаг», «Благодаря», «Вперед», «Запросто», «Ужасный», «Встать»). Скажу лишь об одном недосмотре. На странице 71 помещена филиппика Б. Лавренева против некоторых слов и против людей, говорящих эти слова. «Люди, которые так говорят, — это убийцы... русского языка...» — восклицал Б. Лаврениев. Среди слов, произносимых «убийцами», — «учеба». Это хорошее народное слово. Без него не было бы ни «учебника», ни «учебного года». И на страницах 172—173 составители защищают его. Но как же тогда с «убийцами»? Ведь в «убийцы» попадают не только составители, но и те, на авторитет которых они опираются, заступаясь за слово...

Карманного формата стовосьмидесятистраничная книжка покинула полки магазинов и начала делать свое доброе, нужное дело.

Эр. ХАНПИРА.

★

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ С «ЗОЛОТОГО ОЛИМПА»

Вал. Зорин. Некоронованные короли Америки. Госполитиздат. М. 1962. 176 стр.

Основные достоинства рецензируемой книги — популярность изложения, ясность мысли, убедительность аргументов. О чем хотел рассказать своему читателю Вал. Зорин? О современной Америке. Рассказать так, чтобы читателю было понятно, кто царствует и управляет в Соединенных Штатах, в чем особенности американского империализма, каков подлинный облик этой наиболее могущественной капиталистической страны, опоры и надежды всемирного капитализма наших дней.

Это нелегкая задача. О Соединенных Штатах Америки за рубежом изданы тысячи книг. Очень многие из них написаны по прямому заданию тех или иных капиталистических групп, того или иного финансового магната с явной целью прославить джентльменов с «Золотого Олимпа», представить их широкой публике в самом благородном виде, чуть ли не в образе благодетелей человечества. А на самом деле каждый из «великих» делателей денег до-

стоин занять видное место в галерее преступников, боровшихся против своего народа и народов многих стран и континентов.

До сих пор нет правдивой, основанной на документах, погребенных в семейных архивах, биографии любого из тех самых некоронованных королей Америки, о которых идет речь в книге. Семейные тайны Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов, Меллонов и прочих рыцарей доллара — это тайны всей семьи американских миллиардеров, это секреты всего американского финансового капитала, наиболее тщательно оберегаемые секреты в Соединенных Штатах. Государственные и военные тайны США порой становятся достоянием гласности. Секреты «царствующих домов» капитала — никогда!

Автор рецензируемой книги упоминает имя Льюиса Корей, написавшего в 1930 году своего рода исследование «Дом Морганов. Социальная биография повелителей денег». Это объемистый том в четыреста семьдесят девять страниц, причем перечень

источников и библиография, приложенные к тому, занимают восемнадцать страниц мелкого шрифта. Это литература только о Морганах. И, как правило, это литература прославляющая, превозносящая. Это панегирики. Так творятся легенды.

Книга Вал. Зорина направлена и против этих легенд. Читатель найдет в ней немало убийственных для монополистов фактов и изобличающих характеристик. И, читая книгу, постигаешь, какие перемены произошли в США с точки зрения взаимоотношения между миром политики и миром денег. Давно уже В. И. Ленин установил, что эпоха империализма характеризуется сращением монополий и государственной власти. Этот факт Ленин открыл в те времена, когда это сращение еще было скрыто от простого человека и политические деятели, действовавшие в интересах монополий, могли твердить, что они «независимы» от Уолл-стрита. Это было выгодно монополиям, поскольку маскировало их господство над государством и мешало разглядеть, что это государство есть их аппарат для подавления трудящихся. В прежние времена ни Морган, ни Рокфеллер, ни другие магнаты не занимали правительственных постов, они оставались в тени, а на арене «большой» политики подвизались профессиональные общественные деятели, доверенные люди монополистов.

Теперь все изменилось и в этом плане: сами монополисты, банкиры, руководители крупных промышленных и банковских концернов устремились в государственный аппарат, в правительство. До последнего времени пост президента также занимали люди, внешне по крайней мере «не зависящие» от банков и корпораций. Ныне на президентском месте человек, непосредственно участвовавший (и участвующий) в «делании денег», выходец из семьи крупных миллионеров; члены нынешнего американского правительства, как правило, крупные дельцы-капиталисты, банкиры, биржевики, люди денег. Приведем несколько примеров из многих, имеющих в книге Вал. Зорина. Государственный секретарь США Дин Раск — большой делец, доверенное лицо Рокфеллеров. Министр обороны Роберт Макнамара — еще более крупный делец, «делегирован» в правительство компанией Форда, президентом которой он состоял. Министр финансов Дуглас Диллон — один из известнейших в США банкиров,

глава банкирского дома «Диллон Рид энд компани». Министр торговли Лютер Ходжес — богатейший текстильный фабрикант. Входят в правительство еще банкиры: Поль Нитце, Джон Макклой, Аверелл Гарриман, Роберт Руза и многие, многие другие. Отметим еще и тот факт, что вице-президент США Линдон Джонсон — финансовый воротила, представитель техасских миллиардеров.

Нынешнее американское правительство в большей мере, чем какое бы то ни было раньше, представляет все основные группировки американского финансового капитала, причем не при посредстве доверенных, а людьми крупного бизнеса, капиталистами и банкирами непосредственно. Миллиардеры уже не доверяют государственный руль своим политическим приказчикам.

Во времена президента Вудро Вильсона, накануне вступления США в первую мировую войну, Джон Пирпонт Морган II давал советы президенту (Морган был, разумеется, за войну), и когда ему случалось посещать Белый дом, то делал это вечерами, причем входил через боковой подъезд, а вообще он предпочитал, как и президент, встречи на «нейтральной почве» — в салоне экспресса, в частном доме. Ныне двери Белого дома широко распахнуты для людей с Уолл-стрита и для финансовых магнатов Среднего и Дальнего Запада, вообще для миллиардеров и сверхмиллиардеров любой группировки. Ибо Белый дом — их дом, их штаб, их боевая рубка. Так было уже и во времена Эйзенхауэра. А теперь и говорить нечего!

Все стало на свое место, все обнажено, как никогда. Деньги пишут, жаловался когда-то Эптон Синклер. Теперь деньги правят, диктуют, управляют.

Да, американский империализм есть империализм без каких-либо прикрас, он стоит перед миром во всей своей прозаической наготе, воплощая сущность капитала: его алчность, реакционность, кровожадность.

И все же у него свои особенности. В истории Соединенных Штатов не было периода феодализма. Капитализм развивался в США в наиболее благоприятных условиях, в «чистом виде». Благодаря этому он рос быстро. Но нигде так хищнически не разбазаривались естественные богатства страны, как в США, и, пожалуй, нигде отрицательные черты капитализма не выступили наружу так отчетливо, как там же.

К особенностям американского капитализма относится и такой феномен, как рабство, невольничество. И то и другое сохранилось в США и тогда, когда даже в менее развитых в промышленном отношении странах (как, например, Россия, Пруссия, Австро-Венгрия) личное рабство (крепостное состояние) было отменено «сверху». В США же уничтожение рабства было осуществлено под руководством Авраама Линкольна только в результате победы Севера над рабовладельческим Югом в кровавой и жестокой четырехлетней гражданской войне, унесшей миллионы жертв. Южные плантаторы потерпели полное поражение в этой войне. Но эта же война продемонстрировала чудовищное упорство, железную хватку и крайнюю неразборчивость в средствах «джентльменов Юга», совершавших неслыханные злодеяния, шедших на любую подлость, предательство и измену, оплевывавших демократические стремления народа, лишь бы удержать в своих руках власть, сохранить свои привилегии.

Американская промышленная буржуазия, имевшая наисильнейшие позиции на Севере, очень скоро помирилась с «джентльменами Юга», и теперь идеология плантаторов, «мораль» преступной антинациональной Конфедерации южан стала общепризнанной нормой в «моральном уставе» американского империализма. Юг дал Маккарти, Юг дал ку-клукс-клан, Юг дал суд Линча, Юг — по-прежнему оплот расового неистовства.

Американская реакция и ее литературные гайдуки ныне носят имя Авраама Линкольна и тех американцев, которые вели народные массы в битву против южных рабовладельцев! Об этом нужно напомнить именно теперь, когда исполнилось сто лет со дня подписания Линкольном декларации об уничтожении рабства (1 января 1863 года). В этот день Линкольн пророчески сказал: «Я твердо знаю, что имя, связанное с этим документом, никогда не будет забыто».

Нынешняя реакционная Америка хотела бы — и делает все для того, — чтобы это имя было забыто, она старается вычеркнуть это имя из памяти народной, поэтому все «дары Юга» — маккартизм, ку-клукс-клановщина, линчевание, расизм стали достоянием всех штатов, распространились на всю страну, спасенную сто лет назад

ценою народной крови от цепких лап рабовладельцев. Джефферсон Дэвис, «президент» самозванного «государства» южных мятежников, мог бы сказать из своей могилы: «А все-таки наша взяла!» Недаром же этому мятежнику и врагу народа в США воздвигли монумент!

Необходимо помнить об этих исторических обстоятельствах, составляющих неотъемлемую часть коллективной биографии американских миллиардеров и остающихся одним из источников крайней реакционности идеологии царствующей монополистической элиты.

Горячие симпатии к южным «аристократам» высказываются правящими сферами и высокопоставленными личностями в наши дни, когда американский империализм стоит в авангарде антикоммунизма: когда в США подвергают преследованиям коммунистов и вообще всех «инакомыслящих» и когда Вашингтон пыгается распространить на весь мир нравы ку-клукс-клановщины и маккартизма, когда он собирает, опекает, содержит и охраняет все фашистские антинародные элементы всюду, где они есть, — в Испании ли, в Южной Корее, на Тайване, в Южном Вьетнаме, в Западной Германии, в странах Латинской Америки. Стратегия Пентагона основана на принципиальном отказе от верности своему народу, на измене и предательстве. Как известно, крайние шовинисты, фашисты наиболее подходят к роли изменников и предателей. На них американская реакция возлагает особые большие надежды как на орудие осуществления ее преступных военных планов.

В рецензируемой книге этот момент (едва ли не важнейший для характеристики сущности современной внешней политики США) обрисован всесторонне. Мы видим пружины военного бизнеса в США, мы видим и тех, кто в нем кровно заинтересован и кто его непосредственно ведет: союз монополий и верхов милитаристского лагеря, ставшего в США огромной политической силой. Генерал-бизнесмен, адмирал — доверенный военных концернов, военные авторитеты, заседающие не в штабах армии и флота, а в советах и правлениях крупнейших монополистических фирм, — это тоже типично американская «новинка» в практике современного монополистического капитализма. Милитарист-промышленник — гибрид истинно американского происхождения, отличающийся еще и тем, что он по-

является в последние годы во все более массовом масштабе. Вполне прав был американский публицист Фрэд Кук, когда он назвал современные США «государством войны».

Так завершается развитие американского капитализма: достигнув большой высоты в развитии своей экономической базы, создав неслыханное богатство жестокой эксплуатацией трудящихся и участием в войнах (особенно в первой и второй мировых войнах), он устремился к захвату господства над всем миром и видит только одну пер-

спективу — новые войны: войны против мировой системы социализма, войны против народов, сбрасывающих с себя иго колониального бесправия; американский империализм уже ведет такие войны («малые» войны, по терминологии вашингтонских «мыслителей»). Этому делу — делу войны — отдают все свои силы джентльмены с «Золотого Олимпа», о которых много интересного можно найти в книге «Некоронованные короли Америки».

И. ЕРМАШЕВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ВЛ. ЛИДИН. Друзья мои — книги. «Искусство». М. 1962. 196 стр. Цена 50 к.

Это сборник очерков не о людях или событиях, а о книгах. Но за каждой описанной книгой стоят люди, события и история.

Заметки эти не систематизированы, не связаны друг с другом ни хронологически, ни сюжетно. Случайность подбора вызвана тем, что книги к собирателю приходят в разное время, от разных людей и из разных мест.

В книге Вл. Лидина упомянуто около ста произведений, названы писатели трех веков (Державин, Пушкин, Герцен, Лесков, Бунин, Л. Андреев и другие), перечислены имена крупнейших букинистов, издателей и собирателей книг (П. А. Ефремов, А. А. Шухгалтер, М. В. Сабашников, П. П. Шибанов, Д. С. Айзенштадт, М. И. Шишков), рассказано об уникальных экземплярах, о забытых книгах и о книгах вновь найденных, о рукописных книгах и об автографах, об искусстве переплетчика и об искусстве хранения книг.

Коллекционирование книг приводит иногда к интересным и важным находкам. В очень редкой книге Н. И. Пирогова «Собрание литературных статей» найден черновик неизвестного письма И. А. Бунина Л. Н. Толстому. На случайно приобретенном экземпляре книги Державина «Анакреонтические песни» обнаружена стихотворная дарственная надпись автора.

Особенно же редкой книгу делает не случайность, а цензура. В библиотеке Вл. Лидина имеется уникальный экземпляр книги «Письмо к другу, жителю в Тобольске», отпечатанный самим Радищевым в том же роковом 1790 году, когда было издано и уничтожено «Путешествие из Петербурга в Москву».

Истинный собиратель книг часто превращается в исследователя, и тогда находка становится открытием.

К собирателю попадает книга. Начинается изучение ее внешних особенностей. Собирателя интересует все: надписи и пометы (авторские? бывших владельцев?), экслибрис, случайно вклеенный листок, подчеркивание, даже загнутый уголок. Нужна большая эрудиция, нужно в совершенстве знать книжное дело, чтобы связать разрозненные детали в единое целое. Иногда это удается, и тогда по случайным приметам

восстанавливается кусочек литературной истории.

В одном из книжных магазинов Вл. Лидину попало обугленное первое издание стихотворений Надсона. Переплетенная прокладка на немецком языке была обнажена. Дарственная надпись — «На память от А. Да...» — срезана переплетчиком. Все это вызывало интерес, потому что страницы книги были правлены рукой Надсона. Постепенно вырисовывается история книги. Сначала устанавливается (по ярлыку переплетчика, вклеенному в книгу), что книга была переплетена в Швейцарии, потом выясняется, что она была подарена Надсону, восстановившему выброшенные цензурой строки, и наконец раскрывается таинственное «А. Да...». Книга была подарена автору А. А. Давыдовой — другом Гаршина, принимавшей вместе с ним близкое участие в судьбе умиравшего в Швейцарии от чахотки Надсона.

Каждая книга — это большой или маленький отрезок истории культуры. И по тому, как разные эпохи и разные люди вмешиваются в судьбу книги, можно судить об эпохах и людях.

А «судьбы книг, — замечает Лидин, — бывают всякие: трагические, кончавшиеся сожжением или гильотиной — резальным ножом; великолепные по блеску и признанию; горькие по непризнанности... или с преуспешной карьерой, с раздутым успехом, после которого наступали небытие и забвение».

Н. Белинкова.

★

ПАРУЙР СЕВАК. Верность. «Молодая гвардия». М. 1962. 64 стр. Цена 10 к.

Ах, если бы познать земные недра,
И почву, и состав материка,
Не так познать, как познает геолог,
Планеты пробуривший бока,
Не так познать, как некий археолог,
Слононый над обломками горшка.
Но так познать, как познаешь ладони
И пальцы работающие свои...

(Перевел Д. Самойлов)

Это не звонкая и красивая поэтическая декларация. Это выражение жизненной позиции армянского поэта Паруйра Севака. Поэт не предлагает готовых выводов, не дает рецептов. Он думает,

ищет, сомневается, страдает — и чистосердечно рассказывает об этом читателю. Оттого-то строки его стихов естественны, прочувствованны.

Может быть, сильнее всего это ощущается в главах из поэмы «Отступление с песней». Лирический герой поэмы переживает трудные минуты. Он обманулся в своей любимой. Он вспоминает другие минуты, когда ничто еще не угрожало его безоблачному счастью. Он осыпает любимую упреками — и готов все простить ей. Он обвиняет ее — и понимает, что не имеет права ее обвинять. Он пытается утешить себя доводами логики — и не может утешиться. В этом легко усмотреть противоречие. Но это противоречие не поэтической мысли, а живых страстей человеческой души. Характер человека, умеющего по-настоящему любить, предпочитающего страдать, нежели довольствоваться суррогатами чувства, раскрывается в поэме Севака с той убедительностью, за которой — не словесные ухищрения, а подлинность чувства.

Л. Левицкий.

★

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. Палестинский дневник. «Заря Востока». Тбилиси. 1962. 63 стр. Цена 25 к.

До сих пор остается ненаписанной и неразгаданной история жизни Шота Руставели, неизвестен год его рождения, лишь приблизительно определяется время, когда была создана поэма «Витязь в тигровой шкуре», неясно, где и когда умер поэт.

В народных легендах сохранились упоминания, что Шота кончил дни свои не на родине, а в далекой Палестине. Некоторым подтверждением этому служили и свидетельства грузинских путешественников, побывавших в XVIII веке в Иерусалимском Крестном монастыре — замечательном памятнике древнего грузинского зодчества, где, по их рассказам, на одной из колонн храма сохранилось изображение поэта. Недалеко от портрета согласно преданию находилась и его могила. Однако позднее портрет Шота в Иерусалимском грузинском монастыре был утрачен.

Все это предстояло уточнить и проверить экспедиции грузинских ученых, в состав которой входил и автор «Дневника» — известный поэт и академик Ираклий Абашидзе. Выхавшая в Иерусалим в октябре 1960 года экспедиция ставила своей целью разыскать все, что связано в Палестине с именем Руставели. Труд ученых был не напрасен. Правда, могила поэта так и не была обнаружена, но на одной из колонн монастыря под густым слоем краски, нанесенным чьей-то варварской рукой, был найден фресковый портрет Шота Руставели — прекрасное произведение искусства. Восстановлен и текст надписи, относящейся к портрету.

Своим рассказом об этой счастливой находке автор легко увлекает читателя. Весьма любопытны и попутные описания тех мест, в которых работала экспедиция.

Пребывание советских ученых в Палестине было бы вполне удачным, если бы им не чинили всевозможные препятствия местные церковники и прежде всего теперешний хозяин монастыря — греческий патриарх Бенедикт. Рассказывая обо всем этом, Ираклий Абашидзе ставит важный общий вопрос: «Настало время, давно уже настало время создать международную организацию по защите древностей, что-то вроде Красного Креста. Только тогда памятники старины станут предметом изучения серьезных просвещенных людей, научных работников».

С. Кайдаш.

★

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ. Берлинская тетрадь. «Советский писатель». М. 1962. 312 стр. Цена 54 к.

В один из апрельских дней 1945 года в потоке танков, самоходных пушек и грузовиков, вливавшемся в Берлин с востока по широкой магистрали Франкфуртер-аллее, продвигалась грузовая машина обычного на фронте зеленого цвета, с брезентовым шатром, туго натянутым над кузовом. Это была машина с аппаратами звукозаписи, принадлежащая группе московских радиожурналистов. В их числе был автор «Берлинской тетради».

Сотни километров исколесила машина по дорогам войны в Германии. Журналист А. Медников был свидетелем интереснейших встреч и событий. В его книге — множество наблюдений, запоминающихся фактов, деталей, зарисовок, собранных им рассказов очевидцев.

Мрачные бункеры имперской канцелярии. Обреченность приближенных фюрера, столпившихся у двери его последнего убежища. «Личное» и «политическое» завещание Гитлера. Смерть Геббельса, захватившего в могилу жену и детей...

В книге подробно рассказывается, как были схвачены пытавшиеся скрыться в подполье главные военные преступники Геринг и Гиммлер, Штрейхер и Риббентроп; описывается церемония подписания акта о полной и безоговорочной капитуляции Германии.

Нам думается, что подзаголовок к книге А. Медникова «Рассказы о боях в Берлине» неточен. Если говорить о жанре, то это скорее очерки, и очерки интересные.

Читателю их есть над чем поразмыслить и подумать, вспоминая события последних дней прошлой войны, особенно сейчас, когда наследники Гитлера и их покровители пытаются раздуть новый военный пожар в Европе.

А. Леонтьев.

★

ДЕНИС ДАВЫДОВ. Сочинения. Гослитиздат. М. 1962. 612 стр. Цена 1 р. 36 к.

В своей неподписанной автобиографии Давыдов говорит о себе: «Большая часть его стихов пахнет биваком. Они были писаны на привалах, на дневках, между двух дежурств, между двух сражений, между двух войн...»

Что вложил в свои сочинения Давыдов? Что он думал, каким был? С давних пор молва закрепила за ним имя бесшабашного забияки-гусара, каким он изображен на сохранившихся литографиях:

Саблю вон — и в сечу! Вот
Пир иной нам бог дает,
Пир задорней, удалее,
И шумней, и веселее...
Ну-тка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливы дены!

Все чаще, однако, в последние годы имя поэта-гусара связывается историками литературы с освободительным движением. Это подтверждают и некоторые факты биографии поэта. Известно, например, что за сатирические стихи, ходившие по рукам Давыдова удалили из столичной гвардии и послали служить в заолустье.

Вышедший сборник, с большой любовью подготовленный и прокомментированный В. Н. Орловым, позволяет читателю воссоздать исторически правый образ Давыдова — патриота своей земли, героя 1812 года, дворянина-фрондера, который хотя и «не посягал на коренные устои дворянской монархии, но допускал порой достаточно острую критику кое в чем не устраивавшего его государственного и общественного уклада».

Денису Давыдову не в пример иным литераторам его поры «везло»: многократно за последние годы выпускались и его поэтические сборники, и специальные военные работы.

Сегодня же впервые Давыдов предстает перед советским читателем во всем многообразии своего таланта. Кроме собрания стихотворений, в книге нашли себе место «Военные записки партизана Дениса Давыдова», «Материалы для современной военной истории (1806—1807)», «1812 год» (включающий классический «Дневник партизанских действий 1812 года» и ставшую хрестоматийной работу «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?»), наконец статьи, воспоминания и поучительно острые «Анекдоты о разных лицах, преимущественно об Алексее Петровиче Ермолове».

Знакома нас с творческим наследием Дениса Давыдова в целом и как поэта, и как военного деятеля, сборник помогает оценить истинное его место в литературной и политической жизни своего времени.

Б. Яранцев.

★

М. ГОРЬКИЙ О ПЕЧАТИ. Составители сборника К. Г. Бойко и В. Д. Пельт. Госполитиздат. М. 1962. 367 стр. Цена 61 к.

Литературное наследие Горького глубоко изучается. Но его публицистике и журна-

листской деятельности уделяется меньше внимания, хотя эта сторона творчества писателя очень важна.

В 1930 году в приветствии органам советской провинциальной печати Горький писал, что он «старый газетчик». Алексей Максимович называл газетчиков людьми, «расходующими для общества действительно горячую кровь сердца и неподдельный сок нервов».

Многие вошедшие в сборник высказывания пролетарского художника о печати, литературном мастерстве и издательской деятельности незнакомы читателю нашего поколения: они публиковались в малоизвестных органах печати, а в собраниях сочинений писателя не включались. А ведь они и в наше время так актуальны, что будто написаны сегодня. Таково, например, высказывание Горького об отношении империалистов к проблеме разоружения: «Представьте себе такую сцену: пойман привычный убийца, его поймали добродушные люди и говорят ему:

«Брось нож, перестань убивать людей, нехорошо это!»

«Не могу,— отвечает он.— Если я перестану убивать,— мне жить нечем будет».

Этот «простецкий ответ» и есть ответ буржуазных правительств на предложение Советского Союза о разоружении.

Сборник хорошо издан, снабжен необходимыми справочными приложениями. Журналисты и литераторы найдут в нем много никогда не стареющих горьковских напутствий.

В. Молчанов.

★

СЕРДЦЕ, ВРУЧЕННОЕ БУРЯМ. Хосров Рузбех перед военным трибуналом Ирана. Перевод с персидского. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 188 стр. Цена 32 к.

На рассвете одного из майских дней 1958 года на тегеранском стрельбище Хешматие перед шеренгой солдат стоял человек с гордо поднятой головой. Перед смертью он читал стихи иранского поэта Саади: «Любит влюбленный. Если он любит, то он искренен. В день казни не должно предаваться унынию...»

...Раздался винтовочный залп. Палачи убили мужественного сына иранского народа, замечательного коммуниста Хосрова Рузбеха.

«Велением сердца, в котором горит пламя служения народам Ирана,— говорил Хосров Рузбех, выступая перед военным трибуналом,— я избрал путь Народной партии Ирана и должен заявить, что душой своей, костями, кровью, тканью и кожей — всем существом своим до последнего волокна считаю этот путь священным. Все клетки моего тела, все частицы моего существа — плоть от плоти народа. Я влюблен в социализм, люблю его искренне и преданно».

Какой духовной силой и верой в свое правое дело должен был обладать человек,

произнесши перед угрозой неминуемой смерти эти страстные слова проникнутые такой глубокой любовью к родине, к своему народу!

В книге рассказывается о необыкновенной судьбе героя-коммуниста, с величайшим достоинством защищавшего самые высокие идеалы человечества. Через головы судей Рузбех обращался к народу, объясняя своим соотечественникам, почему он, офицер шахской армии, «вручил свое сердце бурям» — встал на путь революционной борьбы. «Я отбросил мысль о служении обществу мелкими делами, — говорил Хосров Рузбех, — и решил приложить все силы к тому, чтобы коренным образом изменить положение и покончить с несчастьем миллионов своих соотечественников».

Рузбех создает Организацию свободолобивых офицеров Ирана и вступает в Народную партию Ирана. Вскоре он становится членом Центрального комитета и одним из руководителей партии. Его трижды приговаривали к смертной казни, но каждый раз Рузбех вырывался из кровавых лап палачей.

Подлое предательство снова привело его в тюрьму. «Вы осудите Хосрова Рузбега, — говорил он в своем последнем слове, — но вам не осудить храбрость, доблесть, патриотизм, человеколюбие и самоотверженность».

Каждая страница книги «Сердце, врученное бурям» — ярчайшее выражение этих прекрасных человеческих качеств пламенного борца за счастливое будущее своего народа.

Ю. Штыканов.

★

У. Э. Б. ДЮБУА. Воспоминания. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 520 стр. Цена 1 р. 7 к.

Двадцать третьего февраля 1963 года автору этой книги исполнилось 95 лет. В столь почтенном возрасте люди пишут прежде всего о том, что составляет главное содержание их жизни. Это у Уильяма Эдварда Бургхардта Дюбуа — борьба за освобождение негритянского населения Соединенных Штатов, которая с железной логикой привела его в ряды всемирного движения борцов за мир, демократию и социализм, а затем и под знамя марксизма-ленинизма.

Изложение событий своей жизни Дюбуа доводит до ноября 1959 года. Но и позднее активная деятельность этого выдающегося ученого, мыслителя и борца не прекращалась ни на один день. Важнейшей датой его удивительной биографии стал день 1 октября 1961 года, когда Дюбуа обратился к генеральному секретарю Коммунистической партии США с просьбой принять его в члены партии. Этот шаг он предпринял в суровое время, в период наивысшего подъема истерической кампании реакции за запрещение компартии, за удушение всех прогрессивных сил страны.

«Воспоминания» — это не только автобиография и не только история организованной борьбы негритянского населения США за свои права. Содержание книги значительно шире. В ней дана правдивая оценка внутренней и внешней политики Соединенных Штатов на протяжении последних десятилетий.

Страстный обличитель всякой несправедливости и жестокости, Дюбуа создает образ жестокого хищника — американского империализма, который в неутолимом стремлении к наживе беспощадно попирает свободу и достоинство людей, отвергает законы, ставит под угрозу миллионы человеческих жизней.

В. Низковский.

★

ОЛЕГ ПИСАРЖЕВСКИЙ. Наука древняя и молодая. «Молодая гвардия». М. 1962. 208 стр. Цена 46 к.

С химией человечество познакомилось еще в седой древности. В Египте, в Индии, в Китае уже несколько тысяч лет назад умели варить стекло, выплавлять металлы, выделывать кожу, красить ткани. В течение тысячелетий химия была лишь «служанкой» технологии, помогая извлекать из природного растительного, животного и минерального сырья полезные вещества.

В наш удивительный век, когда космические корабли, созданные дерзновенным гением человека, вырвались на просторы Вселенной, химия вступила в соревнование с природой. И не безуспешно. Прочно вошли теперь в наш обиход новые материалы — крепкие, как сталь, и эластичные, как резина, легкие, как пух, и твердые, как чугун. Появились необычные волокна, которых никогда не создавала природа. Одни не тонут в воде и не горят в огне, другие не боятся моли и плесени, третьи не уступают в крепости стальной проволоке.

Проникнув в тайны строения вещества и изучив причудливую архитектуру молекулярных «построек», химики стали их создавать по своему усмотрению. На основании точного научного расчета возникли тысячи, десятки тысяч неведомых ранее веществ с нужными для промышленности и народного хозяйства заранее заданными свойствами.

Не потому ли автор и назвал свою книгу «Наука древняя и молодая». Он отнюдь не задался целью с исчерпывающей полнотой рассказать о могуществе современной химии, а поставил себе более скромную задачу — познакомить читателя с «рождением» и развитием некоторых новых идей и открытий, показать творческие искания ряда советских выдающихся химиков: Н. Д. Зелинского, С. В. Лебедева, П. А. Ребиндера, А. Н. Несмеянова. Читатель вместе с автором побывает и в лабораториях В. А. Каргина, Н. Н. Семенова, В. А. Энгельгардта.

В небольших научно-художественных очерках, написанных живо и доходчиво, рас-

крывается суровая обстановка повседневной работы «творцов» молодой науки. За торжеством открытия скрываются бессонные ночи раздумий, ошибки, сомнения, обманутые ожидания, а главное — упорный, титанический труд.

Досадно, что издательство не нашло нужным иллюстрировать эту столь интересную книгу. Кого удовлетворят безвкусные заставки в главах и вычурная обложка?

Б. Розен,
кандидат химических наук.

★

МЫСЛИ О РЕЛИГИИ. Составитель и автор вступительной статьи И. А. Галицкая. Госполитиздат. М. 1962. 256 стр. Цена 35 к.

В этой книге собраны высказывания более ста мыслителей, поэтов, ученых, общественных деятелей, представляющих разные эпохи, народы и страны. Составитель сборника И. А. Галицкая проделала большую работу. Мысли о религии извлечены из философских трактатов, научных трудов, литературных произведений. В книге собраны мысли противников религии, атеистов. Но противоречия мысли таковы, что даже некоторые слова защитников религии побивают иной раз ее с не меньшей силой, нежели высказывания ее врагов. Таким «бумерангом», поразившим религию прямо в лоб, явились знаменитые слова одного из отцов церкви, Тертуллиана: «Credo quia absurdum» — «Верую, потому что это нелепо».

Сборник вооружает поборников атеизма сотнями мыслей, разоблачающих величайшую бессмыслицу — веру в бога. Некоторые из собранных в книге мыслей стали подлинно крылатыми. Образцом являются бессмертные слова Маркса: «Религия есть опиум народа». «Религия, — продолжает эту мысль В. И. Ленин, — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь».

Мысли, собранные в сборнике, — грозное и острое оружие. Но, разумеется, требуется немало труда, чтобы научиться ими владеть. Об этом и надо было бы сказать автору вступительной статьи. Но, к сожалению, И. А. Галицкая в качестве автора предисловия выступила менее успешно — оно выглядит бледным, суховатым.

В книге не сказано о том, кто составил примечания и именной указатель. По всей вероятности, за некоторые упущения в этих разделах должны разделить ответственность составитель и редактор. Некоторые примечания составлены так, что они в свою очередь требуют примечаний и пояснений. Есть неточности и в именном указателе.

Обидно, что ни составитель, ни редактор (Л. Филиппов) вовремя не заметили и не устранили досадные огрехи в хорошем издании.

И. Орловский.

★

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ФИРМЫ (Из опыта работы производственных объединений Львовского совнархоза). Львовское книжно-журнальное издательство. 1962. 116 стр. Цена 37 к.

Осенью 1961 года во Львове было создано первое в Советском Союзе отраслевое производственное объединение — обувная фирма «Прогресс». Перестройка производства и некоторая реконструкция пяти фабрик, объединенных в фирму, дают возможность без нового строительства увеличить годовой выпуск обуви с четырех до девяти миллионов пар. Это равносильно вводу новой фабрики на пять миллионов пар в год, строительство которой обошлось бы в миллион рублей. Этот пример — лишь один из многочисленных, приведенных в названной книге.

Советские фирмы. Эти слова, казавшиеся поначалу немного непривычными, звучат сегодня в разных концах страны. Отраслевые производственные объединения (фирмы) появились в Москве, Ленинграде, Горьком. Но Львовский совнархоз был начинателем этого дела. Опыт его — самый продолжительный. О нем и рассказывает книга.

Интересную, дельную статью о правовом и финансовом положении фирм написала доцент Львовского государственного университета А. Савицкая. Она анализирует серьезные проблемы, возникшие перед учеными — экономистами и правоведами, перед плановыми, финансовыми, хозяйственными органами в связи с рождением предприятий нового типа.

К сожалению, не все статьи сборника содержат столь деловой разговор о конкретном опыте. В некоторых преобладают общие рассуждения, не всегда аргументированные похвалы фирмам. Везде ли необходимы фирмы? Нужны ли они, например, в угольной промышленности? Будет ли тут фирма отличаться (не формально, а по существу) от обычного треста? Ответа на такие вопросы книга не дает. Между тем Н. С. Хрущев в докладе на ноябрьском (1962) пленуме ЦК КПСС не случайно предостерег «против механического, непродуманного объединения, которое вместо пользы может принести вред».

Выпущена нужная книга. Думается, что она могла быть еще более конкретной, деловой и отредактирована могла быть тщательней.

О. Лацис.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 19—23 ноября 1962 года. Стенографический отчет. 607 стр. Цена 1 р. 15 к.

Н. С. Хрущев. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Том 5. Февраль 1961 года — октябрь 1961 года. 463 стр. Цена 60 к.

Н. С. Хрущев. Речь на собрании избирателей Калининского избирательного округа города Москвы. 27 февраля 1963 года. 31 стр. Цена 4 к.

И. Латышев. Япония в дни политических бурь (Несколько страниц недавней истории). 64 стр. Цена 7 к.

А. Б. Ложечко. Воспитатель, учитель, боец Ю. А. С. Макаренкой. 80 стр. Цена 9 к.

А. Марцинкявичюс. Самое важное. 56 стр. Цена 5 к.

Международный ежегодник. Политика и экономика. Выпуск 1962 г. 424 стр. Цена 1 р.

Ответы верующим (Популярный справочник). 480 стр. Цена 42 к.

Партия большевиков в годы нового революционного подъема (1910—1914 годы). Документы и материалы. 536 стр. Цена 95 к.

В. А. Сухомлинский. Дума о человеке. 120 стр. Цена 13 к.

Пальмиро Тольятти. Жизнь и борьба Итальянской коммунистической партии. 80 стр. Цена 10 к.

Хрестоматия по истории КПСС. В трех томах. Том первый (1883 г.—февраль 1917 г.). 624 стр. Цена 1 р. 15 к. Том второй (март 1917 г.—1945 г.). 624 стр. Цена 1 р. Том третий (1945 г.—апрель 1962 г.). 804 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Шапошников. Цеховая партийная организация, партийная группа. 80 стр. Цена 8 к.

СОЦЭНГИЗ

В. Антонов. Русский друг Маркса. Герман Александрович Лопатин. 93 стр. Цена 14 к.

А. Ильин, В. Ильин. Рождение партии. 1883—1904. 280 стр. Цена 50 к.

Д. П. Прицнер. Подвиг испанской республики. 1936—1939. 447 стр. Цена 66 к.

Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма. 559 стр. Цена 1 р. 22 к.

В. А. Смирнова. Вильгельм Вольф — человек, которому Маркс посвятил «Капитал». 164 стр. Цена 18 к.

В. И. Стрельский. Источниковедение истории СССР период империализма, конец XIX в.—1917 г. 603 стр. Цена 1 р.

Н. А. Трунин. Милитаризация ФРГ и политика социал-демократической партии. 173 стр. Цена 22 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ю. Бондарев. Тишина. Роман. 307 стр. Цена 50 к.

А. Эрлих. Куда зовут ракеты. Повести и рассказы. 462 стр. Цена 77 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Братья Каудзит. Времена землемеров. Повесть. Перевод с латышского. 472 стр. Цена 79 к.

Д. Джафаров. М. Ф. Ахундов. Критико-биографический очерк. 207 стр. Цена 30 к.

Ду Фу. Стихотворения. Перевод с китайского. 276 стр. Цена 34 к.

Заря над Кубой. Стихи. Перевод с испанского. 256 стр. Цена 35 к.

Эм. Казакевич. При свете дня. Рассказ. 71 стр. Цена 7 к.

Стивен Ликок. Юмористические рассказы. Перевод с английского. 470 стр. Цена 1 р.

Е. Любарев. Поэма А. Твардовского «За далью — даль». 103 стр. Цена 15 к.

Андрей Малышко. Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 566 стр. Цена 90 к.

Андрей Платонов. Рассказы. 255 стр. Цена 59 к.

Йенс Петер Якобсен. Фру Мария Груббе. Роман. Перевод с датского. 255 стр. Цена 54 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Алексин. Необычайные похождения Се-вы Котлова. Повести. 224 стр. Цена 48 к.

В небе фронтов. Воспоминания советских летчиков. 296 стр. Цена 79 к.

Олесь Гончар. Повести. Перевод с украинского. 352 стр. Цена 66 к.

В. Гравишкис. В суровом краю. Повести. 208 стр. Цена 52 к.

Андрей Дементьев. Дорога в завтра. Поэма. 63 стр. Цена 25 к.

Ю. Докучаев. Идущие к звездам. Очерки. 110 стр. Цена 18 к.

Касум Касум-заде. Весна на море. Стихи. Перевод с азербайджанского. 96 стр. Цена 29 к.

Б. Ляпунов, Н. Николаев. Сквозь тернии к звездам. 176 стр. Цена 54 к.

Г. Покровский, Ю. Моралевич. На передний край смелой мечты. 208 стр. Цена 49 к.

Польская молодежь и ее организации. Сборник статей. 80 стр. Цена 9 к.

С. Рухович. Крах двух мифов буржуазной пропаганды. 126 стр. Цена 14 к.

Ник. Томан. Именем закона. Повести. 224 стр. Цена 48 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Античный город. 192 стр. Цена 1 р. 24 к.

С. Великовский. Поэты французских революций 1789—1848 гг. 280 стр. Цена 36 к.

Акад. А. И. Воейков. Воздействие человека на природу. 252 стр. Цена 98 к.

Б. М. Кедров. Предмет и взаимосвязь естественных наук. 412 стр. Цена 1 р. 48 к.

Н. П. Комолова. Классовые бои в итальянской деревне 1945—1950 гг. 344 стр. Цена 1 р. 12 к.

Б. Г. Кузнецов. Эволюция основных идей электродинамики. 295 стр. Цена 78 к.

Г. Ф. Михеев. Изотопы экономят время и труд. 112 стр. Цена 17 к.

От классической физики к квантовой. Основные представления учения о строении материи. 71 стр. Цена 11 к.

Очерки истории чешской литературы XIX—XX вв. 724 стр. Цена 2 р. 61 к.

К. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. 375 стр. Цена 1 р. 18 к.

Е. П. Подьяпольская. Восстание Булавина 1707—1709 гг. 216 стр. Цена 75 к.

Д. А. Сабинин. Физиология развития растений. 196 стр. Цена 1 р. 8 к.

Современная литература США. 228 стр. Цена 78 к.

М. Р. Тульчинский. Адвокаты реванша. Западногерманский «остфоршунг» на службе боннской ревацистской политики. 120 стр. Цена 20 к.

А. И. Уёмов. Вещи, свойства и отношения. 184 стр. Цена 58 к.

Философские проблемы атеизма. 280 стр. Цена 1 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. Б. Воронцов. Корея в планах США в годы второй мировой войны. 139 стр. Цена 45 к.

Востоковедные фонды крупнейших библиотек Советского Союза. Статьи и сообщения. 238 стр. Цена 1 р. 30 к.

Общественно-политическая и философская мысль Индии. Сборник статей. 262 стр. Цена 85 к.

Ф. И. Шабшина. Социалистическая Корея. 197 стр. Цена 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Д. Н. Айдит. Избранные произведения. Статьи и речи. Перевод с индонезийского. 783 стр. Цена 1 р. 57 к.

Франтишек Бегоунок. Трагедия в Ледовитом океане. Перевод с чешского. 296 стр. Цена 89 к.

Лучия Деметриус. Дуэль. Рассказы. Перевод с румынского. 414 стр. Цена 1 р. 24 к.

Далсидио Журандир. Парковая линия. Роман. Перевод с португальского. 574 стр. Цена 1 р. 68 к.

Эрих Кестнер. Маленькая свобода. Стихи. Перевод с немецкого. 139 стр. Цена 18 к.

Мечта о доме. Рассказы финских писателей. Перевод с финского. 229 стр. Цена 57 к.

Мартина Моно. Нормандия — Неман. Роман. Перевод с французского. 181 стр. Цена 45 к.

Тодор Монов. Смерти нет. Роман. Перевод с болгарского. 280 стр. Цена 72 к.

Новые явления в современной буржуазной политэкономии. Перевод с немецкого. Том I. 444 стр. Цена 1 р. 84 к.

Артур Омре. Тепло в стужу. Рассказы. Перевод с норвежского. 127 стр. Цена 33 к.

Пак Ун Голь. Отечество. Роман. Перевод с корейского. 247 стр. Цена 78 к.

Богумир Полах. Возвращение Иржи Скалы. Роман. Перевод с чешского. 192 стр. Цена 52 к.

Рассказы африканских писателей. Переводы. 264 стр. Цена 69 к.

Чарльз Сноу. Пора надежд. Роман. Перевод с английского. 391 стр. Цена 1 р. 21 к.

Андре Стиль. Боль. Рассказы. Перевод с французского. 127 стр. Цена 32 к.

Джудит Тодд. Большой обман. Печать, радио, кино, телевидение и реклама в Англии на службе монополий. Перевод с английского. 152 стр. Цена 29 к.

Улыбки друзей. Юмор и сатира. Сборник. 271 стр. Цена 94 к.

Вернер Эггерат. Катастрофа. Роман. Перевод с немецкого. 398 стр. Цена 1 р. 24 к.

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

Я. В. Бичевой, В. Ф. Врана. Сочные корма — круглый год. 112 стр. Цена 14 к.

И. Ф. Гаркуша. Почвоведение. 448 стр. Цена 93 к.

Коллектив авторов. Биология и возделывание гречихи. 304 стр. Цена 98 к.

Коллектив авторов. Справочник картофеля. 336 стр. Цена 69 к.

Н. Н. Назаров. Геодезия. 424 стр. Цена 1 р. 36 к.

Новое в кормлении животных (Сборник переводов). 272 стр. Цена 82 к.

А. И. Панин. Овцеводство. 294 стр. Цена 50 к.

С. С. Саакян. Сельскохозяйственные машины. 328 стр. Цена 81 к.

С. И. Сметнев. Птицеводство. 336 стр. Цена 69 к.

В. И. Эдельштейн. Овощеводство. 440 стр. Цена 1 р. 16 к.

БАШКНИГОИЗДАТ

Н. А. Шмелев. Равнение на знамя. Документальные рассказы. 132 стр. Цена 15 к.

И. Ф. Слободчиков. Подснежники. Рассказы. 100 стр. Цена 15 к.

И. В. Сотников. Время не останавливается. Роман. 278 стр. Цена 57 к.

ГОСЛИТИЗАТ УзССР

В. А. Александров. Ночной вокзал. Рассказы. 243 стр. Цена 36 к.

Эд. Арбеню. Если встретите Бориса... Повесть. 143 стр. Цена 17 к.

Т. С. Есенина. Жена — чудо XX века. Юмористическая повесть. 275 стр. Цена 31 к.

А. Д. Недялков. В сантиметре от смерти. Повесть. 133 стр. Цена 37 к.

Б. С. Пармузин. Книга неожиданных дорог. Лирический дневник. 103 стр. Цена 27 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),
Б. Г. Зак (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 25/1 1963 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/III 1963 г.
Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 107.650.
А 0-1955. Зак. 185

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

Индекс
70636